



НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЪЯНС



Лаборатория геокультурных исследований
(Арктический государственный институт культуры и искусств, Якутск)

Дмитрий Замятин

ВООБРАЗИТЬ РОССИЮ

К СТАНОВЛЕНИЮ
ГЕОКУЛЬТУР И МЕТАГЕОГРАФИЙ
СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2024

УДК 911.3
ББК 66.4(0)
З 269

приоритет2030[^]

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Рецензенты:

доктор географических наук, профессор *К. Э. Аксенов*
доктор географических наук, профессор *А. Г. Дружинин*
кандидат политических наук, доцент *И. Ю. Окунев*
доктор исторических наук, главный научный сотрудник *Е. Н. Романова*

Замятин Д. Н.

З 269 Вообразить Россию: к становлению геокультур и метагеографий Северной Евразии / Д. Н. Замятин. – СПб.: Алетейя, 2024. – 476 с., ил.

ISBN 978-5-00165-763-7

Монография посвящена исследованию процессов становления геокультур и метагеографий Северной Евразии. В качестве цивилизационного и геокультурного ядра Северной Евразии рассматривается Россия. Анализируются различные способы геокультурного воображения и метагеографического моделирования Северной Евразии на планетарном, региональном и локальном уровнях. Особое внимание уделено проблематике художественных метагеографий и сопространственности геокультур.

Книга может быть полезна ученым-гуманитариям и экспертам, изучающим проблемы геокультурного, геополитического и регионального развития России и Евразии; преподавателям и студентам гуманитарных и социальных специальностей вузов.

УДК 911.3

ББК 66.4(0)

ISBN 978-5-00165-763-7



9

785001657637

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© Д. Н. Замятин, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
Часть 1. Россия и Северная Евразия: проблема планетарной геокультурной «сборки»	25
Глава 1. Вообразить Россию: географические образы и пространственные идентичности в Северной Евразии	25
Глава 2. Россия и Нигде: географические образы и цивилизационная идентичность России в текстах Петра Чаадаева	39
Глава 3. Геократия: Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации	72
Глава 4. Мускулы острова-мира: метагеографические оси Евразии	121
Глава 5. Северная Евразия на стыках планетарных геокультур: сопространственность и пограничность . .	161
Часть 2. Образно-географические картографии России: ключевые модели воображения	186
Глава 6. Территории ностальгии: географический образ России и проблемы языковой идентичности в постсоветских государствах: конец XX – начало XXI вв.	186
Глава 7. В центре циклона: политико-географические образы российского пространства	204
Глава 8. Запасной рай: историко-культурное наследие Русского Севера и моделирование геокультурных образов	217
Глава 9. Стрела и шар: к становлению метагеографии Зауралья	233
Глава 10. Европа посреди океана: Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России как трансграничные регионы в XXI веке	258

Глава 11. Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов и онтологические модели воображения.	268
---	-----

**Часть 3. Северная Евразия ad hoc:
от художественных метагеографий
к сопространственности геокультур** 314

Глава 12. «Умножарь земного шара»: метагеография Велимира Хлебникова в сверхповести «Зангези» ...	314
--	-----

Глава 13. Гунны в Париже. К метагеографии «Скифов» Александра Блока	327
--	-----

Глава 14. Демон места: образ реки в российских ментальных мирах	344
--	-----

Глава 15. Центр Апокалипсиса: географические образы в поэтическом цикле Александра Блока «На поле Куликовом»	363
--	-----

Глава 16. Затмение места: распад имперской метагеографии в фильме Александра Сокурова «Дни затмения»	369
--	-----

Глава 17. Приближение к Югу: черноморский текст русской литературы и сопространственность геокультур	390
--	-----

Заключение	450
------------------	-----

Приложения 455

<i>Приложение 1.</i> От Скифии к Рифейским горам: образные источники Восточной Европы (Рецензия на книгу: А. В. Подосинов. Восточная Европа в римской картографической традиции. Тексты, перевод, комментарий. М.: Индрик, 2002. 488 с.)	455
--	-----

<i>Приложение 2.</i> Империя пустоты: в поисках утраченной периферии (Рецензия на книгу: Edith W. Clowes. Rus- sia on the Edge: Imagined Geographies and Post-Soviet Identity. Ithaca and London: Cornell University Press, 2011. XVIII + 179 p.)	460
---	-----

ВВЕДЕНИЕ

Зачем эта книга?

Евразийский дискурс в современной России обладает достаточно устоявшимися топосами и концептуальными основаниями, восходящими преимущественно к корпусу ключевых работ евразийцев 1920–1930-х гг. Несмотря на серьёзные содержательные различия в когнитивных установках (включая критическое отношение к наследию евразийцев), большая часть исследователей ориентирована, как правило, на уже достаточно давно сложившиеся особенности методологического и теоретического аппарата в этой области. Несомненно также, что основные проекции евразийских идеологических и научных установок ориентированы главным образом на политические, геополитические, экономические, геоэкономические, а иногда и на социальные и культурные аспекты данной проблематики. Наконец, понятие Большой Евразии, довольно популярное в сфере прикладных геополитических и геоэкономических штудий, также, вполне очевидно, восходит к основополагающим работам евразийцев – естественно, с поправками на современные глобальные реалии.

Задача этой книги находится в несколько иной методологической плоскости. Если Северная Евразия и её территориальное ядро – Россия – по сути, объект нашего исследования, то предмет – геокультуры и метагеографии данного макрорегиона в процессе их становления, чем до сих пор никто практически не занимался. Новый подход даёт возможность увидеть иные аспекты и контексты привычной евразийской тематики и в то же время углубиться в фундаментальную, в том числе онтологическую проблематику формирования евразийской феноменологии. Кроме того, понятие планетарности в приложении к геокультурным и метагеографическим образам становления Северной Евразии позволяет более системно или комплексно

осмыслить значимость макрорегиона в развитии планетарных образов Земли в целом.

По сути дела, речь здесь – о разработке нового методологического инструментария, с помощью которого можно будет исследовать проблемы глубинных трансформаций планетарных макрорегионов со своей геокультурной и метагеографической спецификой, со своими дискурсивными сопространственностями, способствующими созданию тех или иных трансграничных картографий воображения. Северная Евразия в данном случае – крайне интересное и своеобразное геокультурное и геоисторическое поле, аккумулирующее в себе мощный и в то же время очень сложный трансграничный потенциал. Вообразить Россию в этом контексте означает найти наиболее важные и эффективные пути расширения её геокультурного и метагеографического пространства, позволяющего в конечном счёте отождествить Россию и Северную Евразию, хотя в когнитивном плане можно говорить, скорее, о геостратегии бесконечного приближения к условно идеальному образу Северной Евразии – постоянно меняющемуся и трансформирующемуся в своих ментальных и геокультурных очертаниях.

**Работа с новыми понятиями:
Северная Евразия как когнитивное поле
для методологических инноваций**

Высокое геокультурное разнообразие северо-евразийского пространства, сложная морфология природных, этнических, политических и культурных границ создают предпосылки для развития методологических инноваций. Такие инновации должны иметь системный характер, объединяя связанные между собой концепты. Здесь в качестве ключевых инновативных концептов используются понятия геокультуры, геокультурного ассамбляжа, метагеографии, картографии воображения и сопространственности, формирующие концептуальную сеть или «когнитивную ризому».

Конечно, все эти концепты используются в особой интерпретации, применительно к тем проблемам, которые исследуются в книге. В любом случае, я многим обязан Мартину Хайдеггеру – в том, как он исследовал онтологии пространственности; Фернану Броделю, чьи геоисторические работы до сих пор поражают глубиной видения пространственной динамики макрорегионов (он умел увидеть, как «изобретаются» огромные пространства – будь то Средиземноморье или же Сибирь); Жилю Делёзу и Феликсу Гваттари – за их пионерные концепты ризомы, ассамбляжа, детерриторизации и ретерриторизации, геофилософии; Иммануилу Валлерстайну – «открывшему» замечательное понятие геокультуры, работающее в очень широком междисциплинарном диапазоне. Как бы то ни было, мне пришлось в течение примерно тридцати лет заниматься собственной «сборкой» концептуальной «машины», прилаживая и подтачивая её детали.

Пожалуй, «двигателем» этой машины является понятие сопространственности. Изобретённое ещё в начале XIX века, оно оказалось в забвении почти на два века, уступив базовому для эпохи Модерна дискурсу современности. Поздний Модерн и особенно Постмодерн, так или иначе, создали концептуальную и методологическую «почву» для возвращения концепта пространства и его дериватов в дискурсивный мейнстрим XXI века. Понятие сопространственности пока ещё очень слабо используется в междисциплинарном гуманитарном и научном дискурсе. Эта книга – попытка привлечь внимание к перспективному дискурсу, дающему возможность совершенно иначе, по-другому интерпретировать закономерности планетарного и локального развития, создавать новый концептуальный кластер, с помощью которого могут быть открыты новые образы и реалии (транс)человеческой планетарности.

Евразия как сложный геокультурный ассамбляж

Евразия – ключевой материк Земли. И не только в силу своего физического размера, обилия природных ресурсов, ци-

визационного и геокультурного разнообразия¹ – в силу также того, что одна из его оконечностей, Европа – родина Запада в широком историко-культурном и геополитическом смыслах. По сути дела, Земля как планета «пропитана» Евразией и её архетипическими интенциями; религиозными, мифическими, метафизическими, политическими, языковыми инспирациями. «Языки» Евразии, евразийские «ризомы» определяют доминирующие планетарные образы.

В геокультурном и геополитическом отношении Большая Евразия, с нашей точки зрения, охватывает также Северную Африку, Австралию, Новую Зеландию и большую часть тихоокеанских архипелагов, а также и Канаду. Соединенные Штаты Америки, скорее всего, не только европейский, но и – евразийский «выброс», протуберанец, ставший со временем автономным «постевразийским» геокультурным материком. Этот новый геокультурный материк пытается, начиная с середины XX века, «вернуть» себе своё евразийское происхождение, становясь «троянским конём» для вновь формирующихся евразийских планетарностей. Традиционные «хтонические» онтологии Евразии «подтачиваются» идеологическими и метафизическими вызовами «пост-Евразии», но одновременно и совершенствуются, модифицируются, мучительно трансформируются под этим масштабным натиском. Евразия становится «туманностью» сингулярных геокультурных множеств ризоматического типа, стремящихся создать, оформить, распространить свои собственные планетарные стратегии, первоначально зависимые от «постевразийских» вызовов и их коннотаций.

Мета-Евразия формируется как сложный расширяющийся геокультурный ассамбляж, структуры которого являются нечёткими множествами. Элементы этого постоянно трансформирующегося ассамбляжа создают свои картографии планетарного воображения², взаимодействующие и конфликтующие между

¹ *Замятин Д. Н.* Геокультура: образ и его интерпретации // Социологический журнал. 2002. № 2. С. 5–12.

² *Замятин Д.* Онтологии картографии: географическое воображение и планетарность // Логос. 2022. № 6. С. 183–202.

собой и способствующие когнитивному обновлению ключевых образов-архетипов Евразии. Ядрами вновь возникающих, пока ещё плохо различимых перспективных евразийских картографий воображения планетарного уровня становятся Россия, Китай, Индия и, возможно, ближневосточно-североафриканский геокультурный конгломерат¹. Европа, в свою очередь, бывшая в течение Нового времени цивилизационным и геокультурным «хедлайнером» всей Евразии, вынуждена «сжиматься» и активно пересматривать, перерабатывать свою картографию воображения, чья ранняя по мир-системным историческим меркам планетарность теперь пока оказывается под вопросом².

¹ Вполне возможно, что Южную Америку и большую часть Африки (кроме Северной) можно рассматривать как единый, хотя и крайне мозаичный геокультурный ассамбляж планетарного уровня, исходя из некоторого сходства типовых культурных ландшафтов и и локальных геокультур, сочетающих архаические, современные и постсовременные черты.

² Ср. фрагмент из романа немецкого писателя Арно Шмидта «Брандова пуца» (1951): «...Даже на уровне индивидов это неприятное зрелище – когда они не умеют с достоинством стареть: насколько же более неприятное, когда речь идёт о народах! Такой недостойный вид являла уже Германия Гитлера; в настоящий момент снова являет в сгущенном и достаточно гротескном варианте, ее советская зона: а в конечном счете будет являть вся Европа. Если только не откажется наконец от притязаний на руководящую роль в мире (уже 100 лет как сомнительных, а в последние 50 – прямо-таки смехотворных) и не удовлетворится тем, чтобы просто передавать свои языки и традиционные культурные ценности преемникам с Востока и Запада – в настолько неповрежденном виде, насколько это еще возможно; если, далее, не свернет промышленность и – посредством радикальнейшего ограничения рождаемости – не сократит население на 200 миллионов. Европа как Эллада/Швейцария Земли: вот все, к чему, если говорить по справедливости, мы еще вправе стремиться; но, боюсь, мы уже не добьемся ни этого, ни даже возможности спокойного вымирания: через 20 лет картина будет ясна» (пер. с нем. Т. Баскаковой) (Шмидт А. Ничейного отца дети: Из жизни одного фавна. Брандова пуца. Черные зеркала. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017. С. 255–256). Несколько позднее, в своем рассказе «Гёте и один из его почитателей» (1958), Шмидт высказал эту же мысль более кратко и афористично: «Искусственно-ненатуральный перевес маленькой Европы – собственно, северо-западной окончности Азии! – уже на две трети преодолен; после следующей войны она окончательно станет для мира тем, чем сейчас для Европы является «Эллада»: археологически=трогательно лелеемой колыбелью духа» (пер. Т. Баскаковой) («Ничейного отца дети», с. 330).

Метагеографические оси Евразии и специфика геокультурного развития Северной Евразии

Возможные метагеографии Евразии формируются на основе двух долговременных метагеографических осей, пересекающих с северо-запада на юго-восток западную и восточную части материка¹. Если западная, евро-индийская ось сравнительно древняя по своему происхождению – благодаря различным геокультурным, языковым, религиозным, политическим и экономическим взаимодействиям Средиземноморья, Леванта, Месопотамии, Западной Европы, Индии – то восточная, российско-китайская ось пока проявлена достаточно слабо, в силу известной геокультурной и цивилизационной отдалённости двух её ключевых элементов. Эти метагеографические оси представляют собой ментальный геокультурный субстрат, на котором могут развиваться и трансформироваться потенциальные, вариативные метагеографии, в том числе включающие в себя конструктивные элементы обеих осей. Геокультурные, демографические и политико-экономические изменения планетарного характера могут способствовать как сближениям, так и расхождениям (деформациям) евразийских метагеографических осей, что может вести к возникновению неординарных, необычных локальных метагеографических контуров и, соответственно – неординарных картографий воображения.

Очевидно, что Северная Евразия как целостный и динамичный геокультурный ассамбляж довольно проблематична: с одной стороны, Россия как её ключевое «ядерное» метагеографическое воображаемое представляет собой, скорее, «плавающее означаемое», а соответствующая цивилизационная платформа пока не порождает автономных и стабильных картографий воображения планетарного характера; с другой стороны, очень высокая геокультурная мозаичность Северной Евразии оказывается «растянутой» между двумя метагеографическими осями Евразии, что осложняет выработку, создание целенаправленных, «энергетически» мощных геокультурных паттернов, спо-

¹ См. более подробно: Часть 1, гл. 4.

собствующих формированию единого образно-символического пучка или кластера «высказываний» (дискурсивного кластера), влияющих на развитие материка и Земли в целом¹. Тем не менее, Россия остаётся, по сути, одним из важнейших онтологических «месторождений» (или месторазвитий, по Петру Савицкому) планеты, потенциальные «геокультурные запасы» которого могут определить как ближайшее, так и отдалённое развитие метагеографий Евразии.

Уже упомянутая высокая геокультурная мозаичность России и Северной Евразии в целом – по всей видимости, вполне планетарного уровня – означает широкие возможности сопространственного развития различных геокультур, даже в первичном, чисто комбинаторном плане. Геокультурная сопространственность понимается здесь, в первую очередь, и как потенциальная возможность, и как динамичная «энергетическая» реальность социокультурного, идеологического, ментального взаимодействия различных территориальных сообществ, заинтересованных в выстраивании совместных геокультурных паттернов и образно-символических форм для целенаправленного создания новых планетарностей, имеющих значимость для отдельных макрорегионов планеты и одновременно для Земли в целом. Другими словами, всякая сопространственность предполагает когнитивную «возгонку», гипостазирование уже существующих геокультурных образов, интенсивное метагеографическое конструирование и разработку инновационных картографий воображения, «претендующих» на оригинальное планетарное видение – исходя из конкретной трансцендирующей локальности, становящейся в то же время трансграничной и пан-локальной².

¹ См. более подробно: Часть 1, гл. 1.

² См. более подробно: Часть 1, гл. 5.

Геокультурные сопространственности и метагеографические структуры Северной Евразии

Если говорить о целенаправленной разработке геокультурных сопространственностей, связанных с Россией и Северной Евразией в целом, то следует обратить внимание, в первую очередь, на регионы, уже сформировавшие свои локальные мифологии и – как следствие – достаточно мощные географические (геокультурные) образы и соответствующие территориальные идентичности. К ним, прежде всего, относятся Центральная и Черноземная Россия, Русский Север и Урал. Если Центральная Россия и Центральное Черноземье сложились как «ядерные» регионы России в течение XVII–XIX веков (и русская литература в XIX веке фактически «зафиксировала» эти образы в произведениях Тургенева, Толстого, Лескова, Григоровича, Эртеля, Бунина и других писателей), то Русский Север и Урал «проявили» себя несколько позднее, в конце XIX – первой половине XX века (опять-таки, прежде всего, в литературных произведениях – Писахова, Шергина, Мамина-Сибиряка, Бажова)¹. Важно также отметить, что именно Русский Север и Урал стали к середине XX века важными элементами в потенциальном метагеографическом конструировании восточно-евразийской оси в сторону Китая, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии².

Юг России, будучи поясом пограничных регионов на стыке с другими, подчас контрастными в геокультурном отношении регионами и государствами (прежде всего, с Кавказским,

¹ См. более подробно: Часть 1, гл. 3.

² См. более подробно: Часть 2, гл. 8, 9. Здесь важно отметить также и роль Скандинавии как крайнего северо-западного элемента данной метагеографической оси – её интенсивное геокультурное становление происходило во второй половине XIX – начале XX вв. (прежде всего, в рамках поиска национальных идентичностей скандинавских стран); соответственно, Скандинавский Север оказался фактически первым в формировании будущей метагеографии Северной и Восточной Евразии – хотя одновременно можно говорить и о его геокультурном тяготении к евро-индийской (западно-евразийской) метагеографической оси.

крайне мозаичным и сложным и неоднородным в этническом и политическом отношении геокультурным макрорегионом), формировал свою территориальную идентичность и «веер» геокультурных образов сравнительно поздно, в течение всего XX века, и лишь глобальные геополитические пертурбации, связанные с распадом СССР и его последствиями, ускорили к началу XXI века становление его ключевых геокультурных образов. Вместе с тем, ещё в эпоху Российской империи, «греческий проект» Екатерины II (так и не реализованный, однако повлиявший на образно-географическую специфику присоединенных Крыма и южной Украины) и попытки интенсивного геокультурно-идеологического осмысления южных территорий, в рамках как просвещенческих, так и романтических представлений, вели к значимой актуализации античного европейского наследия Средиземноморья, приближавшего Россию к западно-евразийской метагеографической оси. Тем не менее, геокультурную значимость Юга России для метагеографического развития России и Северной Евразии не стоит преувеличивать, поскольку его метагеографическая «роль», скорее всего, заключается в образно-символической и онтологической проработке сложного западного участка глобального евразийского лимитрофного пояса, протянувшегося от Северной Африки, Балкан и Леванта до Монголии и Северо-Восточного Китая и Кореи.

Вполне очевидно, что метагеографическая структура Северной Евразии и России как её ядра в геокультурном плане асимметрична, поскольку сложная геокультурная мозаичность Зауралья – Сибири и Дальнего Востока – остаётся пока не проработанной и не осмысленной по-настоящему, включая также поиски переходных трансграничных сопространственностей в сторону Центральной и Восточной Евразии. Несмотря на то, что Россия осваивает Сибирь и Дальний Восток в исторической ретроспективе достаточно давно, это освоение носило и во многом до сих пор носит внешне колониальный или же постколониальный характер, что проявляется в преимущественной добыче природных ресурсов и в сравнительно слабом пока формировании комплексных образно-символических и мифо-

логических идентичностей этих территорий¹. Естественно, что перспективное становление восточно-евразийской метагеографической оси, важное для метагеографического «самоопределения» Северной Евразии, требует её планетарного «сдвига» на восток, что связано, безусловно, с известной «болезненностью» постепенного геокультурного отдаления России от европейско-средиземноморского цивилизационного круга². Наряду с этим, оказываются крайне важными процессы «нащупывания» локальных трансграничных геокультурных сопространственностей с регионами и странами Центральной и Восточной Евразии, основанных, в том числе на фактических историко-культурных связях (в первую очередь, в Казахстане и Средней Азии, на Алтае, в Монголии, Северо-Восточном Китае).

Несколько иными оказываются проблемы развития геокультурных сопространственностей на северных и северо-восточных границах Евразии. Здесь геокультурная трансграничность оказывается гораздо более сложной в онтологическом «измерении», поскольку картины мира коренных малочисленных народов Арктики и Дальнего Востока в результате колониционных и деколонизационных процессов подверглись, с одной стороны, значительным содержательным искажениям, деформациям, а, с другой стороны, они стали мощным фактором геокультурной ретерриториализации этих территорий в условиях очевидного распада Модерна. Наряду с этим, гибридная природа смешанных и взаимодействующих сухопутных-и-морских геокультур является дополнительной онтологической трансграничностью, определяющей и направляющей как планетарные вызовы этим окраинам Евразии, так и способствующей когнитивной интенсификации образно-геокультурного поля и возникновению принципиально новых мета-трансграничных картографий воображения³.

¹ Более подробно: Часть 2, гл. 9, 10.

² Более подробно: Часть 1, гл. 2.

³ Более подробно: Часть 2, гл. 10, 11.

Российские художественные метагеографии и становление трансграничных геокультурных картографий воображения Северной Евразии

Формирование метагеографических карт Северной Евразии во многом зависит от сферы художественного воображения, в которой создаются, творятся основополагающие геокультурные интенциональности. Именно они репрезентируют, зачастую в латентном, не видимом стороннему наблюдателю / читателю виде ключевые геокультурные образы вкупе с их онтологическим «субстратом», определяющие в дальнейшем развитие масштабных региональных мифологий, территориальных идентичностей и стереотипы традиционных ландшафтных перцепций. Большинство подобных геокультурных интенциональностей исторически базировалось на преимущественно вербальных произведениях, создаваемых в «логоцентрических» обществах – литературных, философских, идеологических, путевых или же политических текстах (значимость визуальных репрезентаций, основанных на живописных, графических и картографических произведениях, также была важна, однако носила во многом иллюстративный по отношению к господствовавшим вербальным дискурсам характер) – однако с течением времени, в эпоху зрелого и позднего Модерна с его технологическими достижениями, существенно увеличивается роль визуальных произведений (фотография, кино, телевидение) – в эпоху социальных сетей, вирусных визуальных мемов и роликов эта роль становится фактически доминирующей и одновременно «гротескной», отодвигая на задний план былую значимость литературоцентричности или же ориентацию на традиционный живописно-графический медиум искусства. Тем не менее, долговременные вербальные и старые визуальные геокультурные паттерны могут быть ещё достаточно влиятельными, транслируясь и «транслитерируясь» как в сферах образования, медиа и пропаганды, так и перерабатываясь благодаря инновационным коммуникативным форматам в новых социальных медиа.

Российское геокультурное пространство обладает многими художественно-онтологическими реперами, характеризующими метагеографическую специфику Северной Евразии. Естественно, что она представлена преимущественно литературно, хотя приблизительно с начала XX века это литературноцентричное доминирование стало уменьшаться, когда фотография и кино становятся мощными медиумами, благодаря которым рождаются доселе непредставимые визуальные геокультурные образы. Если говорить лишь о XX веке, рассматривая значимость российских художественных метагеографий, в том числе и потенциально планетарного характера, для становления геокультурных сопостранственностей Северной Евразии, то к таковым, безусловно, можно отнести произведения Александра Блока, Велимира Хлебникова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Андрея Белого, Андрея Платонова, Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Геннадия Айги (список может быть продолжен). Зачастую эта значимость является неочевидной, скрытой, что требует соответствующих геокультурных и метагеографических исследований и интерпретаций¹. Тем не менее, можно сказать, что Велимир Хлебников стал, по сути, первым северо-евразийским поэтом и писателем визионерского плана, создававшим художественные образы Евразии планетарного уровня.

Если Велимир Хлебников работал с огромными звуковыми «глыбами» языка, строя из них миры и пытаясь нащупать законы времени как пространственные конфигурации и движения, которые формируют метагеографии Евразии², то Александр Блок, скорее, просто «слушал время», его звучание и исторические обертоны – в них он хотел расслышать, прежде всего, судьбу России в кризисную эпоху, охватившую также и Европу, перестававшую быть цивилизационным ориентиром для Северной Евразии. Ощущение тяжелых времён для России в её чисто европейском «изводе», хорошо читаемое уже в

¹ См. более подробно: *Замятин Д.Н.* Гунны в Париже. К метагеографии русской культуры. СПб.: Алетей, 2016.

² Более подробно: Часть 3, гл. 12.

поэтическом цикле «На поле Куликовом», перерастает у поэта в революционную эпоху 1917–1918 гг. в глубокую, интуитивную «музыкальную» («Слушайте музыку революции») уверенность в повороте России на восток, в сторону материковой Евразии¹. Хотя очень скоро Блок разочаровался в деятельности большевиков, пришедших к власти, его глубинные метагеографические интуиции, вне зависимости от конъюнктурных политических трансформаций, остаются верными – затянувшийся онтологический кризис России как «европейской страны» должен, так или иначе, завершиться формированием идеологических основ геокультурного сопостранственного ассамбляжа северо-евразийских идентичностей.

Масштабные евразийские ландшафтно-типовые локусы – речные, морские, лесные, степные, пустынные, горные – могут быть ярко репрезентированы в художественных произведениях, становясь тем самым ключевыми вербальными или визуальными геокультурными образами и символами больших и «трудных» пространств². Русская культура сумела сотворить, создать множество подобных образов – в литературе, живописи, музыке, кино. Среди самых важных – романы «Тихий Дон» Шолохова, «Чевенгур» Платонова и «Между собакой и волком» Саши Соколова, стихотворения Айги, музыка Римского-Корсакова, кинофильмы «Андрей Рублёв» Тарковского и «Дни затмения» Сокурова. Конечно, речные образы «Тихого Дона» и «Между собакой и волком» совершенно различны, развиваясь в разных идеологических коннотациях – тем не менее, их сложное, многообразное геокультурное «наполнение» позволяет говорить их несомненной значимости для образной метагеографической карты Северной Евразии.

Ещё более разнятся между собой – и онтологически, и геоидеологически – образы пустыни, порождаемые произведениями Андрея Платонова («Чевенгур», «Ювенильное море», «Джан») и, например, кинофильмом «Дни затмения» Александра Сокурова. Плотные платоновские тексты по-своему «ге-

¹ Более подробно: Часть 3, гл. 13, 15.

² Более подробно: Часть 3, гл. 14.

оморфологичны», они как бы движутся в Центральную Азию благодаря какой-то внутренней «пустынной» геокультурной интенциональности, в которой политические и исторические обстоятельства происходящих событий оказываются вторичными по отношению к глубинным, онтологическим ландшафтным *со-бытиям*. Совсем иное ждёт зрителя в «Днях затмения»: засасывающий своей однообразной бытовой ритмикой позднесоветский среднеазиатский ландшафт становится постепенно мощным художественным символом распада советской империи, как бы расставляя знаки утраты непосредственных идеологических смыслов обветшавших колониальных практик¹. Но и там, и там можно всё-таки обнаружить общее: геокультурные сопостранственности могут быть как ландшафтно-резонирующими (в случае Андрея Платонова), так и геоидеологически-диссонирующими (в случае Александра Сокурова), создавая, тем не менее общий онтологический «субстрат» для дальнейших возможных геокультурных взаимодействий – тем более, что здесь речь идёт о контактных трансграничных зонах Северной и Центральной Евразий.

Северо-евразийские планетарности и новые способы онтологизации пространственности

Наконец, симультанность множества отдельных художественных произведений, репрезентирующих обширные трансграничные переходные геокультурные регионы Северной Евразии, может действительно формировать масштабные ландшафтные сопостранственности, позволяющие рассматривать их как узловые, фокусные «точки роста» земной планетарности. Такие «точки роста» могут оказываться в дальнейшем источниками геокультурной «фрактальности», своеобразной онто-пространственной и образно-символической волной, мультиплицирующей свою энергетику в потенциальном возникновении новых планетарных геокультурных «точек роста».

¹ Более подробно: Часть 3, гл. 16.

В качестве источника мощных художественно-ландшафтных сопространственностей, формирующих энергетически интенсивную геокультурную «точку роста» на юго-западе Северной Евразии, можно выделить, например, Северное и Восточное Причерноморье.

Чёрное море и его побережья – хороший пример первоначально маргинальной в историко-географическом отношении геокультурной зоны на стыке Средиземноморья, Передней Азии, Кавказа, Восточной Европы, христианства и ислама, имперских и полисных политий, западного и азиатского способов производства (в марксистском контексте) – становящейся постепенно к концу II тысячелетия н.э. одним из важнейших трансграничных регионов Северной Евразии, продуцирующим очень разные геокультурные образы, в зависимости от языков, культур, стран, религий, ландшафтов, территориальных сообществ, взаимодействовавших и взаимодействующих здесь. Так, русская литература, сравнительно поздно по европейским и ближневосточным историческим меркам вышедшая на черноморские рубежи, в течение XIX–XX вв. сумела разработать мощные локальные геокультурные тексты – крымский, одесский, кавказский – которые к началу XXI века становятся основой для более мощного черноморского текста русской литературы, оказывающегося трансграничным в условиях взаимодействия множества черноморских культур и литератур¹. Из множества значительных и важных литературных произведений «кристаллизуются» архетипические ландшафтные образы этого региона, созвучные и сопространственные как «материнской» геокультуре, так и геокультурам соседним, создающим и творящим свои оригинальные ландшафтные образы. Благодаря интенсивным геокультурным процессам (развитию которых могут мешать политические и экономические конфликты и разногласия), Черноморский трансграничный регион может в исторической перспективе формироваться уже как геокультурная «точка роста» планетарного уровня, объединяющая Север-

¹ См.: Часть 3, глава 17.

ную, Западную и Центральную Евразию, а в дальнейшем, возможно, индуцирующая новые потенциальные «точки роста».

Органичная, естественная трансграничность практически любой геокультурной сопространственности означает, что всякий масштабный геокультурный регион оказывается международным как с внутренней, так и с внешней точки зрения; в то же время он в своём развитии динамичен, поскольку множество и разнообразие этносов, народов, национальностей (здесь мы намеренно смешиваем разные этнологические и антропологические понятия), множество разнородных культурных ландшафтов, бесконечное множество сложных социальных отношений, возникающих в различных геокультурных средах, так или иначе ведёт к порождению специфических локальных, региональных пульсирующих геокультурных ритмов, формирующих и «формирующих», в свою очередь, «пучки» или кластеры соответствующих сопространственностей разных масштабов, чьи взаимодействия, конвергенции, дивергенции или же когерентности (если использовать «волновую» теорию) способствуют формированию множества «ризоматических» (по Делёзу и Гваттари) метагеографий, накладывающихся друг на друга или же «просвечивающих» одна сквозь другую¹. Евразия в этом смысле является, пожалуй, наиболее сложным планетарным случаем, однако именно это позволяет ей оставаться до настоящего времени безусловным мета-планетарным центром Земли, «излучающим» и распространяющим всё новые и новые способы онтологизаций пространственности, совмещающие совершенно различные геокультурные миры и эпохи.

¹ См. в связи с этим также: *Гачев Г. Д.* Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. М.: Институт ДИДИК, 1999; также другие его работы по национальным и региональным образам мира.

Благодарности

Великолепные, логически «отточенные» теоретико-географические работы Бориса Борисовича Родомана, а также многолетнее личное общение с ним стали для меня тем первоначальным базисом, благодаря которому я сумел сформулировать свои ключевые задачи в метагеографии и в геокультурных исследованиях. Я благодарен Валерию Александровичу Подороге (1946–2020) – он научил меня мыслить пространство и пространственности в онтологических модусах. Крайне плодотворным для меня было творческое общение с Вадимом Леонидовичем Цымбурским (1957–2009): его неординарное, масштабное геополитическое и геокультурное мышление помогло мне осмыслить сложные проблемы геокультурного и метагеографического развития России-и-Северной Евразии. В течение долгого времени было и остаётся важным для меня общение с Михаилом Васильевичем Ильиным, чьи работы по геополитическому и геодивизиационному структурированию Евразии способствуют постоянному концептуальному расширению и развитию этой проблемной области. Александр Иванович Неклесса помог мне осознать концептуальные смыслы развития макрорегиональных структур и платформ в контексте глобальных проблем человечества. Детальные и содержательно выверенные исследования социологии пространства, проведённые Александром Фридриховичем Филипповым, а также и личное общение с ним позволили мне глубже разобраться в специфике междисциплинарных пространственных дискурсов.

Я благодарен всем моим якутским коллегам, с которыми мы вместе создавали Лабораторию комплексных геокультурных исследований Арктики в Арктическом институте культуры и искусств (г. Якутск) – прежде всего, Екатерине Назаровне Романовой, Вере Семеновне Никифоровой, Алексею Семеновичу Романову, Наталье Ксенофоновне Даниловой. Наше совместное творчество в открытом геокультурном поиске было и остаётся поистине сопостранственным; – оно стало для меня важным стимулом в дальнейших исследованиях северо-евра-

зийских идентичностей и их образно-географических интерпретаций.

Благодарю также научного руководителя факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики» Михаила Яковлевича Блинкина, декана факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики» Евгения Константиновича Михайленко и руководителя Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Руслана Вячеславовича Гончарова за создание благоприятных профессиональных условий для моей работы над этой книгой.

ЧАСТЬ 1.

РОССИЯ И СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ: ПРОБЛЕМА ПЛАНЕТАРНОЙ ГЕОКУЛЬТУРНОЙ «СБОРКИ»

Глава 1. Вообразить Россию. Географические образы и пространственная идентичность в Северной Евразии

Образные географии России: на пути к Северной Евразии

География воображения, имагинальная, или образная география – ментальное порождение эпохи модерна в самом широком смысле; постмодерн лишь по-настоящему осознал эту проблематику – в отличие от предыдущей исторической эпохи – и «перевел игру в миттельшпиль», то есть заострил самые важные и существенные вопросы в рамках образно-географического мышления. По сути дела, в контексте процессов глобализации/глокализации/регионализации – как бы к ним ни относиться – страна, регион, территория могут существовать и очень часто фактически уже существуют в разнообразных коммуникативных и коммуникационных полях как мощные или слабые, сложные или простые, широкие или специализированные виртуальные образы, от продвижения, развития, формирования которых непосредственно зависят политика, экономика, социальные отношения, культурные репрезентации страны или территории¹. Мы склонны употреблять здесь

¹ *Замятин Д.Н.* Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак, 2006.

понятие географического образа – постольку, поскольку именно конкретное географическое пространство, со всеми его социокультурными, художественными, политико-экономическими коннотациями задаёт в основном параметры, условия репрезентации и интерпретации практически всех возможных в данном месте и в данное время дискурсов.

Нет сомнения, что постмодерн и соответствующие ему социокультурные процессы глобализации «работают» с множествами, множественностью, вариативностью – как категориями и конструктами, обеспечивающими наиболее адекватное историко-географическое видение¹. Иначе говоря, в типологическом плане мы можем говорить о некоей единой образной географии страны или региона, но в феноменологическом аспекте приходится говорить о некоторых множествах образных географий, описывающих и характеризующих онтологическое со-стояние и со-бытие страны². Если задаться классическими сюжетными постановками в рамках субъект-объектных отношений и диспозиций, то приходится заметить, что именно поле фактически субъектных образных географий стремится к условной феноменологической оптимизации в виде нескольких признанных, хорошо «пригнанных друг к другу» и широко представленных господствующими коммуникативными способами географических образов, постоянно воспроизводящихся в контекстах тех или иных властных дискурсов. Иначе говоря, образные географии страны могут как бы разбегаться благодаря все новым и новым, чаще всего индивидуальным или узко групповым социокультурным репрезентациям и творческим актам, и, одновременно, сгущаться, собираться, сосредотачиваться некими ментальными, знаково-символическими «сгустками», прото-ядрами, чье существование может обозначать некую условную волю к образам (иногда хорошо просматрива-

¹ Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи. М.: Культурная революция, 2006; *Bauman Z. Liquid Modernity. Cambridge: Polity, 2000.*

² Ср.: *Soja E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social theory. London: Verso, 1990.*

ящуюся *postfactum*, но, по большей части, являющуюся своего рода констелляцией отдельных знаково-символических усилий).

Не отвергая, а, по сути, развивая цивилизационное видение и цивилизационную интерпретацию такой постановки вопроса, сконцентрируем наше внимание на способах дискурсивных построений, обеспечивающих определенное «волновое» представление образных географий страны – в нашем случае России. Базовые цивилизационные установки в отношении России представляют собой, с нашей точки зрения, концептуальный консенсус, состоящий из трех основных положений: Россия является достаточно автономной цивилизацией; Россию можно рассматривать как цивилизацию-спутник европейской цивилизации, многим обязанную именно европейской цивилизации; Россия вполне воображима как цивилизация-государство, в рамках которой подавляющее большинство возможных социокультурных и политико-экономических дискурсов осмысляются посредством перевода в доминирующие способы репрезентаций как государственные, «государственнические» или парагосударственные¹. Исходя из этого, воображение пространства России и в России связано, безусловно, с проблематикой европейских дискурсов воображения пространства²; власть и образы пространства в России чаще всего объединены достаточно типовыми репрезентациями и дискурсами государственного или парагосударственного характера; наконец, главный вопрос воображения пространства России состоит в следующем: как российская цивилизация-государство может обеспечить, создать, поддерживать достаточно автономные образно-географические дискурсы, идентифицирующие ее ци-

¹ Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007.

² Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006; Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004; Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008.

визационную уникальность, дистанцирующие ее от других цивилизаций, и – легитимирующие ее как коммуникативную целостность в мировом пространстве цивилизаций?

Что же значит: вообразить Россию? Россия сама по себе не является сколько-нибудь значимым образно-географическим проектом для тех или иных социокультурных сообществ – на ее государственной территории, или за ее пределами. В то же время Россия не является масштабной знаково-символической конструкцией, создаваемой на базе неких общих, генерализованных представлений об ее географии – физической, экономической, политической, культурной. С нашей точки зрения, вообразить Россию – значит вообразить «разбегание», расширение, всевозможные трансформации и взаимодействия тех географических образов, которые создаются, строятся, разрабатываются, творятся как исключения из общих географических предпосылок представления о России; иными словами, чтобы вообразить Россию, нужно упаковать, свернуть, сосредоточить все возможные экзогенные географические представления максимально плотно в знаково-символическом смысле, и, тем самым, попытаться породить, с помощью «образного сжатия» и, может быть, «образно-географического взрыва», новые образно-географические дискурсы, не учитывающие в своем генезисе и развитии существования друг друга – они сосуществуют, они «видят» друг друга, но лишь в том пространстве, которое они создают своим собственным «разбеганием» друг от друга, своей собственной – неуничтожимой и неотменяемой – метапространственной трансверсальностью.

Что же является той ментальной «меткой», которая поможет нам обнаружить подобное образно-географическое «разбегание» и, следовательно, так или иначе, попробовать вообразить Россию? Мы можем рассчитывать в данном случае на понятие и образ Северной Евразии: как понятие, Северная Евразия «узаконена» традиционными географическими схемами и картографическими проекциями видения мира; как образ, географический образ, Северная Евразия до сих пор является полупустым отображением вполне европеизированных и

односторонних, однонаправленных знаково-символических конструкций, призванных хоть как-то описать *tabula rasa* малочисленных коренных народов, чьи географические образы практически либо не репрезентируемы, либо не репрезентированы в рамках внешних по отношению к ним коммуникативных дискурсов¹. Но речь не идет о том, чтобы просто заполнить какой-то пустой «образный ящик», ранее плохо использованный и маркирующий условное и безразмерное географическое пространство; следует говорить о том, что образные географии России – коль скоро они могут быть представимы и могут развиваться как самостоятельные ментальные поля – должны быть «озабочены» Северной Евразией как потенциальным ментальным пространством локальных мифологий и мифологических конструктов синкретического толка и «назначения»; в то же время, Северная Евразия может быть очень органичной, ёмкой когнитивно-географической оболочкой, когнитивно-географическим контекстом для многих образных российских географий, развивающих свою «северность» и «евразийскость» как некие вполне онтологические характеристики – без особого риска попасть в «прокрустово ложе» знаменитого образа России–Евразии 1920–1930-х гг.

Россия как цивилизация географических образов: проблема когнитивного моделирования

Пытаясь акцентировать внимание на проблематике условной ментальной воли к образам/географическим образам, приходится задуматься о той цивилизационной специфике России, которая, возможно, не описывается отмеченными ранее концептами. В сущности, пространство российской цивилизации – в той мере, в какой оно представимо в рамках любой со-

¹ Ср.: *Замятин Д.Н.* Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // *Восток*. 2004. № 1. С. 136–142; *Слёзкин Ю.* Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

циокультурной манифестации или репрезентации – обладает онтологической двойственностью: оно вполне образно и содержательно может быть описано и охарактеризовано внешними «наблюдателями» из иных, хотя бы и соседних, цивилизаций и культур; в то же время, оно может быть описано «изнутри» как пространство предстоящее, как бы еще незанятое и пустое – как пространство, постоянно ждущее «воли к освоению», и это освоение пространства становится часто некоей постоянной онтологической модальностью; российское пространство повсеместно находится, пребывает в стадии перманентного освоения, и тем самым, оно осуществляется в образном плане как пространство перехода и как лиминальное, пограничное, фронтальное пространство¹. Подобная пространственно-цивилизационная фронтальность может показаться вполне типологическим случаем – в сравнении, скажем, с латиноамериканской цивилизацией² – однако, слишком, может быть, затянувшаяся в масштабах европейского цивилизационного времени фронтальная история России (чего, кстати, всё же нет в рамках латиноамериканской цивилизации, там фронтальность укладывается во вполне западные по происхождению образы его преодоления и переживания) может подсказать нам, что внешняя фронтальность российских пространств – признак, возможно, совершенно иного типа цивилизационного осмысления и воображения собственного пространства.

Похоже, что, по крайней мере, со второй половины XIX века (хотя первые социокультурные симптомы могут относиться и к первой половине XIX века), российская цивилизация вырабатывает всё же постепенно определённые специфические географические образы, которые, с одной стороны, уже не являются простым продолжением и расширением европейского

¹ Ср.: *Замятина Н.Ю.* Зона освоения (фронталь) и ее образ в американской и русской культурах // *Общественные науки и современность.* 1998. № 5. С. 75–89.

² *Сейл Л.* Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки. М.: Прогресс, 1984; *Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасов.* М.: Аспект Пресс, 1998.

воображения (коим устойчиво «питалась» и воспроизводилась Россия весь XVIII век), а, с другой стороны, фиксируют постоянную ситуацию ментального «оконтуривания» условно пустых пространств, предполагаемых в будущем к освоению. Именно эта ментальная «неоконченность», незавершенность географических образов становится, видимо, в течение всего XX века «фирменным знаком» российских пространств, подтверждая тем самым их несомненную «российскость». Надо ли говорить, что географические образы неосвоенных/слабоосвоенных пространств вполне органично воспроизводились как по преимуществу образы Сибири и Дальнего Востока (реже – Урала и Русского Севера), что становилось серьёзной цивилизационной проблемой России, остававшейся в своём «государственническом» самосознании много западнее – как бы запаздывавшей в своей геоисториософии¹?

С большой уверенностью можно было бы говорить о конкретной цивилизационно-образной «шизофрении» России, если бы только по-прежнему доминировали и господствовали социокультурные представления европейского/западного Модерна. Однако когнитивная ситуация Постмодерна оказывается благоприятной для анализа ментально-цивилизационных «расщеплений», разделений и сосуществований, ибо само пространство становится предметом многочисленных пространственных спекуляций² – в силу чего географические образы могут рассматриваться как несомненное свидетельство цивилизационной идентичности уже сами по себе, вне жесткой зависимости от каких-то других цивилизационных признаков. Между тем, традиционные цивилизационные признаки, продолжающие устойчиво воспроизводиться какими-либо локальными сообществами (например, вполне ортодоксальные для России имперскость и православие), существуют в параллель-

¹ Ср.: *Замятин Д.Н.* Россия и нигде: географические образы и становление российской цивилизационной идентичности // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007. С. 341–367.

² *Слотердайк П.* Сферы. Макросферология. II. Глобусы. СПб.: Наука, 2007.

ных ментальных мирах, порождая параллельные образно-географические и ментальные карты.

Будущее становится идеей, получающей свои географические образы и представления – таков один из предварительных выводов Постмодерна. Россия, часто воображавшаяся уже в эпоху Модерна как страна будущего, начиная с Лейбница (причём это был по преимуществу европейский дискурс, с той или иной степенью успешности и оригинальности воспроизводившийся отечественными мыслителями), становится, так или иначе, цивилизацией географических образов – таких образов, которые призваны как бы вновь и вновь пересоздавать пространства, не поддающиеся строгому и последовательному ментальному картографированию Модерна¹. Возможно, основная цивилизационная сила и одновременно цивилизационная специфика России заключается в моделировании географических образов, выходящих за пределы традиционного пространственного воображения других цивилизаций – «пусковым крючком» выявления подобной цивилизационной спецификации стал Постмодерн.

Что же есть тогда Северная Евразия как пучок географических образов, долженствующих представить цивилизационную специфику России в её максимальной полноте и целостности? Это в любом случае пространство, не мыслимое Европой как самодостаточное и автономное – не в силу какой-то ментальной невозможности помыслить такое пространство, но по причине отсутствия устойчивой ментальной необходимости; образ Великой Тартарии был минимально необходим европейской цивилизации и в то же время достаточен ей для расширенного воспроизводства собственной идентичности, в рамках которой картезианские образы пространства играли хотя и важную, но не самую главную роль². Ментальный экран китайской цивили-

¹ Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

² Замятин Д.Н. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142.

лизации, оказывающийся мощным «противоходом» для чисто европейского воображения¹, позволяет говорить о том пространстве, которое «проскакивается» и «не замечается» Европой/Западом, и, одновременно, довольно безуспешно, «втягивается» в пространства Восточной и Юго-Восточной Азии.

Образно-географическое пространство Северной Евразии, возможно, открывается в рамках Постмодерна как метапространство, предоставляющее принципиально новые способы и дискурсы воображения; аналогия слишком прозрачна, однако открытие Америки также действительно изменило европейские дискурсы пространственности, обеспечив тем самым самую возможность разворачивания Модерна². Как бы то ни было, даже виртуальное возникновение таких параформальных географических образов, как Северо-Евразийская республика или же Северо-Евразийская Федерация, может помочь российскому цивилизационному воображению «сбросить», переработать образный балласт Модерна, сняв вполне чуждый и запоздавший национализм как когнитивное излишество распадающегося Модерна. Пучок географических образов Северной Евразии вполне может мыслиться как метапространство без строго национальных/националистических маркеров, как метапространство, собирающее признаки, символы, знаки «трудных пространств» (термин Вадима Цымбурского)³ и тем самым как

¹ Гране М. Китайская мысль. М.: Республика, 2004; Кобзев А.И. Особенности философской и научной методологии в традиционном Китае // Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Глав. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1988. С. 17–56; Малявин В.В. Китай в XVI–XVII веках. Традиция и культура. М.: Искусство, 1995; Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 года. М.: Памятники исторической мысли, 1995; Он же. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: МОНФ, 1999; Фишман О.Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв.). СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.

² Кайзерлинг, фон Г. Америка. Заря нового мира. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002; Бодрийяр Ж. Америка. СПб.: «Владимир Даль», 2000; Аинса Ф. Реконструкция утопии. Эссе. М.: Наследие, 1999.

³ Цымбурский В.Л. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006.

бы предлагающее идентифицировать себя с определённой цивилизацией – здесь-и-сейчас. Иначе говоря, собственно конкретный пространственный опыт, в его образно-географических результатах, версиях, манифестациях и может предстать в условиях Посмодерна как потенциал вновь развёртывающейся цивилизации.

По сути дела, даже образ самой российской цивилизации может быть, в конце концов, представлен как необходимая пространственная трансакция¹, посредством которой обретается, производится в ментальном плане метапространство Северной Евразии, чей дискурс в постмодернистском ключе может оказаться вне каких-либо цивилизационных рамок или натяжек, свойственных эпохе Модерна. Россия как образ цивилизационного перехода (фронттира) порождает необходимое количество и качество оригинальных географических образов; эти географические образы оказываются ментальной трансакцией, как бы снимающей сам цивилизационный фронтир; благодаря подобной геонимической операции, появляется метапространство, чья дифференциация может быть обусловлена сериями последовательных географических образов, определяющих событийность всех вновь возникающих ландшафтов и региональных идентичностей. Онтология цивилизаций вообще может оказаться в таком случае частной, локальной возможностью когнитивного моделирования ретроспективных географических образов, мыслимых как условно замкнутые ментальные миры.

¹ См.: *Замятин Д.* Геонимика: пространство как образ и трансакция // *Мировая экономика и международные отношения.* 2006. № 5. С. 17–19; *Он же.* Пространство как образ и трансакция: к становлению геонимики // *Политические исследования.* 2007. № 1. С. 168–184.

Россия как пространство-тело социальных практик: биологическая эволюция и память

Если попытаться осуществить «сдвиг на биологический уровень» (концепт Сергея Эйзенштейна)¹, то воображение страны/пространства предстаёт задачей не столько цивилизационного или культурного плана, сколько по-настоящему биологической «вехой», за пределами которой жизнедеятельность и жизнеустройство конкретных человеческих сообществ становится эволюцией с заранее наведёнными параметрами, имеющими в качестве и онтологического, и феноменологического оснований самоорганизующиеся географические образы. Пространственные идентичности, в таком случае, могут рассматриваться как продукты целенаправленных биологических эволюций, порождающих не только определённые биологические виды и их среды, но и их специфические пространственные реальности – как частные модификации и конфигурации более общих типологически географических образов². Локальные сообщества разрабатывают собственные пространственные идентичности как события и одновременно как органические части своей жизни, чьи образно-географические параметры являются, по сути, чистой биологией земного пространства в его топографической феноменологии.

Всякие вновь возникающие отдельные национальные и региональные истории, предполагающие столь же отдельные и своеобразные географии, включают в себе когнитивные ядра биологических приспособлений, адаптаций; эти ядра постоянно трансформируются, позволяя локальным воображениям выбирать те когнитивные траектории, которые обеспечивают на данный момент/ эпоху оптимальные биологические стратегии выживания, развития, расширения, экспансии. Если же

¹ *Эйзенштейн С.М. Метод. Т. 1. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002.*

² Ср.: *Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000; Он же. Разум и природа: Неизбежное единство. М.: КомКнига, 2007; Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.*

попытаться в первом приближении осмыслить те вариации развития человеческих сообществ, которые описаны и исследованы в рамках культуры Модерна (по крайней мере, на протяжении XVIII–XX вв.), то пространственные идентичности, вполне возможно, оказываются неким образным компромиссом между очевидным стремлением сообществ и отдельных личностей биологизировать пространственные среды, становящиеся конкретными социальными проектами, и наличием устойчивого, по всей видимости, глубинно-психологического фундамента (явившегося, возможно, предметом доисторического/догеографического консенсуса в рамках человеческих сообществ), предполагающего телесные характеристики земного пространства исключительно внутренними, интровертивными по отношению к любой могущей последовать когнитивной интерпретации¹. Иначе говоря, пространственные идентичности могут как бы накапливаться, нагнетаться соответствующими сериями художественных, научных, интеллектуальных осмыслений, социокультурных и социополитических проектов и манифестаций, оставаясь при этом всякий раз предметом индивидуального биологического выбора/решения.

Что же может значить подобный «сдвиг на биологический уровень» в контексте постоянно формулируемой и переформулируемой проблемы «Вообразить Россию»? Как бы то ни было, серии последовательных историй и географий России на протяжении XIX – начала XXI века представили страну как строго очерченное «ментальное тело»; «биология» российских пространств завязана в промежуточном итоге на пространственные идентичности, расположенные как бы вовне самих российских пространств. Ментальное перемещение, продвижение пространственных идентичностей вовнутрь как бы пустого или полупустого «тела» России может быть связано как раз с его интенсивной «биологизацией» как места разного рода социокультурных проектов локальных сообществ и личностей.

¹ Ср.: Юнг К. Символическая жизнь. М.: Когито-Центр, 2003; Кэмпбелл Дж. Мифический образ. М.: АСТ, 2002; Слотердайк П. Сферы. Макросферология. II. Глобусы. СПб.: Наука, 2007.

Образно-географическое картографирование в процессе подобной «биологизации» России будет означать формирование новых трансформированных пространственных идентичностей, заряженных на экстравертивные, открытые вовне социальные практики, являющиеся, по сути, этапом локальной биологической эволюции.

Нужно ли думать, что проблема «Вообразить Россию» является по преимуществу феноменологической – даже если осмыслять ее в рамках биологической эволюции? Точно также, как постоянно могут формулироваться проблемы «Вообразить Германию», «Вообразить Францию», «Вообразить Бразилию» и так далее – точно также возможно построение постоянно меняющихся доменов воображения, ориентированных на практически любые социокультурные проблемы как проблемы пространственных идентичностей. Однако, серии пространственных феноменологических опытов, проектов – так или иначе – всякий раз будут стремиться за пределы феноменологии, ускользая в сторону онтологий неразличимых телесных практик, которыми пространство разлагает свои собственные образы.

В сущности, именно телесные практики, выходящие за собственные пределы в качестве социальных репрезентаций, и обеспечивают минимально возможные локальные образы, становящиеся в дальнейшем, в ходе широких социально-проектных мультиплицирований, географическими образами стран. То, что, безусловно, даёт возможность подобных мультиплицирований – это мощные технологии закрепления и преобразования памяти/памятей, являющиеся изначально пространственными¹. Кино, видео, фотография, Интернет, визуальные искусства стали в эпоху Постмодерна тотальными простран-

¹ Ср.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007; Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999; Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004; Флюссер В. За философию фотографии. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.

ственными реальностями, заменяющими и закрывающими неэффективные способы опространствления памяти. Любая страна становится в таком случае своей собственной памятью о наиболее массовых пространственных реальностях, фиксируемых её географическими образами.

Итак, вообразить Россию приходится как пространство-тело социальных практик, репрезентируемых своей собственной биологической эволюцией в рамках генерализированного пучка географических образов Северной Евразии. Пространственные идентичности, формируемые подобным образно-географическим пучком, будут, скорее всего, постоянно дифференцироваться как в сторону несомненного упрощения («гладкие поверхности» массовых идентичностей типовых локальных сообществ), так и в сторону неожиданных локальных «взрывов» («сложные поверхности» анклавных сообществ, мыслящих своё «технэ» как оригинальный и неповторимый топографический опыт). Такие дифференциации опять-таки могут быть представлены или воображены как расходящиеся, раздвигающиеся пространственные поля, остающиеся, тем не менее, в процессе своего расширения всё-таки связными и коммуникативными.

Г л а в а 2.

Россия и нигде: географические образы и становление российской цивилизационной идентичности

Цивилизационная идентичность и метагеография. Введение в проблему

Географические образы и цивилизационная идентичность – взаимосвязанные явления. Феномен формирования и развития географических образов, так или иначе, связан с цивилизацией и культурой, в рамках которых он может быть обнаружен и осмыслен¹. С другой стороны, определенные цивилизации и культуры как бы создают «заказ» на конкретные географические образы, отображающие и также выражающие цивилизационную и культурную идентичности². Я полагаю, что любая цивилизационная идентичность содержит в себе в той или иной мере, в открытых или скрытых формах географические образы. Такие образы – неотъемлемая и естественная часть цивилизационной идентичности. Другое дело, что сам «носитель» цивилизационной идентичности может не замечать этого. Исследователь, заинтересованный в комплексном изучении цивилизационной идентичности, должен, на мой

¹ *Замятин Д.Н.* Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999; *Он же.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя, 2003; *Он же.* Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004; *Он же.* Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН, 2004; *Он же.* Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак, 2006.

² *Замятин Д.Н.* Геокультура и процессы межцивилизационной адаптации: стратегии репрезентации и интерпретации ключевых культурно-географических образов // *Цивилизация. Восхождение и слом. Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса.* М.: Наука, 2003. С. 213–256.

взгляд, рассматривать и соответствующие географические образы, обнаруживаемые, прежде всего, в различного рода репрезентативных текстах, характеризующих конкретные цивилизацию и цивилизационную идентичность.

Следует учесть, что географические образы представляют собой, как правило, автономное целое, систему, которую можно исследовать, временно дистанцируясь от остальных частей и элементов цивилизационной идентичности. В то же время, некоторые географические образы могут достаточно полно, наиболее развёрнуто характеризовать цивилизационную идентичность в её основных проявлениях, быть, по сути, её ментальным ядром. Это относится чаще всего к молодым цивилизациям в периоды их активного становления, причем важно отметить, что такие периоды могут совпадать с быстрым культурным и экономическим освоением обширных пространств, попадающих в зону влияния растущих цивилизаций. Наиболее яркие примеры здесь – североамериканская, латиноамериканская и российская цивилизации¹.

Российская цивилизация, несмотря на ряд очевидных типологических сходств с североамериканской и латиноамериканской цивилизациями в становлении цивилизационной иден-

¹ *Замятина Н.Ю.* Локализация идеологии в пространстве (американский фронт и пространство в романе А. Платонова «Чевенгур» // *Полюса и центры роста в региональном развитии*. М.: ИГ РАН, 1998. С. 190–194; *Она же.* Сибирь и Дикий Запад: образ территории и его роль в общественной жизни // *Восток*. 1998. № 6. С. 5–20; *Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасов*. М.: Аспект Пресс, 1998; *Сармьенто Д.Ф.* Варварство – цивилизация. Избранные сочинения. М.: Наследие, 1995; *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) В 2-х тт. Т. 1. Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 51–53; *Цимбаев Н.И.* До горизонта – земля! (К пониманию истории России) // *Вопросы философии*. 1999. № 1. С. 18–42; *Яковенко И.Г.* Русское пространство // *Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах*. Вып. 1. М.: Институт наследия, 2004. С. 283–298; *Ayers E.L., Limerick P.N., Nissenbaum St., Onuf P.S.* All Over the Map. Rethinking American Regions. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996.

тичности и роли в ней географических образов, имеет, тем не менее, свои особенности в рамках заявленной темы. В отличие от них, российская цивилизация, несмотря на многочисленные культурные заимствования у византийской и европейской цивилизаций, является автохтонной. Кроме того, историческое время её самостоятельного существования и развития намного превосходит соответствующие показатели североамериканской и латиноамериканской цивилизаций. Наконец, что наиболее важно, пространства, оказавшиеся в зоне влияния российской цивилизации, входили большую часть рассматриваемого исторического времени в состав российского государства, будь то Московское царство, Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Территории, не входящие в настоящее время в состав Российской Федерации, но входившие ранее в состав российских государственных образований, в значительной мере осмыслены и культурно освоены именно российской цивилизацией¹. Такая подавляющая моногосударственность в рамках одной цивилизации, причем государственность, распространившаяся на величайший в мире массив континентальной суши, безусловно, уникальна.

В отличие от китайской цивилизации, также являющейся фактически моногосударственной, российская цивилизация сравнительно поздно стала обретать маркеры и символы собственной идентичности². Эту ситуацию можно увязывать в феноменологическом плане с длительным экстенсивным периодом территориального расширения российского государства,

¹ Яковенко И.Г. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск: «Сибирский хронограф», 1999.

² Барабанов Е.В. Русская философия и кризис идентичности // Вопросы философии. 1991. № 8. С. 102–116; Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // Там же. 1992. № 1. С. 52–60; Он же. Россия как подсознание Запада (1989) // Он же. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003. С. 150–168; Щукин В.Г. Культурный мир русского западника // Вопросы философии. 1992. № 5. С. 74–87; Мильдон В.И. «Земля» и «Небо» исторического сознания // Там же. С. 87–100; Кантор В.К. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001.

в ходе которого требовались в основном лишь политические образы и символы, как бы застолблявшие новые территории. Цивилизационная идентичность населения многих вновь присоединенных или завоёванных территорий долгое время могла оставаться неопределённой, переходной или даже совсем иной, как в случае Прибалтики, Польши, Финляндии, Кавказа и Средней Азии¹.

Сравнительно поздний поиск Россией своих цивилизационных маркеров привел к тому, что физико-географические параметры её государственной территории (почти небывалая в истории величина территории, гигантское климатическое и природное разнообразие) непосредственно, напрямую стали рассматриваться как возможные элементы цивилизационной идентичности. По всей видимости, это была очевидная образная экономия – такой подход не требовал поначалу очень серьёзных интеллектуальных и культурных усилий. Кроме того, иностранцы, в основном европейцы, уже успели оценить в своих путевых записках и трудах о России её беспрецедентные пространственные размеры, заложив тем самым первоначальную культурную традицию феноменологии российских пространств².

Однако, использование географических образов огромных, пугающих и бесконечных пространств в качестве одного их главных маркеров цивилизационной идентичности России породило и ряд проблем – как для исследователей, так и

¹ Яковенко И.Г. Указ. соч.

² См.: Пространства России: Хрестоматия по географии России. Образ страны / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: МИРОС, 1994; Подорога В. Простираение, или География «русской души» // Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин; Под общ. ред. Д.Н. Замятина; Предисл. Л.В. Смирнягина; Послесл. В.А. Подороги. М.: МИРОС, 1994. С. 131–136; Империя пространства. Геополитика и геокультура России. Хрестоматия / Сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003; Ахиезер А.С. Российское пространство как предмет осмысления // Отечественные записки. 2002. № 6 (7). Пространство России. С. 72–87; Смирнягин Л.В. Культура русского пространства // Космополис. № 2. Зима 2002/2003. С. 50–59.

для авторов текстов, представляющих таким способом цивилизационное видение России. Для исследователей подобной проблематики «камень преткновения» связан с трудностями научного системного анализа географических образов, замещающих и/или выражающих ядро цивилизационной идентичности. Трудности же авторов репрезентативных текстов находятся в области синкретического, нераздельного восприятия и воображения истории и географии цивилизации, «сжатию» их в своего рода ментальный «ком», ясно выражающий эмоции автора, но затемняющий часто сами специфические планы выражения¹.

В данном случае я попытаюсь применить метагеографический подход, для которого характерно сочетание феноменологических, культурологических и гуманитарно-географических способов анализа текстов и различного рода представлений, выраженных чаще всего теми или иными текстами². Содержательное ядро метагеографического подхода – это выявление, реконструкция метагеографического поля или метагеографического пространства, в котором могут достаточно свободно соединяться и взаимодействовать различные географические образы. В отличие от традиционной географии, такое пространство не репрезентируется маркерами, символами и образами повседневности или действительности, понимаемой физически или физиологически. Налицо очевидное сходство с метафизикой, но метагеография, в отличие от неё, оперирует ментальными образованиями – географическими образами – заранее дистанцируясь от каких-либо возможных интерпретаций и спекуляций, связанных с восприятием и воображением конкретных пространств, мест и территорий. Иначе говоря, метагеографические пространства и карты, имеющие номинальное отношение к конкретным пространствам, можно

¹ Подорога В.А. Указ. соч.; Замятин Д.Н. Стратегии интерпретации историко-географических образов России // Мир России. 2002. № 2. С. 105–139; Он же. Политико-географические образы российского пространства // Вестник Евразии. (Acta Eurasica). 2003. № 4(23). С. 34–46.

² См.: Замятин Д.Н. Метагеография...

представлять, рисовать, описывать, но это не значит, что метагеографический анализ и его результаты могут быть прямо экстраполированы в область традиционных представлений географических или культурно-географических пространств. Такой взгляд на метагеографию позволяет вполне эффективно вычленять интересующие исследователя ментальные пласты цивилизационной идентичности, опирающиеся на образно-географические представления и воззрения.

Метагеография культуры: образно-цивилизационная стратегия модернизации

Метагеографический анализ может быть непосредственно связан с проблематикой модернизации, до сих пор актуальной для многих т.н. «незападных» цивилизаций. Проблема модернизации в методологическом отношении не может быть разделена на политический, экономический, социальный, культурный и т.п. аспекты. Она является целостной, комплексной постольку, поскольку сам концепт содержит мощную отсылку к становящемуся, развивающемуся, догоняющему времени. Таких времён может быть много – фактически столько же, сколько существует человеческих сообществ и цивилизаций, в которых развиваются рефлексивные процессы воспроизводства, освоения, присвоения, осознания, воображения времени и его составляющих. Однако процессы модернизации невозможно осмыслить полноценно, не выходя на проблематику пространственного воображения и пространственной рефлексии. Собственные, аутентичные времена и пространства цивилизаций – краеугольные камни их саморефлексии; именно это определяет их жизнеспособность и перспективы развития.

Локальные цивилизации по ходу своих периодических модернизаций и специализаций (т.е. процессов осмысления и воображения собственной территории) должны разрабатывать всё новые и новые образы времени и пространства, соответствующие как внутренним, так и внешним вызовам (политическим, социальным, культурным и т.д.). Вследствие этого, всякая ци-

визация оказывается источником «излучения», иррадиации слабых или сильных оригинальных пространственно-временных образов, знаков и символов, благодаря которому она может либо расширять зоны своего цивилизационного влияния, либо, балансируя, постепенно утрачивать свои традиционные территории. Мы можем практически говорить о *цивилизациях-образах*, создающих в эпоху глобализации неустойчивое, изменчивое, «плывущее» ментальное поле, где происходят взаимодействия, симбиоз, столкновения и конфликты различных цивилизационных представлений.

Итак, под *метагеографией* мы понимаем ментальную деятельность на стыке науки, искусства и философии, в рамках которой выявляются, создаются и репрезентируются наиболее важные пространственные (географические) образы, присущие той или иной локальной цивилизации. Культура, воспринимаемая в трактовке о. Павла Флоренского как преимущественно деятельность по осмыслению и освоению пространства, оказывается непосредственным онтологическим основанием развития любой метагеографии. Таким образом, *метагеография культуры* – это сфера проектного стратегического мышления, в которой выявленные, созданные и репрезентированные образно-географические комплексы, принадлежащие конкретной цивилизации, трансформируются в последовательные прикладные стратегии на общественном, государственном и региональном уровнях.

Образно-цивилизационная стратегия модернизации предполагает содержательное и институциональное формирование метагеографии культуры в отношении определённой цивилизации, на базе которой возможна дальнейшая разработка отдельных специализированных стратегий в сферах образования, науки, культурных институтов, культурных и политических идеологий долговременного (метафизического) действия, проявляющихся в создании целенаправленных аутентичных и «конкурентных» на фоне других цивилизаций образов, знаков и символов. Россия, рассматриваемая нами как особая, сравнительно молодая и пока неустойчивая цивилизация, до-

вольно слабо до настоящего времени идеологически и образно «кристаллизованная», остро нуждается в серьёзной разработке подобной стратегии. Образно-цивилизационная стратегия модернизации России может быть тем онтологическим фундаментом, который позволит ей не только выжить как цивилизации, но и гармонично развиваться во взаимодействии с другими локальными цивилизациями.

Чаадаев и Россия: бытие в пространстве

Специфика метагеографии делает очень удобным её использование в изучении взаимосвязей географических образов и цивилизационной идентичности России. Далее я попытаюсь применить метагеографический подход при анализе ключевых, на мой взгляд, текстов для понимания основ становления российской цивилизационной идентичности – а именно текстов П.Я. Чаадаева¹. Чаадаев первым из российских мыслителей сумел выразить, представить, вообразить в своих текстах пространство России как основополагающий элемент российской цивилизационной идентичности. Пространство России было вообразено и представлено им на метагеографическом уровне, что, несмотря на сравнительно частые логические «провисания» чаадаевской мысли, вело к чёткому оформле-

¹ Литература по биографическим и содержательным аспектам жизни и деятельности П.Я. Чаадаева в связи с новыми публикациями его произведений в течение нескольких последних десятилетий довольно обширна. Я хотел бы обратить внимание в контексте моей темы лишь на несколько наиболее важных исследований: *Рашковский Е.Б., Хорос В.Г.* Проблема «Запад–Россия–Восток» в философском наследии П.Я. Чаадаева // Восток–Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 3. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1988. С. 110–143; *Мильдон В.И.* Чаадаев и Гоголь (Опыт понимания образной логики) // Вопросы философии. 1989. № 11; *Ульянов Н.И.* «Басманный философ» // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 74–90; *Кантор В.К.* Указ. соч. С. 136–169. Кроме того, по-прежнему остаётся актуальным ряд острых образных интуиций, высказанных Осипом Манделштамом в его известном эссе «Пётр Чаадаев» (1914) // *Манделштам О.Э.* Сочинения. В 2-х тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 151–157.

нию проблематики становления автономной российской цивилизации – обязанной почти всем Европе и, однако, не сводящейся исключительно к ментальной структуре заимствования чужого цивилизационного опыта.

Россия – страна, «ушибленная» пространством. Беспрецедентные в мировой истории и географии размеры государственной территории России в различные периоды её развития, начиная с XVII века, могли бы так и остаться историческим или политическим курьёзом, в лучшем случае – существенным фактором геополитического значения. Однако уже в XVIII веке появляются попытки осмыслить факт соединения в единое политическое целое столь многочисленных и неоднородных в природном, этническом и культурном отношениях регионов. В рамках российской культурной традиции эти попытки остаются весьма робкими вплоть до разработки этой проблемы в трудах П.Я. Чаадаева в 1820–1850-х годах.

Трудно переоценить значение чаадаевского наследия в контексте нашей темы. Цивилизационная идентичность России, впервые по-настоящему продуманная и оконтуренная литературными и научными трудами Н.М. Карамзина, помещается Чаадаевым в мыслительное поле, совершенно не предполагавшееся великим русским историком. Хотя сам Чаадаев и замечает по поводу Карамзина в письме А.И. Тургеневу (1838): «Как здраво, как толково любил он своё отечество! Как простодушно любовался он его огромностию, и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности!»¹, – тем не менее, очевидно, что он во многом приписывает свои мысли предшественнику, пытаясь нащупать корни собственной мысли². Новизна подобного подхода остро ощущалась «басманным философом», соединяясь в его историсофском и геософском дискурсе с проблематикой собственного душевного и духовного одиночества среди пустынных пространств, лишен-

¹ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. М.: Наука, 1991. С. 133.

² Это и замечено комментатором писем Чаадаева В.В. Саповым // Там же. С. 336.

ных прочной и устойчивой цивилизации. Чаадаев ощущает себя Колумбом аутентичной России мысли и не без гордости пишет в письме тому же Тургеневу (1835): «...вы знаете, что я уже с давних пор готовлюсь к катастрофе, которая явится развязкой моей истории. Моя страна не упустит подтвердить мою систему, в этом я нимало не сомневаюсь»¹. Постоянно чувствуя страх перед будущим², он стремится осознать свою мысль о России как подлинную и истинную российскую мысль, формируя тем самым культурную и цивилизационную почву отечества. В письме А.С. Пушкину (1831), волнуясь о переданной поэту рукописи (части «Философических писем»), Чаадаев так объясняет причины своего волнения: «Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни, это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из неё моё наследие»³. Осознанно или неосознанно, философ уподобляет сам себя России, которая, находясь в зоне цивилизационной неопределённости, должна, наконец, обрести собственный историко-культурный background.

Характерно, что Чаадаев считал особенно важным осуществление первой публикации своих трудов именно в России. В письме П.А. Вяземскому (1834) он прямо указывает: «Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей. Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более

¹ Там же. С. 101.

² См., например, письмо брату М.Я. Чаадаеву (1848): «Страх будущего не даёт мне покоя ни денно, ни ночью» // Там же. С. 217.

³ Там же. С. 67.

нелицеприятны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. <...> Исходя из всего этого, вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей»¹. Географическое положение самого Чаадаева в данном контексте становится буквальным и отождествляется с географическим положением страны, в которой он родился и живет. Вне зависимости от того обоснования, которое он выдвигает для Вяземского (возможность объективного суждения об Европе и европейских событиях), становится ясным, что географическая, а, скорее геософская укоренённость является необходимым условием развития и движения соответствующей мысли об этом пространстве, увязанном, однако, с неким метапространством (здесь, безусловно, Европой)². Конкретная мысль о пространстве становится, по сути, структурой, стержнем рассматриваемого пространства, понимаемого как некий онтологический образ.

Слияние мысли Чаадаева о России с его представлением о собственной судьбе, роковым стечением обстоятельств неразрывно связанной с порождаемым философом образом России, очень хорошо видно на примере его реакции по поводу возникновения и растущей на первых порах популярности славянофильства. Сетуя в письме А.И. Тургеневу (1835) на «квасной патриотизм» первых славянофилов, тогда «...как все народы братаются, и все местные и географические отличия стираются...»³, он формулирует далее весьма важное положение: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: её задача дать в своё время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным бесстрасти-

¹ Там же. С. 88–89.

² Ср.: Успенский Б.А. Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России) // Вопросы философии. 2004. № 6. С. 13–22.

³ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т.2. С. 92.

ем взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в своё время разгадку человеческой загадки. Но если это направление умов продолжится¹, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. *Мне, который любил в своей стране лишь её будущее, что прикажете мне тогда делать с ней?*²»³. Россия в парадоксальном дискурсе Чаадаева выступает одновременно и как его порой неверная «возлюбленная», и как *tabula rasa* для развития его собственной мысли, и как пространство, постоянно оказывающееся в некотором залоге у будущего – как пространство, имеющее свою «машину времени». В такой онтологической ситуации бытие самого Чаадаева, действительно, завязано целиком на будущее, локализованное, однако, чётко в пространстве России и пространством России; вне этого пространства труд и жизнь Чаадаева, по его мнению, не имеют никакого смысла.

Мораль и метагеография: Чаадаев в Европе

Геософская укоренённость Чаадаева в пространстве России, как уже отмечалось выше, имеет основанием метапространство Европы. Европа для Чаадаева, как уже ранее для Карамзина в «Записках русского путешественника», а позднее для целой череды русских мыслителей, включая Ф.М. Достоевского (ср., например, пассаж о камнях Европы в романе «Подросток») – это пространство родное, своё. В письме А.С. Пушкину (1831), сокрушаясь о бедствии, постигшем Францию (Июльская революция 1830 года), он говорит: «...у меня навертываются слёзы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило моё собственное бедствие»⁴.

¹ Имеется в виду развитие славянофильства.

² Курсив мой – Д.З.

³ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 92.

⁴ Там же. С. 71.

Моя Европа как неотъемлемое личное «культурное достояние», «культурное наследие» – несомненно, очень устойчивый концепт; образ, характерный до настоящего времени для многих мыслителей и интеллектуалов Центральной и Восточной Европы и России (см., например, книги польских поэтов XX века Чеслава Милоша и Збигнева Херберта). Однако у Чаадаева *моя Европа* оказывается к тому же не только неким моральным эталоном, определяющим оценку большинства политических и культурных событий, происходящих на родине. По Чаадаеву, образ Европы задает, по сути, и онтологическое существование, историческое бытие России, представляемое по преимуществу через её беспредельные и необозримые пространства. Именно здесь закладывается та неразрывная связь между историей и географией России, столь глубоко продуманная впервые именно московским философом. Для этого Чаадаеву приходится осмысливать всякое интересующее его пространство – город, страну, территорию – как идею или принцип, влияющие на мораль, распространяющиеся в область этики.

Корни подобного мировоззрения уходят, по-видимому, в молодые годы Чаадаева, когда он участвовал в заграничном походе русской армии, а позднее путешествовал самостоятельно по Европе. Биограф Чаадаева М.И. Жихарев отмечает значение европейских впечатлений для становления его концепции: «Кажется, во всё время перемирия, – рассказывает он, имея в виду летнее перемирие 1813 г., – Семёновский полк был расположен в Силезии, в деревне Lang Bilau. Стояние в этой деревне я приписываю для Чаадаева чрезвычайную важность. Тут впервые охватило его веяние европейской жизни в одной из самых прелестных и обольстительных её форм. О деревне Lang Bilau Чаадаев до конца жизни не поминал иначе, как с восхищением, очень понятным всякому, кто знает различие между русской деревней и деревней Силезии или Венгрии»¹. Уже ранние письма мыслителя показывают, что он задумывается о географических образах посещаемых им мест, придавая

¹ Вестник Европы. 1871. Июль. С. 186. Цит. по: Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 290.

им, по возможности, этическую окраску. Так, в письме брату М.Я. Чадаеву из Англии (1823) он пишет об Англии следующее: «...Лондон, как мне кажется, представляет то, что есть наименее любопытного в Англии, это – столица, как и многие другие: грязь, лавки, несколько красивых улиц, вот и всё. Что касается страны, то это дело другое; остроумный Симон далеко не исчерпал вопроса; и уверяю тебя, что здесь можно еще весьма многое сказать, чего не было сказано им. Что более всего поражает на первый взгляд – это, во-первых, что нет провинции, а исключительно только Лондон и его предместья; затем, что видишь такую массу народа, движущегося по стране, половина Англии в экипажах»¹. Географический образ Англии содержит в подаче Чаадаева представление о густо заселённом пространстве с интенсивным движением, фактически – столичном и полустоличным, что определяет концентрацию как положительных, и отрицательных сторон цивилизации. Отсутствие провинции в широком смысле как средоточия тишины, спокойствия, но также и невежества, косности – характерная черта Англии по Чаадаеву; позднее он перенесет эту характеристическую черту и в более масштабный образ Европы.

Механизм своеобразной моральной, или моралистической «возгонки» геокультурных особенностей пространства Чаадаев продолжал совершенствовать всю свою жизнь. Сущностью такого ментального механизма был перенос любого значительного в культурном, историческом и/или религиозном смысле места и его достопримечательностей в систему ценностей, имеющих окончательное и, по сути, онтологическое значение. По мысли философа, аксиология пространства совпадает с его онтологией; следовательно, одно место может как бы учиться у другого, предопределяя тем самым своё будущее. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет не о простом историческом копировании или следовании более отсталых в социально-экономическом смысле стран более передовым (явление Модерна и следование образцам западной цивилизации). Моралистиче-

¹ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 24.

ский ландшафт Чаадаева покрывает всё известное ему земное пространство, и тогда любая страна может выступать как некий этический урок для остальных¹. Наиболее развёрнуто подобное представление Чаадаев излагает в письме А.И. Тургеневу (1833) в Рим: «Как! Вы живете в Риме и не понимаете его, после того как мы столько говорили о нем! Поймите же раз и навсегда, что это не обычный город, скопление камней и люда, а безмерная идея, громадный факт. Его надо рассматривать не с Капитолийской башни, не из фонаря св. Петра, а с той духовной высоты, на которую так легко подняться, попирая стопами его священную почву. Тогда Рим совершенно преобразится перед вами. Вы увидите тогда, как длинные тени его памятников ложатся на весь земной шар дивными поучениями, вы услышите, как из его безмолвной громады звучит мощный глас, вещающий неизреченные тайны. Вы поймёте тогда, что Рим – это связь между древним и новым миром, так как безусловно необходимо, чтобы на земле существовала такая точка, куда каждый человек мог бы иногда обращаться с целью конкретно, физиологически соприкоснуться со всеми воспоминаниями человеческого рода, с чем-нибудь ощутительным, осязательным, в чём видимо воплощена вся идея веков, – и что эта точка – именно Рим. Тогда эта пророческая руина поведаёт вам все судьбы мира, и это будет для вас целая философия истории, целое мировоззрение, больше того – живое откровение. И тогда – как не преклониться пред этим обаятельным символом стольких веков, не накинуть завесу на его обезображенный облик. <...> Скажите, неужели вам совсем не нужно, чтобы на земле существовал какой-нибудь непреходящий духовный памятник? Неужели, кроме гранитной пирамиды, вам не нужно никакого другого (человеческого) создания, которое было бы способно противостоять

¹ Ср.: *Smith D.M. Moral Geographies. Ethics in a World of Difference.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. Эта тема имеет и более приземлённый смысл в рамках так называемой географии справедливости, получившей развитие в 1970–1980-гг. в трудах англо-американских географов марксистской ориентации.

закону смерти?¹». Слово «механизм», конечно, не достаточно в данном случае описывает становление геоморалистического, или геософского образа. Надо говорить об уже существующей в сознании или подсознании моралистического путешественника, философа-путешественника генеральной, обобщённой карте подобных образов, каждый из которых может быть ещё не прорисован детально, однако вместе они формируют вполне фундаментальную и ясную в общих чертах морально-географическую картину мира. В таком контексте становится понятным использование Чаадаевым в отношении Рима словосочетаний «безмерная идея» и «громадный факт». Вспоминая, что философ неоднократно называл в своих произведениях и Россию «географическим фактом»², можно констатировать, что всякое осмысляемое этически место или территория становятся, по Чаадаеву огромным в духовном плане пространством, подтверждающим или напоминающим человеку о великих уроках религии, истории и культуры; одновременно это пространство всякий раз как бы доказывает необходимость существования всей морально-географической картины, или карты мира.

Важно отметить, что мировоззрение Чаадаева сходится здесь с основами хронологической концепции географии великого немецкого учёного Карла Риттера – современника московского философа. По Риттеру, Земля – жилище, дом рода человеческого, и человечество, осваивая, обживая Землю, одновременно осмысляет своё предназначение, данное от Бога. Риттер, по сути, перевернул современную ему географию, бывшую до того сухими статистическими перечислениями стран, городов, населения, слабо упорядоченными описаниями быта и нравов различных народов. Пространство в концепции немецкого географа перестало быть просто ньютоновским вместилищем разного рода явлений, оно стало необходимым основанием для выявления различий от места к месту, причем сами эти разли-

¹ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 79–80.

² Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 528–529, 538, 564.

чия полагались в телеологический контекст¹. Однако Чаадаев, в отличие от Риттера, сразу и во многом интуитивно закладывает онтологические и теологические смыслы в определенные места и пространства; он, в отличие от немецкого учёного, набрасывает волшебную «завесу» этических уроков на схематическую и весьма условную карту земной поверхности, призванную быть лишь черновиком для начертания божественных писем и прояснения морально-географической карты мира.

Пространство, по Чаадаеву – важнейшая онтологическая координата. В то же время любое пространство должно иметь собственную онтологию. Пространства России в версии философа пока «не дотягивают» до такой онтологии. В сущности, весь подвиг Чаадаева состоит в прояснении подобной онтологической возможности для России. Поэтому всякое упоминание им географии в отношении России имеет откровенно негативные коннотации – но лишь для того, чтобы «измерить» в условных моральных единицах пропасть между Россией и Западом, Европой. Запад и Европа в понимании Чаадаева вышли за пределы «животного», или простого географического бытия; они научились трансформировать собственную, Богом данную физическую географию в пространство разумно осмысляющей себя автономной цивилизации.

«Онтологический Мюнхгаузен»: Россия как географический факт

Попытаемся более подробно проанализировать понимание Чаадаевым России как географической данности – с тем, чтобы структурировать его «фирменный» географический образ. Начнем со знаменитого пассажа, которым оканчивается чаадаевская «Апология сумасшедшего» (1837):

«Есть один факт, который властно господствует над нашим многовековым историческим движением, который проходит

¹ *Ritter K.* Идеи о сравнительном земледении // Магазин земледения и путешествий. Географический сборник, издаваемый Николаем Фроловым. Т. II. М., 1853. С. 353–556.

через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это – факт географический»¹.

Господство географии, т.е. простое расширение огромных пространств, по Чаадаеву, означает отождествление её фактически с философией и историей, их поглощение географией, что почти равнозначно их отсутствию. В то же время огромное географическое пространство, оформленное едиными государственными границами, означает сочетание политической силы и интеллектуальной слабости, полного культурного и цивилизационного провала. По всей видимости, громадная территория всё же не гарантирует постоянной политической силы, ибо в её представлении слишком большую роль играет воображение, связанное образами бездонных и безграничных пространств. По крайней мере, в работе «L'Univers» (15 января 1854) философ пишет:

«Что же такое для нас Россия? Это не что иное, как факт, один голый факт, стремящийся развернуться на карте земного шара в размерах, с каждым днем всё более исполинских, и необходимо, следовательно, ограничить этот чрезмерный рост и пресечь натиск на старый цивилизационный мир, который есть наследник, блюститель и хранитель всех предшествующих цивилизаций, в том числе и той, в которой Россия некогда почерпнула первые познания, свой пышный и бесплодный обряд, в котором она продолжает замыкаться.

Что же тут подлежит изучению? Это лишь страничка географии, которую необходимо знать, как нам расценивать данную силу, может быть более воображаемую, чем действительную»².

Получается, что сами по себе гигантские российские пространства продуцируют образ постоянно растущей политиче-

¹ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 538.

² Там же. С. 564.

ской силы, который в итоге способствует негативному восприятию России со стороны Запада и его стремлению ограничить эту растущую как на дрожжах силу. В известном смысле, это тавтология, замкнутый круг. Заметим, что цитируемая работа написана Чаадаевым как бы от лица иностранца, со стороны наблюдающего бессмысленный рост политического «колосса на глиняных ногах». Философ как бы выскакивает из собственных пространств, которые он пытается вообразить (создается впечатление барона Мюнхгаузена, вытягивающего самого себя за волосы из болота). Условный взгляд извне позволяет Чаадаеву, наконец, признать силу самого географического воображения, которая до сих пор рассматривалась им лишь в латентном виде, как постоянно повторяющийся «географический факт». Чуть ранее в этой же работе он прямо вопрошал: «Неужели русские воображают, будто достаточно огромного протяжения страны, чтобы она стала интересной отраслью человеческого знания, чтобы в нас родилось желание узнать язык, законы и быт племён, её населяющих?»¹. Характерно, что ещё в «Апологии сумасшедшего» Чаадаев находился на условной внутренней позиции, как бы внутри России, что не позволяло ему, в свою очередь, развёрнуто оценить и историю России. Рискую повториться, процитируем, тем не менее, еще один отрывок из «Апологии сумасшедшего»: «Пусть, например, какой-нибудь народ, благодаря стечению обстоятельств, не им созданных, в силу географического положения, не им выбранного, расселится на громадном пространстве, не сознавая того, что делает, и в один прекрасный день окажется могущественным народом: это будет, конечно, изумительное явление и ему можно удивляться сколько угодно; но что, вы думаете, может сказать о нем история? Ведь в сущности это – не что иное, как факт чисто материальный, так сказать географический, правда в огромных размерах, но и только. История заметит его, занесёт в свою летопись, потом перевернёт страницу, и тем всё кончится»². Помимо того, что прямая зависимость политического могуще-

¹ Там же.

² Там же. С. 528–529.

ства от размеров пространства является всё же существенной натяжкой (что, в общем, понимает и сам Чаадаев), необходимо заметить, что сама география – пресловутая физическая география, преобразуемая народом в политическую, культурную и экономическую географию, – в трактовке философа остается, по сути неизменной, незыблемой, как бы доисторической. Сам народ оказывается в этом случае некоей пассивной субстанцией, подверженной воздействию непонятных ему сил, расселение народа без особого политического напряжения на огромных пространствах не меняет, по Чаадаеву, его менталитет. Отсутствие географического воображения, или его недостаток порождают отсутствие чёткого и содержательного исторического образа. Философ действует тут как своего рода интеллектуальная машина, «компьютер» высокого класса, выдавая безупречный ответ при заложенных предварительно и весьма тенденциозно данных.

Для мышления Чаадаева характерен своего рода геософский детерминизм, однако он опирается на вполне физико-географическое, или просто физическое понимание пространства, доставшегося России в удел. Чаадаев постоянно продумывает прямую связь между идейным, интеллектуальным, цивилизационным развитием России и особенностями её пространства. Вернее всего обозначить это пространство некоей паскалевской «пустотой», безмерностью, бессмысленной протяженностью и огромностью, не порождающей никак оригинальные мысли и идеи, способные к дальнейшей цивилизационной экспансии. Иначе говоря, пространство России переводится философом незаметно для него самого из разряда физического в разряд метафизического, однако этот переход не подкрепляется соответствующими аргументами, адекватными методологической ситуации способами мышления. Метафизика Чаадаева «провисает», оказываясь попыткой некоей даже протометагеографии России, совершённой, тем не менее, явно с негодными средствами.

Россия как географизм: будущее и метагеографическая карта Чаадаева

Я хотел бы обратить внимание в подобной связи на, пожалуй, одно из наиболее развёрнутых рассуждений в творческом наследии философа – фрагмент из «Отрывков и разных мыслей» под № 160¹. В силу пространности данного отрывка я попытаюсь разделить его на логические, достаточно законченные части и проанализировать их как по отдельности, так и в целом, в контексте общего смысла всего фрагмента. Таких частей получается три: первая трактует условия развития идей в России, вторая говорит о прямой взаимосвязи истории и географии России, третья содержит оценку влияния такой географии страны на её настоящее и будущее.

Итак, процитируем первую часть анализируемого отрывка: «Среди причин, затормозивших наше умственное развитие и наложивших на него особый отпечаток, следует отметить две: во-первых, отсутствие тех центров, тех очагов, в которых сосредотачивались бы идеи, откуда по всей поверхности земли излучалось бы плодотворное начало; во-вторых, отсутствие тех знамен, вокруг которых могли бы объединяться тесно сплоченные и внушительные массы умов. Появится неизвестно откуда идея, занесенная каким-либо случайным ветром, пробьётся через всякого рода преграды, начнет незаметно просачиваться в умы и вдруг в один прекрасный день испарится или же забьется в какой-нибудь тёмный угол национального сознания, чтобы затем уж более не проявляться: таково у нас движение идей»². Хотя Чаадаев и предполагает, что идеи возникают и развиваются в умственных центрах, остается неясным, что первично: «курица или яйцо»? Мыслитель, очевидно, отказывает России в наличии умственных центров, не считая, что, возможно, медленное и подспудное развитие какой-либо идеи в стране может привести и к созданию соответствующего центра. Для него ясно, что идеи могут проникнуть в страну только извне, но

¹ Там же. С. 480–481.

² Там же. С. 480.

в отсутствии центров судьба их незавидна. Интересно, что частично посылки Чаадаева совпадают с положениями географической теории распространения инноваций шведского учёного Торстейна Хёгерстранда, сформулированной им в 1950–1960-х годах¹. Но есть и немаловажное отличие: теория Хёгерстранда допускает постепенное формирование собственных полноправных инновационных центров в стране, ранее их не имевшей или обладавшей лишь центрами-эмбрионами. Отвлекаясь сейчас от закономерностей распространения инноваций в географическом пространстве, выявленных шведским учёным, следует отметить: первый российский профессиональный философ заранее исключил Россию из какой-либо возможной в настоящем или бывшей в прошлом сферы потенциального развития оригинальных мыслей и идей. Он сделал и второй шаг в этом направлении, признав, что даже попадание инородных идей в российское пространство не может, по сути, привести, к формированию пусть не самостоятельных, но всё же собственных интеллектуальных и цивилизационных центров.

Обратимся далее ко второй части рассматриваемого отрывка: «Всякий народ несёт в самом себе то особое начало, которое накладывает свой отпечаток на его социальную жизнь, которое направляет его путь на протяжении веков и определяет его место среди человечества; это образующее начало у нас – элемент географический, вот чего не хотят понять; вся наша история – продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве с первых же дней нашего существования; она внушила нам слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозглашавшей себя нашей повелительницей. В такой среде нет места для правильного повседневного общения умов;

¹ *Hägerstrand T.* Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press, 1968; *Хаггем П.* География: синтез современных знаний М.: Прогресс, 1979. С. 345–360; *Джонстон Р.Дж.* География и географы. Очерки развития англо-американской социальной географии после 1945 г. М.: Прогресс, 1987. С. 186–190; *Джеймс П., Мартин Дж.* Все возможные миры. М.: Прогресс, 1988. С. 354–355, 585.

в этой полной обособленности отдельных сознаний нет места для их логического развития, для непосредственного порыва души к возможному улучшению, нет места для сочувствия людей друг к другу, связывающего их в тесно сплоченные союзы, пред которыми неизбежно должны склониться все материальные силы; словом, мы лишь географический продукт обширных пространств, куда забросила нас неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница физической географии земли»¹. Ядро мысли Чаадаева здесь – в образе пространства России, которое, по сути, инородно, чуждо народу, сформировавшемуся в нем. Хотя речь и идет об истории России как «продукте природы», но сама эта история оказывается лишь силой, сообщающей понимание огромности, безмерности, бессмысленности заселяемого русскими пространства. «Одной рукой» философ ставит географический детерминизм на историософскую карту, «другой рукой» он тут же его отменяет, превращая представляемую им условную историософскую карту уже в подобие геософской. Но мне кажется, что тут уместнее говорить о метагеографической карте Чаадаева, на которой разыгрывается в его сознании цивилизационная трагедия России. По сути дела, Чаадаеву каждый раз, при очередной попытке осмыслить значение пространств России не хватает одного шага – осознания факта географического воображения России и его важности при продумывании цивилизационной идентичности страны. Отдельные умы, отдельные сознания как бы висают в безвоздушном и необозримом пространстве России, и такая необозримость не дает им соединяться, общаться, создавать совместно что-то новое. В этой, самой по себе устрашающей картине, рисуемой философом, пространство оказывается, с одной стороны, образом, продуцирующим практически все основные элементы метагеографического произведения; с другой стороны, оно остается за пределами возможного воображения. Иными словами, онтологический статус пространства России подразумевает его образ, невообразимый в рамках обычных

¹ Там же.

историсофских и даже геософских построений и спекуляций; пространство России приравнивается к самому образу России, что ведет к непрекращающейся онтологической тавтологии, преследующей мыслителя.

Закончим цитирование анализируемого отрывка: «Вот почему, насколько велико в мире наше материальное значение, настолько ничтожно всё наше значение силы нравственной. Мы важнейший фактор в политике и последний из факторов жизни духовной. Однако эта физиология страны, несомненно имеющая недостатки в настоящем, может представить большие преимущества в будущем, и, закрывая глаза на первые, рискуешь лишиться себя последних»¹. Пространство России, по Чаадаеву, является фактически материальной силой, оно давит на другие политические и цивилизационные общности, преодолевшие собственные пространственные фобии. Характерно, что преобладающую роль пространства в становлении цивилизационной ущербности *vice versa* цивилизационной самобытности России философ проецирует в будущее, определяя тем самым и содержание возможной позитивной цивилизационной идентичности страны. Такой ход, экстраполяционный по сути, выглядит логически вполне естественным. Остается, однако, неясным, почему те же самые ужасающие и пустые пространства должны в будущем играть совершенно другую роль. Чаадаев ответил на это частично в других фрагментах и текстах, полагая, что географическая отстранённость, удалённость России от Европы и выгоды её изолированного географического положения со временем скажутся положительно на цивилизационной динамике страны. Так, в письме С.Г. Строганову (1836) он пишет о «...выгодах нашего изолированного положения, на которые я теперь смотрю, как на самую глубокую черту нашей социальной физиономии и как на основание нашего дальнейшего успеха...»². В работе «Ответ на статью А.С. Хомякова «О сельских условиях» (1843) Чаадаев вообще (что встречается у него очень редко) дает весьма оптимистическую оценку гео-

¹ Там же. С. 480–481.

² Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 2. С. 113.

графическим условиям развития России: «Чем более размышляешь о географическом развитии нашей России, тем более в том убеждаешься, что с первых дней её существования уже таилось в душе её что-то такое, что обещало ей это огромное, это беспримерное развитие; какой-то здравый смысл, какой-то ум в понятиях гражданских чудно отмечает наших предков»¹. Делая скидку на тонкую иронию в критике славянофильства, прослеживаемую комментаторами в этой статье Чаадаева², замечу, тем не менее, что философ неизменно располагает все эти возможные пространственные «бонусы» России в будущем. Все такие «бонусы» он позиционирует по отношению к Европе и не иначе: «Мы призваны... обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это моё глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся её политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; всё великое приходит из пустыни»³.

Нетрудно увидеть, что очевидная, хотя и неравновесная амбивалентность образов российского пространства у Чаадаева захватывает практически все возможные области темпоральных представлений. Прошлое, настоящее и будущее России, так или иначе, проецируется в область географических образов страны, причем все эти традиционные временные маркеры окрашены весьма эмоционально и ориентированы онтологически на Европу. С позиций историософского анализа можно было бы говорить о безусловном синкретизме взглядов московского философа, но, повторяю, этого недостаточно. Здесь мы имеем дело с метагеографической развёрткой представлений о цивилизационной идентичности; такая развёртка дает хорошую объёмность, «голографичность» самих представлений –

¹ Там же. Т. 1. С. 539.

² Там же. С. 745.

³ Там же. Т. 2. С. 99 (из письма А.И. Тургеневу, 1835).

своего рода пространственный образ образа пространства. Географическое пространство России мыслится Чаадаевым как саморазвивающаяся структура, самостоятельный образ, дистанцированный в конечном счёте от детерминистских историко-географических напластований. Этот образ, по сути, ещё слабо структурирован и поэтому часто малопонятен – отсюда постоянные повторы и тавтологии в текстах Чаадаева.

Говоря более грубо и обобщённо, Россия – этот тотальный, абсолютный географизм, тогда как Европа – абсолютный историзм. Обретение цивилизационной идентичности связано с переходом на рельсы осознающего себя историзма, поглощающего геопространственные рефлексии и образы как нечто ранее доминировавшее. Однако позиции тотального географизма дают свои преимущества – они позволяют постоянно напоминать об историческом/цивилизационном времени как потенциальном пространстве, обладающем невиданными возможностями и модальностями. Отсюда, пожалуй, и мысли Чаадаева о России как мире и потенциальной идее. В самом конце своей работы «L' Univers» (15 января 1854) он пишет:

«Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия – целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, – именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это – олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в её собственных интересах – заставить её перейти на новые пути»¹.

В том же году философ в «Выписке из письма неизвестного к неизвестной» (1854) утверждает, однако, казалось бы, обратное: «Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия олицетворяла собою некий отвлеченный принцип, заключающий в себе

¹ Там же. Т. 1. С. 569.

конечное решение социального вопроса; – чтобы она сама по себе составляла какой-то особый мир, являющийся прямым и законным наследником славной восточной империи, равно как и всех её прав и достоинств...»¹. Полемика со славянофилами, обнаруживаемая в обоих процитированных только что текстах, не должна скрывать главное: философ как бы курсирует (и это происходило в течение всей его творческой жизни) между утверждением и отрицанием России как целостного ментального поля, достойного для осмысления и структурирования. Хотя, исходя из этих отрывков, можно говорить применительно к России об историсофских коннотациях образов мира и пути у Чаадаева, тем не менее, эти образы оказываются в не характерных для подавляющего большинства его современников и предшественников контекстах. Основной момент, позволяющий подобную интерпретацию – это слова мыслителя о России, которая больше чем просто государство. Вот здесь – тот метагеографический «камень», заложенный в основание большинства последующих и весьма многочисленных спекуляций о пространствах России и их значении для её судьбы.

Многие российские мыслители ещё до Чаадаева задумывались о соотношении России и Запада, цивилизационной зависимости России от Запада или Европы – естественно, в свойственных их эпохам образах и понятиях. Чаадаев впервые помыслил само пространство подобного дискурса. Вот как парадоксально он выразил собственную мысль в «Отрывках и разных мыслях»: «С того дня, как мы произнесли слово «Запад» по отношению к самим себе, – мы себя потеряли»². Здесь словосочетание «мы произнесли» является сигнификатором, переводящим всю мысль в плоскость онтологического дискурса, как бы озадаченного самой постановкой вопроса. В другом отрывке Чаадаев пытается развить этот дискурс, чтобы нащупать вновь, уже в который раз, метагеографический образ России: «С одной стороны, – беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, на Западе –

¹ Там же. С. 570.

² Там же. С. 499.

колебание почвы, готовой провалиться под стопами новаторского гения; с другой – величавая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие её народов, ясным и спокойным взором наблюдающих страшную бурю, бушующую у нашего порога; таково величественное зрелище, представляемое в наши дни двумя половинами человеческого общества, – зрелище поучительное и которым не налюбуешься... *Десять страниц в том же духе*¹. Хотя, по мнению комментаторов, данный «...отрывок представляет собой пародию на стиль и дух славянофильских сочинений о превосходстве русских «начал» над западноевропейскими»², последняя чаадаевская ремарка о «десяти страницах», выделенная им самим курсивом, меняет всю постановку дела. Собственно, славянофилы как бы работали на Чаадаева, «поставляя» ему мыслительное сырье для «последующей» метагеографической переработки. Конец отрывка сигнализирует об естественных границах отмеченного философом славянофильского дискурса, продуцируя одновременно представление о своей собственной однообразной и по сути бесконечной протяженности и порождая в итоге эмбриональный образ российского пространства как бесконечного и тавтологического дискурса – дискурса, направленного на своё собственное пространственное расширение и повторение.

Возможно, по мысли Чаадаева, этим бесконечным пространственным дискурсом Россия как метагеографический образ тоже обязана Европе или Западу. Но, может быть, это и ответ России Европе в как бы выученном ею европейском, сиречь цивилизованном дискурсе. По крайней мере, философ пытается проследить некую диалектику цивилизационных взаимоотношений России и Европы, которые выходят за рамки обычных историософских умозаключений. В работе «L' Univers» (15 января 1854) он пишет: «...если бы Россия лишилась просвещения Запада, то стала бы добычей того или другого из своих воинственных соседей, более передовых в военном искусстве. Вот если бы она дошла до своего настоящего состояния усили-

¹ Там же. С. 506.

² Там же. С. 736.

ми внутреннего своего развития, если бы она почерпнула свою политическую значительность из своей собственной сущности; да, тогда было бы совсем другое дело; всякий в отдельности и весь цивилизованный мир в целом, без сомнения, пожелал бы познать её плодоносную и могучую природу, её составные элементы, тот отпечаток, который она наложила на свои многочисленные племена, те последовательные изменения, через которые она заставила их пройти. Но ведь на самом деле не было ничего подобного. Как известно, в один прекрасный день Россия сама ниспровергла всё то, что составляло её отличительное лицо, признав, очевидно, недостаточность своей национальной сущности, и облеклась затем в формы европейской цивилизации. И только с этого-то дня она и стала могущественной, а Европа обратила на неё взоры с беспокойством – не как на предмет для изучения или размышления, а просто-напросто как на политическое явление, которое приходится наблюдать, чтобы не быть им поглощённым»¹. Облечение России в формы европейской цивилизации оказывается в глазах Чаадаева неаутентичным развитием, развитием внешним, не затрагивающим собственную сущность. Такое отчуждение цивилизационной формы – каково бы ни было её происхождение – означает, что существует некая «внутренняя» автохтонная цивилизация, или протоцивилизация, обладающая так или иначе ментальными механизмами, способствующими её консервации или защите против натиска «внешней» цивилизации. Не исключено, что это механизм «зеркала» – образного зеркала, которое проецирует условный взгляд исследователя или наблюдателя России на метагеографическую плоскость.

Существование подобного образного зеркала требует, конечно, некоторого изначального цивилизационного пространства, поиск которого в образе России оказался, по сути, чрезвычайно лёгким: географическое пространство России, благодаря европейской цивилизационной оптике, использованной Чаадаевым, трансформировалось в сильный в ментальном плане

¹ Там же. С. 565.

пучок географических образов, задающих в европейском контексте метагеографическое поле. Метагеографическая проблема самого Чаадаева состояла в том, что он никак не мог уловить, зафиксировать в плане собственной мыслительной деятельности, в плане развития собственной мысли переход от легко мыслимого физико-географического и историко-географического пространства к географическим образам страны и к их характеристикам. Это, уже отмечавшееся мной ранее ментальное «провисание» связано с вполне понятным отсутствием каких-либо метагеографических ментальных «технологий», позволяющих не заикливаться в рамках историософских или даже геософских штудий на различных изводах географического детерминизма или вполне респектабельного географического попсибилизма (отвлекаясь от того факта, что концепция географического попсибилизма сложилась уже позднее, в первые десятилетия XX века¹).

Методология, которую использовал «басманный философ», позволяла ему очень чётко отграничить образ России от образа Востока, и это неслучайно². Поскольку европейская традиция довольно давно зафиксировала, разработала и представила образы Востока как экзотики, как самой очевидной не-Европы, не-Запада, то Чаадаеву было легко вписаться в такую традицию, как бы подсадив Россию на подножку анти-восточного, или не-восточного ментального «экспресса». В «Апологии сумасшедшего» он прекрасно излагает подобную позицию, транслируя, между прочим, основное ментальное деление Европы на северную и южную, сложившееся еще, по крайней мере, в эпоху Возрождения, и причисляя русских к северным народам (всё-таки, по большому счету, европейским): «Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока – своя история, не имеющая ничего общего с нашей. <...> Мы просто северный народ, и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной до-

¹ Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.

² Ср.: Рашковский Е.Б., Хорос В.Г. Указ. соч.

лины Кашмира и священных берегов Ганга. Некоторые из наших областей, правда, граничат с восточными империями, но наши центры не там, не там наша жизнь, и они никогда там не будут, пока какое-нибудь планетное возмущение не сдвинет с места земную ось или новый катаклизм опять не бросит южные организмы в полярные льды»¹. Хотя Чаадаев оперирует понятием востока Европы, но это понятие не обладает для него какой-либо образной силой, а понятие Восточной Европы в противовес Западной, сложившееся к концу XVIII века в качестве устойчивого дискурсивного элемента в описаниях европейских путешественников², для него пока ничего не значит. Философ использует явные физико-географические маркеры образа Востока (Кашмир, Ганг), не говоря особенно об отличиях России от Востока в ментально-географическом плане. Немного ранее в этой же работе Чаадаев прослеживает отличия Востока от Запада и соотношение России с Востоком³, но специфика России на фоне Востока так и остается не вполне понятной⁴. По всей видимости, это не особо волнует философа, поскольку используемый им дискурс сам по себе является европейским, западным и, следовательно, не-восточным – отсюда и уверенность в не-восточности воссоздаваемого им образа России.

Пространство-цивилизация: «химический состав» российской цивилизационной идентичности

Итак, необходимо подвести всё же некоторые итоги попытки метагеографического исследования периода становления цивилизационной идентичности России на примере трудов П.Я. Чаадаева. Я оставляю пока в стороне ещё несколько интересных для метагеографического прочтения фрагментов из ча-

¹ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 531.

² Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

³ Чаадаев П.Я. Указ. соч. Т. 1. С. 529–531.

⁴ Ср.: Замятин Д.Н. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142.

адаевских работ и писем, поскольку уже на данном этапе можно сделать ряд существенных в научном плане выводов.

Российская цивилизационная идентичность в своём первоначальном становлении, безусловно, испытала мощное давление образцов и стереотипов развития европейских идентичностей. По сути, даже столь важный её элемент, как географические образы пространств страны, в своем происхождении – европейский, что связано не только с типовыми образцами путевых записок европейских путешественников по России, но и с самим типом пространственного дискурса, традиции которого были явно заложены трудами Декарта и Паскаля. Восприятие и воображение российских пространств как безмерных в своём поистине космическом масштабе и поистине даже бессмысленных или теряющих вследствие этого какой-либо смысл для обычного человека, образованного и воспитанного в рамках европейского рационализма, стало «точкой отсчёта» для первых попыток оконтуривания и развития российской цивилизационной идентичности. Понятое и пережитое в картезианском ракурсе, ужасающее в своей протяженности, пространство в трудах российских мыслителей, писателей и философов «серебряного века», наследовавших Чаадаеву, было эмоционально приближено к читателю и наблюдателю подобных дискурсов.

Вообще говоря, уже сам Чаадаев заложил наиболее важные отклонения от чисто европейской модели формирования географических образов – именно у него впервые в традиции российской мысли пространство как образ понимается вне историсофского или даже геософского представления проблемы цивилизационной идентичности. Первому российскому философу удалось «перетащить», переместить по ходу своих умственных приключений и эскапад собственно европейский дискурс в принципиально иное ментальное поле – метагеографическое пространство, в котором история и география не только синкретически сливались друг с другом, но и формировали объемную, «голографическую» картину цивилизации, обязанной своим становлением тем же пространствам, которые цивилизация пытается вообразить и зафиксировать.

Пространство и цивилизация оказываются как бы нераздельным, целостным ментальным и, что важно, пространственным образованием; российские пространства определили «химический состав» российской цивилизационной идентичности. И, наконец, понятая и воспринятая таким «пространственным» способом российская цивилизационная идентичность начинает свой постепенный, очень медленный и болезненный дрейф в сторону автономизации, самоосмысления себя как явления, находящегося уже вне «тёплой» и родной европейской идентичности, но многим обязанной именно ей. Этот глубочайший фундаментальный мыслительный процесс не завершён до сих пор, однако я надеюсь, что одна из его направляющих интенций в результате моего исследования стала более ясной и понятной.

Г л а в а 3.

Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации

Геократия – новый термин и понятие, который я попытаюсь ввести для обозначения той неопределённой когнитивной ситуации, которая сложилась в результате осмысления роли географического пространства в истории России и российской цивилизации¹. Нет сомнения в том, что западные политологические, культурологические и цивилизационные модели помогают понять специфику развития России как государства и цивилизации в контексте тех ключевых политических и культурных процессов, которые происходили на Западе. Тем не менее, эта методологическая, теоретическая и методическая помощь оказывается всё-таки недостаточной, поскольку геополитические и геокультурные пространства России включаются в эти модели по образцу и подобию западных цивилизационных пространств, что ведёт к частому итоговому непониманию специфики и особенностей российской цивилизации и культуры.

Евразийцы и пространственная специфика российской цивилизации

Научно-идеологический, геополитический и культурный проект евразийцев привлек внимание к той идеологической и образной значимости географического пространства для

¹ Впервые этот неологизм предложен мной в совместной статье с Н.Ю. Замятиной, см.: *Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю.* Пространство российского федерализма // Политические исследования. 2000. № 5. С. 98–110; затем он был использован мной в работе: *Замятин Д.Н.* Географические образы в комедии Андрея Платонова «Ноев ковчег» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, юбилейный. М.: Наследие, 2003. С. 162–170. См. также: *Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя, 2003.

российской цивилизации, которая до тех пор не выступала в сознании западнцентричных ученых и экспертов как определяющая для ее понимания. Трудрами Чаадаева, Соловьева, Ключевского, Данилевского, Ламанского, Бердяева были заложены основы и возможности подобного нового понимания, однако до появления работ евразийцев пространство российской цивилизации, историософии и истории рассматривалось все же в тех научных и идеологических дискурсах, в которых собственно «беспространственные» политические и исторические модели и репрезентации безусловно доминировали, а образы пространства выступали, как правило, в качестве дополнительной точки или угла зрения, помогающих лучше понять Россию на фоне западных государств и обществ.

Научные и культурологические заслуги евразийцев в сфере пространственного видения российской цивилизации были ограничены их идеологическим дискурсом, бывшем, так или иначе, в онтологическом плане западнцентричным¹. Идеологическое и геополитическое понятие Евразии, введенное евразийцами, играло на руку политическому консерватизму, набравшему вес в Европе 1920–1930-х гг. (особенно в Германии) – вне зависимости от того, хотели ли этого или нет сами евразийцы². Образ Евразии по евразийцам, бывший внешне антиевропейским, антизападным, или, по крайней мере, а-западным, на самом деле представлял собой весьма эксцентричный вариант

¹ *Цымбурский В.Л.* Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства // *Он же.* Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 419–441; *Он же.* Дважды рожденная «Евразия» и геостратегические циклы России // Там же. С. 441–464. См. также: *Ларюэль М.* Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. М.: Наталис, 2004; *Феррари А.* Евразийская парадигма русской культуры: проблемы и перспективы // *Вестник Евразии (Acta Eurasica)*. 2006. № 1 (31). С. 7–19; *Панарин С.* Локус евразийства в современной русской культуре // Там же. С. 19–30. Ср.: *Каганский В.Л.* Евразийская мнимость России // *Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое*; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007. С. 531–591.

² *Люкс Л.* Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. М.: Московский философский фонд, 2002.

классической европейской геополитики в ее лучших моделях – начиная с Маккиндера и германских геополитических штудий.

Иными словами, появление евразийцев вполне можно было предсказать: российская цивилизация пытается проявить свою инаковость, «друговость» с помощью конкретного и мощного научно-идеологического проекта в пору своего политического кризиса, но этот Другой, так или иначе, остается европейским/западным Другим, а инаковость российской цивилизации может получить подтверждение только в рамках западных способов научной и идеологической верификации¹. Образ и проект Евразии (русской Евразии), выдвинутые евразийцами, тем не менее, заслонили на какое-то, исторически продолжительное время проблематику собственно идеологического значения пространства российской цивилизации, как бы заместили ее и скрыли от поверхностных исследовательских наскоков. В советскую эпоху изучение евразийства могло быть несомненно потенциально эффективной попыткой понять значение пространства в русской истории и политике (это касается, естественно, преимущественно западных исследователей и русских ученых-эмигрантов), однако постсоветская идеологическая и дискурсивная ситуация обнаружила быструю и явную архаизацию старых западнцентричных попыток понять с помощью анализа евразийских, параевразийских и постевразийских теорий специфику развития российской цивилизации, а вместе с тем и роль пространственных образов в этом развитии.

Геократический подход к изучению российской цивилизации: базовые предположения

Что же может дать в сложившейся методологической и когнитивной ситуации введение термина и понятия геократии? В нашем понимании, *геократия – это сформировавшиеся в течение длительного исторического времени способы и дискурсы осмысления, символизации и воображения конкретно-*

¹ Ср.: Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004.

го географического пространства, ставшего имманентным для аутентичных репрезентаций и интерпретаций определенной цивилизации¹. Это означает, что всевозможные политологические, исторические, культурологические и историософские модели, претендующие на эффективное объяснение особенностей и закономерностей развития такой цивилизации, должны рассматривать ее пространство (как непосредственное, в рамках представляющих цивилизацию политий, так и косвенное, в пределах геополитического и геокультурного влияния), как онтологический источник и онтологическое условие возможности подобного моделирования, а с феноменологической точки зрения пространственное воображение цивилизации должно представляться имманентным ее способам политической и социокультурной организации.

Понятно, что прямое введение понятия геократии в установившиеся научные дискурсы, особенно политологические (несущие несомненную «каинову печать» своего американского происхождения – с точки зрения когнитивно-образного объема понятий и концептов) в существующей методологической ситуации невозможно. С другой стороны, попытки методологических и теоретических «игр» с хорошо разработанными и хо-

¹ Такая постановка вопроса включает в себя также когнитивное дистанцирование и образно-географическую обработку различного рода географических и историософских знаково-символических конструкций, подобных, например, бердяевской «власти пространства над русской душой». См. также последовательные содержательные подборки подобных конструкций и концептов: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин; Под общ. ред. Д.Н. Замятина; Предисл. Л.В. Смирнягина; Послесл. В.А. Подороги. М.: МИРОС, 1994; Империя пространства. Геополитика и геокультура России. Хрестоматия / Сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. К образно-географическим интерпретациям подобных конструкций см.: *Замятин Д.Н.* Бытие в пространстве. Наследие Петра Чаадаева // Свободная мысль. 2007. № 8. С. 52–68; Он же. Россия и *нигде*: географические образы и становление российской цивилизационной идентичности // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007. С. 341–367.

рошо работающими в прикладных исследованиях в западных научных версиях, например, понятий демократии, авторитарного государства или политического режима на «территориях» незападных цивилизаций и государств приводят, по меньшей мере, к очевидным научным заблуждениям, а в наиболее опасных вариантах экспертного сопровождения политики – к возможности непредвиденных никем политических взрывов и революционных ситуаций. Так или иначе, в дискурсивном плане на ограниченных методологических участках необходимы попытки концептуальных инноваций, являющихся, что вполне очевидно, несистемными по отношению к уже сложившимся научным и идеологическим дискурсам. Часть подобных инноваций может быть и неудачной, однако даже в этом случае станет более понятным направление концептуального развития методологической системы в целом.

Понятие геократии в данном случае может рассматриваться как локальный методологический, идеологический и теоретический концепт, когнитивное использование которого может быть потенциально эффективным в цивилизационных исследованиях России и постсоветского пространства. В качестве предварительной гипотезы можно утверждать следующее: пространственное воображение российской цивилизации в течение XVI–XX веков во многом определяло статику и динамику ее социокультурных структур, а также способы осуществления и репрезентации власти и ее политических составляющих. Иначе говоря, следуя в дискурсивном отношении за Мишелем Фуко¹, российская цивилизация осмысляла и до сих пор осмысляет себя как пространство, власть над которым проистекает,

¹ Важнейшие интерпретации: Фуко М. Другие пространства // *Он же*. Интеллектуалы и власть. Часть 3. Статьи и интервью. 1970–1984. М.: Праксис, 2006. С. 191–205; *Он же*. Пространство, знание и власть // Там же. С. 215–237. *Он же*. Безопасность, территория, население // Там же. С. 143–151; Foucault M. Questions on Geography // *Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977* / Ed. by G. Gordon. Brighton, Sussex: Harvester Press, 1980. P. 63–77; см. также: Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49.

порождается самым властным видением/воображением этого пространства; пространство само по себе есть некая власть, которую можно интерпретировать и интерпретировать пространственными, или же географическими образами.

Образ Евразии и геократический подход: методологические аспекты

Надо ли говорить, что использование понятия и образа геократии применительно к истории и историософии российской цивилизации ведёт к дальнейшим попыткам концептуальной и идеологической трансформации понятия и образа Евразии? Подобное представление является естественным логическим выводом из работ евразийцев, в которых понятие Евразии было идеологически «присвоено» и концептуально переработано в духе геополитических образов «больших пространств» – масштабных картографических «блоков-представлений», чья образная и символическая целостность исходила из фундаментальных картографических традиций западного Нового времени и основополагающих принципов Модерна, предполагающих как само собой разумеющееся глобальное культуртрегерское (и, как следствие, вполне империалистическое, с некоторыми смягчающими и вуалирующими обертонами) видение мира¹. Было бы, тем не менее, большой методологической ошибкой пытаться и далее, подобно евразийцам, максимально экстраполировать в область пространственных представлений классического Модерна попытки содержательно-идеологического преобразования понятия Евразии, имеющего своим ядром представления о России как некоем европейском/западном цивилизационном «протуберанце», некоем цивилизационном «щупальце», которое можно как бы втянуть обратно – и тем самым утвердить российскую цивилизацию как «Евразию» и одновременно, в метагеографическом контексте, как сверх-Европу или пост-Европу.

¹ Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006; Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004.

Выходя за рамки блестящей геополитической традиции позднего Модерна, следует, в первую очередь, отказаться от прямолинейного использования традиционных западных версий географических карт и их господствующих картографических проекций в том виде, как они сформировались в течение XVI–XX веков. Геополитика в пределах метагеографии означает, что традиционные географические карты могут служить для некоторых конечных операционалистских фиксаций и последствий метагеополитического дискурса и анализа, однако сам метагеополитический дискурс должен опираться в своём развитии и функционировании на географические/геополитические образы, картографируемые как вполне автономные метапространства, лишь частично, и не всегда прямо, подобные соответствующим традиционным картографическим представлениям¹. Основываясь на таком метагеографическом видении/воображении российской цивилизации, следует сразу же подчеркнуть очевидное дискурсивное дистанцирование концепта русской Евразии по отношению к образу Европы; в ходе этого дистанцирования Россия может как бы съёжиться в образном отношении до Севера Евразии, или *Северной Евразии*.

Нет смысла бороться с традиционными географическими представлениями Модерна, постоянно перестраиваемыми и трансформируемыми в ходе довольно хаотичного посмодернистского/постмодерного картографирования мира². Один из существенных когнитивных недостатков процесса глобализации как раз связан с определённой идеологической и концеп-

¹ См.: *Замятин Д.Н.* Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006.

² Ср.: *Неклесса А.И.* Конец эпохи Большого Модерна. М.: Институт экономических стратегий, 1999; *Он же.* Проект «Глобализация»: глобальные стратегии в предверии новой эры // Навигут (Научный Альманах Высших Гуманитарных Технологий). Приложение к журналу «Безопасность Евразии». 1999. № 1. С. 100–146. См. также: *Шенк Ф.Б.* Ментальные карты: Конструирование географического пространства в Европе // Регионализация посткоммунистической Европы. М.: ИНИОН РАН, 2001. С. 6–33; *Неприкосновенный запас.* 2007. № 6 (56). Восточная / Центральная Европа: от изобретения прошлого к конструированию настоящего.

туальной «изношенностью» географических образов Модерна, до сих пор интенсивно используемых в тех или иных цивилизационных и геополитических построениях. Понятие и образ Евразии является очень мощным концептом позднего Модерна, ориентированного в этом плане на первоначальные античные глобализационные представления эпохи завоеваний Александра Македонского и последовавшей затем эпохи эллинизма. «Ядерная реакция» традиционного образа Евразии в период распада Модерна (начиная примерно с 1910–1920-х гг.) привела, с одной стороны, к своего рода когнитивному возрождению представлений о цивилизационном единстве, или же о некоем геокультурном родстве цивилизационного конгломерата Евразии, а, с другой – к появлению неортодоксальных взглядов о разных образах Евразии, чьи ядра не имеют между собой в геокультурном отношении ничего общего. Как конкурирующие идеологические проекты, в данном случае могли бы рассматриваться исламский проект, проект России-Евразии, а также менее явно выраженные индийский и китайский проекты. Нет сомнения, что эти новые для «уходящего» Модерна и не сочетающиеся между собой в традиционных географических координатах проекты, накладывались и до сих пор в определенной степени накладываются на более укорененное и более концептуально проработанное европейское/западное воображение Евразии с его модерными и постмодерными коннотациями¹.

Использование образа и понятия геократии – возможно, один из немногих методологических шансов для порождения вполне автономного идеологического дискурса для незападных или периферийных по отношению к Западу цивилизаций, чья историософская «судьба» на фоне процессов глобализации, глокализации, мультикультурализма остается весьма проблематичной. Так или иначе, различные версии ориентализма и постколониализма разрабатывают то методологическое

¹ Наглядный пример типичной геополитической схематизации Евразии под определенным (американоцентричным) углом зрения: *Бжезинский З.* Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1998.

поле, в рамках которого любая незападная цивилизация или культура может выглядеть очевидным образным «продуктом» западного Модерна, что, однако, не снимает проблемы методологического удостоверения в собственной цивилизационной аутентичности в условиях некой глобальной обязанности иметь подобное онтологическое подтверждение. Подобная ситуация, действительно, является результатом социокультурной и онтологической экспансии Запада, не затрагивающей, однако, одной очень важной для цивилизационных авторепрезентаций области – области отношений по поводу пространства и в связи с пространством, рассматриваемым как аутентичное для определённой цивилизации. Это положение работает в когнитивном плане для всех цивилизаций, цивилизационных и культурных общностей и сообществ, включая западные.

По всей видимости, исходя из сказанного выше, можно утверждать, что образ геократии может быть тем методологическим ключом, который, с одной стороны может гиперболизировать специфические, уникальные географические образы данной цивилизации, трансцендируя их в сферу историософской «вечности» и безусловного цивилизационного «наследия»; с другой стороны, может адаптировать господствующие в определённую историческую эпоху, часто приходящие извне, глобальные географические картины мира и чужеродные географические образы, включаемые в более широкие представления об онтологической нераздельности, нерасчленимости автохтонного для цивилизации пространства в контексте его властной самоорганизации. Другими словами: если цивилизация сможет осознать или разработать специфические процедуры осознания занимаемого ею географического пространства в плоскости трансцендируемых постоянно уникальных географических образов, то это может вести и к формированию оригинальных политических и социокультурных дискурсов, непосредственно реализующихся и репрезентирующихся в тех или иных формах власти и властных отношений. Нельзя утверждать, что наличие подобных оригинальных дискурсов может быть некоей метагеографической гарантией для конкретной

цивилизации от поглощения ее более крупными и мощными цивилизациями/политическими образованиями, однако они могут заметно снизить вероятность ее идеологического и образного размывания или «таяния» под воздействием «внешних» политических и культурных факторов. Наряду с этим, понятие и образ геократии, понимаемые в узком, чисто исследовательском, смысле, могут быть крайне интересным методологическим инструментом для анализа любой цивилизации, репрезентирующей или репрезентировавшей себя в пространственном отношении.

Образно-географический анализ динамики русской цивилизации

Попробуем применить в первом приближении образ и понятие геократии для образно-географического анализа динамики русской цивилизации. Нет сомнения, что роль и значение географического воображения в формировании самосознания русской цивилизации становятся очевидными примерно во второй половине XVIII века¹. Классический образ Российской империи к концу Века Просвещения был неотъемлемым от ее географических образов, основанных на утверждении, воспевании, яркой символизации огромных пространств, покорившихся или добровольно вошедших в состав Российского государства. В случае России, огромного политического тела, чьи институциональные поверхности «лепились», формировались по образу и подобию европейских по крайней мере со второй половины XVII века, важно подчеркнуть, что традиции риторико-идеологической символизации ее пространств, с одной стороны, есть результат более широких европейских традиций политической ритуализации государственных институций ран-

¹ Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003; Зорин А. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

него Нового времени, а, с другой стороны, столь, казалось бы, непомерное возвеличивание физических масштабов и размеров Российской империи, не характерное для западной традиции в такой откровенно сублимированной, концентрированной и самодовлеющей форме, опять-таки было связано с действительным восхищением, удивлением и страхом европейских путешественников, купцов, военных наемников и дипломатов, транслировавшимися с некоторым временным лагом в специфические географические образы местного происхождения (политическая риторика, дипломатическая переписка, частная переписка монархов и государственных деятелей, поэтические оды и т.д.).

Политический, военный, культурный и экономический «рывок» России в ходе петровских реформ и дальнейшего развития империи в течение XVIII века был, по сути, не чем иным, как – сначала бессознательным, а затем все более и более осознанным – движением к геократии, к пониманию российского пространства как мощного цивилизационного и общественного института, чье имперское оформление, включая основание Петербурга и перенос в него столицы, было лишь геократическим «декором», спонтанным и как бы интуитивным образно-географическим форс-мажором. Чем же объяснить медленное, часто на некоторое время «замораживавшееся» различными политико-экономическими и социокультурными «пассажами» то в сторону быстро модернизовавшейся Европы, то в сторону институциональной консервации, политическое и даже цивилизационное умирание Российской империи в течение большей части XIX века и начала XX века? Ведь в течение этого периода продолжалось медленное, но неуклонное расширение государственной территории, частичная ассимиляция и эмансипация различных народов, попавших в сферу влияния российской цивилизации; наконец, российские элиты безусловно понимали значимость собственного цивилизационного курса в сторону Запада?

Речь здесь может идти не столько об умирании географических образов имперской мощи, слишком слабо проявлявшихся

в символической оболочке российской цивилизации XIX – начала XX века, сколько о подспудном нарастании **дефицита образов**, которые бы адекватно описывали и «оконтуривали» вновь присоединяемые или вновь осваиваемые территории империи. Характерно, что геократической энергетике, присущей российской цивилизации в XVIII веке, хватило только на осмысление России как в основном европейской страны; самым последним был риторически и символически захвачен, хотя и не до конца, Урал¹, Сибирь², Казахстан, Средняя Азия и Дальний Восток, войдя в состав Российской империи, так и не были осмыслены образно – для этого способы и методы европейской символизации новых пространств позднего Нового времени, по ходу развития империализма и колониализма, для России уже не годились, а свои собственные пространственно-символические дискурсы российская цивилизация разрабатывала слишком медленно, все более и более отставая от идущих впереди попыток политико-экономической модернизации – в свою очередь, также со временем «зависавших» без соответствующей образной социокультурной «подпитки»³. Иначе говоря, Россия конца XIX – начала XX века, глядясь в «цивилизационное зеркало», никак не могла увидеть себя «полностью», во всей образно-символической «красе»; зеркало как бы затуманено, и видны только фрагменты какого-то возможного сейчас цивилизационного целого, но само зеркало старое, архаичное, созданное по дискурсивным «лекалам» Века Просвещения.

¹ См. также: *Лавренова О.А.* Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX вв. (геокультурный аспект) / Науч. ред. Ю.А. Веденин. М.: Институт наследия, 1998.

² *Замятин Д.Н.* Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности / Под общ. ред. А.О. Боронова. СПб.: Астерион, 2004. С. 45–60.

³ Ср.: *Ремнев А.В.* Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX веков. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2004; *Азиатская Россия: люди и структуры империи: сб. научных статей. К 50-летию А.В. Ремнева* / Под ред. Н.Г. Суворовой. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2005; *Сибирь в составе Российской империи*. М.: Новое литературное обозрение, 2007; *Центральная Азия в составе Российской империи*. М.: Новое литературное обозрение, 2008 и др.

Дерево и небо: метагеография русских столиц

Передвижения столиц какого-либо государства (если они происходили) – предмет изучения не только политической или исторической географии, но и метагеографии – особой исследовательской области на стыке науки, литературы, философии и искусства. В рамках метагеографии изучаются и осмысливаются глубинные, онтологические закономерности перемещения столиц, связанные со спецификой географического воображения, проявляющегося и проявляющего себя на определённой территории. Естественно, что различные политические, культурные, социальные, экономические факторы подобных перемещений рассматриваются здесь как уже вторичные психологические мотивации. В то же время, само формирование конкретного географического воображения, ведущее, в том числе, к разработке метагеографических стратегий, есть опосредованный результат воздействия тех же политических, социальных и прочих факторов, архетипически воспринимаемых и преобразуемых в онтологическом плане. Собственно географическое положение столицы – прошлой, настоящей или будущей – оказывается мощным, узловым метагеографическим образом, собирающим, синтезирующим и результирующим основные этапы хода географического воображения.

Мы можем говорить о метагеографии русских столиц в ретроспекции, анализируя их перемещения в прошлом. Такие ретроспекции интересны и сами по себе, однако для нас в данном случае интересна возможность построения концепции, способной предсказывать и прогнозировать подобные перемещения в будущем. Таким образом, минимальная ретроспекция оказывается необходимым звеном в создании целостной метагеографической концепции, ориентированной на онтологическое видение проблемы. Столица в метагеографическом смысле всегда лишь узел, точка в сети, которая включает как прошлые, так и будущие состояния. Мы можем говорить здесь о метагеографическом пространстве, в рамках которого историческое/политическое время является динамической функцией целе-

направленного стержневого или осевого географического во-
ображения.

Перемещения русских столиц – дерево, чьи корни, ствол, ветви, крона постоянно изгибаются, трансформируются, меняются, пытаясь соответствовать почве, воздуху, ветру, небу Северной Евразии. Осмысляя метагеографические векторы русских столиц, можно сказать, что главный ориентир – восток. Но этот восток – метагеографический, могущий на отдельных этапах быть «западом», севером» или «югом». Пространство, постепенно проявляющееся цивилизацией и государством, может «вести себя» по-разному – в зависимости от метагеографических обстоятельств. Главное свойство российского пространства – гибкость и порой нерасчленённость отдельных конфигураций (соотношений, людей, мотиваций, городов, путей, границ). Это не метагеографическая «мутность» или же «непрояснённость», но расширяющаяся – незаметно или рывками, импульсивно – изворотливость.

Антично-византийские корни русского пространства, проросшие древним Киевом, видели небо лесного северо-востока. Российская государственность, обязанная не только сакрализованному Киеву, но и более свободно-профанному Новгороду (пытавшемуся именами св. Софии, апостола Андрея и других христианских святых возвысить свою метагеографическую легенду), возрастала повторяющимся столичным удвоением пространства, дававшим всякий раз новую оптику, новый внутренний и одновременно внешний взгляд. Так Древняя Русь невозможна без оппозиции Новгорода и Киева, так Московская Русь возвращает неострое, притушенное противопоставление Владимира-на-Клязьме и Москвы; так, наконец, являют себя в строго симметричной асимметрии Петербург и Москва. И Петербург, прямо скажем, на тот, живой момент собственного метагеографического взлета (XVIII – начало XIX в.), сугубо «восточен» в сумасшедшей попытке «украсть Европу».

Что даёт по большому, «гамбургскому счёту» перемещение столицы? Это не новость для многих стран и государств. Случай России интересен особенно: он ярко показывает одновременно

скрытую и открытую сеть метагеографических возможностей и реальностей, располагаемых в государственном/цивилизационном пространстве, мыслимом как сакрально-идеологический «генератор». Суть не только в том, что «легитимная сакральность», обеспечивающая благое развитие государства, может, как бы незаметно, плыть, перемещаться в политико-географических, а, главное, в метагеографических координатах. Пространство есть изначальная сакральность, и, непрестанно меняясь в своём образе, оно неуловимо смещает и собственную сакральность – как «справедливость» того или иного размещения, локализации, передвижения, путешествия. Коль скоро российская цивилизация может трактоваться как интересный пример геократии, то её ставшие, неставшие, становящиеся, мечтаемые, воображаемые столицы показывают сеть наглядного мышления-бытия, проецируемого самим образом российского пространства.

Так или иначе, метагеографическая сеть русских столиц захватывает пространство, делящее себя зеркальностью повторяющегося и расширяющегося удвоения. Пространство – не цифра и не число – и когда мы говорим об удвоении, это означает лишь очередное расширение взгляда на пространство, возможное во всяком новом образе. Как только какое-то метагеографическое поле становится областью образных/реальных гаданий, оно исключается из профанности обыденных решений здравого политического, экономического или социального смысла. Двоящиеся столицы – просто ход метагеографического мышления и решения; он фиксирует сразу и живучесть, и сомнительность каких-либо двойных вычислений. Берутся область и образ одновременно, и в них прорастают ветви столиц. Но зеркальность может быть, как мы знаем, бесконечной в своей конечности: допетербургские (предпетербургские) зеркала Москвы – Вологда или же Архангельск – упёрлись в итоге в Балтику как бессознательное бесконечного европейского поворота России на восток.

Зауралье как *tabula rasa*: геократический «провал» Российской империи

Начало XIX века было переломным моментом для российской цивилизации с точки зрения геократического анализа. Победа в Отечественной войне 1812 года, зарубежные походы русской армии, создание Священного Союза были последним всплеском политико-имперской риторики XVIII столетия, обеспечившей достаточно ясные европейские контуры образов российских пространств в рамках цивилизационного видения. Деятельность Сперанского и декабристов в Сибири, начало масштабных географических экспедиций в азиатской части империи, первые зачатки сибирского областничества и даже известный народный миф об уходе императора Александра I в Сибирь¹, казалось бы, говорили о своевременном геократическом повороте в сторону неосвоенных в когнитивном, цивилизационном и образном отношениях пространств. Однако в целом образно-географическая ситуация, более или менее, оставалась прежней еще целое столетие: по сути, можно говорить о дальнейшей трансляции на восток, без особого успеха тех самых символов и образов, которые и создали цивилизационное видение/воображение России XVIII века – полускифской, новоевропейской, осуществляющей цивилизаторскую миссию на окраинах Европы². И это был геократический «про-

¹ См., например: *Барятинский В.* Царственный мистик. СПб., 1912; *Привалихин В.* Так был ли старец Федор императором Александром I? Томск: Красное знамя, 2004.

² *Кропоткин П.А.* Дневники разных лет. М.: Сов. Россия, 1992; *Bassin M.* *Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century* // *The American Historical Review*. 1991. Vol. 96. Number 3. P. 763–794; *Idem.* *Visions of empire: nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865.* Cambridge: Cambridge University Press, 1999; *Ильин М.В.* Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // Политические исследования. 1998. № 3. С. 82–95; *Он же.* Геохронополитические членения (cleavages) культурно-политического пространства Европы и Евразии: сходства и различия // Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России (материалы семинара). М.: МОНФ, 1999. С. 46–79; *Замятин Д.Н.* Дискурсные стратегии в поле внутренней и внешней политики // *Космополис*. 2003. № 3 (5). Осень.

вал»: сибирские пространства и до сих пор остаются во многом образно-географической terra incognita, несмотря на, казалось бы, обилие информации и многочисленные технологические прорывы извне, проникающие к началу XXI века и в зауральские части России.

Одна из причин подобной образно-географической неудачи российской цивилизации начала XIX века – это неспособность преодолеть геократическую инерцию, набранную в ходе петровских реформ. Утверждение русской столицы в Петербурге было, в известной степени единственно возможным цивилизационным «ва-банком», разом обеспечившим не только разворот к материальной стороне европейской цивилизации, не только возможность приобщиться к высотам европейской культуры, но и создавшим принципиально новую образно-географическую ситуацию, позволившую разрабатывать образ России как европейской страны, а вместе с тем и значительной части ее территории (с чем, кстати, была связана и интересная история о передвижении официальной восточной границы Европы к Уралу¹). На исходе долгого для России цивилизационного Века Просвещения, окончившегося, видимо, уже в 1815 году, стало ясно, что цивилизационное видение/географическое воображение России из Петербурга обречено достигать максимум Урала, далее оно начинает «прокручиваться», повторяя одни и те же «европейские мелодии», мало объясняющие смысл зауральских пространств как истинно российских географических образов. В духе альтернативной/контрфактической истории можно было бы представить, что случилось бы с цивилизационной динамикой России, если бы русская столица была бы, например, перенесена в 1815 году или чуть позже вновь в Москву или, в крайнем случае, в Нижний Новгород (как

С. 41–49; *Он же*. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142.

¹ *Бассин М.* Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое издательство, 2005. С. 277–311.

предполагал П.И. Пестель в «Русской правде»¹). Российская империя могла стать из петербургской, например, московской или нижегородской без всякого, по-видимому, ущерба для своего символически-имперского блеска, однако московская империя обрела бы, скорее всего, иное образно-географическое видение, другие геократические «механизмы», позволяющие, возможно, вновь и по-новому увидеть зауральские пространства (как это, например, удавалось, с совершенно ничтожными военными и экономическими ресурсами Московскому царству во второй половине XVI – первой половине XVII века, даже в эпоху Смуты начала XVII столетия²). Петербургская империя была чисто европейским политическим телом, чья геократическая мощь была «продуктом» Века Просвещения – ее хватало в образно-символическом и проективном смысле только до Урала – если говорить о географическом воображении как имманентном для любой жизнеспособной цивилизации.

Как определённую геократическую реакцию на сложившуюся к началу XIX века цивилизационную образно-географическую ситуацию можно рассматривать формирование и мощное развитие петербургского мифа, оказавшего серьезное влияние на становление всей русской культуры XIX – начала XX века³.

¹ Пестель П.И. Русская Правда // Восстание декабристов. Документы. Т. 8. М., 1958. С. 113–168. Ср.: Цымбурский В.Л. Александр Солженицын и русская контрреформация // Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 477–478.

² Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века / Отв. Ред. А.Я. Дегтярев. Вст. статья А.Я. Дегтярева, Ю.Ф. Иванова, Д.В. Карева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996; Вернадский Г.В. Московское царство. Часть 1. Тверь: ЛЕАН; М.: Аграф, 1997; Морозова Л.Е. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича. М.: Наука, 2005.

³ Русские столицы. Москва и Петербург. Хрестоматия по географии России / Авт.-сост. А.Н. Замятин, Д.Н. Замятин; общ. ред. Д.Н. Замятин; Предисл. Г.М. Лаппо. М.: МИРОС, 1993; Москва – Петербург: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент., библиогр. К.Г. Исупова. СПб.: РХГИ, 2000; Спивак Д.Л. Северная столица: Метафизика Петербурга. СПб.: Тема, 1998. Характерно, что полноценный с точки зрения модерна московский миф (вне аллюзий Третьего Рима) начал формироваться гораздо позже петербург-

Имперско-европейская геометрия и симметрия петербургской планировки и архитектуры, непригодность «маленького человека» к открытым, нечеловечески огромным и насквозь продуваемым промозглым петербургским пространствам, бесчеловечная чиновничья фальшь и суета северной столицы стали фирменными чертами этого мифа, соединившего природу и культуру в образе, максимально отталкивающим и в то же время поистине величественном, подтверждавшем, хотя и весьма амбивалентно, значимость европейской модернизации для российской цивилизации. Корнем, первоосновой такого геодивизионального мифа было онтологическое противоречие между властным характером, властной природой европейского образно-географического «мессиджа», обеспечиваемого, казалось бы, символизацией Петербурга как столицы Российской империи, и фактическим бессилием реальной знаково-символической системы, прилагаемой и используемой по отношению к имперским пространствам в целом; Петербург к началу XX века был поистине столицей имперской по своему размаху и пространственному распространению образно-географической анархии – как бы ни парадоксально это звучало.

Безусловно, политические, культурные и интеллектуальные элиты Российской империи еще во второй половине XVIII века задумывались о некоей дополнительной геомифологической «подпорке» государства-цивилизации, в качестве которой достаточно долго рассматривался крымско-греческо-византийский комплекс мифов. Завоевание Крымского ханства дало реальные шансы для политико-идеологического развития и обоснования «греческого проекта» Екатерины Великой, наглядное осуществление которого позволило бы России попасть в «цивилизационное сердце» Европы не только в

ского, примерно с начала XX века (не сформировавшись окончательно и до сих пор, что, видимо, связано уже с распадом концептуальных основ самого модерна). Тем не менее, трудно переоценить значимость вполне традиционалистского образа Москвы в его противопоставлении «европейско-имперскому» образу Петербурга.

геополитическом, но и в геократическом смысле¹. Фактически, однако, образы Крыма как античной окраины, периферии, провинции великого античного мира и родины русского православия в итоге, к началу XIX века, остались-таки, в условиях неосуществленного «греческого проекта», периферией и политико-идеологической риторикой Российской империи, развивавшейся теперь в контексте более современных и прагматичных политико-географических образов России как мощной в военном отношении европейской державы – без претензий на европейское античное наследие.

Модерн и локальные мифологии

Обращаясь к метаязыку нашего исследования, стоит обратить более пристальное внимание на роль и специфику географических/локальных мифов в становлении российской геократии². Ранний и развитый модерн, несомненно, способствовал формированию и оформлению (в рамках «высокой культуры») локальных мифов – сначала чаще всего в романтических обработках народного фольклора (это характерно для европейского модерна уже в конце XVIII – начале XIX века)³, однако в эпоху позднего модерна функциональная роль географических/локальных мифов изменяется: они призваны теперь не только способствовать развитию национального воображения и национальной идентичности, но и как бы поддерживать весь комплекс цивилизационных «установок» и практик, воспроизводимых всеми возможными для индустриальной эпохи сред-

¹ Елисеева О.И. Геополитические проекты Г.А. Потемкина. М.: Ин-т российской истории РАН, 2000; Кириченко Е.И. «Греческий проект» Екатерины II в пространстве Российской империи. Потемкин и Новороссия // XVIII век: ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М., 2000. С. 244–260; Зорин А. Указ. соч.; Проскурина В. Мифы империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

² См. также: Митин И.И. Комплексные географические характеристики. Множественные реальности мест и семиозис пространственных мифов. Смоленск: Ойкумена, 2004.

³ См.: Романтизм. Вечное странствие. М.: Наука, 2005.

ствами¹. Нетрудно показать, что, как и географические образы, локальные мифы в период цивилизационных напряжений и «надломов» становятся амбивалентными, неоднозначными, как бы чересчур содержательно мощными и в то же время не совсем понятными – указывая в ментальном плане на определенные цивилизационные «прорехи» и «лакуны». Было бы, тем не менее, слишком просто сводить функциональную роль локальных мифов к некоей цивилизационной «лакмусовой бумажке», частному цивилизационному индикатору. На наш взгляд, любая достаточно хорошо репрезентирующая себя цивилизация – по крайней мере, в рамках модерна и постмодерна – мыслит себя, в известной степени, самодовлеющим мифом, чье реальное («физико-географическое») пространство трансформируется в сложный образно-географический комплекс, иррадирующий, излучающий вовне, в свою очередь, пучок локальных мифов, становящихся транслокальными, или панлокальными². Это не значит, конечно, что при целенаправленном или интуитивном, неосознанном культивировании локальных мифов не используются общеизвестные еще в эпоху древних цивилизаций мифологические сюжеты-архетипы (мифы о спасении, мифы основания, мифы о вечном возвращении и т.д.)³. Содержательная суть геомифологических процессов позднего модерна, а затем, в некоторой степени, и постмодерна, заключается во «вставлении», размещении в некие, уже как бы заранее данные цивилизационные контексты определенных локальных мифов, играющих затем ключевые роли как признаки и неотъемлемые атрибуты цивилизации-как-уникальности в историческом времени и географическом пространстве. Иначе

¹ См., например, о роли локального политического мифа луга Рютли в становлении национального самосознания швейцарцев: *Петров И.* Очерки истории Швейцарии. Б.м., 2006. С. 458–478; 659–670.

² См., например: *Миф Европы* в литературе Польши и России. М.: Индрик, 2004.

³ *Желева-Мартинс Виана Д.* Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч. Тр. Межд. Асоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443–467.

говоря, цивилизации-образы модерна и постмодерна немислимы без локально-мифологического компонента, обеспечивающего в феноменологическом и нарративном аспектах воспроизводство и постоянное расширение ментальных ареалов цивилизационной аутентичности.

Локальные мифы и динамика российской цивилизации

Российская цивилизация стала культивировать локальные мифы и включать их в состав «высокой культуры» сравнительно поздно по сравнению с европейской – их настоящее, а не эпизодическое проникновение в «толщу» семантически значимых цивилизационных репрезентаций относится уже к концу XIX – началу XX века (наиболее известный пример – миф о граде Китеже, весьма популярный среди многих представителей русской культуры Серебряного века, совершавших паломничества к соответствующему сакральному месту¹). Эпоха сентиментализма в русской культуре и литературе, усиленная в образно-географическом отношении наличием культурно-ландшафтного каркаса в виде помещичьих и дворянских усадеб и ярко выраженная путевыми записками конца XVIII – первой трети XIX века, создала первоначальный образный фундамент для возможного развития локальных мифов и соответствующих им культурных регионализмов². Классическая русская литература как бы сразу перепрыгнула локальные мифологии и возможности плодотворного творческого развития регионализма, попав в геократическую «ловушку» возникшего по историческим меркам очень быстро, «внезапно», петербург-

¹ Левандовский А.А. «Мистерия» на Светлояр-озере в восприятии интеллигенции // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов / Ред. Б. Гаспаров, Е. Евтухова, А. Осповат, М. фон Хаген. М.: ОГИ, 1997. С. 202–213; Криничная Н.А. Русская мифология. Мир образов фольклора. М.: Академический проект, 2004.

² Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. М.: Академический проект, 2004; Замятин Д.Н. Русская усадьба: ландшафт и образ // Вестник Евразии. 2006. № 1 (31). С. 70–92.

ского мифа. Хотя и Пушкин в «Капитанской дочке», и Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» фактически были близки к созданию географических образов, наиболее благоприятных и в то же время чрезвычайно важных для понимания генезиса локальных мифологий в русской культуре, однако сам образно-географический фон этих произведений явно тяготел, как ни странно, к Веку Просвещения, в рамках которого и локальным мифологиям, и культурным регионализмам еще не могло быть места, онтологической возможности помыслить, вообразить их еще не существовало¹.

Так или иначе, сформированное нагнетание модерна в России второй половины XIX – начала XX века, обусловленное во многом геополитическими и геоэкономическими обстоятельствами этой эпохи, помогло – с некоторым запозданием по фазе – становлению культурных регионализмов и локальных мифов российской цивилизации. Многочисленные первоначальные собрания и обработки регионального русского фольклора (за ними и параллельно им последовали собрания

¹ Характерно также, что, несмотря на серьезное присутствие знаково-символического «кавказского комплекса» в русской культуре – по крайней мере, уже с 1820-х гг. – полноценный и автономный кавказский миф в ее рамках так и не сформировался, оставшись на эмбриональном уровне экзотического «восточного» географического образа с постоянно воспроизводящимися романтическими культурными ассоциациями «кавказского пленника» (свидетельство непреходящего культурно-политического фронта, не способствующего, как правило, созданию самостоятельных автохтонных образов и мифов; сами образы и мифы фронта репрезентируются в высокой и массовой культуре чаще всего *postfactum* – уже после того, как бывшая фронтальная территория становится пространством оседлого и устойчивого мироустройства и мировоззрения). Ср.: Северный Кавказ в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007; *Яценко С.А.* Кавказ для России, Россия для Кавказа: Образы и реальность // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007. С. 662–683. Другое дело – успешные культурные контакты и взаимодействия с небольшими цивилизационными лимитрофами Закавказья – такими, как Армения и Грузия; см. например: *Никольская Т.* «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921). М.: Пятая страна, 2000.

украинского, белорусского фольклоров, затем настал черед и других народов Российской империи), появление и быстрое развитие русской этнографии, следовавшей во многом западным, вполне позитивистским, образцам; сменяющие друг друга экспедиции Русского географического общества на окраины Российской империи с целью запечатлеть обычаи, уклад, традиции и нравы дотоле практически не известных с культурной и научной точки зрения этносов¹, буквальное «открытие» русской иконописи – все это следовало «рука об руку» с муками поиска национальной русской/православной идентичности, осложненными тяжелым и весьма обветшавшим «имперским декором»². С некоторым временным лагом по отношению к указанным событиям появляются писатели-регионалисты – сначала в типичной народнической среде с уклоном исключительно в темы пореформенной русской деревни; однако к началу

¹ См.: *Слезкин Ю.* Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология.* М.: Новое издательство, 2005. С. 120–155; *Он же.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008; *Найт Н.* Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 155–199; *Джераси Р.* Этнические меньшинства, этнография и русская национальная идентичность перед лицом суда: «мултанское дело» 1892–1896 // Там же. С. 228–273; *Мартин В.* Барымта: Обычай в глазах кочевников, преступление в глазах империи // Там же. С. 360–391; *Сухих О.* Как «чужие» становятся «своими», или лексика включения Казахской степи в имперское пространство России // *Вестник Евразии.* 2005. № 3 (29). С. 5–30 и др.

² *Капеллер А.* Образование наций и национальные движения в Российской империи // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 395–436; *Реннер А.* Изобретающее воспоминание: Русский этнос в российской национальной памяти // Там же. С. 436–472; *Сандерленд В.* Русские превращаются в якутов? «Обынородчивание» и проблемы русской национальной идентичности на Севере Сибири, 1870–1914 // Там же. С. 199–228; *Слокум Дж.У.* Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи // Там же. С. 502–535; *Викс Т.Р.* «Мы» или «они»? Белорусы и официальная Россия, 1863–1914 // Там же. С. 589–610 и др. Обзорные и концептуальные статьи, рассматривающие современные проблемы формирования российской идентичности см.: *Pro et Contra.* Май – июнь 2007. № 3 (37).

XX века появляются уже такие яркие писатели, как А.И. Эртель – классический «черноземный» творец, или же Д.Н. Мамин-Сибиряк, поистине впервые явивший и предъ-явивший высокой русской культуре образ Урала¹. Такие известные «столпы» русской культуры эпохи модерна, как И.А. Бунин и А.М. Горький, начинали свое творческую траекторию, свой «взлет» тоже как писатели-регионалисты, а В. Короленко сумел-таки стать по-настоящему большим писателем, никогда «не теряя» под собой региональной «почвы». Столыпинские реформы создали дополнительный импульс для формирования и развития культурных регионализмов, и многие русские писатели поначалу активно откликнулись «поворотом на Восток», в сторону Сибири (предыдущий мощный импульс был обусловлен проектированием, строительством и началом работы Транссибирской железнодорожной магистрали, но еще до начала ее строительства свой «жертвенный» рывок на восток совершил А.П. Чехов, оформив его заметками о Сибири и «Острове Сахалином»).

Советская эпоха заметно сменила культурно-идеологические акценты, принципиально выравнивая любые региональные социокультурные различия с помощью целенаправленной культурной политики явного централистского толка – «Москва и все остальное»². Тем не менее, 1920–1930-е годы оказа-

¹ Кондаков Б.В. Русская литература 1880-х гг. и художественный мир Д.Н. Мамина-Сибиряка // Известия Уральского университета. 2002. № 24. Гуманитарные науки. Вып. 5. С. 9–24; Корнев И.Н. Географический образ Урала в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка // География. Приложение к газете «Первое сентября». 2003. № 6, 7, 9; Горизонтов Л.Е. Русский человек у порубежья Европы и Азии. По страницам уральской энциклопедии Д.Н. Мамина-Сибиряка // Азиатская Россия: люди и структуры империи: сб. научных статей. К 50-летию А.В. Ремнева / Под ред. Н.Г. Суворовой. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 97–119.

² Классический пример – роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» (1948), в котором дискурс максимальной централизации советского пространства показан предельно четко. Ср. также: Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001; Замятин Д.Н. Географические образы в комедии Андрея Платонова «Ноев ковчег» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, юбилейный. М.: ИМЛИ, 2003. С. 162–170.

лись, по цивилизационной инерции, накопленной еще с конца XIX века, весьма «урожайными», хотя бы и *postfactum*, для становления локальных мифологий в России. Трудрами П. Бажова на Урале¹, С. Писахова², а затем Б. Шергина на Русском Севере³, оформляются, наконец, достаточно четкие в образном отношении локальные мифы Урала и Русского Севера – несмотря на то, что творцы этих мифов опирались, во многом в целях собственной личной безопасности, на критичные установки и парамарксистские догмы по отношению к досоветскому прошлому своих регионов⁴. Важно, что эти локальные мифы выходят на общенациональный уровень, фиксируются официальной культурой как допустимые в идеологическом плане, оказываются все-таки возможными полускрытые или прикрываемые политической идеологией геомифологические дискурсы.

Быстрый распад модерна, начавшийся активно на Западе уже в 1910-1920-х годах, не обошел стороной и Россию, где он был отмечен поистине великой традицией русского авангарда, окончательно сломленного советской действительностью только примерно к середине 1930-х гг. Это означало, что в рамках комплексной советской модернизации неизбежный, по сути, и для российской цивилизации, распад модерна как бы откладывался, все время переносился в будущее, а классические формы модерна постоянно «подмораживались», подновлялись, прикрывая собой дискурсивное разложение самих образов модерна. Социалистический реализм был такой дискурсивной

¹ См.: Литовская М.А. Проблема формирования региональной мифологии: проект П.П. Бажова // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь: Мобиле, 2006. С. 188–197; Бажовская энциклопедия / Ред.-сост. В.В. Блажес, М.А. Литовская. Екатеринбург: Сократ; Изд-во Уральского ун-та, 2007.

² Пономарева И.Б. Главы из жизни Степана Писахова. Архангельск: [б.и.], 2005.

³ Шульман Ю. Борис Шергин, запечатленная душа народной культуры Русского Севера. М.: Фонд Бориса Шергина, 2003.

⁴ Капкан М.В. Уральские города-заводы: мифологические конструкты // Известия Уральского государственного университета. 2006. № 47. Гуманитарные науки. Вып. 12. Культурология. С. 36–45; Пономарёва И. Главы из жизни Ивана Писахова. Архангельск: [б.и.], 2005.

формой «подмораживания», подавлявшей в том числе и возможности развития полноценных локальных мифов и культурных регионализмов¹. Успевшие сложиться в своих первоначальных ментальных конфигурациях в начале советской эпохи (политика подъема национальных окраин 1920-х гг. способствовала этому) локальные мифы как бы зависли в безвоздушном пространстве зрелого советского дискурса, отменяющего былые поиски национальной идентичности эпохи классического и позднего модерна в его региональных выражениях и смыслах.

«Пилотный проект» евразийства: геократическое значение сибирского областничества

Возвращаясь немного назад хронологически, хотелось бы вспомнить – с геократической точки зрения – о сибирском областничестве². Проведенный нами предварительный анализ

¹ Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007. Ср: Крылов М. Структурный анализ российского пространства: культурные регионы и местное самосознание // Культурная география / Науч. ред. Ю.А. Веденин, Р.Ф. Туровский. М.: Институт Наследия, 2001. С. 143–171; Он же. Теоретические проблемы региональной идентичности в Европейской России // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 1. М.: Ин-т Наследия, 2004. С.154–165; Он же. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России // Социологические исследования. 2005. №3. С. 13–23; Geography and National Identity / Hooson D. (Ed.). Oxford, Cambridge (Mass.): Blackwell, 1994; Ayers E.L., Limerick P.N., Nissenbaum S., Onuf P.S. All Over the Map: Rethinking American Regions. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1996; Ely C. This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. Decalb, Illinois: Northern Illinois University Press, 2002 и др.

² См.: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI–XX века. М.: Наука, 2004. С. 411–448 (авторы раздела «Сибирское областничество: истоки и эволюция» – К.И. Зубков, М.В. Шиловский); также: Сибирское областничество: Библиограф справочник. Томск–Москва: Водолей, 2002; Горюшкин Л.М. Дело об отделении Сибири от России // Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 6. М.: Отечество, 1995. С. 66–84; Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири // Там же. С. 84–100; Сватиков С.Г. Россия и Сибирь // Там же. С. 100–113 и др.

становления культурных регионализмов и локальных мифологий показывает, что Сибирь оставалась к середине – второй половине XIX века пространством, в котором до зарождения самостоятельных локальных мифов было еще довольно далеко. Несмотря на столь примечательное явление, как произведения П. Ершова (бывшие, фактически, локально-диалектной обработкой общих сюжетов-архетипов русского фольклора), в Сибири в данную эпоху не было значимых в общероссийском контексте творцов (писателей, художников; речь идет не просто о сибирских уроженцах, реализовавших себя уже как общенациональные творцы – например, художник В. Суриков), чьи произведения ясно оконтуривали образ Сибири и формировали конвенциональный и в то же время автономный и автохтонный сибирский миф в пределах российской цивилизации (этот процесс реально можно датировать примерно последней третью XX – началом XXI века, хотя начальные ростки локального сибирского мифа можно увидеть уже в 1920–1930-х годах в произведениях В.Я. Шишкова, ранних произведениях Вс. Иванова)¹. Сибирские областники, несомненно, понимали

¹ Ср.: *Мирский Д.С.* История русской литературы. С древнейших времен до 1925 года. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 449–450, 810–821; *Очерки литературы и критики Сибири.* Новосибирск: Наука, 1976; *Эткинд А.* Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации // *Новое литературное обозрение.* 2003. № 59; *Рыженко В.Г.* Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та; Омск: Омский гос. ун-т, 2003. С. 227–346. Важной представляется первичная концептуальная попытка: *Казари Р.* Литературный «взгляд из России» на Сибирь: постановка вопроса // *Вестник Евразии (Acta Eurasica).* 2006. № 1 (31). С. 64–70. В контексте начальных ростков сибирского мифа интересно также творчество омского писателя начала XX века Антона Сорокина и советского поэта Леонида Мартынова (цикл воспоминаний «Воздушные фрегаты»). См. также современные искусствоведческие и культурологические версии сибирского мифа: *Сибирский миф: голоса территорий. Образы и символы архаических культур в современном творчестве.* Омск: НП Творческая студия «Экипаж», 2005; *Сибирский сад – территория мечты. Сборник материалов регионального научно-художественного проекта Омск – Новокузнецк.* 2002 год. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2004.

на интуитивном уровне подобную дискурсивную ситуацию и, что естественно, ориентировались на доминировавший в эпоху позднего модерна дискурс колониализма («Сибирь как колония»). В рамках такого – именно колониалистского и продуцируемого им культуртрегерского – дискурса разговор о культурном регионализме и, тем более, о локальных мифологиях, возможен только в модальности будущего времени (например, идея создания первого университета в Сибири) – но и такой поворот не даёт понять фундаментальную онтологическую значимость возможности сибирского мифа (или пучка мифов) как такового, и, как следствие, закономерной образно-географической трансформации самой русской культуры, российской цивилизации и ее государственно-политических форм с соответствующим знаково-символическим обрамлением.

Характерно, что даже такой, вполне ущемленный и «ужастый» с геократической точки зрения дискурс сибирского областничества не был обеспечен адекватными образными и знаково-символическими репрезентациями. Можно сказать, что только сибирско-дальневосточные произведения Чехова дали некоторое образно-географическое начало качественному современному дискурсу «Сибири как колонии» (явным снижением качественной планки Чехова были, например, в дальнейшем очерки Немировича-Данченко о Сахалине – тем не менее, они четко следовали линии «колониалистского» дискурса в отношении Зауральской России). Начальное формирование сибирско-колониалистского дискурса, инициированное в интеллектуальном и социополитическом планах сибирскими областниками, было довольно искусственно прервано к концу 1920-х гг., хотя ранние произведения тех же Вс. Иванова (например, повесть «Бронепоезд 14-69», ранние рассказы) и А. Фадеева (роман «Последний из удэге»), хотя и вписывавшиеся в формировавшийся прямо на глазах современников официальный канон советской литературы, можно интерпретировать и в контексте сибирско-колониалистского образа. Знаменитая «орнаментальная» советская проза 1920-х гг., наиболее важными представителями которой были, несомненно, Б. Пильняк,

Вс. Иванов, Л. Леонов и Е. Замятин, уже, в известной степени, «болела» локальными мифологиями, и начальной стадией этой ментальной «болезни» было художественное образно-географическое евразийство, параллельное научным и идеологическим работам самих евразийцев. Расширяя образ евразийства, можно утверждать, что интуитивное, а иногда и показное евразийство (как синоним, можно использовать и более ранее «скифство» русской культуры начала XX века¹) российской цивилизации 1910–1920-х гг. в жестоких условиях социально-политической катастрофы было попыткой ускоренного социокультурного прохождения начальной стадии позднего модерна с его пространственной ставкой на образное значение локальных мифологий и культурных регионализмов; иначе говоря, евразийство русской культуры первой трети XX века есть не что иное, как цивилизационный «ва-банк», в рамках которого максимально сжималось историческое время формирования уникальных географических образов и локальных мифов российской цивилизации с помощью выхода на ментально-пространственный метауровень – образ Евразии-как-России, Евразии-как-российской цивилизации был несомненной когнитивной, мысленной экономией, позволявшей уже на онтологическом уровне, минуя конкретные, интеллектуально трудоемкие и длительные разработки регионалистских феноменологий, создать метаобраз, сразу «убивавший двух зайцев»: решавший социокультурные задачи позднего модерна для России и одновременно ускоряющий ее на путях осознания собственной цивилизационной аутентичности². Сибирско-колониалистский дискурс был в этом смысле лишь наиболее простым «пилотным проектом» евразийства (осмысляемого здесь не только в рамках традиционного евразийства 1920–1930-х гг., а

¹ Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003.

² См. также: Замятин Д.Н. Геономика: пространство как образ и транзакция // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 5. С. 17–19; Он же. Пространство как образ и транзакция: к становлению геономики // Политические исследования. 2007. № 1. С. 168–184.

шире – как образно-географический «проект» российской цивилизации второй половины XIX–XX века¹), сорвавшегося и не осуществленного в максимальных заявленных им самим целях не только в силу его естественной историко-географической ограниченности в рамках зарубежных центров русской эмиграции 1920-1930-х гг., но и по причине уже упоминавшейся ранее онтологической ошибки западоцентризма. Тем не менее, как вполне промежуточный цивилизационно-идеологический ход, евразийство сыграло огромную роль в наращивании и дальнейшем сохранении образно-географических и геомифологических «неприкосновенных запасов» российской цивилизации, фрагментарное, а затем и интенсивное использование которых начинается, по крайней мере, с 1960-х гг.

Россия на путях к позднему модерну: «сверхрегионализм» и авангард

Как бы то ни было, советская эпоха не является чистым пропуском, полным провалом с точки зрения развития пространственной аутентичности, или образно-географической идентичности российской цивилизации, неким сплошным прерыванием, уничтожением возможностей геократического видения и понимания цивилизационных процессов в Северной Евразии. Как уже отмечалось ранее, 1920-е гг. как раз обещали очень многое для подобного видения и таких исследователь-

¹ В этом случае как вполне «евразийское» с образной точки зрения можно рассматривать творчество композитора И.Ф. Стравинского, писателей Андрея Белого и А. Платонова, поэта Велимира Хлебникова или художника П.Н. Филонова. См. также: *Иванов Вяч. Вс.* Евразийские эпические мифологические мотивы // *Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Отв. Ред. Вяч. Вс. Иванов; Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 13–54; Топоров В.Н.* О романе Андрея Белого «Петербург» и его фоносфере в «евразийской» перспективе // Там же. С. 181–226; *Парнис А.Е.* «Евразийские» контексты Хлебникова: от «кальмыцкого мифа» к мифу о «единой Азии» // Там же. С. 299–345; *Земцовский И.И.* Звучащее пространство Евразии: (Предварительные тезисы к проблеме) // Там же. С. 397–409; *Вшиневецкий И.Г.* Из эстетики и практики музыкального евразийства // Там же. С. 482–549.

ских интерпретаций: именно тогда происходит своего рода образно-географический «взрыв», выход «сверхрегионализма» на геокультурных фронтах российской цивилизации в общенациональный и мировой контекст. Сюда можно отнести, несомненно, «Тихий Дон» Шолохова и, чуть позднее, «Чевенгур» Андрея Платонова (которому не повезло с соответствующей цивилизационной репрезентацией вовне, он чуть опоздал по времени, но это предмет особого рассмотрения). Самый юг российского Черноземья и казачьи области на Дону, оплоты российского традиционализма и в то же время регионы формирования специфических этнокультурных ландшафтов, оказались «месторазвитиями» (используя термин Петра Савицкого) мощнейших географических образов, выходящих за рамки каких-либо возможных последовательных и исчерпывающих интерпретаций в духе социокультурных ситуаций модерна. Что касается «Тихого Дона», то со временем, найдя типологические параллели с американским Югом и соответствующими произведениями Уильяма Фолкнера, исследователям удалось в первом приближении как-то согласовать по преимуществу современные толкования содержания главного шолоховского романа¹.

Романами Шолохова и Платонова классическая русская литература, до сих пор успешно адаптировавшая или перерабатывавшая любой начинающий выделяться регионалистский дискурс, была как бы взорвана изнутри, с помощью необычных языковых средств, впитавших в себя локальные диалекты, но не ограничившихся ими. На социокультурную поверхность российской цивилизации вышли географические образы, разом картирующие до сих пор не существовавшие в высокой русской культуре, в культуре «большого стиля» регионы, и ментальные пространства, типологически размещающие и фиксирующие российскую цивилизацию (хотя и очень предварительно) на мировой цивилизационной карте периода заката, распада модерна и перехода в неопределенную пока четко эпоху. Тем не

¹ См. также: Корниенко Н.В. «Сказано русским языком...». Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. М.: ИМЛИ, 2003.

менее, произведения Шолохова и Платонова при более внимательном рассмотрении решали, конечно, совершенно различные цивилизационные «задачи» (если так можно говорить по отношению к художественному произведению): социополитическая катастрофа российского общества и государства 1910-х гг., трагедия донского казачества как уникального фронтирного субэтноса российской цивилизации, обреченного Советской властью на социокультурное уничтожение, стали источниками шолоховского творчества, гениально репрезентировавшего попытку вынужденного «большого скачка» русской культуры к позднему модерну с его ярко выраженным регионалистским *versus* региональным компонентом¹. Именно этот аспект и позволил Шолохову сравнительно безболезненно влиться в канон советской культуры и даже стать одним из основателей социалистического реализма, поскольку советская форсированная модернизация, безусловно, преследовала своего рода цивилизационные цели – «быстрым маршем» переместить Россию/СССР в «царство» европейского зрелого и одновременно позднего модерна со всеми его социальными, экономическими и культурными установками. Доминантное ментальное ядро русской культуры в ее массовых репрезентациях начала XX века, несомненно, относилось еще к раннему модерну с небольшими вкраплениями и фрагментами зрелого и позднего модерна². Всяческие культурные регионализмы и локальные

¹ Я придерживаюсь в данном исследовании традиционной для самоидентификации русской культуры XIX–XX вв. литературоцентричности; образно-географический и локально-мифологический анализ развития русской и советской литературы в первом приближении достаточен для формулировки положений, «работающих» в рамках всей культуры. Тем не менее, для дальнейшего развития этих положений и их верификации необходимо, конечно, изучение русского искусства в широком смысле (живопись, музыка, архитектура, фотография, кино, визуальное искусство); см., например: *Замятин Д.Н.* Неуверенность бытия. Образ дома и дороги в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» // *Киноведческие записки.* 2007. № 82. С. 14–23.

² Ср.: *Цымбурский В.Л.* «Городская революция» и будущее идеологий в России // *Он же.* Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 156–181.

мифы в культуре в рамках всей широко понимаемой эпохи модерна есть, в узком функциональном смысле, средство перехода от зрелого к позднему модерну; далее, в условиях распада самого модерна, локальные мифы и культурные регионализмы, переосмысленные и когнитивно расширенные, становятся существенными, ключевыми топосами разнообразных пост-модерных ситуаций, фиксируемых прежде всего западной (евроатлантической) цивилизацией. Шолоховское творчество означало в рамках советской модернизации некое по-гегелевски понятое «снятие» проблематики культурных регионализмов и локальных мифов с помощью взрывного, быстрого перехода на уровень условного «сверхрегионализма», когда всякие потенциально могущие возникнуть региональные образы и мифы уже как бы заранее размещены в выровненном и спокойном культурном пространстве позднего модерна, пережившего и «переварившего» любые «непричесанные» регионалистские интерпретации.

Устраняясь пока от подробного содержательного рассмотрения творчества Андрея Платонова в контексте геократической динамики российской цивилизации, можно, однако, отметить, что русский авангард (к которому произведения Платонова 1920-1930-х гг. безусловно относятся) в известном смысле «предвидел» появление произведений шолоховского размаха, а вслед затем и отвердование нового социалистического канона в культуре. Культурная и цивилизационная фронтирность авангарда XX века как такового, в том числе и русского, обращена, прежде всего, к проблематике пространства и пространственности¹. Многим, если не всем, обязанный

¹ Крайне важно, что эта проблема была осмыслена и репрезентирована текстами философского и визионерского характера самими родоначальниками авангарда – прежде всего К.С. Малевичем; см.: *Малевич К. Собрание сочинений*. Тт. 1–5. М.: Гилея, 1995–2004; также: *Органика. Беспредметный мир природы в русском авангарде XX века*. М.: Изд-во «РА», 2000; *Замятина Н.Ю. Локализация идеологии в пространстве (американский фронтир и пространство в романе А. Платонова «Чевенгур» // Полюса и центры роста в региональном развитии*. М.: ИГ РАН, 1998. С. 190–194; *Замятин Д.Н. Географические образы русского авангарда // Человек*. 2003. № 6. С. 158–167.

модерну и модернизму начала XX века с точки зрения культурного и идейного фундамента, авангард совершил одно важное идеологическое действие, не представимое в рамках культуры модерна: он на онтологическом уровне мыслил себя исключительно пространственно, выдвигая проблематику пространственного воображения как краеугольную и ключевую. Тем самым авангард переосмыслил проблематику географических образов, локальных мифов и культурных регионализмов как по преимуществу проблему «внутренних» репрезентаций и представлений, уходящих с непосредственно «злободневной» поверхности культуры. Взрыв русского художественного авангарда 1910-1920-х гг. был преждевременен для испытывавшей жестокий социокультурный «стресс» модерна российской цивилизации, но он был, безусловно, как никогда, своевременен для европейской цивилизации, явственно и безотлагательно ощущавшей неминуемый и наступающий «здесь и сейчас» распад ментальных конструкций модерна.

Советская модернизация: «вечная мерзлота» локальных мифов

Внешняя очевидная жесткость и жестокость социополитических процессов советской модернизации 1920–1950-х гг. не смогла все же полностью подавить, вернее, онтологически деформировать возможности появления и выхода на поверхность массовых культурных репрезентаций локальных мифов российской цивилизации. Часть их была связана еще с дореволюционными попытками сознательного «интеллигентского» поиска и конструирования локальных мифов деятелями русского Серебряного Века – как в случае «града Китежа» и Крыма-Киммерии, чей образ и его культ формировались, прежде всего, усилиями художника К. Богаевского и поэта М. Волошина¹. В качестве некоего наследования данной традиции мож-

¹ См. также: *Люсьи А.П.* Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетей, 2003; *Он же.* Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М. Русский импульс, 2007. Я не рассматриваю здесь подробно

но рассматривать и творчество Бориса Пастернака, в котором можно вполне четко увидеть становление уральского мифа русской культуры («уральские» стихи, роман «Доктор Живаго»)¹ и, с гораздо меньшей четкостью – поволжского мифа – причем сразу на уровне «высокой культуры», параллельно с более сниженными, фольклорного образца, произведениями П. Бажова². Весьма характерно, что в своем поэтическом отрывке «Урал», написанном позднее, чем бажовские и пастернаковские произведения, Н. Заболоцкий сумел представить некий условный образно-географический синтез уральского мифа, опирающегося на местную «горную» космогонию и одновременно на конструктивизм советского стиля, связанный, опять-таки, природными ресурсами и природно-зональными образами Ураль-

современные версии, конца XX – начала XXI века, крымского мифа, развивавшиеся, например, в творчестве поэтической группы «Полуостров» (особенно поэзия А. Полякова) и в деятельности поэта, эссеиста и культуртрегера Игоря Сида (Боспорские форумы 1993–1995 гг., московский литературный салон «Крымский геопоэтический клуб» конца 1990-х – начала 2000-х гг., попытка возрождения волошинского мифа Крыма в постмодернистском ракурсе); см.: Reflect... К... Multicultural multilingual magazine. # 25 (32). Chicago, 2007). Важно также отметить интенсивные усилия русскоязычных культурных элит современного Крыма по возрождению образа Крыма конца XIX – начала XX века в рамках Российской империи (издания поэтических антологий, сборников воспоминаний, легенд и мифов), актуализированные во многом современной государственной принадлежностью крымской территории Украине. Это не мешает, однако, параллельному возрождению и культивированию образа Крыма в рамках крымско-татарских представлений о судьбе полуострова.

¹ *Абашев В.В.* Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2000; *Он же.* «Люверс родилась и выросла в Перми...» (место и текст в повести Бориса Пастернака) // *Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты* / Отв. Ред. Л.О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 561–593.

² См. также: *Фрейдин Ю.Л.* Пространство Урала у О. Мандельштама. Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты / Отв. Ред. Л.О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 593–605; *Одесский М.П.* Волга – колдовская река: От «Двенадцати стульев» к «Повести временных лет» // Там же. С. 605–625; *Милюкова Е.В.* «Около железа и огня»: картина мира в текстах самодеятельной поэзии южного Урала // Там же. С. 625–645.

ской горной системы. Однако более удивительным культурным феноменом советской эпохи можно считать постепенное, подспудное, латентное наращивание образно-географических возможностей сибирско-дальневосточного мифа на основе лагерно-гулаговских текстов (фольклора, воспоминаний, художественных произведений), начавших «всплывать» в толще цивилизационных репрезентаций с конца 1950-х гг. (здесь мы абстрагируемся от того, что значительная часть этих текстов относится в содержательно-фактическом отношении к Русскому Северу, Уралу и Казахстану, поскольку именно для Сибири и Дальнего Востока гулаговские тексты сыграли, возможно, решающую роль «спускового крючка» для включения «стартового механизма» формирования соответствующего мифа – в отличие, по-видимому, от других «лагерных» регионов)¹.

Безграничные жестокость и ужас гулаговских лагерей вели к формированию специфического и яркого локального фольклора, в котором побег, затерянное место стали выдающимися ментальными топосами почти любой человеческой судьбы за Уралом. Это была, практически, монотонная прото-мифология страшного и примитивного безграничья – пространства, беспорядочно и с постоянным ускорением разбегающегося, растекающегося – пространства центробежного уже чисто онтологически. Таковы, по большому счету, и художественные произведения В. Шаламова, и мемуары гулаговцев – там, где можно обнаружить хоть какие-нибудь географические образы. Попытки увидеть, *про-видеть* подобное сибирское пространство мы можем наблюдать уже в ряде стихотворений О. Мандельштама 1920-х гг., в которых век-зверь, век-волкодав оборачивается «жаркой шубой сибирских степей» – «расштанное», развинченное время оборачивается архаично-родным, но также смертельно опасным пространством неведомого Зауралья (стоит ли говорить, что поэт предсказал свою судьбу и образно-географически). Начиная с 1960-х гг. эта неофициальная сибирская прото-мифология начала интенсивно накрываться

¹ См. также: Поэзия узников ГУЛАГа. М.: Материк, 2005.

«плащом» официальной советской пропаганды, связанной с ускоренным освоением нефтяных месторождений Западной Сибири, лесных, гидроэнергетических и минеральных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, однако, так и не создавшей прочной и автономной геоэтики освоения Зауралья¹. В качестве небольшого исключения можно указать лишь на специфическую и почти не выходящую на поверхность массовой советской культуры зауральскую субкультуру геологов, антропологов, этнографов и археологов, хранивших и модернизировавших фольклор парасоветского и а-советского интеллигентского андеграунда, в том числе в виде многочисленных бардовских песен – например, А. Городницкого и В. Туриянского (в советской литературе 1970-х гг. достойным, хотя и фактически единственным, выражением этого регионально-ментального пласта стало творчество писателя О. Куваева, прежде всего, его роман «Территория» (1975), написанный на материалах полевых экспедиций на Чукотке)².

¹ Ср.: Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

² Замятин Д.Н. Русская усадьба: ландшафт и образ // Вестник Евразии. 2006. № 1 (31). С. 86–89. Ситуация начала XXI века представляется гораздо более динамичной и интересной; см., например: Груздов Е., Свешиников А. Словарь мифологии Омска (I) // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007. С. 250–267. См. также: Тюпа В.И. Мифология Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35; Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства. Международная научная конференция 24–26 сентября 2004 г. Иркутск: Научная библиотека ИГУ, 2004; Гудкова Е.Ф. Хронотоп Сибири в русской классической литературе XVII–XIX вв. // <http://guuu7.narod.ru/HS.htm>. Симптоматично, что тематика всевозможных региональных текстов, «отпочковавшаяся» от известного «петербургского текста русской литературы» В.Н. Топорова, начала сильно расширяться и углубляться в конце XX века, на руинах советского пространства (ранее всего, естественно, «московский текст» – еще в позднесоветскую эпоху, чуть позднее – «пермский», «уральский», «крымский», «балашовский», «сибирский» и т.д.). С геократической точки зрения можно сказать, что с помощью понятия регионального текста происходит первоначальное ментальное «застолбление» и «межевание» перспективных локальных мифов и географических образов, «подмороженных» советской эпохой. Такое

Между тем, советская эпоха, подобно эпохе поиска русской национальной идентичности примерно веком раньше, прямо способствовала накоплению потенциальных образно-географических ресурсов для построения возможных локальных мифов Зауралья. Масштабные этнографические экспедиции советского времени, направленные на записи мифов и сказок бесписьменных культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на дальнейшие научные интерпретации этого наследия; попытки создания письменности и литературы для отдельных народов Северной Евразии породили к концу XX века мощный ментальный пласт российской цивилизации, потенциально продвигающий ее к осознанию себя как *северо-евразийской* – то есть могущей впитать в себя и трансформировать мифы и образы северных и зауральских народов, попавших в сферу ее пространственной экспансии¹. Другое дело, что фольклор и мифологии коренных народов Севера в советское время почти не проникали на уровень «высокой культуры», оставаясь в рамках традиционно узких научных дискурсов европейского цивилизационного образца (творчество отдельных писателей коренных народов Севера – таких, например, как чукотский писатель Юрий Рытхэу или чукотская поэтес-

когнитивное состояние культуры представляется нам все же достаточно временным и преходящим, поскольку интенсивные социокультурные процессы глобализации способствуют развитию постмодернистских ситуаций смешения всех и всяческих текстов, созданию почти тотальной, континуальной интертекстуальности и формированию бесчисленных – даже не локальных, но уже глокальных – историй. Если же возвращаться к проблематике «петербургского текста», то, скорее всего, она представляет собой вторичную геократическую «реакцию», основанную на известных версиях классического петербургского мифа, однако в значительной степени «вырожденную», идеологически суженную, в силу очевидных обстоятельств советского времени, но также – что важнее (ибо рефлексии на тему петербургского текста продолжаются и в начале XXI века) – в силу невозможности устойчивого «расширенного» идеологического воспроизводства самого этого мифа, остающегося – так или иначе – ментальным «памятником» раннего российского модерна и, в то же время, свидетельством геократического кризиса российской цивилизации XIX – начала XX века.

¹ Публикации в рамках известной научной серии «Сказки и мифы народов Востока».

са Антонина Кымытваль – оставалось, по всей видимости, в культурном контексте слегка модернизированного советскими идеологическими установками все того же колониалистского/культуртрегерского дискурса¹).

В сторону Центральной Азии: становление образно-географической и локально- мифологической оси российской цивилизации

Как же отнестись в контексте описанного выше развития локальных мифологий российской цивилизации к литературным произведениям эпохи становления социалистического реализма и эпохи его классицистического «затвердевания» – таким, например, как романы Ф. Гладкова «Цемент», В. Катаева «Время, вперед!», и далее, к таким общеизвестным литературным образцам поздней советской эпохи, как «Тени исчезают в полдень» В. Иванова, «Даурия» К. Седых, «Сибирь» Г. Маркова? По всей видимости, отвлекаясь от их чисто литературных качеств, можно сказать, что это были лишь довольно плоские и мало оригинальные версии евросоветской идеи – слабые подобия локальных мифов, формировавшихся в эпоху модерна: распад традиционной картины мира, гражданская война или острые социальные конфликты, классовая борьба в отмеченном некими специфическими этнокультурными чертами регионе (Сибири, Забайкалье, etc.), ломка традиционного мировоззрения у главных героев и обретение ими своей земли вновь – теперь уже в посттрадиционном образе. Так или иначе, подавляющее большинство этих произведений в стилевом и образно-географическом отношении размещалось в условно-типичном географическом образе «Центральной России», «Европейской России», принадлежащему практически целиком классическому европейскому модерну – так, как он был понятии и переосмыслен российской цивилизацией конца XIX – начала XX века. По существу, советская эпоха лишь «разровня-

¹ Ср.: Малори Ж.-Н. Алея китов. М.: Изд-во NOTA BENE, 2007.

ла» образно-географическую площадку для рождения возможных вполне автономных и динамичных зауральских мифов.

Тем не менее, приблизительно к 1920–1930-м гг. российская цивилизация уже имела потенциальные когнитивные шансы построить, осознать, сконструировать образно-географическую и локально-мифологическую ось, позволяющую ей сформулировать в геократическом плане дальнейшие перспективы собственного развития. Этому, как ни странно, способствовали попытки образно-географического освоения территорий, лежавших к концу XIX – началу XX века за пределами уже сложившегося пространственного ареала российской культуры и российской государственности. Серия поистине великих русских путешествий Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского, Грум-Гржимайло, Козлова в Монголию, Северо-Западный Китай, Среднюю и Центральную Азию, Тибет (хорошо вписывающихся в серии подобных путешествий в этой и других частях света, предпринятых в рамках западной цивилизации зрелого и позднего модерна с явными империалистическими обертонами), соответствовала не только вполне понятному социокультурному и военно-политическому дискурсу колониализма/культуртрегерства этой эпохи¹, но и, по всей видимости, неким внутренним образно-мифологическим поискам российской цивилизацией оригинальной пространственной аутентичности. Об этом можно говорить достаточно уверенно уже потому, что описания, выполненные русскими путешественниками в Центральную Азию, соединяют в себе, как правило, качества научного, художественного и, порой, визионерского, текстов – представляя собой синтетические тексты, порождающие при их чтении и изучении множество интересных географических образов². Несомненно, большинство описаний путешествий,

¹ См. также: *Постников А.В.* Схватка на «Крыше мира»: политики, разведчики и географы в борьбе за Памир в XIX веке (монография в документах). М.: Памятники исторической мысли, 2001.

² В этом контексте неслучайно отмеченное исследователями творчества Владимира Набокова влияние классических описаний русских путешествий в Центральную Азию на содержательные (в т.ч. сюжетные) и сти-

относящихся к европейской цивилизационной традиции эпохи классического и позднего модерна, можно охарактеризовать также, однако именно в рамках российской цивилизации той эпохи описания русских путешествий в Центральную Азию оказались столь судьбоносными с геократической точки зрения – как бы диктуя образно-географически наиболее вероятное направление перемещения ментального ядра России как цивилизационной целостности¹.

левые особенности его произведений – прежде всего в романе «Дар»; см.: *Набоков В.* Избранное: сборник / Сост. Н.А. Анастасьев. М.: Радуга, 1990. С. 622, 631–636 (комментарии А.А. Долинина).

¹ Можно сказать, что А. Платонов в своем вершинном творчестве («Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», «Джан») отозвался на этот образно-географический импульс; его тексты можно в образно-географическом смысле поистине назвать «центрально-азиатскими»; см.: *Замятин Д.Н.* Империя пространства. Географические образы в романе Андрея Платонова «Чевенгур» // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 82–90; *Он же.* Круглая вечность. Образная геоморфология романа Андрея Платонова «Чевенгур» // Вопросы философии. 2006. № 1. С. 38–49. Следует заметить также, что в образно-географическом и когнитивно-географическом контекстах Центральная Азия и Средняя Азия (в советскую эпоху), или Центральная Азия и Туркестан (в эпоху Российской империи второй половины XIX – начала XX века) – не одно и то же. Туркестан, или Средняя Азия так и не были глубоко «освоены» в образно-географическом плане российской/советской цивилизацией – несмотря даже на то, что ряд достаточно значительных русских писателей и художников там и жили, и творчески работали (фактически адаптивное в цивилизационном отношении творчество Л. Соловьева, посвященное фольклорному образу Ходжи Насреддина; трилогия С. Бородина «Звезды над Самаркандом» (1953–1973); живопись художников П. Кузнецова и А. Волкова; см. также: Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе. М.: Советский художник, 1973). На наш взгляд, в локально-мифологическом и образно-географическом планах российская цивилизация «двинулась в обход» – через Казахстан и Южную Сибирь в сторону Северо-Западного Китая и Монголии. Одна из возможных причин подобного «обхода – столкновение с «щупальцами» влиятельного и прочного иранского цивилизационного ядра в Средней Азии. Кочевые культуры востока традиционной Средней Азии оказались более «проходимыми» для российских цивилизационных дискурсов и образов. Ср. также: Центральная Азия в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2008; *Замятин Д.Н.* Моделирование геополитических ситуаций (На примере Центральной Азии во второй половине XIX века) // Политические исследования. 1998. № 2. С. 64–77. № 3. С. 133–147.

Русский Север с его традиционалистской локальной мифологией, оказавшейся необходимой в эпоху позднего модерна¹; Урал со стремительно формировавшейся мифологической аурой горнопромышленного региона с архаично-космогоническим подсознанием²; продолжающие эту мифическую линию, хотя и гораздо слабее, Алтай, Южная Сибирь (с естественным уменьшением роли горнопромышленных мифов первоначального современного освоения); наконец, Средняя и Центральная Азия, Монголия, оказывающиеся одновременно очевидной образно-мифической экзотикой для русской культуры и органическим полем обретения собственной пространственно-мифологической миссии и аутентичности. Так в первом приближении можно представить потенциальную образно-географическую и локально-мифологическую ось российской цивилизации в первой половине XX века, начинающуюся на крайнем северо-западе ее государственной территории с выходом к Белому и Баренцеву морям, продолжающуюся у юго-востоку по явно разделительной в геокультурном отношении

¹ *Замятин Д.Н.* Историко-культурное наследие Севера: моделирование географических образов // *Обсерватория культуры.* 2007. № 3. С. 62–68.

² В рамках постсоветской социокультурной ситуации важное значение имел цикл романов Сергея Алексеева, прежде всего, «Сокровища Валькирии» (см.: *Алексеев С.* Сокровища Валькирии. М.: ОЛМА-Пресс; СПб.: Нева, 1997); в 2000-х гг. мифологическую «эстафету» приняли писатели Алексей Иванов (романы «Сердце Пармы» и «Золото бунта») и Ольга Славникова (прежде всего, роман «2017»). См. также: *Литовская М.А.* Литературная борьба за определение статуса территории: Ольга Славникова – Алексей Иванов // *Литература Урала: история и современность.* Вып. 2. Екатеринбург: УрО РАН; Изд. Дом «Союз писателей» 2006. С. 66–76; *Подлесных А.С.* Кама в художественном пространстве романа А. Иванова «Чердынь – княгиня гор» // Там же. С. 76–81; *Соболева Е.Г.* Формирование мифа «Екатеринбург – третья столица» в текстах СМИ // Там же. С. 95–103; *Абашев В.В.* «Какая древняя земля, какая дремучая история, какая неиссякаемая сила...»: геопэтика как основа геополитики // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь: Мобиле, 2006. С. 197–208; *Новопашин С.А.* Священное пространство Урала. В поисках иных смыслов. Екатеринбург: Баско, 2005; *Он же.* Уральский миф. Создание мифологем как фактор успешного брендинга. Екатеринбург: Раритет, 2007.

линии Уральской горной системы и уходящую далее также к юго-востоку несколькими параллельными ответвлениями через Северный Казахстан, юг Западной Сибири, Алтай и Саяны – в Северо-Западный Китай и Западную Монголию¹. Другое дело, что советская эпоха с ее очевидным креном в сторону жесткой европейской модернизации «подморозила» возможности реального становления и развития подобной образно-географической оси, сохраняя и неявно поддерживая (так же их, фактически, «подморозив») более ранние попытки образно-географического и локально-мифологического самоопределения российской цивилизации – потенциальную южно-российскую образно-географическую ось с выходом в Крым (с опорой на образную значимость антично-византийского наследия) и гораздо менее проявленную к началу советской эпохи северо-восточную ось образно-географического развития, наиболее ярко оконтуренную в феноменологическом отношении впервые геопоэтическими текстами и комментариями Максимилиана Волошина (который при этом был, фактически, адептом и южно-российской крымской оси), а в позднюю советскую эпоху идеологически утверждаемую весьма парадоксальным образом Александром Солженицыным в его «Письме вождям»². По-

¹ Ср. также подмеченный В. Паперным стиливой «дрейф» советской архитектуры в сторону южных стиливых и знаковых коннотаций: *Паперный В.* Культура Два. 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

² См.: *Цымбурский В.Л.* Александр Солженицын и русская контрреформация // *Он же.* Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 475–486. См. сюда же вполне явственно формировавшуюся в первой половине XX в. геопоэтику и геомифологию российской/советской Арктики (с особым упором на образ Северного морского пути; здесь, конечно, симптоматичен роман В. Каверина «Два капитана»), очевидно, сильно разрушенную и «подпорченную» формировавшимся параллельно с 1920-х гг. образом ГУЛАГа (*Головнев А.* Идеологемы Севера // *История места: учебник или роман?* Сборник материалов первой ежегодной конференции в рамках исследовательского проекта «Локальные истории: научный, художественный и образовательный аспекты» (Норильск, 9–11 декабря 2004 г.). М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 100–110; *Жданова И.* Способы определения уникальности

ниманию актуальности и значимости северо-восточного образно-географического вектора в советское время способствовали, конечно, и уже упоминавшиеся исследования бесписьменных культур народов Севера, выведившие на поверхность европеизировано-модернистских репрезентаций дотоле практически неизвестные российской цивилизации географические образы и мифы, а также вполне очевидное интенсивное очаговое освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока с его ГУЛАГовскими коннотациями и изводами 1930–1950-х гг., требовавшее хоть какого-то первоначального ментально-пространственного оформления и осмысления.

Геократическая интерпретация развития русской цивилизации (XVIII–XX вв.): предварительные итоги

Итак, геократическая интерпретация развития русской цивилизации, начиная с конца XVII – начала XVIII века, сводится, с нашей точки зрения, предварительно к следующим пространственно-временным узлам-образам: *первый* – быстрое наращивание и устойчивое воспроизводство географических образов европейского и параевропейского типа (включающих естественную метафорику больших, огромных пространств), успешно обеспечивающих геополитический декор Петербургской империи в течение долгого для России Века Просвещения; *второй* – кризис «европейского» образного видения/представления пространства русской цивилизации, прежде всего в отношении зауральских пространств; мощная геократическая реакция в виде амбивалентного петербургского мифа; первоначальные попытки развития локальных мифов к началу XX века; постепенное «накопление» и осмысление географи-

Норильска // Там же. С. 85–100; Толстов Вл. Изучение норильской истории: практический опыт // Там же. С. 191–212; Замятина Н.Ю. Норильск – город фронта // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 165–190; «Враги народа» за Полярным кругом: Сб. статей / Под ред. А.Н. Земцова. М.: ИИЕТ им. С.И. Вавилова, 2007); Тихомиров В. Первый герой. Ляпидевский и его время // Огонек. 2008. № 12. 17–23 марта. С. 46–48 и др.

ческих образов, вполне автономных по отношению к европейской цивилизации, хотя и обязанных ей способами их репрезентаций (русские путешествия в Центральную Азию, русская проза 1920-х гг., взрыв «свехрегионализма» в произведениях Шолохова и Платонова 1920-х гг.), появление русского евразийства как промежуточного геократического «хода» и, как следствие, паллиативного образа России-Евразии, позволяющего ускорить указанное образно-географическое «накопление»; *третий* – новая, неоднозначная по своим последствиям, геократическая реакция советской эпохи, включающая возвращение столицы в Москву, максимальную геополитическую и геокультурную централизацию пространства на Евророссию, «замораживание» первоначальных ростков локальных мифов, рост необходимости оригинального образного осмысления зауральских пространств в связи с их интенсивным очаговым освоением в рамках форсированной социально-экономической и культурной модернизации и первоначальное использование в этих целях образов России-Евразии (например, труды Л. Гумилева), а также традиционных географических образов разрушения и распада аграрных сообществ раннего и зрелого модерна (как типичный пример: произведения сибирских писателей В. Распутина и В. Астафьева).

Так или иначе, возникновение самого образа геократии можно увязать с ментальным сближением европейской и российской цивилизаций XVII–XX вв., а выделенные нами в первом приближении три пространственно-временных узла-образа свести к двум этапам развития этого образа в рамках российской цивилизации: первый – геократический импульс и его развитие, или геократическая активность России – благодаря сближению с Западом; второй – сложная и затянувшаяся на два века геократическая реакция российской цивилизации, обусловленная несходством, отличием располагаемых ею матричных географических образов (во многом – результат первого этапа) от первичных пространственных прото-образов Зауралья (Сибири и Дальнего Востока) и Средней Азии. Следует также отметить, что подобный геократический анализ прямо ведет

и к проблематике **перемещения русских столиц**, поскольку сами эти перемещения являются очень существенными, фактически уникальными, знаково-символическими трансформациями – как с точки зрения поведения некоторых промежуточных итогов предыдущего геократического развития, так и в плане дальнейших геократических перспектив. Иначе говоря, географический образ столицы в рамках ментального комплекса российской цивилизации – несмотря на все, лежащие на поверхности, содержательные параллели с другими государствами и цивилизациями, вплоть до настоящего времени – имеет до сих пор *метагеографический* характер, то есть выходит за границы обычной системы геополитической и геоэкономической аргументации, применяемой в подобных случаях. Геософская и историософская нагрузка образа столицы и, тем более, высокая эмоциональная насыщенность проблемы перемещения столицы в русской истории могут выглядеть иногда чрезмерными с точки зрения, или с точки обзора «из другой цивилизации», однако «внутри» российской цивилизации – по крайней мере с XVI века – такая когнитивная ситуация может рассматриваться как привычная или ординарная.

Пытаясь выстраивать некоторые потенциальные географические образы, могущие влиять на дальнейшую геократическую динамику российской цивилизации, естественным решением было бы, исходя из ранее сказанного, попробовать сконструировать географический образ русской столицы, который обладал бы мощной геократической энергетикой – с одной стороны, а – с другой – развивался бы в русле уже накопленных и не отменяемых геократических подвижек и изменений российской цивилизации. Наиболее важное здесь – обеспечение непрерывности самого геократического нарратива, опирающегося на логически осмысленную и переосмысленную динамику ключевых региональных географических образов и локальных мифов, а также на внешние когнитивно-географические контексты этой динамики¹. Формулировка

¹ О когнитивно-географических контекстах см.: *Замятина Н.Ю.* Когнитивные пространственные сочетания как предмет географических иссле-

данной геократической «задачи» может выглядеть так: где может расположиться (находиться) новая столица России, если региональный образно-географический вектор направлен в сторону Зауралья (Сибири и Дальнего Востока)¹, наиболее насыщенным и подготовленным с локально-мифологической точки зрения в этом направлении пока является географический образ Урала, а внешний когнитивно-географический контекст определяет важность дальнейшего образно-географического движения российской цивилизации к Центральной Азии? Ясно, что решение данной задачи можно локализовать географическими образами *крупнейших уральских городских агломераций*, причем наиболее символически значимую локальную столичность имеет географический образ *Екатеринбурга* (ее корни уходят еще в XVIII век). В качестве запасного географического образа русской столицы на Урале можно рассматривать образ *Челябинска*, содержательно гораздо более связанного с внешним когнитивно-географическим контекстом современной российской цивилизации (образ Центральной Азии)².

Подводя предварительные итоги исследования, можно сказать: понятие и образ геократии представляют собой попытку мысленной (ментальной) экономии в междисциплинарных ис-

дований // Известия РАН. Сер. геогр. 2002. №5. С. 32–37; *Она же*. Когнитивно-географический контекст как модель соотношений географических образов (на примере анализа текстов официальных сайтов субъектов РФ) // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 3. М.: Институт наследия, 2006. С. 45–63.

¹ Ср.: *Цымбурский В.Л.* Зауральский Петербург // *Он же*. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 278–286; *Он же*. А знамений времени не различае... // Там же. С. 286–307.

² Ср.: *Хатунцев С.* Идите все, идите... на Урал! Политический центр России должен быть перенесен на Восток // Политический класс. 2008. № 38. Февраль 2008 (<http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=923>). Аргументация автора носит классический геополитический, геокультурный и геоэкономический характер с опорой на цивилизационную концепцию евразийского пояса лимитрофов (выдвинута независимо друг от друга и параллельно разрабатывается С. Хатунцевым и В. Цымбурским).

следованиях российской цивилизации, при этом утверждается, что пространственная аутентичность российской цивилизации является некоей равнодействующей имманентных ей ключевых географических образов, локальных мифов и внешних когнитивно-географических контекстов. Геократия может рассматриваться также как опосредованное когнитивное следствие ментального сближения российской цивилизации с европейской в течение XVIII–XX вв. Возможны содержательные интерпретации понятия и образа геократии на основе классических геополитических и политологических суждений о динамике российской цивилизации эпохи модерна, однако в этом случае должен быть разработан дополнительный методологический и методический инструментарий.

Глава 4. Мускулы острова-мира: метагеографические оси Евразии

Памяти В.Л. Цымбурского

Перед нашими глазами гигантские
снежные горы упираются в синеву неба.

За этими цепями – другие – уже по ту
сторону границы – в Китае.

Горы располагают к созерцанию.

На наши горные цепи с другой стороны
столетиями глядели китайские мудрецы.

Горы располагают к размышлению.

Сергей Эйзенштейн.

*Предисловие к английскому изданию
«The Film Sense»*

...и эти выпренные тени
на пытке тронной, свысока,
когда, как горная река,
бамбук страстей по средостенью
впадает в корень языка

китайского, и просит каши
симбирским волком ледокол,
кошмарный наст начальных школ
деля на наше и не наше...

Игорь Сид. Мне Логосъ был.

Он звал к расплате...

Большие пространства вестибулярны...

Павел Жагун. Пыль Калиостро

Метагеография: введение в проблематику

Метагеография – междисциплинарная область знания, находящаяся на стыке науки, философии и искусства (в широком смысле), и изучающая различные возможности, условия, способы и дискурсы географического мышления и воображения.

Возможные синонимы понятия метагеографии – философия ландшафта (пейзажа), геофилософия, философия пространства (места), экзистенциальная география, геософия, в отдельных случаях – география воображения, имагинальная (образная) география, геопэтика, поэтика пространства. Понятие метагеографии выделяется по аналогии с аристотелевским выделением физики и метафизики и несет приблизительно тот же логический и содержательный смысл.

Рационалистические и сциентистские подходы к этому понятию фиксируют предмет метагеографии на изучении общих (генерализированных) географических законов. Такие подходы первоначально развивались на базе общего земледедения и общей физической географии в первой половине XX века, хотя первоначальные фундаментальные положения, которые в современной интерпретации можно назвать метагеографическими, были высказаны уже в первой половине XIX века немецким географом Карлом Риттером¹. Существенная роль в становлении основ метагеографии принадлежит классической геополитике (конец XIX – начало XX века), в которой традиционная географическая карта стала осмысляться как предмет метафизических и геософских спекуляций². Усиление интереса к метагеографии в рамках географической науки в 1950-1970-х гг. было вызвано внедрением математических методов, системного подхода и применением различных логико-математических моделей, призванных объяснять и интерпретировать наиболее общие географические законы³. В дальнейшем, к концу XX –

¹ *Риттер К.* Идеи о сравнительном земледедении // *Магазин земледедения и путешествий. Географический сборник*, издаваемый Николаем Фроловым. Т. II. М., 1853. С. 353–556; *Геттнер А.* География. Ее история, сущность и методы. / Пер. с нем. Е.А. Торнеус; Под ред. Н. Баранского. Л.; М.: Гос. изд-во, 1930; *Замятин Д.Н.* Методологический анализ хорологической концепции в географии // *Известия РАН. Серия географическая*. 1999. № 5. С. 7–16.

² *Замятин Д.Н.* Геополитика: основные проблемы и итоги развития в XX веке // *Политические исследования*. 2001. № 6. С. 97–116.

³ *Бунге В.* Теоретическая география. М.: Прогресс. 1967; *Гохман В.М., Гуревич Б.Л., Саушкин Ю.Г.* Проблемы метагеографии // *Математика в*

началу XXI века, понятие метагеографии было подвергнуто критике с точки зрения традиционной сциентистской парадигмы, ориентированной на доминирование исследований в духе case-study, и практически вытеснено на дискурсивную периферию¹. Вместе с тем неявные (латентные) метагеографические постановки проблем постоянно присутствуют в современных исследованиях ландшафтных образов, географического воображения, символических ландшафтов, соотношения ландшафтов и памяти².

В рамках философии дискурсивные возможности развития понятия метагеографии были определены в первой половине XX века работами немецкого философа Мартина Хайдеггера – как в ранней феноменологической версии (книга «Бытие и время», 1927), так и в более поздних экзистенциалистских версиях (ряд эссе 1950–1960-х гг., в т.ч. «Строить обитать мыслить», «Поэтически обитает человек», «Искусство и пространство», «Вещь» и др.)³. Наряду с этим, метагеография базируется и на различного рода феноменологических штудиях пространства и места – здесь к фундаментальным работам можно отнести труды Г. Башляра 1940–1950-х гг.⁴. Развитие семиотики, пост-

экономической географии. Вопросы географии №77. М.: Мысль, 1968; *Харвей Д.* Научное объяснение в географии. М.: Прогресс, 1974; *Саушкин Ю.Г.* Экономическая география: история, теория, методы, практика. М.: Мысль, 1973; *Асланикашвили А.Ф.* Метакартография. Основные проблемы. Тбилиси.: Мецниереба, 1974; *Николаенко Д.В.* Введение в метатеорию метагеографии. Симферополь: СГУ, 1982.

¹ *Lewis, M. W., Wilgen K. E.* The Myth of Continents: A Critique of Metageography. Berkeley and Los Angeles, 1997.

² *Tuan Y.* Realism and fantasy in art, history and geography // *Annals of Association of American Geographers.* 1990. # 80. P. 435–446; *Soja E.W.* Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social theory. London: Verso, 1990; *Schama S.* Landscape and Memory. New York: Vintage Books, 1996.

³ *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. М.: “Ad Marginem”, 1997; *Он же.* Время и бытие. М.: Республика, 1993; *Он же.* Строить обитать мыслить // Проект international 20. Октябрь 2008. С. 176–190.

⁴ *Башляр Г.* Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1998; *Он же.* Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1999; *Он же.* Земля

структурализма и постмодернизма способствовало оживлению философского интереса к метагеографическим проблемам в конце 1960-х – 1980-х гг. (работы М. Фуко, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, введение в философский дискурс понятий гетеротопии, геофилософии, детерриториализации и ретерриториализации)¹. Наконец, интенсивные процессы глобализации вкупе с концептуальным «дрейфом» философии к изучению широких междисциплинарных областей знания в конце XX – начале XXI века обусловили толчок в развитии метафизических исследований земного пространства².

В искусстве собственно метагеографические проблемы начали осмысляться в начале XX века – в литературе (произведения Пруста, Джойса, Андрея Белого, Кафки, Хлебникова, живопись и теоретические манифесты футуристов, кубистов, супрематистов, архитектура Ф.Л. Райта). Это художественное осмысление земного пространства шло параллельно научному перевороту в физике (теория относительности, квантовая теория), развитию географии человека (антропогеографии). Искусство художественного и литературного авангарда (прежде всего, деятельность Кандинского, Малевича, Эль Лисицкого, Клее, Платонова, Леонидова, Введенского, Хармса, чуть позднее – Беккета) рассматривало и воображало пространство как, по сути, экзистенциальную онтологию человека. Вторая вол-

и грезы воли. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2000; Поэтика пространства // *Он же*. Избранное: Поэтика пространства. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 5–213.

¹ Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Екатеринбург: У-Фактория, 2007; *Они же*. Что такое философия? СПб.: Алетейя, 1998; Фуко М. Другие пространства // *Он же*. Интеллектуалы и власть. Часть 3. Статьи и интервью. 1970–1984. М.: Праксис, 2006. С. 191–205; *Замятин Д.Н.* Гетеротопия. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Выпуск 5. М.: Институт наследия, 2008.

² Подорога В. А. Выражение и смысл: Ландшафтные миры философии. М.: “Ad Marginem”, 1995; *Нанси Ж.-Л.* *Corpus*: Пер. с франц. Е. Петровской и Е. Гальцовой / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Е. Петровской. М.: Ad Marginem, 1999; *Слотердаjk П.* Сферы. Макросферология. II. Глобусы. СПб.: Наука, 2007.

на европейского художественного авангарда (1940–1960-е гг.) фактически воспроизводила те же художественные позиции, не внося ничего радикально нового. В рамках этой традиции важно использование синтетических пространственных опытов китайского и японского искусства (живопись, графика, каллиграфия, поэзия – например, произведения А. Мишо).

К началу XXI века метагеографические опыты и исследования развивались преимущественно в сфере литературы, философии, искусства; роль научных репрезентаций была незначительной. Для метагеографии в целом характерно смешение и сосуществование различных текстовых традиций: художественных, философских, научных; серьезное значение приобрел литературный жанр эссе, позволяющий наиболее свободно ставить и интерпретировать метагеографические проблемы¹. Быстрое развитие технологий (компьютеры, видео, Интернет) способствует появлению новых метагеографических репрезентаций и интерпретаций (тематика виртуальных пространств, гипертекстов, лишь косвенно связанных с конкретными местами и территориями).

В содержательном плане метагеография занята проблематикой закономерностей и особенностей ментального дистанцирования по отношению к конкретным опытам восприятия и воображения земного пространства. Существенным элементом подобного дистанцирования является анализ экзистенциального опыта переживания различных ландшафтов и мест – как своего, так и чужого. С точки зрения аксиоматики метагеография предполагает существование ментальных схем, карт и образов «параллельных» пространств, сопутствующих социологически доминирующим в определенную эпоху образам

¹ *Замятин Д.Н.* Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004; *Рахматуллин Р.* Москва – Рим. Новый счёт семихолмия // НГ Ex Libris. 10 октября 2002. С. 4–5; *Он же.* Две Москвы, или Метафизика столицы. М.: АСТ, Олимп, 2008; *Голованов В.* Остров. Оправдание бессмысленных путешествий. М.: Вагриус, 2002; *Он же.* Пространства и лабиринты. М.: Новое литературное обозрение, 2008. *Балдин А.* Протяжение точки. Карамзин и Пушкин. М.: Первое сентября, 2009.

реальности. Развитие и социологическое доминирование массовой культуры ведет также к появлению приземленных паранаучных версий метагеографии (близких подобным версиям сакральной географии), ориентированных на поиск и фиксацию различного рода «мест силы», «таинственных мест» и т.д.

В идеологическом контексте метагеография и конкретные метагеографические опыты могут оказывать влияние на развитие художественных течений, научных и философских направлений, социополитических и социокультурных представлений интеллектуальных сообществ. В концептуальном плане метагеография содержательно взаимодействует с гуманитарной и культурной географией, геопозитикой, географией искусства, геофилософией, сакральной географией, архитектурой, мифогеографией, геокультурологией, различными художественными и литературными практиками.

Евразия как остров-материк

Евразия – материк, чей географический образ требует размещения, соотнесения с другими географическими образами на метауровне, в метагеографическом пространстве. Метагеография Евразии учитывает особенности ее географии – физической, культурной, политической, социально-экономической – однако прямого соответствия здесь нет. Есть определенные автономные особенности и законы метагеографического развития Евразии, тем более что сами термин и понятие Евразии по своей содержательной сути – метагеографические – опирающиеся на мощные геокультурные традиции воображения Европы и Азии в их давних и древних противопоставлениях, нераздельностях, неслиянностях и взаимозависимостях, но следующие в своей онтологической разработке некоей, безусловно, внутренней идее.

Осознание выходящей за рамки традиционной географии идеи Евразии происходит, как известно, в эпоху позднего европейского/западного модерна – сначала благодаря возникновению и концептуальному развитию геополитики, имеющей оче-

видные, в том числе, империалистические и идеологические корни, а затем благодаря пересекающимся и взаимодействующим с ней гуманитарно-идеологическим утопиям с с различными национально-консервативными оттенками как научно-идеологического, так и художественно-идеологического планов. Здесь мы не будем подробно касаться историко-генетического пласта данной проблемы¹; наша задача – попытаться исследовать в первоначальном приближении некоторые структурные основания метагеографии Евразии – так, как они могут быть выявлены и/или явлены в контексте концепций и теорий локальных цивилизаций. Следует учесть, тем не менее, что мы не придерживаемся каких-либо жестких классификаций и типологий локальных цивилизаций², предпочитая использовать более или менее устоявшиеся географические образы нескольких вполне зримых в своем феноменологическом облике цивилизационных целостностей.

Главная метагеографическая идея Евразии – так, как она обнаружилась уже в геополитических штудиях первой половины XX века – это идея «мирового острова» или острова-материка. С одной стороны, Евразия, наследуя, собственно, европоцентристской традиции, мыслилась центральной сушей, ядерным материком Земли, что оправдывалось развитием на ее географической территории большинства крупных и хорошо известных локальных цивилизаций. С другой стороны, период завершения географических открытий, практически покончивший с terra incognita на карте Земли, содействовал пониманию от-

¹ Цымбурский В.Л. Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства // *Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006*. М.: РОССПЭН, 2006. С. 419–441; *Он же. Дважды рожденная «Евразия» и геостратегические циклы России* // Там же. С. 441–464. См. также: *Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи*. М.: Наталис, 2004.

² См. более подробно об основных современных теориях и концепциях локальных цивилизаций: *Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия* / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасов. М.: Аспект Пресс, 1998; *Время мира. Альманах. Вып. 2: Структуры истории* / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001.

носительности географических размеров Евразии на фоне пространственного преобладания океанов (существенно, однако и то, что Евразия уже не могла рассматриваться как фактически единственный, более или менее известный, огромный сухопутный мир, как это происходило в античности, средневековье, да и на стадии раннего модерна; Африка, а позднее Америка еще не могли обладать сколько-нибудь значительным метафизическим «весом» по сравнению с Евразией, спекулятивное воображение которой хотя еще и довольствовалось традиционным бинарным разделением на Европу и Азию, но уверенно развивалось в сторону единых евро-азиатских ментально-мифологических и образно-географических конструкций)¹. Другими словами, Евразия начинает конструироваться как амбивалентный географический образ, трансцендирующий своё содержание в метагеографической плоскости довольно двусмысленно: гигантский, самый большой материк Земли воображается как остров, остров-материк, некое «двупространство» или «бипространство» в онтологическом смысле; он выглядит как своего рода сама прерывистость пространства, явленная дискретно пульсирующим материковым континуумом.

На метагеографическом уровне пространство Евразии оказывается самоподобным, фрактальным: внутри острова-материка появляются образы отдельных островов, материков, иногда сцепляющихся друг с другом опять-таки в острова-материки; можно говорить здесь о метафизических структурах евразийского пространства, ориентированных на достаточно протяженные в историческом времени цивилизации-образы (например, Китай, Индия, Европа, Россия). Вне всякого сомнения, что такие структуры могут рассматриваться как когнитивный аналог современной физической картины мира, складывавшейся в течение последних 100–200 лет – физическое строение материи, принцип дополнительности Нильса Бора и

¹ Это характерно уже для начала эпохи Просвещения в Европе; см., например: *Лейбниц Г.В.* Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе счисления. М.: ИФ РАН, 2005; также: *Герье В.И.* Лейбниц и его век. Отношение Лейбница к России и Петру Великому. СПб.: Наука, 2008.

квантово-корпускулярная теория света являются образными, ментальными «лекалами», которые могут служить исходными формами для анализа метагеографии Евразии. Кроме того, конкретная физическая, политическая, социально-экономическая география отдельных районов Евразии может выступать как определенная метагеографическая «подложка», позволяющая в дальнейшем вырабатывать, представлять устойчивые образы-архетипы, участвующие в метагеографической «игре» на мезо- и микроуровне: так, Англия на протяжении XIX – начала XX века становится благодаря своим имперским достижениям «мировым островом» на микроуровне, неким очевидным метагеографическим фракталом всей Евразии; Индия на протяжении как минимум трех тысячелетий воспринимается как отдельный «материк» – первоначально, конечно, вследствие, своих территориальных размеров, сочетающихся с физико-географическими преградами, как бы охраняющими ее, а затем, благодаря огромному этнокультурному и цивилизационному разнообразию, как бы воспроизводящему на мезоуровне подобное разнообразие самой Евразии.

Китай и Россия в метагеографическом смысле могут быть восприняты как острова-материки: их масштабные цивилизационные целостности воображаются как большие пространства с мощной внутренней социокультурной и политической энергетикой; наряду с этим, обе эти страны-цивилизации периодически выступают как периферийные или пограничные пространства, отделенные от «большого»/ остального мира как внутренними центростремительными интенциями, иногда хаотического характера, так и стремлением изолироваться от остального или внешнего мира. Цивилизационное самосознание и Китая, и России во многом можно назвать «центрально-пограничным» – метагеографическая амбивалентность данных цивилизационных целостностей в их диахронии, похоже, хорошо соответствует общей идее Евразии как острова-материка.

Метагеографические водоразделы Евразии

Если попытаться представить себе метагеографическую структуру Евразии исходя из образно-географической дихотомии остров-материк, то мы можем отчетливо увидеть две метагеографические оси, тянущиеся примерно параллельно друг другу с северо-запада на юго-восток (можно сказать и наоборот: с юго-востока на северо-запад, но определенного направления здесь нет). Первая ось – евро-индийская (индоевропейская), начинающаяся на крайнем северо-западе Европы (Британские острова, Нидерланды), идущая далее через Южную Европу и Средиземноморье на Ближний Восток и заканчивающаяся собственно в Индии. Вторая ось – российско-китайская, начинающаяся на Кольском полуострове, продолжающаяся на Русском Севере, проходящая далее через Урал, юг Западной Сибири, частично Казахстан, Алтай, Центральную Азию и заканчивающаяся собственно в Китае. Перефразируя известное выражение Уинстона Черчилля, можно назвать эти две метагеографические оси «мускулами евразийского мира». Другое возможное название – *метагеографические водоразделы Евразии*.

Понятно, что невозможно мыслить подобные оси как некие тонкие прямые линии, точно проведенные и обозначенные на обычной географической карте Евразии. По всей видимости, это осевые пространства, воображаемые «коридоры», задающие образно-географическую энергетику материка¹. Можно мыслить также евразийские «водоразделы» и как своего рода большие геократические пояса, воздействующие на геополитические и геокультурные ритмы Евразии, а, возможно, и всего мира.

Как связаны эти «водоразделы» между собой – если представлять Евразию как единое метагеографическое целое? В первом приближении, обе оси как бы уравнивают запад и восток Евразии в рамках общего географического воображения. В то же время эти метагеографические оси связываются между собой относительно небольшим цивилизационным

¹ Наиболее очевидный аналог – понятие осевого времени К. Ясперса.

ядром, тяготеющим к географическому центру Евразии – Ираном, чья несомненная и протяженная во времени цивилизационная устойчивость является, с одной стороны, «крепким орешком» с точки зрения внешних цивилизационных влияний Европы, Индии, Китая, а, с другой стороны, Иран, несомненно, выступает в качестве определенной цивилизационной перемычки, связующей две мощные осевые структуры. На уровне историко-цивилизационного, этнокультурного, языкового генезиса роль Ирана как места цивилизационного транзита очевидна, однако мы хотели бы обратить внимание на другое обстоятельство: Иран не может претендовать в метагеографическом смысле на образ острова, материка или острова-материка – тем не менее, ему можно отвести образное место плато, плоскогорья; это пустынное возвышенное пространство, собирающее и сохраняющее, иногда и порождающее, некоторые наиболее важные для Евразии в целом символы, знаки, архетипы, ментальные паттерны – довольно архаичные и в то же время онтологические¹. Иран, возможно – метагеографическая «кунсткамера» Евразии.

Между тем, Иран может рассматриваться и как определённый цивилизационный барьер или цивилизационное «сито»: в течение исторического времени он неоднократно выступал в качестве серьезного препятствия на пути мощных кочевых миграций и завоеваний; известная мифологическая оппозиция

¹ См.: *Фрай Р.* Наследие Ирана. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1972; *Грюнебаум, фон Г.Э.* Классический ислам. Очерк истории (600 – 1258). М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1988; *Корбен А.* Свет славы и святой Грааль. М.: Волшебная гора, 2006; *Он же.* Световой человек в иранском суфизме. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009; *Бертельс А.Е.* Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв. М.: Восточная литература РАН, 1997; *Грантовский Э.А.* Иран и иранцы до Ахеменидов. М.: Восточная литература РАН, 1998; *Кныш А.Д.* Мусульманский мистицизм: краткая история. СПб.: Диля, 2004; *Наср С.Х.* Исламское искусство и духовность. М.: Дизайн. Информация. Картография, 2009; *Буркхардт Т.* Введение в доктрину суфизма. Таганрог: Ирби, 2009; *Насыров И.Р.* Основания исламского мистицизма: Генезис и эволюция. М.: Языки славянской культуры, 2009 и др.

Ирана и Турана¹ – одно из свидетельств подобного, одновременно и историко-географического, и метагеографического обстоятельства. Наряду с этим, географический образ Ирана может моделироваться, в терминах геоморфологии, как «бараний лоб» – возвышенное место, гора с выпуклой вершиной, на которую трудно забраться. Иначе, говоря, на метагеографической карте Евразии Иран является в образном смысле цивилизационным «тормозом», как бы предохраняющим пространство Евразии от слишком опасных центробежных движений, он – масштабная территория ретардации межцивилизационного взаимодействия.

Структура и ритмика метагеографии Евразии

Выделенные нами метагеографические оси, или водоразделы, Евразии имеют свою внутреннюю структуру и ритмику. Существенное сходство между ними состоит в очевидных «разломах» – пространствах, находящихся образно-географически примерно посередине между концами этих осей и продуцирующих, инспирирующих, производящих, порождающих постоянные, в пределах исторического времени, сильные геокультурные, геоидеологические и геополитические флуктуации и турбулентности. К таким пространствам или районам можно отнести, несомненно, Ближний и, частично, Средний Восток, включая восточную часть Малой Азии и практически всю Месопотамию (это геократический «разлом» евро-индийской оси)², и пространство Центральной Азии, включающее в данном случае Сынцзян и прилегающие к нему Тибет, Западную Монголию, возможно, с включением некоторых современных районов Казахстана, Киргизии и Афганистана (север и северо-восток) – как геократический «разлом» российско-ки-

¹ Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древни арии: мифы и история. 2-е изд., доп. и испр. М.: Мысль, 1983.

² О понятии геократии и спектре его интерпретаций см.: Замятин Д.Н. Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Политические исследования. 2009. № 1. С. 71–90.

тайской оси. Ведущим признаком для выделения или оконтуривания таких метагеографических разломов может служить наличие геоидеологического синкретизма или сочетания взаимно противоборствующих религиозных и культурных идей, при этом физическая, экономическая и культурная география указанных районов выступает в качестве яркой образной подложки подобной идеологической борьбы – будь то столкновения религий, сект, кочевого и оседлого образов жизни, геополитических интересов крупных держав и империй¹. Наверное, уместно будет назвать эти разломы, используя метеорологические образы, «глазом бури», концентрирующим всю отрицательную энергетику межцивилизационных взаимодействий в их геокультурном выражении, и взрывающимся периодически геополитическими и военными катаклизмами. Так или иначе, вне очевидных физико-географических, геополитических и геокультурных различий исходных районов, данные метагеографические разломы оказываются мощными регулирующими механизмами описываемых нами евразийских осей.

Если попытаться более детально представить описанные выше метагеографические разломы, или перевести их в другую метафорическую систему, то можно говорить о них как о неких локтевых сгибах, локтевых «косточках», меняющих ориентацию всей метагеографической «руки. Внутри таких локтевых «косточек» можно обратить внимание на наиболее важные точки – это районы Ливана и Палестины на евро-индийской оси² и территории Западного Синьцзяна и северо-востока Афга-

¹ Как в случае Ближнего и Среднего Востока, так и в случае Центральной Азии вполне очевиден масштабный и долговременный характер подобной идеологической борьбы – как религиозной (контroversы геистории таких религий, как иудаизм, христианство, ислам, манихейство, буддизм – даже не рассматривая собственно «пучок» более древних религий и культов), так и политической – начиная с эпохи эллинизма и заканчивая геополитической ситуаций начала XXI в. См., например: Восточный Туркестан в древности в раннем средневековье. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992.

² См., например: *Аттиас Ж.-К., Бенбасса Э.* Вымышленный Израиль. М.: Изд-во «ЛОРИ», 2002; *Меламедов Г.А., Эшштейн А.Д.* Дипломатиче-

нистана¹. По всей видимости, малейшее приведение в действие этих метагеографических «косточек»-узлов может иметь следствием существенные трансформации метагеографической карты всей Евразии: по крайней мере, продолжительные межрелигиозные, межкультурные и международные взаимодействия, происходившие и происходящие в данных районах, ведут как бы к растяжению, расширению географического образа Евразии в целом: со второй трети XX века Евразия уже стала ключевым элементом американоцентричных геополитических схем, в то же время ключевые точки метагеографических евразийских разломов оказываются масштабными общемировыми символами и знаками непрекращающейся и постоянно актуализируемой идеологической борьбы (между империализмом и третьим миром, коммунизмом и демократией, исламом и сионизмом, демократией и авторитарными режимами, мировым терроризмом и западными государствами и т.д.).

По сути дела, речь идет о своеобразных метагеографических шарнирах, опосредованно работающих на дистанцирование, геоидеологическое и геодивизиационное отдаление складывающегося образа Евразии как условной метагеографической карты. Геократический характер подобного метагеографического механизма становится ясным благодаря когнитивным стратегиям и дискурсам прямого воображения конкретного пространства как судьбоносного, экзистенциального или даже онтологического. Если религиозные, народные или элитарные утопии домодерных эпох или раннего модерна могли проецировать свои образы в сферы очевидных тогда *terra incognita*, то уже начиная со второй четверти XX века, когда закрытие практически всех «белых пятен» на географической карте мира

ская битва за Иерусалим. Закулисная история. М., Иерусалим: Мосты культуры / Гешарим, 2008; Переписка Мак-Магона – Хусейна 1915–1916 гг. и вопрос о Палестине: Документы и материалы / Предисл., вступит. Ст., комментарии и перевод Д.Л. Шевелёва. М.: РОССПЭН, 2008 и др.

¹ *Воскресенский А.Д.* Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 года // М.: «Памятники исторической мысли», 1995; *Дубровская Д.В.* Судьба Синьцзяна. М.: ИВ РАН, 1998.

стало бесспорным фактом, начинается формирование (поначалу, возможно, бессознательное) метагеографических проектов, ориентированных на «параллельные пространства», как бы надстраиваемые над уже достаточно хорошо известными территориями или районами. Тем не менее, в пределах Евразии это метагеографическое проектирование, базирующееся на понятии сопространственности¹, использует, прежде всего, географические образы территорий, обладающих мощной мифологической, геокультурной и идеологической аурой. Сюда, безусловно, можно отнести район Ближнего Востока, а по некотором размышлении и территорию Центральной Азии в широком смысле.

Метагеографическое моделирование Евразии: ключевые образы

Попробуем описать в самых общих чертах метагеографическую модель, в рамках которой будут понятны системные трансформации евразийских осей. Воспользуемся, по аналогии, метеорологической моделью переноса воздушных масс, несущих с собой либо тепло и влагу, либо сухость и отсутствие осадков. По всей видимости, специфические системы географических образов, присущих определенной локальной цивилизации, развиваясь, включают в себя новые географические знаки и символы, находящиеся за физико- и политико-географическими пределами этой цивилизации². Можно назвать такие образно-географические цивилизационные системы «влажными», они создают как бы влажные образно-географические «ветры», дующие в сторону территорий и пространств более сухих, более замкнутых на себя с точки зрения цивилизационного развития и самосознания. Однако только этого недостаточно. Подоб-

¹ См.: *Замятин Д.Н.* Образный империализм // Политические исследования. 2008. № 5. С. 45–55.

² *Замятин Д.Н.* Пространство и цивилизация в зеркале гуманитарной географии // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 8. С. 99–109.

ные «влажные» образно-географические переносы должны дополняться системами цивилизационно-географических образов другого рода, а именно: «областями низкого давления», обладающими мощными и разветвленными, и в то же время довольно статичными географическими образами, склонными к «застыванию», статуарности, «оледенению». Эти образно-географические системы могут как бы постоянно втягивать в себя какие-либо чужеродные идеологические образования, формируя для них новые когнитивные ячейки в рамках гибких идентификационных механизмов. Создаются своего рода метагеографические «насосы», удовлетворяющие потребности образно-географических систем как одного типа, так и другого. Естественно, что описанные нами выше метагеографические оси Евразии работают именно как «насосы»; их непрерывное функционирование – это циркуляция специфических географических образов, постоянный образно-географический взаимообмен, порождающий те самые «параллельные пространства», необходимые для полноценного развития любой локальной цивилизации на определенном уровне ее развития. Существенно, тем не менее, заметить, что конкретные локальные цивилизации могут в течение сравнительно протяженного исторического времени как бы подбирать себе подходящего метагеографического партнера, «нащупывая» свою метагеографическую ось.

Мы можем мыслить метагеографические оси Евразии как условно прямые «водораздельные пространства», в пределах которых происходит образно-географический взаимообмен. Ранее, однако, мы уже говорили, что выделяемые евразийские оси имеют своего рода метагеографические «шарниры», обуславливающие их некоторую непрямоту, изгиб, кривизну. Такая кривизна объясняется не только наличием обнаруженных нами очевидных метагеографических разломов в условных центрах самих осей, но и отклонениями концов осей – локальных цивилизаций, тяготеющих время от времени к образно-географическим циркуляциям не только вдоль собственных осей, а также в «перпендикулярной плоскости» – к цивилизационным

образно-географическим системам соседних осей. Тогда в самом общем приближении метагеографическая карта Евразии в ее динамике выглядит так: в качестве статичных «втягивающих» образно-географических систем можно выделить индийскую и китайскую цивилизации, соответственно, европейская и российская цивилизации выступают в качестве «областей высокого давления», активно иррадирующих специфические географические образы в сторону своих прямых цивилизационных партнеров. В то же время эта первоначальная простая картина осложняется двумя обстоятельствами: метагеографическими разломами, возмущающими и искажающими столь прямой образно-географический взаимообмен, а также наличием периодических, или циклических, метагеографических связей между европейской и российской цивилизациями, с одной стороны, и между индийской и китайской цивилизациями, с другой. Тут следует заметить, что в обоих случаях образно-географические системы евро-индийской оси являются «областями высокого давления» по отношению к таким системам российско-китайской оси: европейская цивилизация в течение длительного исторического времени активно «излучала» свои образы в сторону российской, способствуя формированию ее идентичности¹; примерно то же, хотя, возможно, и в меньшей степени, осуществляла индийская цивилизация по отношению к китайской². Иначе говоря, концы евро-индийской метагеографической оси приближались к концам российско-ки-

¹ *Зимин А.И.* Европоцентризм и русское культурно-историческое самосознание. М.: Изд-во Литературного института им. А.М. Горького, 2000; *Кантор В.К.* Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001.

² *Гране М.* Китайская цивилизация. М.: Алгоритм, 2008; *Он же.* Китайская мысль. М.: Республика, 2004; *Фитцджеральд С.П.* Китай: Краткая история культуры. СПб.: Евразия, 1998; *Васильев Л.С.* История религий Востока. М.: Высшая школа, 1983; *Хуэй-цзяо.* Жизнеописания достойных монахов. В 3-х тт. Тт. 1, 2. СПб.: 1991, 2005; Письмена на воде. Первые наставники Чань в Китае / Сост., иссл. И коммент. А.А. Маслова. М.: Сфера, 2000; *Александрова Н.В.* Путь и текст: Китайские паломники в Индии. М.: Восточная литература РАН, 2008 и др.

тайской оси, происходило и ответное образно-географическое движение; в результате сами оси можно было бы изобразить как два симметрично расположенных по отношению друг к другу «лука». Тем не менее, если вернуться к фундаментальной идее расширения образа Евразии посредством формирования ее метагеографической карты, не эти изгибы являются главными – они, безусловно, способствовали оформлению самих цивилизационных образно-географических систем (и продолжают способствовать), однако основной, базовый источник образно-географического расширения Евразии – это идеологические циркуляции в рамках самих метагеографических осей.

Геономика метагеографических осей Евразии

В целях более точного описания и структурной характеристики метагеографической карты Евразии можно использовать ранее введенное нами понятие геономики¹. По сути дела, метагеографические оси Евразии формируются как, по преимуществу, области наиболее потенциально мощных географических образов, выступающих как пространственные трансакции в ходе цивилизационных взаимодействий. Речь по-прежнему идет о тех самых «параллельных пространствах», без которых развитие любой локальной цивилизации – по крайней мере, в Евразии – не может рассматриваться как полноценное. Локальная цивилизация, взятая в ее обобщенном виде, функционирует во многом благодаря «забрасыванию» своего рода «пространственных удочек» вовне – не столько ради открытия соседних цивилизаций и новых территорий (хотя это сам по себе важный фактор развития), сколько ради нахождения оптимальных для нее образно-географических дистанций (для этого и нужны межцивилизационные контакты), благодаря определению которых сама она становится аутентичным и автономным географическим образом, или метагеографической целостностью. Геономика метагеографических осей Евразии связана, прежде

¹ *Замятин Д.Н.* Пространство как образ и трансакция. К становлению геономики // Политические исследования. 2007. № 2. С. 168–184.

всего, с долговременным, растянувшимся на тысячелетия, процессом формирования пространственных трансакций европейской цивилизации в широком смысле, начиная с завоеваний Александра Македонского и эпохи античности и заканчивая, весьма условно, примерно первой половиной XIX века, когда британское завоевание Индии вкупе с интенсивными исследованиями санскрита, индийской цивилизации, введением понятия индуизма, развитием индоевропейских лингвистических теорий привели к формированию вполне законченного географического образа Европы – не просто в рамках ранее сформировавшейся традиции противопоставления Запада и Востока (хотя эта европейская традиция и получила тем самым новый толчок к своему развитию¹), но четко структурированного и «центрированного» образами и идеологиями индийской цивилизации. Нет сомнения в том, что и индийская цивилизация, во многом благодаря колониальному и постколониальному периодам, начала обретать свой аутентичный географический образ, хотя он, по-видимому, сложился еще не до конца. Внешние заимствования институций, научных знаний и технологий, культурных установок европейского происхождения сформировали, очевидно, как бы «корочку», оболочку данного образа, но по-прежнему главной проблемой развития индийской цивилизации остается более точное определение образно-географической дистанции по отношению к европейской цивилизации (шире, западной цивилизации)².

В случае геонимики российско-китайской метагеографической оси приходится говорить о несколько другой образно-географической динамике – как в силу разной исторической протяженности этих цивилизаций и различий в обстоятельствах их генезиса, так и благодаря тому, что взаимодействие этих локальных цивилизаций было гораздо менее тесным и менее

¹ Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006.

² В этой связи крайне симптоматичным является название известного труда Джавахарлала Неру – «Открытие Индии»: *Неру Дж. Открытие Индии*. Кн. 1-2. М.: Политиздат, 1989.

длительным. Следует отметить, что обретение аутентичного географического образа российской цивилизации связано во многом связано с политическими и экономическими стремлениями российского государства завязать контакты со Срединной империей на протяжении XVII–XIX веков¹. Несмотря на то, что эти межцивилизационные контакты оставались довольно слабыми вплоть до 1940–1950-х годов, их значение для России трудно переоценить: китайская цивилизация и китайская культура, будучи в какой-то исторический момент своего рода «сфинксом» для российской (это очень заметно в ретроспективе для XVII–XVIII веков), тем не менее, стала мощным образно-географическим катализатором, «оправдав» усилия российской цивилизации по формированию образа Китая². Этот процесс, по-видимому, продолжается и сейчас, хотя главный рывок в этих контактах был обусловлен тесным политическим сближением середины XX века: именно тогда произошло своего рода ментальное «замыкание» двух цивилизаций друг на друга, благодаря чему стало возможным говорить о российско-китайской метагеографической оси. Естественно, что последующие политические события, начало эпохи глобализации, быстрое экономическое развитие Китая в конце XX – начале XXI века как бы затемняют значение этой метагеографической оси для становления образа Евразии в мировом контексте³ – тем не менее, китайская цивилизация еще продолжает формировать свой современный аутентичный географический образ посредством наращивания ответных пространственных трансакций по отношению к России.

¹ *Воскресенский А.Д.* Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 года // М.: «Памятники исторической мысли», 1995; *Он же.* Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: МОНФ, 1999; *Белов Е.А.* Россия и Китай в начале XX века. М.: ИВ РАН, 1998 и др.

² *Мясников В.С.* Межгосударственные отношения России с Китаем как форма межцивилизационного контакта // *Цивилизации и культуры.* Научный альманах. Вып. 2. Россия и Восток: цивилизационные отношения. М.: ИВ РАН, 1995. С. 215–234.

³ См. также: *Шилов А.П.* Конец древности. О духовном кризисе современного китайского общества. М.: Институт Дальнего Востока, 2009.

Заметим, что базовая геонимика метагеографических осей Евразии дополняется довольно существенными геонимическими конструкциями не столь очевидного характера: это, прежде всего, запасные или «тыловые» пространственные трансакции, способствующие сближению главных «водоразделов» материка и, что, пожалуй, еще более важно, геонимические мультипликация за пределы территории самой Евразии. Попробуем описать их в самом первом приближении.

К запасным или «тыловым» пространственным трансакциям в рамках формирования метагеографических осей Евразии можно отнести достаточно устойчивые ментальные процессы формирования географических образов на концах самих осей – Северной Европы и Индокитая. Если рассматривать эти образы как автономные, то, конечно, придется учитывать множество сложных привходящих обстоятельств и факторов (например, период колониального развития Индокитая и, соответственно влияние европейских цивилизационных установок¹). Мы, однако, склонны в данном случае дистанцироваться от подобного рассмотрения, и обратить внимание на чисто медиативный содержательный характер ядер данных географических образов. На наш взгляд, географический образ Северной Европы, включающей здесь территориально и Скандинавию, и Прибалтику, и Европейский Север России, с одной стороны, формировался как амбивалентный образ некоей архаической традиции, обоюдно важной и для европейской, и для российской цивилизаций², а, с другой стороны, его динамика практически всегда была связана с очередными активизациями междисциплинарных контактов Европы и России; Европа и Россия, как бы на всякий случай, «про запас», осуществляли здесь дополнительные пространственные трансакции (будь то религиозное

¹ См., например, довольно яркую историю открытия и восприятия европейцами знаменитого Ангкора в Камбодже: *Дажен Б.* Ангкор. Лес из камня. М.: Астрель; АСТ, 2003.

² Более широкий взгляд на цивилизационное развитие Палеоарктики и циркумполярной Евразии см.: *Головнёв А.В.* Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН; Волот, 2009.

миссионерство, войны и завоевательные походы или мирное экономическое освоение). Примерно то же можно сказать и о географическом образе Индокитая, чья территория с древности испытывала мощные цивилизационные влияния и Индии и Китая. Интересно отметить, что и в Северной Европе, и в Индокитае сложились самобытные архитектурные традиции, имеющие зачастую генезис в соседних регионах, однако приобретшие целостность и завершенность именно в обширных междоцивилизационных пространствах маргинального характера¹.

К важнейшим геонимическим мультипликациям, выходящим за пределы Евразии, можно, в первую очередь, отнести поиски морского пути из Европы в Индии и, как следствие, береговые исследования Африки, а затем открытие, завоевание, колонизацию и исследование Америки. Мы здесь рассматриваем эти события в метагеографическом ключе: иначе говоря, значительная часть Африки, а также вся Америка оказались фактически «образным приложением», энергетически насыщавшим и поддерживавшим базовые структуры евро-индийской метагеографической оси, а впоследствии, косвенно – и структуры российско-китайской оси (в основном, начиная уже с XVII–XVIII вв.). По сути дела, практически все основные метагеографические структуры земной поверхности можно назвать «евразийскими» уже только по их ментальному генезису. Однако важен и другой аспект: географические образы, формировавшие «материнский субстрат» метагеографических осей Евразии, оказываются внешне экстенсивными мощными пространственными трансакциями, обеспечивающими широкий «веер» когнитивно-географических контекстов, благодаря которым возникали как серьезные проблемные поля теологического и эсхатологического характера (например, считать ли индейцев людьми с точки зрения католической религии?²), так

¹ Фремтон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития. М.: Стройиздат, 1990. С. 283–300; Рыбакова Н.И. Искусство Камбоджи с древнейших времён до XIV века. М.: Галарт, 2007.

² Шмитт К. Номос Земли в праве народов *jus publicum europaeum*. М.: Владимир Даль, 2008. С. 98–141; Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С. 519–523.

и собственно историко-географического и гуманитарно-научного характера (разработка нового методологического и теоретического инструментария для описания и идентификации «нового мира» на фоне постоянной ментальной опасности использования весьма несовершенных аналогий и сходств – так до сих пор государства ацтеков, майя и инков воспринимаются в контексте евразийской «истории древнего Востока», а типологический инструментарий западных гуманитарных знаний оказывается чересчур уж универалистским в применении к автохтонным проблематикам регионального развития в Азии, Африке и Латинской Америке¹).

Нетрудно заметить, что подобные попытки геонимической мультипликации имели место и в пределах еще почти не оформленной российско-китайской метагеографической оси в течение XV–XVIII вв.: в XV веке китайские флотилии выходят в Индийский океан, к Африке², в XVII–XVIII вв. россий-

¹ В художественной форме это хорошо показал известный кубинский писатель Алехо Карпентьер в своем романе «Царство Земное», когда Христофор Колумб пыгается найти слова для описания нового мира: «Надобно было описать новую эту землю. Но, приступив к этому, я оказался охвачен растерянностью человека, вынужденного именовать вещи, совершенно различные от всех известных, – вещи, какие должны иметь имя, ибо ничто безымянное не может быть представлено людьми, но имена эти были мною незнаемы, и нем был я новым Адамом, избранным своим Создателем, чтобы давать имена вещам. Я мог бы выдумать слова, конечно; но слово само не показывает вещь, если вещь эта неизвестна была заранее» и т.д. (Карпентьер А. Царство Земное. СПб.: Амфора, 2000. С. 221). Прибыв в Испанию, на приеме у королевских особ Колумб вынужден подобрать образные эквиваленты для описания, как он полагал, Индии – естественно, эти образы – европейского происхождения: «Медленно приступил я к рассказу о превратностях нашего путешествия, о прибытии в Индию, о встрече с их обитателями. Я припомнил, чтобы описать новые области, наиболее прославленные красоты областей Испании, прелесть – я знаю почему – полей Кордовы, хоть я, конечно, переборщил, когда уподобил горы Испаньолы высотам вулкана Тейде на Канарских островах» (там же. С. 239–240). См. также: Три каравеллы на горизонте. К 500-летию открытия Америки / Сост. А.В. Гришин. М.: Международные отношения, 1991.

² Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. М.: Восточная литература РАН, 2009. С. 243–246.

ские землепроходцы и мореплаватели достигают Тихого океана, открывают Берингов пролив и Аляску, начав ее освоение. Тем не менее, эти попытки с метагеографической точки зрения оказались неудачными, и причину здесь следует искать не в том, что Китай внезапно остановил свою морскую экспансию и «закрылся» в континентальных границах, а у России просто не хватило сил на освоение Северной Америки. На наш взгляд, в метагеографическом измерении еще не существовала, «не работала» сама ось Россия–Китай, устойчивый образ которой формируется значительно позже, и – соответственно – не работали системообразующие смысловые структуры, нацеленные на установление прочных межцивилизационных и ментальных контактов на протяжении от Северной Европы до крайней Юго-Восточной Азии, а, следовательно, и на поиски обходных путей для формирования подобных контактов. Так или иначе, Китай и Россия остались по преимуществу мощными континентальными государствами-цивилизациями с внешне схожими геополитическими паттернами, однако с принципиально различными цивилизационными основаниями и, что еще важнее, с принципиально дополняющими друг друга метагеографическими архетипами, которые мы попытаемся проанализировать далее. В любом случае, восточно-евразийскую метагеографическую ось можно назвать «интровертной», нацеленной на, по преимуществу, интенсивное «вертикальное» ментальное взаимодействие её базовых цивилизаций – условно говоря, по линии «земля – небо»; тогда как западно-евразийскую метагеографическую ось следует считать, видимо, «экстравертной», нацеленной на экстенсивное, постоянно расширяющееся «горизонтальное», по настоящему «империалистическое» ментальное взаимодействие – по линии «вода – суша» («море – континент»). Между тем, естественно, не стоит абсолютизировать эти первоначальные определения, ибо любая могущая быть развитой и подробно описанной метагеография предполагает сочетание как условно горизонтального, так и условно вертикального, планов; речь здесь может идти лишь о доминировании того или иного ментального плана.

Основания содержательного анализа российско-китайской метагеографической оси

Попытаемся теперь сосредоточиться на содержательных метагеографических основаниях, формирующих российско-китайскую ось, интересующую нас в первую очередь. Тем не менее, проблематика взаимодействия обеих метагеографических осей будет «всплывать» по ходу нашего анализа постоянно, а косвенно нам придется затронуть и ряд важных моментов, определяющих закономерности формирования и развития евро-индийской оси. Существенно важно заметить сразу, что юго-восточные элементы обеих осей несут в себе гораздо более древние целостные цивилизационные образы (индийская и китайская цивилизации соответственно)¹; с другой стороны, северо-западные элементы выделяемых осей кажутся с внешней ретроспективной точки зрения более цивилизационно активными и динамичными (отсюда и естественное желание ставить на первое место в названии более динамичные в долговременной ретроспективе цивилизационные регионы и воображать далее исходные образно-географические импульсы по осям именно с северо-запада на юго-восток). Понятно, что эти исходные представления могут влиять на метагеографический анализ, однако, фундаментальные структуры подобного анализа являются всё же автономными.

Анализ российско-китайской метагеографической оси осложняется двумя когнитивными обстоятельствами. Во-первых,

¹ Древо индуизма / Отв. Ред. И.П. Глушкова. М.: Издат. Фирма «Восточная литература» РАН, 1999; Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. Ритуальный символизм. М.: Наука, главная редакция восточной литературы, 1981; Он же. Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. М.: Наука, главная редакция восточной литературы, 1985; Елизаренкова Т.Я. Слова и вещи в Ригведе. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1999; Гране М. Китайская цивилизация. М.: Алгоритм, 2008; Он же. Китайская мысль. М.: Республика, 2004; Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование основ мировоззрения и менталитета. М.: Наука. Глав. Ред. Вост. Литер., 1989; Малавин В.В. Сумерки Дао. Культура Китая на пороге Нового времени. М.: Дизайн. Информация. Картография: Астрель: АСТ, 2003 и др.

слишком значителен перепад или градиент историко-культурной или цивилизационной протяженности, не связанный прямо со значительными различиями в историческом времени генезиса самих цивилизаций – китайской и российской (примерно три тысячи лет – у китайской, и тысяча – у российской). Во-вторых, мы имеем дело с государствами-цивилизациями, обладающими в историко-географическом плане «встречными» геополитическими паттернами – Россия и Китай фактически «сталкиваются» в Центральной и Восточной Азии, уже начиная с XVII века, и вынуждены формировать одну из самых протяженных в мире сухопутных межгосударственных границ (историко-географические и геополитические факторы формирования этих границ сильно «затемняют» собственно метагеографическую проблематику¹). Постараемся, тем не менее, абстрагироваться, по мере возможности, от обнаруженных обстоятельств, и обратить главное внимание на становление взаимодополняющих метагеографических архетипов России и Китая.

Место Земли и Неба: метагеографические архетипы китайской и российской цивилизаций

Как уже отмечалось ранее, китайская и российская цивилизации принадлежат в метагеографическом плане к т.н. «вертикальным» цивилизациям, в которых представления

¹ Дьякова Н.А., Чепелкин М.А. Границы России в XVII–XX веках. Исторический очерк. Приложение к «Истории России». М.: Центр военно-стратегических и военно-технологических исследований Института США и Канады РАН, изд-во «Шик», РИЦ «САМПО», 1995; Галенович Ю.М. Россия и Китай в XX веке: Граница. М.: Изограф, 2001; Киреев Г.В. Россия – Китай. Неизвестные страницы пограничных переговоров. М.: РОССПЭН, 2006; Ивасита А. 4000 километров проблем. Российско-китайская граница. М.: Восток – Запад, 2006; Границы Китая: история формирования. М., 2001; Барфилд Т. Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. – 1757 г. н. э.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, Нестор-История, 2009.

«земля – небо» играют господствующую роль. В рамках таких представлений пространственность, чей специфический онтологический статус важен для формирования любой цивилизации, оказывается в значительной степени деформированной, «смазанной», недовыявленной – с точки зрения классических западных репрезентаций пространственности, имеющей, несомненно, экстенсивный когнитивный генезис. Здесь, однако, нужно подчеркнуть кардинальные различия между китайскими и российскими архетипами. На наш взгляд, если оперировать традиционной ментальной оппозицией место – пространство¹, в китайской картине мира превалируют представления о строгой иерархии различных мест – прежде всего по отношению к Небу и Земле². Не затрагивая древней и довольно слабо выраженной китайской мифологии, а также общих для Китая в целом парарелигиозных установок, можно сказать, что китайское сознание работает только с конкретными телесными схемами пространства³, которые в этом случае могут быть исключительно местами. Если же, тем не менее, осуществляется некая ментальная «возгонка», гипостазирование подобных телесных схем мест, то весьма неожиданно, но, очевидно, закономерно, возникают исторически очень конкретные и в цивилизационном плане очень яркие пространственные феномены, как бы замещающие собственно отсутствующую онтологию самой пространственности. Мы можем отнести к таким пространственным феноменам, имеющим масштабное метагео-

¹ *Relph E.* Place and placelessness. L.: Pion, 1976; *Tuan Yi-Fu.* Space and place. L.: Edward Arnold, 1977; *Tuan Yi-Fu.* Space and place: humanistic perspectives // C. Board et al. (eds.). Progress in Geography 6. L.: Edward Arnold, 1974. P. 211–252; *Tuan Yi-Fu.* Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, a. values / With a new pref. by the author. N.Y.: Columbia University Press, 1990.

² *Крюков В.М.* Дары земные и небесные (к символике архаического ритуала в раннежоуском Китае) // Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1988. С. 56–85.

³ *Аошун Т.* Китайская картина мира: Язык, культура, ментальность. М.: Языки славянской культуры, 2004.

графическое значение, китайскую каллиграфию и, в несколько меньшей степени, китайскую пейзажную живопись¹.

На наш взгляд, китайская каллиграфия обладает мощной пространственной энергетикой, формирующей базис китайской метагеографии. Будучи пространственным искусством по преимуществу, совмещаемым часто с живописью и поэзией, она для внешнего наблюдателя представляет собой очевидную уникальную онтологию пространственности. В рамках этой «каллиграфической» онтологии устойчиво воспроизводится и поддерживается не только всегда конкретная коммуникация, связь между Небом и Землёй, но бесконечно творится на метауровне сам опыт воображения пространственности². По сути дела, онтология здесь, в отличие от «греческо-хайдеггеровского» понимания, как бы перевёрнута – она «начинается» на Небе и Небом, преображаясь и трансформируясь Землёй. В этой связи совершенно естественным и органичным образом воспринимаются каллиграфические произведения на скалах, в горах, как бы описывающие пейзаж собственным пейзажем – ландшафт в данном случае выступает как средство своей собственной аутентичной референции.

В отличие от китайской цивилизации, российская цивилизация по традиционным историческим меркам сравнительно поздно и внешне весьма резко «нащупала», открыла свой чётко выраженный метагеографический архетип, опять-таки «рабо-

¹ В известной мере, это пересекающиеся, взаимодополняющиеся и сочетающиеся феномены, см.: *Завадская Е.В.* Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.: Искусство, 1975; *Соколов-Ремизов С.Н.* Литература. Каллиграфия. Живопись. К проблеме синтеза искусств в художественной культуре Дальнего Востока. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985; *Роули Дж.* Принципы китайской живописи. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1989; *Китайское искусство: Принципы. Школы. Мастера / Сост., пер. с кит. И англ., вст. Ст., очерки и коммент В.В. Малявина.* М.: Люкс: Астрель: АСТ, 2004; *Белозерова В.Г.* Искусство китайской каллиграфии. М.: РГГУ, 2007; тем не менее, роль каллиграфии в становлении китайского метагеографического архетипа нам представляется определяющей.

² См. также: *Yuehping Yen.* Calligraphy and Power in Contemporary Chinese Society (Anthropology in Asia. L.: Routledge 2005.

тающий» в онтологической плоскости на связь Земли и Неба. Если вновь обратиться к ментальной оппозиции место – пространство, то применительно к российской картине мира можно вполне уверенно говорить об очевидной «безместности», доминировании самодовлеющих и всё подавляющих географических образов безмерного, бесконечного, засасывающего, ужасающего пространства, не оставляющего места практически любому, даже очень хорошо оформленному «телу», будь то действительный психофизиологический опыт конкретной человеческой личности, или же опыт интеллектуально-художественного творения. В подобной когнитивной ситуации любой визуально маркируемый ландшафт может выступать как отчуждающий сам себя референт, благодаря или вопреки чему может происходить растворение, уничтожение, «растаскивание» фактически любого «тела в его психофизиологической и интеллектуальной целостности»¹. «Взрывное», почти моментальное с точки зрения «исторического времени» гипостазирование этого онтологического дискурса привело в 1910–1930-х гг. к рождению российского художественного авангарда, чьей метагеографической вершиной, по-видимому, можно считать супрематизм Казимира Малевича и его последователей². Не концентрируясь сейчас на специфике пространственных опытов отдельных выдающихся представителей русского авангарда (включая также и литературные опыты Велимира Хлебникова, Андрея Платонова, Александра Введенского и Даниила Хармса), можно сказать, что процессы ментального «обезместивания» и поиска некоей мета- или сверх-пространственности парадоксальным образом привели к тому самому «выходу в белое», который можно считать явным аналогом

¹ Пространства России: Хрестоматия по географии России. Образ страны / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: МИРОС, 1994.

² *Татлин. В.* Ретроспектива. Дюссельдорф–Москва, 1994; *Малевич К.* Собр. соч. в 5-ти тт. М.: Гилея, 1995–2005; *Валяева М.* Морфология русской беспредметности. М.: Виртуальная галерея, 2003; *Хан-Магомедов С.О.* Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования). М.: Архитектура-С, 2007; *Замятин Д.Н.* Географические образы русского авангарда // Человек. 2003. № 6 и др.

«белого фона», играющего решающую роль в совершенных опытах китайской каллиграфии¹. Онтологические и метагео-

¹ Ср. слова современного российского художника Франсиско Инфанте, высказанные в контексте его художественной концепции артефакта: «Малевич наделял знаком непостижимой бесконечности тотальный фон своих супрематических полотен. «Белый ужас жёлтого китайского дракона» – как он выражался. В «артефактах» же знак бесконечного ... несет природа. Малевич, изображая «Белое», ориентировал сознание на отсутствие заднего плана, на провал в метафизическую бесконечность белого. В природе тоже нет заднего плана, потому что в том представленном виде, который участвует в системе «артефакта» и означает для нас: небо, лес, воду, траву и т.д., её пространство глобально обтекает Земной шар, не натываясь ни на какие преграды. А связь с метафизикой выражена и через другое, например, через обязательное центральное расположение артефакта» (*Инфанте Ф. О своей концепции артефакта // Собрание Ленца Шёнберг. Европейское движение в изобразительном искусстве с 1958 года по настоящее время / Под ред. Х. Вайтемайер. М.- Мюнхен: Эдион Канц, 1989. С. 218*). Следует отметить также, что художественный поиск нового пространства в соотношении с местом в русской культуре был продолжен уже в последней четверти XX – начале XXI века: тем же Инфанте, поэтом Вс. Некрасовым, Московской школой концептуалистов (группа «Коллективные действия», которая, кстати, активно разрабатывала проблематику образа Китая в своих художественных действиях-акциях, введя также термин «Шизокитай»), художником Дм. Гутовым; отдельно стоящим поэтом и саунд-артистом П. Жагуном, основавшим музыкально-поэтический фестиваль «Поэтроника». Характерно также, что этот поиск непосредственно выходил на проблематику каллиграфии, в ее образном или метафорическом воображении, см.: Снежный меридиан. Артефакты Франциска Инфанте и Ноны Горюновой. Каталог выставки. М.: Гос. Третьяковская галерея, Галерея Полины Лобачевской, 2009; Поездки за город. М.: Ad marginem, 1998; Словарь терминов Московской концептуальной школы. М.: Ad marginem, 1999; 6 – 11. Коллективные действия. Поездки за город. М., 2009; *Монастырский А. Эстетические опыты. М., 2009; Готов Д. Рисунки Рембрандта. М.: Грюндриссе, 2009; Жагун П. Пыль Калиостро. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2009. Если же обратиться к опыту русской литературы, развивавшейся параллельно художественному авангарду 1910–1920-х гг., то весьма интересным оказывается факт использования китайской «темы», причем не только на формальном уровне, но и на уровне подсознательного образно-архетипического ряда, не связанного прямо с излюбленной русскими символистами темой «желтой опасности», популярной в конце XIX – начале XX в.: см., например, книгу Андрея Белого «Крещёный китаец», тему Китая в воспоминаниях А. Ремизова «Подстриженными глазами» (сопутствующую, кстати, теме каллиграфии, которой столь увлекался писатель), наконец, очерк М. Цветаевой «Китаец». Симптоматично в этой связи окон-*

графические достижения русского авангарда – даже несмотря на то, что эти достижения до сих пор не освоены и усвоены российской цивилизацией до конца – стали именно той «точкой схода», в которой можно говорить об очевидном становлении и оформлении российско-китайской метагеографической оси. Небо в наиболее ярких творениях русского авангарда оказывается также перевёрнутым, «поменявшимся местами» с Землёй, хотя условия этого ментально-энергетического обмена принципиально иные, нежели в китайской каллиграфии: китайский каллиграф, художник, поэт лишь приобщается к Небу посредством своих творческих опытов, сосредотачивая небесную энергию в конкретных, точно обозначенных и выверенных местах – тогда как русский авангардный художник, писатель, архитектор, скульптор, творя собственное произведение, всякий раз пытается оказаться «по ту сторону пространства», где энергетика Неба растворяется тотальной безместностью Земли¹.

чание воспоминаний литературного деятеля русского зарубежья А. Бахраха об Андрее Белом: «О его смерти – одиннадцать лет спустя – я узнал из газет. Но еще и теперь на моей книжной полке остался ряд его книг с нежными посвящениями. Одной из них я особенно дорожу, хотя знаю, что, вероятно, не менее трогательные надписи он делал куче других людей. Что из того? Мне дорог его сборник «После разлуки», на котором значит: «Дорогому Александру Васильевичу Бахраху с искренней любовью. Андрей Белый. Берлин. 1922 года. Ноября 8-го». Это посвящение очень причудливо разбросано по заглавному листу, а часть его написан столбиком наподобие китайской грамоты» // Бахрах А. В. Бунин в халате. По памяти, по записям. М.: Вагриус, 2006. С. 257–258.

¹ Ср.: Лукьянов А.Е. «И цзин» в культуре Дао // И цзин («Канон перемен»): Пер. и иссл. А.Е. Лукьянов; отв. Ред. М.Л. Титаренко. М.: Восток. Лит., 2005. С. 6–49. Особенно в этой публикации важен последний раздел «Дао и Росс – архетипы китайской и русской культур», (с. 38–45), косвенно выходящий на нашу проблематику. Тем не менее, позиция, высказываемая А.Е. Лукьяновым, кажется нам чересчур прямолинейной и «утопающей» в несколько надуманном мифопоэтическом сходстве китайской и русской культур.

Пространственность места и место пространственности: метагеографические дискурсивные схемы китайской и российской цивилизаций

Между тем, продолжая тему метагеографической взаимодополнительности Китая и России, следует вычлени́ть слой интеллектуально-операциональной деятельности – как теоретической, так и практической – отвечающей, в отличие от слоя искусства, за некоторые общие дискурсивные метагеографические схемы, обеспечивающие «рамочные» когнитивные условия становления каких-либо метагеографических структур и/или образов. Обе цивилизации опять-таки совершенно по-разному формировали подобные схемы, что, однако, не мешает воспринимать их как взаимодополняющие, в контексте доминирующего и для Китая, и для России «вертикального» типа метагеографических построений.

Как ни странно, общим культурным основанием для формирования таких метагеографических схем выступает отношение к мёртвым. Сама эта проблема, связанная с определением мест и форм захоронений, их ориентации и размещения, отношением к могилам и кладбищам в мифологической и религиозной плоскостях, не является не обычной практически для любой цивилизации¹. Здесь важно подчеркнуть, что и в Китае, и в России выделенная проблема была осмыслена в нашем понимании именно как метагеографическая, оказавшись фактически ключевой в формировании уникальных, специфических метагеографий.

Китайское учение фэн-шуй, теперь широко известное на Западе и в России и сильно приземлённое, вульгаризированное во множестве массовых изданий², на наш взгляд, определяет

¹ Подосинов А.В. *Ex oriente lux! Ориентация по странам света а архаических культурах Евразии*. М.: Языки русской культуры, 1999; Представления о смерти и локализация Иного мира у древних кельтов и германцев / Отв. Ред. Т.А. Михайлова. М.: Языки славянской культуры, 2002.

² Классический фэншуй: Введение в китайскую геомантию / Сост., вст. Ст., пер., примеч. И указ. М.Е. Ермакова. СПб.: Азбука-классика, Петербургское Востоковедение, 2003; Духовная культура Китая. Энциклопедия в

метагеографическую уникальность китайской цивилизации на уровне интеллектуально-операциональной деятельности. Как бы ни относиться к системе многочисленных и весьма трудоёмких предписаний, преследующих одной из главных целей правильное с точки зрения Неба захоронение своих покойников, следует отметить одно важное обстоятельство: китайская метафизика, коль скоро она возможна как ментальный феномен, обретает здесь фактически тотальный *местный* характер, причём правильно/идеально найденное место оказывается напрямую связанным с Небом. Осуществление тотальной *местовости* как благоприятной проекции самого Неба на Землю означает в бесконечной временной перспективе онтологическую «гарантированность» вертикального ментально-энергетического обмена; пространственность в данном случае есть не-бытие, если трактовать подобную интерпретацию фэн-шуй в терминах западной метафизики. Хотя фэн-шуй может рассматриваться и как куда более прозаичная прикладная экзотерическая система, обеспечивающая правильное размещение дома, мебели и предметов интерьера, объектов в ландшафтном дизайне и т.д. (что, собственно, и подготовило его успех в западной массовой культуре), на наш взгляд, его цивилизационные основания создают конкретный метагеографический контекст, «работающий» на потенциальное взаимодействие именно с «вертикальными» цивилизациями.

В рамках российской цивилизации оригинальная метагеографическая дискурсивная схема на уровне интеллектуально-операциональной деятельности появилась опять-таки, подобно рождению русского художественно-литературного авангарда, «внезапно», хотя можно говорить о её мощных религиозно-мифологических основаниях. Мы имеем в виду знаменитое и хорошее теперь известное учение Николая Федорова о воскрешении отцов¹. Хотя это учение было разработано в

5 т. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. М.: Восточная литература РАН, 2009. С. 266–276 (там же – основная библиография по данному вопросу).

¹ Федоров Н.Ф. Сочинения, М. Мысль, 1982; Он же. Вопрос о братстве, или родстве, о причинах небратского, неродственного, т.е. немирного,

жёсткой полемике с западным христианством в упоре на дальнейшее возможное идеологическое развитие православия, необходимо отметить, что идея воскрешения отцов вышла, наш взгляд, далеко за пределы любого ортодоксального христианства и приобрела фактически универсальный метафизический характер. В терминах метагеографии «воскрешение отцов» означает практическое достижение тотальной пространственности – Земля должна «колонизовать» Небо, в том числе жители Земли должны и буквально начать осваивать космос и ближайшие к Земле планеты. Русский космизм, начатый работами Федорова, продолженный трудами Циолковского, сциентистски обоснованный исследованиями В.И. Вернадского и художественно развёрнутый в произведениях Андрея Платонова (мы не упоминаем здесь всех русских мыслителей, так или иначе имеющих отношение к данной проблематике, ограничиваясь наиболее существенными именами), создал свою онтологическую версию пространственности, весьма отличающуюся от её западной «горизонтальной» интерпретации¹. Метагеографическая суть подобной пространственности заключается в метафизическом «обезмествивании» Земли – Земля «расчищается» от любых мест, и это «голое» пространство становится идеальной стартовой площадкой для освоения Неба, превращения его в «абсолютное место» бессмертия.

В сущности, борьба со смертью оказывается очевидным идеологическим фундаментом и в случае фэн-шуя, и в случае русского космизма – причём ответы, данные этими учениями, оказываются различными метафизически, сходными в онтологической плоскости (тотальная местовость может быть

состояния мира и о средствах к восстановлению родства: Записка от неученых к ученым, духовным и светским к верующим и неверующим. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006.

¹ Семенова С.Г. Философия будущего века – Николай Федоров. М.: Пашков дом, 2004; Башкова Н.В. Преображение человека в философии русского космизма. М.: КомКнига, 2007; Лавренова О.Л. От Земли к космосу: ноосферная концепция В.И. Вернадского и космический детерминизм А.Л. Чижевского // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007. С. 100–121.

приравнена к тотальной пространственности) и взаимодополняющими в метагеографическом плане. Место пространственности (русский космизм) оборачивается – так или иначе – пространственностью самого места (фэн-шуй); бессмертие (действительное или мнимое, в том числе и как непрерывное последовательное наследование мертвым в поисках их благодарности) становится прямой функцией опространствления сакрально-мифологической вертикали Земля – Небо. Здесь можно, конечно, вспомнить об уже упоминавшихся религиозно-мифологических корнях обоих учений (в случае фэн-шуй – это, несомненно, даосизм и его представления о достижении отдельными мудрецами бессмертия, буквального их ухода или исчезновения; в случае космизма – ранние христианские, еще во многом синкретические представления о достижении неба, буквальное построение небесной «лестницы» – достаточно вспомнить хотя бы Иоанна Лествичника), однако для нас в этой метагеографической взаимодополнительности схем опространствления важен акцент на утверждение цивилизационной самодостаточности, автономии с помощью метагеографических образов – ментальных конструкций, призванных закрепить «онтологическую свободу» цивилизационного географического положения, конкретной физической географии определённой цивилизации.

Бодхидхарма и София: способы метагеографического трансцендирования в китайской и российской цивилизациях

Устойчивость, «надёжность» метагеографии цивилизации зависит не только от нахождения своего метагеографического архетипа и специфической метагеографической схемы в слое интеллектуально-операциональной деятельности, но и от своевременной ментальной локализации уникальных способов/дискурсов метагеографического трансцендирования либо гипостазирования – иначе говоря, «технологий» перехода в метагеографические пространства, которые могут не осознавать-

ся таковыми, однако обеспечивать своей «тёмной материей» прочность всего метагеографического каркаса цивилизации. И Китай, и Россия, по-видимому, сумели найти подобные метагеографические технологии, хотя они, естественно, никогда так не назывались. Ниже мы попытаемся развернуть и обосновать нашу точку зрения.

Мы можем предположить в качестве первоначальной аксиомы, что уникальные способы метагеографического трансцендирования могут возникать как пограничные ментальные гибриды, как своего рода «ментальные амальгамы» в результате религиозно-идеологического дрейфа (дрейфа религиозных идей) от одной цивилизации к другой. Можно сказать, что «адресат» подобной «посылки» представляет собой еще достаточно динамичную, не статичную в религиозно-идеологическом отношении цивилизацию, тогда как «адресант», источник этого дрейфа является чаще всего статичной, «застывающей» или, в крайнем случае, испытывающей мощные турбулентные преобразования цивилизацией. Наконец, следует отметить, что цивилизация-получатель должна иметь подготовленные ментальные «приёмники», или акцепторы, способные принять и далее как-то трансформировать полученный религиозно-идеологический «сигнал» в духе общей теории информации. Итак, мы предполагаем также, что для китайской цивилизации таким религиозно-идеологическим «сигналом» стало распространение буддизма и буддийских идей непосредственно из Индии и опосредованно – из Центральной Азии; для российской цивилизации, в свою очередь, таким «сигналом» было принятие православия из Византии с особым идеологическим акцентом – культом святой Софии. Здесь сразу стоит подчеркнуть, что цивилизации восточно-евразийской метагеографической оси оказались в трансцендентном плане во многом обязаны исходным религиозно-идеологическим импульсам западно-евразийской (евро-индийской) оси.

Начнём с китайского буддизма. Как известно, наиболее оригинальной версией китайского буддизма был признан чань-буддизм, который сформировался в более или менее

устойчивую систему религиозно-идеологических взглядов в течение VI–XIII веков¹. Характерно, что чань-буддизм впитал в себя многие ментальные особенности местных религиозно-философских систем и практик – прежде всего даосизма, в некоторой степени и конфуцианства. Так или иначе, чань-буддизм оказался не просто местной, специфической локальной версией буддизма как такового, но вполне самостоятельной религиозно-идеологической системой гибридного характера, способной к дальнейшей экспансии (неслучаен его успех и быстрое распространение, прежде всего, в Корее и в Японии, а уже в XX веке – на Западе). Мы не предполагаем рассматривать здесь подробно содержательные особенности чань-буддизма; отметим только, что в метагеографическом отношении чань-буддизм можно интерпретировать как локальную систему эффективных ментальных технологий, обеспечивающих устойчивые процедуры трансцендирования в рамках китайской цивилизации и зависимых от нее локально-цивилизационных образований. Если же попытаться определить онтологическую специфику подобных технологий, то можно сказать: чань-буддизм как религиозно-идеологическая практика гипостазирует мощный образ места-как-дома-бытия, бытие предстаёт в нём как дом любого места – говоря по-другому, любое место может стать для человека потенциально экзистенциальным, осознание этого образа становится для чань-буддизма как метагеографического феномена основополагающим². Тотальная местовость фэн-шуя как

¹ *Малявин В.В.* Буддизм и китайская традиция (к проблеме формирования идеологического синкретизма в Китае) // *Этика и ритуал в традиционном Китае*. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1988. С. 256–274; *Кабанов А.М.* Чаньский ритуал // Там же. С. 236–256; *Абаев Н.В.* Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск: Наука, 1989; *Письмена на воде. Первые наставники Чань в Китае / Сост., иссл. и коммент. А.А. Маслова*. М.: Сфера, 2000; *Избранные сутры китайского буддизма*. СПб.: Наука, 2007 и др.

² Ср.: *Хайдеггер М.* Строить обитать мыслить // *Proect International* 20. Октябрь 2008. С. 176–190; интересная попытка развития хайдеггеровского дискурса: *Чирков В.Ф.* Дом: в локусе бытия. Изд. Второе, испр. Омск: Лео, 2006.

метагеографическая схема уравнивается свободной, «разреженной» ненавязчивой небесной бытийностью земного места, практикуемой чань-буддизмом.

Для российской цивилизации, как уже отмечалось выше, ментальным пограничным гибридом оказался культ святой Софии, пришедший вместе с православием из Византии. Проявившийся первоначально в активном строительстве каменных храмов, посвященных Софии (в раннюю эпоху становления древнерусской государственности – прежде всего, в Киеве и Новгороде, столичных городах), в дальнейшем этот культ стал идеологической основой попыток нового богословского философствования, первоначально опасно балансировавшего на грани с традиционным гностицизмом неоплатонического толка, в котором, как известно, образ Софии является одним из краеугольных камней всей религиозно-мифологической системы, опять-таки синкретического характера¹. Тем не менее, можно говорить о том, что во второй половине XIX – первой четверти XX века в России (а впоследствии и в русском зарубежье) сформировалась довольно устойчивая и оригинальная софиологическая традиция, не имеющая столь же разработанных аналогов ни в учениях признанных отцов Церкви раннего христианства, ни в позднем византийском православии, ни в западном христианстве. Русская софиология в метагеографи-

¹ Соловьев В.С. *La Sophia // Он же*. Полн. собр. соч. в 20-ти тт. Т. 2. М.: Наука, 2000. С. 8–179; Козырев А.П. Парадоксы незавершенного трактата // *Логос*. 1991. № 2. С. 152–171; Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990; Кравченко В.В. В. Соловьев и София. М.: Аграф, 2007; Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М.: Путь, 1914; Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris: YMCA-PRESS, 1983; Аверинцев С.С. Собр. соч. София – Логос. Словарь. Киев: ДУХ І ЛИТЕРА, 2006. С. 536–610; общий исторический обзор религиозно-философской проблематики Софии см.: Топоров В.Н. Еще раз о древнегреческой: происхождение слова *Σοφία* и его внутренний смысл. В: Структура текста. М.: Наука, 1980. С. 148–173; Майоров Г.Г. Роль Софии-Мудрости в истории происхождения философии // *Логос*. 1991. № 2. С. 139–152; Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. Кн. 1. С. 306–389; Кн. 2. С. 281–298; Софиология / Под ред. В. Поруса. М.: ББИ, 2010 и др.

ческом плане интересна, прежде всего, не столько своего рода «гендерным» уравновешиванием образа Христа образом Софии, сколько попыткой придать живые экзистенциальные обертоны обыденным профанным пространствам, испытывающим в современную эпоху очевидный дефицит «сакральности». По сути дела, образ Софии может гипостазироваться в сферу мягких, гибких метапространств, обеспечивающих некоторый «сакральный уют» и минимальный религиозный «комфорт» на фоне жёстких и конкурентных профанных пространств современности. Можно сказать даже, что в рамках софиологии возможно первичное представление со-пространственности, столь важной для понимания метафизических проектов, альтернативных большому проекту Modernity¹. В онтологической плоскости софиология являет собой уникальный способ постепенного, как бы незаметного трансцендирования земного пространства в небесное – фактически, подобный дискурс можно рассматривать как оптимальную ментально-технологическую версию решения метафизических задач русского космизма и идеологического «переформатирования» фёдоровской проблемы «воскрешения отцов».

На наш взгляд, в метагеографическом плане чань-буддизм и софиология представляют собой взаимодополняющие друг друга способы локально-пространственного трансцендирования в профанных сообществах, необходимые для экзистенциального обнаружения и ментальной фиксации сакральной вертикали Земля – Небо. Пространственность – так, как она онтологически становится и метафизически формируется в китайской и российской цивилизациях – оказывается изначально двойственной, раздваивающейся, подверженной практически постоянному расщеплению в рамках особо важной проблемы личностного, матримониального и общественного экзистенциального размещения. В то же время метагеографические основы обеих цивилизаций антиномически можно интерпретировать и как латентно противопологающиеся друг другу, и как

¹ *Замятин Д.Н.* Образный империализм // Политические исследования. 2008. № 5. С. 45–55.

постепенно «вытягивающиеся» навстречу друг другу ментальные органопроекции в духе П. Флоренского¹, долженствующие феноменологически *про-явить*, *объ-явить*, так или иначе, российско-китайскую метагеографическую ось.

Метагеографические «сборки»: возможности и перспективы

Наглядная «сборка» российско-китайской метагеографической оси, проявляющая, по сути, целостную метагеографию Евразии (поскольку становление евро-индийской оси завершилось несколько ранее – по-видимому, уже к началу XX века) означает не только архитектурное конструирование подобных совместных «ментальных органопроекций», которое не может быть заявленным откуда-то «сверху» или «снизу» в рамках нормативных или декларативных профанных дискурсов – она означает непосредственное образно-географическое построение своего рода «анатомических систем»², своевременно фиксирующих онтогенез самих метагеографических процессов. Такие «анатомические системы» можно описать как локально-пространственные идеологии, возникающие за счет смещения, скопления и смешения различных по цивилизационному происхождению ментальных «клеток» – конкретных образно-символических проектов и текстов. Несомненно, эта дискурсивная схема осевой метагеографической «сборки» может иметь и какие-либо геополитические, геокультурные и геоэкономические импликации, однако способы их изучения и закономерности их функционирования представляются нам вполне автономными.

¹ Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3(1). М.: Мысль, 2000. С. 374–422.

² Ср.: Мамкаев Ю.В. Филогенетическое значение онтогенезов (рекапитуляция и формообразование) // Известия РАН. Серия биологическая. 2009. № 2. Март–апрель. С. 134–143.

Глава 5.

Северная Евразия на стыках планетарных геокультур: сопространственность и пограничность

Введение

Цель настоящего исследования – сформулировать и дать импульс исследованию проблемы международного геокультурного развития в контексте имагинально-онтологического моделирования, разрабатываемого мной и представленного в ряде работ 2010–2020-х годов. Данная глава – попытка рассмотреть феномен международного геокультурного развития с междисциплинарных позиций с применением инновационных или же пока недостаточно используемых в сфере международных исследований понятий – таких как планетарность и сопространственность. Тем не менее обозначенная цель исследования четко лежит в русле пространственного поворота в социальных и гуманитарных науках, в рамках которого находится большая часть междисциплинарных международных исследований, затрагивающих проблематику культурологии, политологии, культурной и гуманитарной географии, истории, антропологии, социологии, философии. Конкретные задачи исследования следующие: 1) выявить фундаментальные геокультурные закономерности развития Северной Евразии как сложной системы планетарного уровня; 2) применить в качестве методологического “инструмента” сравнительно новые для международных исследований понятия сопространственности и геокультурной картографии воображения; 3) сформулировать ключевые признаки формирования принципиально новых гибридных геокультурных картографий воображения, не привязанных к традиционным евроцентристским или западо-центристским планетарным схемам.

Методология исследования опирается на категориальный аппарат, связанный с проблематикой пространства и про-

странственности, взятой в ее междисциплинарной постановке. Основополагающими для работы являются феноменологическая и онтологическая постановки проблемы картографий воображения планетарного уровня, в рамках которой понимание “геокультуры” и “геокультурного развития”, характерное для широкого западного дискурса, в значительной степени трансформируется. По сути, геокультурное развитие и его исследования могут вести к принципиальным трансформациям не только самих форм международных отношений, но и форм мышления о них – если иметь в виду не-двойственность, целостность человеческого мышления и действия, реальности и ее представления. Естественно, что подобные изменения могут рано или поздно привести к масштабным трансформациям политического, культурного и социального характера, равно как и к серьезным трансформациям самих методов международного, политологического, культурологического и социологического анализа.

Понятия геокультуры и геокультурного развития до настоящего времени не анализировались в контексте планетарности и сопространственности. Хотя проблематика пространства и пространственности в междисциплинарных международных исследованиях рассматривается как одна из ключевых, тем не менее, этим исследованиям, с нашей точки зрения, не хватает выхода на метауровень. Такой выход возможен, если, с одной стороны, попытаться разработать основы смешанного, гибридного методологического подхода, объединяющего темы онтологического и феноменологического развития с темой множественности пространственных воображений, а с другой стороны, применить принципиально новую категорию сопространственности, позволяющую выйти за рамки традиционного анализа международных проблем в концептуальных полях глобализации vs глокализации, регионализации, постмодерна, пост-постмодерна и/или метамодерна.

Ключевые концепты: введение в контекст

Геокультура – один из наиболее важных научных концептов, с помощью которого можно исследовать пространственные аспекты глобального и планетарного политического, культурного, социального и экономического развития¹. Геокультурные особенности и трансформации тех или иных государств и крупных регионов во многом определяют специфику их геополитических траекторий. В традиционной триаде *геополитика* – *геоэкономика* – *геокультура* её последняя составляющая играет фундаментальную, онтологическую роль, позволяя работать с наиболее долговременными и устойчивыми динамическими трендами человеческих сообществ². В эпоху антропоцена геокультурные характеристики и параметры становятся ключевыми триггерами в геополитическом осмыслении планетарных проблем.

Понятие планетарности, введённое в научный оборот сравнительно недавно, принципиально меняет методологические ракурсы рассмотрения геокультурной и геополитической про-

¹ *Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991; *Wallerstein I. After Liberalism*. New York: The New Press, 1995; *Voskopulos G. Western Europe and the Balkans: A Geo-Cultural Approach of International Relations? Perspectives*. Winter 2001/2002. No. 17. P. 30–42; *Tickner A. B., Wæver O. Introduction: Geocultural epistemologies* // Tickner A. B., Wæver O. (eds.), *International Relations Scholarship Around the World*. London: Routledge, 2009. P. 1–31; *Замятин Д.Н. Постгеография. Капитал(изм) географических образов*. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014; *Montoro J. M., Barreneche S. M. Towards a social semiotics of geo-cultural identities: Theoretical foundations and an initial semiotic square* // *Estudos Semióticos*. 2021. Vol. 17. No. 2. P. 121–142; *Bilgin P. A case for re-thinking geo-cultural pluralism in International Relations* // *International Politics Reviews*. 2021. No. 9. P. 292–295.

² *Розов Н.С. Геополитика, геоэкономика и геокультура: взаимосвязь динамических сфер в истории России* // *Общественные науки и современность*. 2011. № 4. С. 107–121; *Неклесса А. И. Приватизация будущего. Движение к новой семантике, концепции и практике мира* // *Полис. Политические исследования*. 2020. № 2 С. 153–166. <https://doi.org/10.17976/jpps/2020.02.11>

блематики¹. С одной стороны, оно вводит в геополитические и геокультурные контексты более масштабные пространственности, охватывающие как целостность самой Земли и её атмосферы, так и связность нашей планеты с ближайшими планетами Солнечной системы, становящиеся непосредственным предметом специального анализа. С другой стороны, любая крупная геокультура – так или иначе – может осмысляться, по существу, как планетарная, располагающая собственными планетарными картографиями и паттернами воображения, конвергентными или дивергентными по отношению к другим геокультурам². Значимая планетарность той или иной геокультуры может быть идентифицирована по степени сформированности соответствующих масштабных картографий воображения³.

Северная Евразия: основания для формирования планетарных картографий воображения

Северная Евразия – один из крупнейших регионов Земли, обладающий сложной «мозаикой», уникальным множеством локальных геокультур. В то же время этот регион может рассматриваться как поле пересечения и взаимодействия различных планетарных геокультур, формирующих перспективы земного развития. Вместе с тем, можно задать вопрос: располагает ли Северная Евразия собственной, аутентичной картографией воображения планетарного масштаба? Наложение и сравнение сразу нескольких когнитивных «оптик» может помочь, хотя бы в первом приближении, решению этого вопроса.

¹ *Spivak G. C.* Death of a Discipline. New York: Columbia University Press, 2003; *Friedman S. S.* Planetarity: Musing Modernist Studies // *Modernism/Modernity*. 2010. Vol. 17. No. 3. P. 471–499; *Clark N.* Anthropocene Incitements: Toward a Politics and Ethics of Ex-orbitant Planetarity // *van Munster R., Sylvest C., eds.* The Politics of Globality Since 1945. Assembling the Planet. London: Routledge, 2016. P. 126–144.; *Чакрабартти Д.* Об антропоцене. М.: V-A-C Press, Artguide Editions, 2020; *Браттон Б.* The Terraforming. М.: Strelka Press, 2020.

² Ср.: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

³ *Замятин Д. Н.* Онтологии картографии: географическое воображение и планетарность // *Логос*. 2022. Т. 32. № 6. С. 183–202.

«Естественные рубежи» Северной Евразии на севере и востоке ограничены выходами к Северному Ледовитому и Тихому океанам, тогда как на юге они во многом определяются полосой гор и пустынь, пересекающих Евразию с запада на восток от Чёрного моря до Тихого океана. В то же время эта горно-пустынная полоса является своего рода широкой геокультурной разделительной лентой, вбирающей в себя множество относительно некрупных, небольших локальных геокультур, а также и соединяющей, и разделяющей крупные цивилизации Северной и Центральной Евразии. В геополитическом плане она хорошо известна как лимитрофный пояс в терминологии В. Л. Цымбурского¹. Понятно, что физико-географические, геокультурные, этнические и политические границы могут не совпадать, однако переходный планетарный характер такой полосы ясен².

¹ *Цымбурский В. Л.* Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 5–49; *Хатунцев С.В.* Новый взгляд на развитие цивилизаций и таксономию культурно-исторических общностей. Цивилизационный подход к истории: проблемы и перспективы развития. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 1994. С. 71–73; *Хатунцев С.В.* Лимитрофы – межцивилизационные пространства Старого и Нового Света // Полис. Политические исследования. 2011. № 2. С. 86–98; *Квициани Д.Д., Розин М.Д., Рябцев В.Н.* Об использовании термина “лимитроф” в русскоязычной литературе 1920–1930-х гг. и его геополитическая трактовка в постперестроечный период // Инженерный вестник Дона. 2018. №3 (50). С. 90.

² Наиболее важные публикации, посвящённые истории формирования концепта Евразии в целом, в т.ч. в рамках евразийства см.: *Цымбурский В. Л.* Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007; *Ларюэль М.* Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. М.: Наталис, 2004; *Глебов С.* Евразийство между империей и модерном: история в документах. М.: Новое издательство, 2010. Современные – как более прикладные, так и более концептуализированные подходы к концепту Северной Евразии – в наиболее концентрированной форме представлены в исследованиях см.: *Цымбурский В. Л.* Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007; *Ильин М.В.* Геохронополитические членения (cleavages) культурно-политического пространства Европы и Евразии: сходства и различия // Бусыгина И.М., Ильин М.В., ред. Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России. М.: МОНФ, 1999. С. 46–79; *Замятин Д.* Вообразить Россию. Гео-

Западная граница Северной Евразии в геокультурном отношении также является переходной полосой, как и южная, однако её функциональная роль совершенно иная. Хотя она может рассматриваться в геополитическом контексте как соответствующее продолжение южного лимитрофного пояса¹, но, по сути, эта граница оказывается принципиально «открытой» в обе стороны; геокультурные образы и картографии воображения, формирующие её, оказываются историко-генетически одними и теми же, ориентированными на различные аспекты антично-христианской геокультуры Средиземноморья. Сравнительно молодая по историческим меркам российская цивилизация, являющаяся в территориальном отношении ядром Северной Евразии, сумела сформировать достаточно устойчивые геокультурные паттерны лишь на южном и, частично, восточном направлениях (границах), тогда как её западные границы остаются до сих пор слабо проработанными в геокультурном плане, несмотря на очень сложную и интенсивную геополитическую историю.

Вместе с тем Северная Евразия имеет и множество «внутренних», весьма динамичных геокультурных границ, чьё происхождение связано и с физико-географическими рубежами (в основном это реки), и с геоисторией отдельных регионов,

культурное пространство нашей страны и его перспективное проектирование. Независимая газета. Независимое военное обозрение, 2014.09.30; Герасимов И., ред. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 1: Конкурирующие проекты самоорганизации: VII–XVII вв. Казань: Ab Imperio, 2017; Герасимов И., ред. Новая имперская история Северной Евразии. Часть 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII–XX вв. Казань: Ab Imperio, 2017.

¹ Цымбурский В. Л. Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007; Ильин М. В. Балто-Черноморская система как фактор формирования государств в Восточной Европе // Политическая наука. 2008. № 1. С. 101–131; Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю. Балто-Черноморье: времена и пространства политики. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010; Ильин М. В., Нечаев В. Д. Вызовы и перспективы изучения Большого Средиземноморья // Полис. Политические исследования. 2022. № 3. С. 8–23. <https://doi.org/10.17976/jpps/2022.03.02>

и с перемещениями отдельных этносов. Существенной геополитической особенностью формирования геокультурной северо-евразийской целостности является сочетание мощных амбивалентных восточно-западных государствообразующих импульсов с дополнительными северо-южными геополитическими флуктуациями цивилизационного характера (Россия–Китай, Россия–Иран). Высокая внутренняя геокультурная пограничность Северной Евразии непосредственно связана также со спецификой геокультурного развития одного, доминирующего, начиная примерно с XVI века, крупного государствообразующего этноса – русского.

Геокультурное развитие России конца XVII – начала XX в. его ментальной плоскости во многом определялось трансляцией европейских геокультурных образов, ориентированных на воспроизводство известной бинарной оппозиции «цивилизация – варварство» и пространственных представлений (включая представления об освоении новых территорий), сформировавшихся в пределах европейской геоисторической динамики¹. Это позволило достаточно успешно расширить и закрепить геополитические рубежи России на южном и, частично, на восточном и юго-восточном направлениях. В то же время серьёзной и долговременной проблемой российского геокультурного и геополитического воображения оставалась разработка автономных, достаточно мощных и привлекательных геокультурных образов, позволяющих российской цивилизации прочно закрепиться в Зауралье и Центральной Азии и одновременно чётко разграничиться с европейской цивилизацией на западе.

Метагеокультура и планетарное геокультурное воображение: специфика Северной Евразии

Планетарное влияние той или иной крупной локальной цивилизации связано с наличием оригинальной, масштабной, планетарной геокультурной картографии воображения,

¹ *Замятин Д.Н.* Постгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. С. 449–460.

с возможностью успешной трансляции этих масштабных геокультурных образов вовне, в зоны влияния других крупных земных цивилизаций; а также с умением разработать, создать, построить, сформировать (ментальные) районы геокультурных пространственных резонансов, благодаря которым другие геокультуры и цивилизации могут достаточно легко усваивать, трансформировать, перерабатывать изначально чуждые для них образы. Все три указанных выше фактора могут быть объединены понятием цивилизационной или геокультурной сопространственности¹. Сопространственность в её цивилизационном и геокультурном измерении означает наличие множественных целенаправленных планетарных мышлений, развёртывающих масштабные пространственные коммуникативные паттерны, обладающие глубокими и «самонаводящимися» (или же самоадаптирующимися) геокультурными стратификациями.

Всякая поистине сопространственная цивилизация или геокультура является тотально пограничной – её пограничность обусловлена постоянным процессом геокультурной самоадаптации во взаимодействии с другими геокультурами и цивилизациями. Российская цивилизация в ходе своего геокультурного развития постепенно становилась сопространственной, взаимодействуя с множеством очень разных геокультур в пространстве Северной Евразии. Вместе с тем, планетарный характер российской цивилизации не столь очевиден, коль скоро её геокультурные и геополитические рубежи ещё окончательно не проработаны, не включены в масштабную, планетарную картографию воображения.

Метагеокультура исследует генезис, формирование и различные трансформации планетарных картографий воображения, ориентированных на достижение соответствующих геокультурных, геоидеологических и геополитических целей – ср. с понятием метагеополитики². Особый методологический инте-

¹ *Замятин Д.Н.* Постгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014.

² *Цымбурский В. Л.* Геополитика как мировидение и род занятий // *Полис. Политические исследования.* 1999. № 4. С. 7–28; *Замятин Д.Н.* По-

рес для метагеокультуры представляет изучение пересечения, наложения и взаимодействия разных планетарных картографий воображения. Цели и задачи метагеокультуры во многом совпадают с целями и задачами метагеографии, изучающей проблемы взаимодействия различных образно-географических полей (или систем)¹, однако, в отличие от метагеографии, метагеокультура делает акцент на проблематике сопространственности и пограничности планетарных образно-геокультурных карт.

Планетарное геокультурное воображение – онтологический фундамент формирования образно-геокультурных карт. Планетарные геокультуры, развиваясь и трансформируясь, создают «веер» геокультурных, геополитических и геоэкономических картографий. Естественно, что такие картографии, имея общее происхождение, в значительной степени пересекаются, взаимно «зеркалятся», сохраняя при этом свой автономный характер и внутреннюю целостность. Одна из задач метагеокультуры – создавать, разрабатывать «гибридные», смешанные образно-географические карты, состоящие из отдельных фрагментов геокультурных, геополитических и геоэкономических картографий. Подобные карты, обладая одновременно серьёзной геокультурной фундированностью и возможной масштабной геополитической «заострённостью», могут представлять собой важный методологический «инструмент» проектирования новых, более онтологически «прочных» цивилизационных и геокультурных сопространственностей.

Метагеокультурные исследования Северной Евразии должны быть направлены на выявление, в первую очередь, планетарных геокультурных картографий воображения, затем – на разработку масштабных образно-геокультурных картогра-

стгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. С. 202, 237–248; *Nayef R.F. Al-Rodhan. Meta-Geopolitics of Outer Space. An Analysis of Space Power, Security and Governance. New York: Palgrave Macmillan, 2012.*

¹ *Замятин Д.Н.* Постгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. С. 9.

фий, и, наконец, на построение синтетических «гибридных» картографий воображения, позволяющих совместить, скоординировать планетарные геокультурные, геополитические и геоэкономические образы. В первом приближении, Северная Евразия может рассматриваться как пространство взаимодействия западной евроафриканской картографии воображения, базирующейся на евроиндийской (или индоевропейской) метагеографической оси, и восточно-азиатской картографии воображения, тесно коррелирующей с российско-китайской метагеографической осью¹. В то же время, возможно формирование более локальной, промежуточной центрально-евразийской картографии воображения, как заимствующей образно-геокультурные фрагменты указанных выше планетарных картографий, так и разрабатывающей автономные образно-геокультурные фрагменты, ориентированные на иранскую цивилизацию. В этом контексте Россия (и прилегающие к ней территории и государства) как сложная и автономная геокультурная система может быть нацелена на создание гибридной планетарной картографии воображения, тяготеющей, скорее, к центрально-евразийской сопространственности.

Образ Центральной Евразии как ключ к формированию планетарной картографии воображения Северной Евразии

Концепт и образ Центральной Евразии – удобное онтологическое основание для когнитивной разработки планетарной геокультурной картографии воображения. На наш взгляд, такая попытка может помочь пониманию того, как возникают, развиваются и взаимодействуют планетарные геокультуры в целом, и, в частности, на территории Евразии. В то же время стоит отдавать себе отчёт, что масштабные геокультурные образы – например, Северная или Восточная Евразия – как правило, в значительной степени пересекаются, как бы «налезают»

¹ *Замятин Д.Н.* Постгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014.

друг на друга, поскольку геокультурные границы практически всегда «размыты», имеют переходный характер, а сами образы частично обладают сходными знаково-символическими репрезентациями.

Центральная Евразия в образном отношении является проблематичной – в силу того, что крупные геокультуры vs цивилизации географически располагались и располагаются на периферии материка, при этом торговые, политические и культурные связи между ними до наступления Нового времени могли быть достаточно фрагментарными и «пунктирными»¹. В геоисторическом плане можно говорить о средиземноморском (западно-евразийском) геокультурном ядре, захватывающем, кроме Европы, Северную Африку, Ближний и, частично, Средний Восток, южно-евразийском (Индостан и прилегающие к нему территории) и восточно-евразийском ядре (Китай и пограничные территории). В качестве потенциального геокультурного ядра может рассматриваться Северная Евразия, чьё геокультурное и геополитическое развитие связано преимущественно с Россией.

Весьма характерно, что само понятие Центральной Евразии до настоящего времени использовалось не так часто; в качестве его условного содержательного эквивалента можно говорить о понятии и образе Центральной Азии (в русской географической и геополитической традиции – Средней Азии)². Известное историко-культурное противопоставление Европы и Азии (по сути – европоцентристское) привело к тому, что целостность евразийского материка не подвергалась сомнению лишь в физико-географических трудах и комплексных географических описаниях, тогда как в геоисторическом контексте Евразия как единая образная геокультурная система фактически отсутствовала: вместо этого по отдельности могли рассматриваться

¹ *Abu-Lughod J.L. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350. New York, Oxford: Oxford University Press, 1989.*

² *Горшенина С.М. Изобретение концепта Средней / Центральной Азии: между наукой и геополитикой. Вашингтон: Программа изучения Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона, 2019.*

Европа и Азия с их дальнейшими геокультурными и геополитическими дифференциациями. Только лишь рождение геополитики на стыке XIX–XX вв. и появление соответствующих масштабных геополитических концепций привело к постепенному исчезновению устоявшегося когнитивного «разрыва» и геополитической и геокультурной концептуализации образа и понятия Евразии¹.

Образ Центральной Азии в сложившихся исторических традициях (античная, западноевропейская, китайская, исламская, российская) рассматривался, по преимуществу, как промежуточный, окраинный, периферийный². В содержательном

¹ Маккиндер Х. Географическая ось истории. М.: АСТ, 2021; Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. М.: Мысль, 2001; Lewis M.W., Wigen K.E. *The Myth of Continents: A Critique of Metageography*. Berkley: University of California Press, 1997; Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. М.: Наталис, 2004; Okur M. *Classical Texts of the Geopolitics and the 'Heart of Eurasia'* // *Journal of Turkish World Studies*. 2014. Vol. 14. No. 2. P. 73-104.

² Imart G. *The Limits of Inner Asia: Some soul-searching on new borders for an old frontier-land*. Papers on Inner Asia. No. 1. Bloomington: Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies, 1987; Sinor D. *Introduction: the concept of Inner Asia* // Sinor D., ed. *The Cambridge History of Early Inner Asia*. Cambridge; New York; Port Chester; Melbourne; Sydney: Cambridge Univ. Press, 1990. P. 1–18; Пьянков И.В. *Средняя Азия в античной географической традиции: Источниковедческий анализ*. М.: Восточная литература, 1997; Akiner Sh. *Conceptual Geographies of Central Asia* // Akiner Sh., Tideman S., and Hay J., eds. *Sustainable development in Central Asia*. New York: St. Martin's Press, 1998. P. 3–62; Clem R. S. *The Frontier and Colonialism Russian and Soviet Central Asia* // Lewis R.A., ed. *Geographic Perspectives on Soviet Central Asia*. London, New York: Routledge, 1992. P. 19–36; Edney M.H. *Mapping an Empire: The Geographic Construction of British India, 1765–1843*. Chicago and London: Univ. of Chicago Press, 1997; Hostetler L. *Qing Colonial Enterprise. Ethnography and Cartography Early Modern China*. Chicago and London: The Univ. of Chicago Press, 2001; Bregel Yu. *Historical Atlas of Central Asia. Handbook of Oriental Studies*. Part 8. *Uralic & Central Asian Studies*. 9. Leiden: Brill, 2003; Brower D. *Turkestan and the Fate of the Russian Empire*. London and New York: RoutledgeCurzon, 2003; Санин К.А. *Западный край Китая (к вопросу об истории восприятия Синьцзяна и Центральной Азии в Китае)* // *Общество и государство в Китае*. 2017. Т. 47. № 1. С. 207–216; Горшенина С.М. *Изобретение концепта Средней / Центральной Азии: между наукой и геополитикой*. Вашингтон:

плане Центральная Азия почти всегда была, скорее, препятствием для устойчивых долговременных связей и коммуникаций между средиземноморским ареалом и очагом китайской цивилизации, между Россией, Южной Азией и Китаем. Оплот часто не долговечных, эфемерных государств и кочевых империй, пространство почти постоянных масштабных кочевых передвижений и набегов, Центральная Азия оставалась, тем не менее, на протяжении длительного исторического времени заманчивым образом экзотического пространства, которое так или иначе, рано или поздно должно войти в сферу тесного геокультурного и геополитического влияния крупнейших держав Евразии¹.

Планетарная геокультурная значимость Центральной Евразии: базовые смыслы

Образно-геокультурная система Центральной Азии включает в себя в первом приближении образы обширных экстремальных в природно-климатическом отношении горных, степных и пустынных территорий с довольно низкой и неравномерной плотностью населения, с оазисным расселением, доминирующего в религиозном отношении ислама (до исламских завоеваний преобладали язычество, буддизм и манихейство), кочевых империй и кочевого хозяйства, Шёлкового пути, постоянных изменений государственных границ, сравнительно пёстрой и разнообразной этнографической карты, fronti-

Программа изучения Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона, 2019.

¹ *Drompp M.* Centrifugal forces the Inner Asian “Heartland”: History versus Geography // *Journal of Asiatic History*. 1989. No. 23. P. 135–168; *Frank A. G.* The Centrality of Central Asia // *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. 1992. Vol. 24. No. 2. P. 50–82; *Perdue P.C.* Boundaries, Maps, and Movement: Chinese, Russian, and Mongolian Empires in Early Modern Central Eurasia // *The International History Review*. 1998. Vol. 20. No. 2. P. 263–286; *Kotkin S.* Mongol Commonwealth? Exchange and Governance across the Post-Mongol Space // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2007. Vol. 8. No. 3. P. 487–531.

ра европейских и российских путешественников XIX – первой трети XX вв., арены соперничества великих держав, синкретических форм искусства, довольно позднего формирования национальных идентичностей (с точки зрения европейских «образцов»). Конечно, эти образы можно множить, уточнять и дополнять, однако главное здесь – уловить «энергетику» самой системы, специфику центрально-азиатских геокультур. На наш взгляд, эта специфика заключается в высокой синергетичности центрально-азиатской образно-геокультурной системы, в её сложной и разнообразной адаптивности ко всем вызовам и вторжениям – как геокультурным, так и геополитическим и социально-экономическим.

Между тем, обладая довольно однородным в религиозном отношении геокультурным фундаментом, начиная с раннего средневековья¹, Центральная Азия в геоисторическом и геополитическом плане практически всегда была достаточно разрозненной, конфликтной – будь то столкновения различных государств и империй, племенные, этнические или национальные конфликты. Однако – если мы попробуем перейти от концепта Центральной Азии к концепту Центральной Евразии, который уже, очевидно, можно рассматривать в планетарном контексте – то эта картина может в значительной степени измениться, трансформироваться. А, вернее, это может быть уже совсем другая картина, другая образно-геокультурная система, хотя все её геокультурные, геоисторические и геополитические особенности остаются практически теми же.

Центральная Евразия – планетарный концепт, который как бы картографирует образы других планетарных геокультур – и в то же время в нём и через него могут воспроизводиться и развиваться иные планетарные геокультуры – как евразийские, так и не-евразийские². Центральную Евразию можно предста-

¹ Тихвинский С.Л., Литвинский Б.А., ред. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Очерки истории. М.: Наука, 1988; Choi H.W. Geo-cultural Identity of Western Turkestan // International Journal of Central Asian Studies. 2003. Vol. 18. P. 1–20.

² Cp.: Christian D. Inner Eurasia as a Unit of World History // Journal of World History. 1994. Vol. 5. No. 2. P. 173–211; Fairbanks Ch., Nelson C. R.,

вить как «вогнутую линзу», собирающую и концентрирующую лучи солнца, или же как своего рода «призму», трансформирующую и переориентирующую попадающую в неё лучи света. Так, например, события в Афганистане и в прилегающих к нему государствах за последние полвека (установление просоветского политического режима, вторжение и уход Советского Союза, возвышение талибов, события 9/11 сентября 2001 года, вторжение США и их союзников, установление прозападного режима и его падение, новое возвышение талибов) можно вполне обоснованно интерпретировать с точки зрения планетарных геокультурных схем, что может помочь и соответствующему детальному метагеокультурному и геополитическому анализу.

Центральную Евразию можно рассматривать как планетарную образно-геокультурную систему, синергетичную по отношению к Северной Евразии, США, к западным геокультурным системам в целом, а также и к Восточной и Южной Евразии. По всей видимости, значимость этой системы в геополитическом ракурсе начала определяться ещё в XVIII–XIX вв., в ходе захвата Цинской империей Джунгарского ханства, постепенного ослабления геополитического влияния Ирана, англо-афганских войн, проникновения Российской империи в Среднюю Азию, «Большой игры» Британской и Российской империй, российско-китайского разграничения в Синьцзяне, однако эти геополитические события носят, скорее, «центрально-азиатский» характер, а сам концепт Центральной Азии можно интерпретировать как своеобразный «кокон», из которого затем, уже в течение XX века, появляется «бабочка» Центральной Евразии. В известном смысле, планетарная геокультурная значимость

Starr S. F., Weisbrode K. Strategic Assessment of Central Eurasia. Washington, D.C.: The Atlantic Council of the United States, Central Asia-Caucasus Institute, Johns Hopkins University, 2001; *Amineh M. P., Houweling H.* The Crisis in IR-Theory: Towards a Critical Geopolitics Approach // *Amineh M.P., Houweling H.*, eds. Central Eurasia in Global Politics: Conflict, Security, and Development. Leiden: Brill, 2005. P. 1–21; *Исмаилов Э. М.* О геополитической функции «Центральной Евразии» в XXI веке // *Центральная Азия и Кавказ.* 2008. № 2(56). С. 7–33; *Черных Е.Н.* Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.

Центральной Евразии вырастает из своего рода «негативной онтологии воображения», в рамках которой воспринимаются, «процеживаются», «фильтруются», «сортируются» геокультурные вызовы других планетарных геокультур, что порождает, так или иначе, циклические геополитические турбулентности.

«Проточный» и в то же время собирающий, «резервуарный» характер образно-геокультурной системы Центральной Евразии позволяет говорить о двойной «метаморфической» специфике её геополитической экзистенции¹. В метагеокультурном отношении Центральная Евразия как бы притягивает к себе внешние имперские структуры, находящиеся, скорее, в фазе упадка, сопровождающегося инерционными движениями в сторону слабых, по видимости, в политико-государственном контексте, ещё не сложившихся окончательно в прочные национально-государственные образования, регионов². Она как бы собирает остаточную геокультурную и геополитическую энергию масштабных геополитических акторов, приводя или подводя их, так или иначе, к ситуации геополитического, а, в дальнейшем, и геоэкономического кризиса.

Наряду с этим, Центральная Евразия оказывается важнейшим дополнительным (фактически универсальным) элементом для большинства потенциальных геокультурных, геополитических и геоэкономических проектов планетарного масштаба в Евразии. Здесь уже выходит на первый план геокультурная значимость Центральной Евразии как своеобразного «проточного канала» или «пруда», способствующего масштабным культурным коммуникациям между ключевыми планетарными геокультурами (прежде всего, евразийскими) и – опосредующего их. Очевидно, что в данном случае вполне применима аналогия, хотя и неполная в образном отношении, с понятием евразийского геополитического лимитрофного пояса. Другими словами, Центральную Евразию можно рассматривать как

¹ Ср.: Цымбурский В. Л. Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 441–464.

² Ср.: Цымбурский В. Л. Остров Россия: геополитические и хронополитические работы, 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2007. С. 212–239.

сложный многосоставный, зачастую внутренне *амбивалентный геокультурный лимитроф планетарного уровня*, необходимый для поддержания неравновесного динамического коммуникативного процесса, охватывающего не только Евразию, но и большую часть нашей планеты в целом.

Метагеокультурный дискурс и метагеографическое положение Северной Евразии

После этого краткого центрально-евразийского экскурса стоит вернуться к проблеме геокультурного формирования Северной Евразии и, как следствие – к проблеме построения метагеокультурного дискурса (дискурсов) Северной Евразии на основе соответствующих гибридных картографий воображения планетарного характера. Северная Евразия – пока ещё не сложившаяся окончательно образно-геокультурная система, хотя в концептуальном отношении многие её латентные основания были проработаны уже в исследованиях учёных-евразийцев 1920–1930-х гг. Вместе с тем, концептуальное оформление этого образа и понятия может быть ускорено благодаря использованию понятия метагеографических осей Евразии, введённого нами несколько ранее.

Уже упоминавшиеся здесь индоевропейская и восточноазиатская метагеографические оси, по сути, образуют планетарный геокультурный каркас Евразии (при этом его становление непосредственно затрагивает также Северную Африку и, возможно, Австралию). Существенно также, что Россия является геокультурным ядром Северной Евразии и одновременно одним из двух главных элементов (наряду с Китаем) восточноазиатской метагеографической оси. Однако в обоих случаях роль России в этих процессах геокультурного и метагеографического становления и развития планетарного характера остаётся пока не проявленной, не осознанной и не отрефлексированной.

Гибридные северо-центрально-евразийские картографии воображения: становление транспарентных пограничностей

Планетарное геокультурное моделирование, основанное на онтологических моделях воображения¹, ориентировано на исследования ключевых масштабных геокультурных образов, коррелирующих с политическими границами крупных государственных и надгосударственных образований. В контексте нашего геокультурного исследования Северной Евразии наиболее интересно её взаимодействие с Центральной и Восточной Евразией – исходя из этого, можно говорить об основах формирования / построения гибридных планетарных картографиях воображения, центрированных на образе Северной Евразии. Далее мы попытаемся прояснить наиболее существенные моменты создания подобных «северо-евразийских» картографий, а также постараемся выявить специфику их метагеографического (и метагеокультурного) «телоса».

На наш взгляд, формирование северо-евразийской картографии воображения в контексте образа Центральной Евразии связано с «оконтуриванием», идентификацией образов Северной Евразии, сходных с ключевыми, ядерными образами Центральной Евразии. Естественно, что к таковым можно отнести, прежде всего, ландшафтные образы степи, обширных равнин, нагорий и горных систем, кочевья, номадических и полу-номадических передвижений, слабо освоенных территорий, а также связанные с ними образы очагового и оазисного расселения, этнокультурной мозаичности, особой кочевой ментальности. В данном контексте модельными образами северо-евразийских регионов могут быть Южный Урал и Южная Сибирь (включая степи юга Западной Сибири, горные системы Алтая и Саян). Вместе с тем, можно отнести к ним и Якутию – территориальное ядро Восточной Сибири, чьё освоение пришлыми кочевыми племенами тюркского происхождения придало ей, во многом, центрально-евразийские черты.

¹ *Замятин Д.Н.* Постгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. С. 144.

Планетарная значимость северо-центрально-евразийской картографии воображения определяется культурным и образным наследием одного из крупнейших в историческом отношении земных ареалов номадических культур на стыках степей, полупустынь и пустынь, предгорий и нагорий, горных систем¹. Хотя сами номадические культуры Евразии в основном ушли в прошлое, остаётся более долговечное ментальное наследие, влияющее, в том числе, на способы и стили мышления и действия, и формирующее своего рода общую геокультурную «экзистенцию». Одним из метагеокультурных последствий подобной общности может быть меньшая значимость политических границ, их большая относительность и условность, известная геокультурная «проницаемость».

Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что гибридные северо-центрально-евразийские картографии воображения (очевидно, что их может быть много, это не определённое заранее множество) центрируются преимущественно, в очень высокой степени, образом геокультурной и геополитической пограничности, причём эта пограничность оказывается максимально «транспарентной» и переходной – отсутствие, контингентность или недостаточность чётких геокультурных и геополитических границ (фактически можно говорить, скорее всего, лишь об определённых пограничных градиентах)². Такая контрастная, как бы «вывернутая наизнанку» пограничность (абсолютизируя этот образный геокультурный феномен, можно говорить о *не-пограничности*, отрицании любых границ) способствует и специфической сопространственности ключевых геокультурных образов и самих геокультур: они оказываются взаимно проникающими, перетекающими друг в друга, столь тесно переплетающимися, что их сопространственности могут рассматриваться как тождественные, практически не отличимые друг от друга. Ясно, что здесь мы не имеем в виду оче-

¹ Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.

² В данном случае не имеются в виду существующие или существовавшие в прошлом официальные политические границы.

видные этнокультурные и культурно-ландшафтные различия – описываемые нами феномены располагаются на метагеографическом или метагеокультурном уровне.

Геокультурные резонансы и евразийские метагеографические стыки

Итак, в первом приближении зоной геокультурных резонансов Северной Евразии и Центральной Евразии можно назвать территории Калмыкии, большей части Казахстана, Каракалпакии в Узбекистане, Кыргызстана, Туркмении, Южной Сибири (включая Алтай, Саяны, Туву и Байкальский регион), Якутии, большую часть Монголии, Афганистан, северо-восточные районы Ирана, а также Синьцзян и Тибет в Китае. Разработка масштабной гибридной картографии воображения этой зоны представляет собой отдельную сложную задачу (при том, что таких картографий может быть много). Поскольку территории этой зоны относятся к различным государствам, то подобные планетарные картографии должны учитывать геополитические особенности и геополитическое взаимодействие ключевых политических акторов, действующих в Центральной Евразии.

Нетрудно предположить, что гибридные планетарные картографии Центральной Евразии могут быть разработаны и на стыках Центральной Евразии с Западной Евразией, Восточной Евразией, Южной Евразией. Соответственно, крупнейшими геокультурными и геополитическими акторами в данном случае могут быть и Китай, и Индия, и Иран, а также, в некоторой степени, Турция и Пакистан. Возвращаясь, однако, к проблематике северо-центрально-евразийской картографии воображения, стоит говорить о геокультурных возможностях России как ключевого геокультурного и геополитического актора Северной Евразии. Если Россия как масштабный геокультурный актор сможет разработать, построить «веер» подобных гибридных картографий, то это может означать и геокультурную планетарность Северной Евразии в целом.

Геокультурная планетарная значимость Северной Евразии должна быть соотнесена с важнейшими элементами метагеографической системы Евразии – в данном случае с метагеографическими осями Евразии, а также с относительно автономным метагеографическим ядром (узлом) Евразии – Ираном (иранской цивилизацией)¹. Если, с точки метагеографии, индоевропейская ось в значительной степени удалена от Северной Евразии, и её влияние может быть, скорее, опосредованным, то восточноазиатская ось во многом определяет внутреннюю метагеографию центра и севера материка. Всякое интенсивное геокультурное и геополитическое взаимодействие России и Китая в контексте этой оси связано также и с центрально-евразийским геокультурным «резонансом». Таким образом, любая гибридная северо-центрально-евразийская картография воображения должна, в той или иной степени, учитывать геокультурную значимость Китая и потенциальную мощь разрабатываемых им как планетарным геокультурным актором картографий воображения².

Несколько иначе можно оценить метагеографическое влияние иранской цивилизации. Картографии воображения, создававшиеся и создаваемые этой цивилизацией в рамках масштабных геоисторических протяжённостей (здесь можно вспомнить известное историософское противопоставление Ирана и Турана как оседлой и кочевой цивилизаций)³, безусловно, повлияли и влияют до сих пор на геокультурное фор-

¹ *Замятин Д.Н.* Постгеография. Капитал(изм) географических образов. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. С. 469–470.

² См., например: *Winter T.* Geocultural power: China's belt and road initiative // *Geopolitics*. 2021. Vol. 26. No. 5. P. 1376–1399.

³ *Горшенина С.М.* Изобретение концепта Средней / Центральной Азии: между наукой и геополитикой. Вашингтон: Программа изучения Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона, 2019. С. 65–73; *Фрагнер Б. Г.* “Персофония”. Региональность, идентичность, языковые контакты в истории Азии. М.: Садра; Фонд Марджани, 2018; *Shokoohi S., Hajiabadi M.* Failure of Geopolitical and Geo-Cultural Commonalities to Integrate Iran and Central Asian Countries // *Geopolitics Quarterly*. 2019. Vol. 14. No. 4. P. 149–164.

мирование Центральной Евразии (а также востока Западной Евразии и северо-западной части Южной Евразии). Вместе с тем, очевидны потенциальные образные пределы и ограничения подобных картографий, которые можно назвать, скорее, региональными, нежели планетарными. Рассматривая генезис гибридных северо-центрально-евразийских картографий воображений, можно говорить о частичном влиянии иранской цивилизации, затрагивающем лишь их фрагменты, имеющие отношение к Таджикистану, Туркмении и Афганистану, а также, в некоторой степени, и к Узбекистану.

Северная Евразия и сопространственность пограничных геокультур: возможности новых картографий воображения

Между тем, и сама Центральная Евразия обладает своей собственной потенциальной геокультурной энергетикой, несмотря на этнокультурную и политико-географическую мозаичность. Такая геокультурная энергетика, опирающаяся на длительный историко-культурный генезис и синергию большого опыта политического, религиозного и культурного взаимодействия геокультур этого макрорегиона, может проявиться в разработке неординарных, специфических картографий воображения. Следовательно, любая северо-центрально-евразийская гибридная картография воображения должна быть также основана на учёте и имплементации ключевых элементов подобных потенциальных автохтонных картографий.

Естественно, что упомянутые выше учёт и имплементация автохтонных картографий Центральной Евразии предполагают развитие проблематики сопространственности геокультур Северной и Центральной Евразии. На наш взгляд, эти сопространственности – в том или ином виде, эмбриональном или же достаточно зрелом – развивались и развиваются в историческом плане довольно долго. Если не рассматривать сравнительно отдалённые контакты различных кочевых и оседлых племён и этносов в древности и в средневековье, то стоит вести отсчёт,

по крайней мере, с XVI–XVII веков. Наибольшее значение, по всей видимости, имеют события, связанные с колонизацией Российской империей Алтая, Южной Сибири в целом и Средней Азии, а также последующие процессы нациестроительства, социокультурного конструирования новых (в европейско-модерном смысле) наций на этих территориях, осуществлявшиеся в советскую эпоху¹, а также деколонизационные и постколониальные процессы (включая сопутствующие им волновые процессы вестернизации и девестернизации), охватывавшие и охватывающие в той или иной степени, многие территории Северной и Центральной Евразии. Наряду с этим, возникновение и развитие резонансных геокультурных сопространственностей было и до сих пор может быть связано с известной «параллельной» историко-культурной диахронией, «сталкивающей» геокультуры, живущие и развивающиеся в разных исторических эпохах.

Развитие резонансных геокультурных сопространственностей Северной и Центральной Евразии позволяет говорить о возможности когнитивной трансформации концепта евразийского хартленда Х. Маккиндера. На наш взгляд, теперь можно предложить трансформированный концепт **двойного евразийского хартленда**, объединяющего в геокультурном плане ключевые территории Северной и Центральной Евразии. Значимость этого «преобразованного» хартленда связана с важностью геокультурного синергетического взаимодействия указанных территорий – как между собой, так с внешними пла-

¹ *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М.: РОССПЭН, 2011. С. 82–108, 176–256, 505–514; *Хирш Ф.* Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза. М.: Новое литературное обозрение, 2022; *Abzhanarova A.* (Re)imagining Eurasianism: (Geo)political and (Geo)cultural Practices of Kazakhstan in the Preservation of its Security. Paper prepared for British International Studies Association (BISA) Annual Conference 27–29 April, 2011. Manchester, UK. P. 1–14; *Васильев Д. В.* Поступь империи: Политика России в Центральной Азии: XIX – начало XX в. СПб.: Нестор-история, 2022; *Акимбеков С.* Казахи между революцией и голодом. Алматы.: Институт азиатских исследований, 2021.

нетарными геополитическими и геокультурными акторами. По сравнению с концепцией Маккиндера, наша концепция, с одной стороны, предлагает существенный геокультурный «крен», переход от узкой и слишком прагматичной геополитической парадигмы к более широкой «гибридной», «сложностной»¹ метагеокультурной парадигме, в рамках которой происходит своего рода возвращение от образа к первообразу-архетипу действенной энергетической планетарной пространственности; с другой стороны, в отличие от концепции Маккиндера, она не является чисто эссенциалистской и ориентирована в неэссенциалистском ключе на выявление и анализ геокультурно-политических энергетических взаимодействий и отношений, формирующих – так или иначе – как евразийскую, так и планетарную геоантропологическую среду.

Синергетические контуры двойного евразийского хартленда связаны с выстраиванием метагеокультурного анализа взаимодействия гибридных северо-центрально-евразийских картографий воображения в контексте, прежде всего, выделенных нами метагеографических осей Евразии, в особенности восточноазиатской (российско-китайской) оси, а также, в несколько меньшей степени, автохтонного иранского цивилизационного ядра. По всей видимости, в широтном отношении весьма значимым оказывается и контекст пульсирующего евразийского лимитрофного пояса, чьи циклы сжатия-расширения, безусловно, оказывают влияние на локальные очертания отдельных картографий воображения и их трансформации. Существенно отметить, что двойной евразийский хартленд является метагеокультурным конструктом, чья синергия, в свою очередь, может воздействовать на соответствующие изменения в развитии указанных выше элементов метагеографии Евразии.

Таким образом, метагеокультура Северной Евразии, на наш взгляд, должна заключаться в построении планетарных гибридных картографий воображения, фиксирующих её транс-

¹ О концепции сложности в философии и синергетике см.: *Морен Э. О сложности*. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2020.

граничности преимущественно в отношении Центральной Евразии и Восточной Евразии. Подобные трансграничности необходимо осмыслить как процессы постоянного развития сопространственностей пограничных геокультур, исходя из длительного историко-культурного и политического опыта их взаимодействия. Соответственно, указанные процессы должны способствовать как формированию новых гибридных масштабных геокультур и культурных ландшафтов планетарного характера, так и разработке новых геокультурных проекций планетарного мышления, репрезентируемых уникальными картографиями воображения.

Итак, основные выводы главы состоят в следующем:

1) Северная Евразия может рассматриваться как пространство взаимодействия западной евроафриканской картографии воображения, базирующейся на евро-индийской метагеографической оси, и восточноазиатской картографии воображения, тесно коррелирующей с российско-китайской метагеографической осью.

2) Россия (и прилегающие к ней территории и государства) как сложная и автономная геокультурная система может быть нацелена на создание гибридных северо-центрально-евразийских планетарных картографий воображения.

3) Центральную Евразию можно рассматривать как сложный *амбивалентный геокультурный лимитроф планетарного уровня*, необходимый для поддержания неравновесного динамического коммуникативного процесса, охватывающего не только Евразию, но и большую часть нашей планеты в целом.

4) Любая гибридная северо-центрально-евразийская картография воображения должна учитывать геокультурную значимость Китая и потенциальную мощь разрабатываемых им как планетарным геокультурным актором картографий воображения.

ЧАСТЬ 2.

ОБРАЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТОГРАФИИ РОССИИ: КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ ВООБРАЖЕНИЯ

Глава 6.

Территории ностальгии: географический образ России и проблемы языковой идентичности в постсоветских государствах в конце XX – начале XXI вв.

Язык – мощный стимул и в то же время один из ядерных признаков обретения и поддержания индивидуальной, групповой и территориальной идентичности. Нет сомнения, что языковая идентичность репрезентируется не только языком общения, языковым сознанием и очевидными признаками конкретной лингвокультурной общности; по сути дела, можно говорить о бессознательном языковой идентичности, или же об её онтологическом статусе, когда языковая идентичность может пониматься как мощный личностный образ социализации собственного бытия, проявляющегося в том числе в определённой привязке личности, коллектива, общности к социокультурному географическому пространству, в рамках которого язык выступает «бессознательным паролем» подлинности различных экзистенциальных стратегий¹. Распад СССР, помимо яв-

¹ См.: *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1997; *Она же.* Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской культуры, 2001; *ван Дейк Т.А.* Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989; *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001; *Сервио П.* Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920–1930-е гг. М.: Языки славянской культуры, 2001;

ных геополитических, геоэкономических и геокультурных последствий, имеет и ряд внешне не очевидных, пока ещё слабо заметных социокультурных, феноменологических и онтологических последствий, постепенные и детальные ретроспективы которых могут привести к расширению и трансформации традиционных взглядов на взаимосвязи языка, идентичности и пространства¹.

Географическое пространство, проявляющееся на феноменологическом уровне устойчивыми и стабильно воспроизводимыми в течение длительного по историческим меркам времени идеологическими и социокультурными знаками, символами, ассоциациями, стереотипами, может рассматриваться как географический образ². Это означает, что в культурно-антропологическом отношении географический образ есть реверсивная, «возвратная» ментальная структура, смещающая и одновременно расширяющая привычные в обыденном контек-

Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004; *Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003; *Гудков Д.Б.* Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003; *Красных В.В.* Основы психолингвистики и теории коммуникаций. М.: Гнозис, 2001; *Она же.* Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М.: Гнозис, 2002 и др.

¹ Ср.: *Серюо П.* Русский язык и анализ советского политического дискурса: анализ номинализаций // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. С. 337–384; *Он же.* Лингвистика, дискурс о языке и русское геоантропологическое пространство // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: О.Г.И., 1999. С. 679–704; *Киселева И., Дамберг С.* «Другие русские»: роль в историческом сюжете // Евразия. Люди и мифы. (Сб. статей из журнала «Вестник Евразии») / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 192–217; *Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика* / Под ред. В.А. Колосова. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.

² *Замятин Д.Н.* Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999; *Он же.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя, 2003; *Он же.* Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004; *Он же.* Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН, 2004; *Он же.* Культура и пространство: моделирование географических образов. М.: Знак, 2006.

сте идеологические и социокультурные символы, связываемые с определённым географическим пространством. Иначе говоря, устойчивый географический образ хорошо «впитывает» в себя прошлое, всевозможные истории личного и коллективного порядка, относимые в личном и коллективном сознании к территории, репрезентируемой и интерпретируемой данным образом. Безусловно, сама территория при этом тоже может рассматриваться как образ/географический образ, однако она представляет собой изначальный первообраз, прото-образ, пра-образ, насыщаемый и «наполняемый» далее (здесь-и-сейчас) конкретным знаково-символическим «содержанием», позволяющим говорить о феномене реверсивности, о своего рода «территории назад», живущей в настоящем – в социокультурном ментальном слое – и проецируемой в будущее конкретных социокультурных общностей¹.

Советский Союз после своего распада стал не просто фантомным географическим образом, или же «территорией ностальгии» для различных социополитических и социокультурных общностей; он, в силу определённых политических и исторических обстоятельств этого распада, стал сравнительно широким образно-географическим полем, образно-географическим пространством, в пределах которого формируются устойчивые личностные и коллективные идентичности². Историко-географическим парадоксом данной культурно-антропологической ситуации можно считать частичную конверсию образа СССР в географический образ России, что было слабо допустимым, или почти не допустимым идеологически в политическую эпоху существования Советского Союза. Тем не менее, идеологические «ростки» этой образной конверсии просматривались уже в 1960–1970-х гг., когда формировались

¹ Ср.: Шнирельман В. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Academia, 2003.

² Ср.: Дробижева Л. Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совместимость // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана и Т. Хепфа. СПб., М.: Изд-во Европейского университета, Летний сад, 2003. С. 47–77.

ментальные основы нового российского «почвенничества», нового российского патриотизма, тесно связанного с русским национализмом ещё дореволюционного, в основном имперского, образца.

Географический образ России в начале XXI века – так, как он может быть репрезентирован в индивидуальных и групповых проявлениях и предпочтениях – представляет собой крайне неоднородное, гетерогенное сочетание весьма далёких друг от друга в идеологическом и культурологическом аспектах аллюзий, мифов, архетипов и стереотипов, связанных с территориями бывших СССР и Российской империи, которое, несмотря на это, оказывается вполне функциональным и «работоспособным» в социокультурной ситуации постсоветского пространства¹. Одним из немаловажных условий, а, возможно, и решающим условием подобной функциональности, является русский язык – вернее, его ключевая социокультурная роль в поддержании «на плаву» как самого географического образа России, так и основных идентичностей, формирующихся в связи и на фундаменте этого образа. Русский язык выступает здесь не только и не столько как орудие и средство былого культурного господства и культурной гегемонии, что, конечно, помогает понять социокультурные феномены Российской империи и Советского Союза как явления чисто империалистического порядка, но как обширное поле взаимных социокультурных притязаний, надежд, устремлений и проектов, так или иначе формулируемых, сознательно и бессознательно, теми или иными социокультурными акторами на постсоветском пространстве – формулируемых и в контексте возможных социополитических реконструкций, и в контексте, как это ни странно, тотального

¹ См., например: *Савва М.* Мифоидеологемы – знамена сепаратизма (на примере Северного Кавказа) // Евразия. Люди и мифы. (Сб. статей из журнала «Вестник Евразии») / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 474–496; *Батомункуев С.* Новые бурятские идентичности: мифологическое и политическое содержание дискурса // Вестник Евразии. Acta Eurasica. 2005. № 2 (28). С. 66–105; *Горак С.* Мифы Великого Туркменбаши // Там же. С. 105–133; *Грозин А.* Интернет и образы постсоветской Азии в России // Там же. С. 5–29.

потенциального уничтожения социокультурного и экзистенциального значения русского языка, понимаемого также в социально-конструктивистском духе.

Языковые идентичности в бывших республиках СССР – вне зависимости от степени культурной автономии и языкового родства – развивались в течение конца XX – начала XXI века на фоне весьма действенного и существенного географического образа России, в его различных аксиологических, негативных и позитивных, коннотациях, что обусловило общий идеологический генезис практически любых социополитических и социокультурных языковых проектов – от Эстонии до Узбекистана. Здесь следует говорить не столько о конкретных проектах перехода отдельных языков в их письменной практике с кириллицы на латиницу или арабское письмо, или же ограничений на использование русского языка в формальном общении и коммуникации в сферах политики, экономики, образования и культуры (хотя это, безусловно, необходимо и нужно обсуждать и анализировать), сколько о статусно-ритуальном и символическом социокультурном значении русского языка, лишь подчеркнутым и аффектированным подобными проектами и ограничениями¹. Не вдаваясь пока в детали, можно утверждать, что избыточная и сильно аффектированная в социокультурном плане – с точки зрения предыдущего исторического периода – символизация русского языка² стала эффективным катализатором формирования постсоветского географического образа России, чья очевидная неоднозначность фиксируется во многом с помощью социокультурных языковых интерпретаций и

¹ Ср.: Язык и этнический конфликт / Под ред. М. Брилл Олкотт и И. Семенова; Моск. Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2001; *Панарин С.* Национально-культурное возрождение в республиках и территориальная целостность России // Евразия. Люди и мифы. (Сб. статей из журнала «Вестник Евразии») / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 427–450; *Ларюэль М., Пейруз С.* «Русский вопрос» в независимом Казахстане: история, политика, идентичность. М.: Наталис, 2007.

² См.: *Сандомирская И.* Книга о родине. Опыт анализа дискурсивных практик. Wien, 2001 (Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 50).

социокультурной концентрации общественного мнения вокруг феномена русскоязычности.

Понятно, что автохтонные языки постсоветских государств, формально получившие совсем иной политический и социокультурный статус, нежели в советский период, оказались в благоприятной образной и когнитивной ситуации, способствующей их неформальной институционализации. Тем не менее, нараставшие параллельно и увеличивавшие свои темпы процессы глобализации внесли очевидные коррективы в подобные представления: практически любой язык на постсоветском пространстве, признанный государственным и имеющий вследствие этого чёткие институциональные привилегии, оказался как бы меж двух огней – либо автохтонные языковые идентичности в своём чистом виде, в форме соответствующих «национально-государственных резерваций», в сочетании с обязательным сплошным использованием английского языка для внешних репрезентаций; либо смешанные языковые идентичности с ограниченным культивированием и воспроизводством русскоязычных практик для поддержания, фактически, жизнеспособной в социокультурном плане национально-государственной идентичности (это, естественно, не отменяет роли и значимости английского языка, становящегося в данном случае не средством «отделения овец от козлищ», но просто ещё одним явным орудием потенциального расширения социокультурных коммуникаций). Так или иначе, с феноменологической точки зрения, реальные языковые практики в бывших республиках СССР стали одновременно и средством (процессом), и результатом осуществления довольно архаичного европейского политического проекта эпохи раннего модерна – проекта *nation-state*, «национального государства»; при этом осуществление подобных проектов в конкретных политических и социокультурных условиях распада самого модерна оказалось возможным на постсоветском пространстве чаще всего в форме причудливых переходных лингвокультурных «микстов» из автохтонных языков, русского и английского языков.

Создавшаяся и достаточно стабильно воспроизводившаяся в начале XXI века лингвокультурная ситуация на постсоветском пространстве в онтологическом отношении подразумевала постоянное социокультурное манипулирование географическим образом России, чьи конфигурации должны были регулярно меняться, трансформироваться в зависимости от особенностей развития и взаимодействия постсоветских языковых идентичностей – включая также и российскую/русскую идентичность. Несомненно, сам по себе географический образ России в подобном лингвокультурном когнитивном контексте становился более «пряным», более националистически «обострённым», более дискуссионным и в то же время более традиционалистским¹ – тем не менее, признаки и символы советской эпохи очень органично и в то же время коллажно сочетались в нём с символами и знаками «Московского царства» и Российской империи. Характерно, что идеологические поиски современной постсоветской российской versus русской идентичности, связанные с политическими и социокультурными концепциями «русского мира», «русского зарубежья», типологически близкими более ранним и сравнительно успешным западным постимперским лингвокультурным проектам вроде франкофонии или иберофонии, стали в известной степени «маяком», образцом для аналогичных идеологических поисков в бывших республиках СССР – иногда, правда, в нарочито карикатурном облике, как в случае, например, украинских экстремистско-традиционалистских ретроспективных идеологических проектов².

Как бы то ни было, пространство и в начале XXI века выступает естественной образной основой для любого рода проектов идентичности, тем более, языковой идентичности, тесно свя-

¹ Ср.: Шнирельман В.А. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологий в современной России / Московское бюро по правам человека. М.: Academia, 2004; Он же. Лица ненависти. (Антисемиты и расисты на марше) / Московское бюро по правам человека. М.: Academia, 2005.

² Ср.: Савоскул С. Этнополитические ориентации и гражданская идентичность населения Украины // Евразия. Люди и мифы. (Сб. статей из журнала «Вестник Евразии») / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 308–337.

занной уже в эпоху зрелого модерна с идеолого-националистическими проектами, апеллирующими, как правило, к «крови и почве». Идеологическое наследие модерна, будучи, по преимуществу, западным (европейским) культурным и цивилизационным порождением, претерпевает очевидные социокультурные метаморфозы на территориях и в пространствах, чьи цивилизационные основания онтологически не сопрягаются или сопрягаются плохо с ключевыми «требованиями» процесса модернизации¹. Подобные метаморфозы могут быть достаточно эффективно репрезентированы именно на геокультурном или геоцивилизационном фундаменте, когда конкретное пространство/территория/регион/страна наделяется специфическими образными маркерами, расширяющими довольно «узкие» в идеологическом плане культурно-типологические матрицы². При таком методологическом подходе становится возможным говорить об азиатском модерне, российском модерне, постсо-

¹ См., например, довольно курьезную политико-дипломатическую историю с написанием слова «Чехо-словакия» через дефис в советских дипломатических документах и прессе 1920–1930-х гг. в противоречии с официальным аутентичным написанием «Чехословакия» в 1920–1938 гг. и возникший вокруг этой истории дипломатический конфликт с явной опорой на языково-идеологический контекст // *Кен О., Рупасов А.* Политбюро ЦК ВКП (б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Часть 1. Декабрь 1928 – июнь 1934 г. Научное издание. СПб.: Изд-во «Европейский Дом», 2000. С. 494. См. также в более широком культурно-антропологическом контексте: *Appadurai A.* Modernity at Large. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996; *Appadurai A.* Ставя иерархию на место // Этнографическое обозрение. 2000. № 3. С. 8–14; *Соколовский С.В.* Образы других в российских науке, политике и праве. М.: Путь, 2001.

² См.: *Замятин Д.Н.* Геокультура и процессы межцивилизационной адаптации: стратегии репрезентации и интерпретации ключевых культурно-географических образов // *Цивилизация. Восхождение и слом. Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного процесса.* М.: Наука, 2003. С. 213–256; Ср.: *Батомункуев С.* Указ. соч.; *Горак С.* Указ. соч.; Шнирельман В. От конфессионального к этническому: болгарская идея в национальном самосознании казанских татар // *Евразия. Люди и мифы.* (Сб. статей из журнала «Вестник Евразии») / Сост., отв. ред. С.А. Панарин. М.: Наталис, 2003. С. 450–474.

ветском модерне и т.д., не рискуя оказаться практически сразу в «плёну» евроцентристских или западнцентристских идеологических дискурсов.

Речевые и письменные языковые практики во многом зависят от структур повседневных коммуникаций и образов доминирующих культурных ландшафтов. Преобладающая речь на улице, в толпе, в кафе, уличные вывески, газетные киоски, продавцы в магазинах, язык бизнес-переговоров и лектора в университете, стендовая информация в государственных учреждениях, полки в книжных магазинах, дорожные указатели, программы телеканалов, содержание Интернет-сайтов – всё это обуславливает не только фон формирования языковых идентичностей, но и сами структуры таких идентичностей. Характерно, что языковые идентичности, в свою очередь, могут определять содержание и структуры обыденных культурных ландшафтов, влияя тем самым и на становление доминирующих географических образов страны или территории.

Фактический распад, агония модерна привела к сильнейшей дифференциации культурных и идеологических дискурсов, слабо или совсем не соприкасающихся друг с другом; пространство глобализации – в том его «изводе», который складывается в развитых западных странах – часто представляет собой сравнительно автономное сосуществование различных локальных идентичностей, культурных ландшафтов и географических образов, чья общность может быть зафиксирована лишь частично, фрагментарно, «одномоментно»¹. Экспансия подобных образов глобализации на постсоветском пространстве в неизменном виде оказалась невозможной: образцовые западные дискурсы могут превращаться здесь иногда во внешний идеологический и культурный «сленг», существующий в хаосе домодерных, современных и постмодерных «символических форм» (по Кассиреру) и теряющий таким образом своё дей-

¹ Малахов В. Культурный плюрализм versus мультикультурализм // Логос. 2000. № 6. С. 4–8; Mapping Multiculturalism / Ed. Avery F. Gordon and Christopher Neufeld. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1996.

ствительное содержание и изначальный общественный смысл¹. В подобной социокультурной ситуации языковые идентичности в бывших республиках СССР оказались тесно связанными с уцелевшими фрагментами и «обломками» бывших советских культурных ландшафтов² (с безусловным доминированием в них русскоязычных маркеров), выполняющими роль временных идеолого-культурных указателей и «путеводителей»³.

Языки «титულных наций» постсоветских государств на развалинах советских культурных ландшафтов и на фоне плохо понятных и понятых процессов глобализации нуждались и до сих пор пока нуждаются не только в собственном полноценном социокультурном признании – не в виде насаждаемых «сверху» официальных языковых практик (конечно, имеющих своё, но всё-таки достаточно ограниченное значение), но в виде общепринятых обыденных речевых и письменных практик. Попытки достижения подобного идеального общественно-культурного коммуникативного статуса для автохтонных языков бывших республик СССР, сознательно или бессознательно, стихийно или хорошо организовано, были нацелены по преимуществу на непосредственный перевод – как прямой, так и косвенный (функциональный) – тех языковых идентичностей, которые функционировали на территории Российской Федерации, воспринимаемой в этом случае прямой культурной «наследницей» Советского Союза, постепенно растущая социокультурная ностальгия по которому способствовала в начале XXI века и некоей «реабилитации» всего русского и российского. По сути дела, для формирования самостоятельных языковых идентичностей на постсоветском пространстве требовалась некая внешняя социокультурная «легитимация», что и осуществлялось, хуже или лучше, с помощью копирования, перевода, ретрансляции современных им российских языковых идентичностей (не всег-

¹ Ср.: Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М., 2002.

² См.: Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

³ Ср.: Панарин С. Указ. соч.

да с указанием источником такого копирования, это могло «за-тушёвываться» по политическим и идеологическим мотивам). Нет смысла, однако, и недооценивать в данном коммуникативном процессе значения и роли социокультурной экспансии самих российских языковых идентичностей (прежде всего в сфере массовой культуры) – посредством экспансии российских масс-медиа, эстрадной музыки, кино, видео, книжного рынка, культа российских поп-звёзд, киноактёров, российских компаний, распространяющих собственные речевые и письменные практики¹.

Крайне интересной и знаменательной в контексте взаимодействия постсоветских языковых идентичностей была история с решением Конституционного суда России в конце 2004 г. по поводу принятия в Татарстане письма на основе латиницы или кириллицы. Один из крупнейших субъектов Российской Федерации замахнулся на «святая святых» – культурную и цивилизационную идентичность нашей страны, во многом связанную именно с письменностью на кириллице. Оставим пока в стороне вопрос, в какой степени особенности татарского языка способствуют принятию той или иной письменной графики.

В Советском Союзе были народы и союзные республики с иной письменной графикой, нежели кириллица: грузины, армяне, эстонцы, латыши, литовцы и, соответственно – республики Закавказья и Прибалтики. Вспомним также, что 1920-е годы дали в СССР всплеск культурного интереса к латинице в контексте приближавшейся, как тогда казалось, мировой революции. После ожидавшейся победы мировой революции нужен был, как считали большевики, переход к единой письменной графике и наиболее удобной признавалась господствующая в западном мире латиница. Однако революционные иллюзии к концу 1920-х годов развеялись, «крамольные» языки были переведены на кириллицу.

¹ См., например: *Петров Г.* Поволжский хит // *Огонёк.* 2007. № 37 (5013). 10–16 сентября. С. 34–37; *Архангельский А.* Крещение попсой // Там же. С. 37.

Очевидная культуртрегерская роль русской культуры по отношению к татарской, несмотря на различные религиозные основы, ясно прослеживаемая, по крайней мере, в течение нескольких последних веков, позволяет говорить о русском культурно-политическом круге, который не во всём совпадает с зонами российского политического контроля, доминирования и влияния, территориальными границами современной российской государственности. Этот круг предполагает, наряду с традиционными политическими практиками, проведение и особой культурной политики, призванной теснее привязать тот или иной народ, этнос к политической и этнокультурной метрополии. На первый взгляд, такой подход очевиден, и он был продемонстрирован многими великими державами и империями в эпохи колониализма и постколониализма. Язык и его прямые производные (устная речь, письменность, литература) в подобных культурных политиках, несомненно, играют роль «первой скрипки».

Чем отличается Татарстан от Индии и Алжира, Вьетнама и Индонезии, Гвинеи-Бисау и Анголы? Понятно, что государственность Татарстана в данном случае – политический суррогат, при этом следует учесть и огромное число татар, живущих в России за пределами самого Татарстана. Латиница как элемент вестернизации и активатор последующего возможного политико-культурного «дрейфа» Татарстана в сторону обретения более весомой государственной самостоятельности, уже в пределах европейского политико-культурного круга, фактически была недопустимой в рамках сложившейся в России к началу XXI века территориально-политической организации общества.

В России еще много национальных республик-субъектов Российской Федерации, в которых национальные письменности, вне каких-либо их естественных особенностей, существуют и развиваются на основе кириллицы – что не вызывает больших возражений. Так ли уж важно в эпоху, когда мировая политика не знает национальных и/или государственных границ, претендовать на оригинальность собственной письменности как атрибут политического и культурного самостояния?

Вопрос всё же не праздный, ибо в случае Татарстана одна из его корневых религиозных идентичностей – исламская – входит в противоречие со всеми остальными базисными характеристиками местной культурной политики¹. Мультикультурализм Татарстана («Россия в миниатюре», только что татары как бы заменяют русских – весьма условно) предполагает, что русские и русскоязычные, живущие в нём – это своего рода «эстонцы» или «грузины» в пределах бывших Российской империи и СССР.

Решенная будто бы в политической плоскости проблема письменной графики татарского языка есть лишь знак, или, шире, символ перехода традиционных этнокультурных и социальных ценностей из разряда политически весомых, «тяжелых» в сферу аполитического, область явного безразличия к «большой политике». Вопросы «большой политики» в Российской Федерации решались в начале XXI в., естественно, не в Конституционном суде страны. Под поверхностью завуалированных и запутанных юридических формулировок скрывается живое тело политических решений и компромиссов. Татарстан здесь – символ политического выравнивания территории России не в смысле нарастающей тенденции политического авторитаризма (а она, безусловно, присутствует), но в смысле одновременного политического поднятия любых региональных и национальных идентичностей в общегосударственные и транснациональные контексты².

¹ Ср.: Шнирельман В. Идентичность и образы предков: татары перед выбором // Вестник Евразии. Acta Eurasica. 2002. № 4 (19). С. 128–148; Сагитова Л. Региональная идентичность: социальные детерминанты и конструктивистская деятельность СМИ (на примере республики Татарстан) // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана и Т. Хепфа. СПб., М: Изд-во Европейского университета, Летний сад, 2003. С. 77–125.

² Ср.: Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Пространство российского федерализма // Политические исследования. 2000. № 5. С. 98–110; Замятин Д.Н. Географические образы российского федерализма // Федерализм. 2001. № 4 (24). С. 55–67; Он же. Политико-географические образы российского пространства // Вестник Евразии. (Acta Eurasica). 2003. № 4(23). С. 34–46.

Для меня лично всегда было странным видеть татарские тексты на кириллице – впрочем, это может относиться и ко многим другим языкам России. Однако такая графическая странность стала для меня неотъемлемым элементом самого образа Татарстана, в котором переплетаются и Итиль, и Казань, и волжские булгары, и Казанское ханство, и президент Татарстана Минтимер Шаймиев, и КАМАЗы, которые «не боятся грязи» (популярный слоган из рекламного телевизионного ролика грузовиков КАМАЗ). По сути, Татарстан – мощный «креолизованный» политико-географический образ, в котором очевидная русифицированность его многих основных компонентов создает амальгаму регионального и одновременно транснационального политического Бытия.

Когнитивная сложность происходящего на наших глазах процесса во многом объясняется также амбивалентностью современных российских языковых идентичностей; эта социокультурная «турбулентность», несогласованная дискурсивная разнонаправленность, так или иначе, в той или иной степени, непосредственно или опосредованно, передаётся, «переводится» и в других языковых идентичностях, складывающихся на постсоветском пространстве. Главная внутренняя проблема, с которой связана внешняя хаотичность, образно-символическая «непроработанность» российских языковых идентичностей, состоит в ментальной и социокультурной «неразмещённости» этнических и языковых маркеров постсоветских культурных ландшафтов, в условиях очень сильной этнокультурной мозаичности, модифицируемой и усиливаемой на несколько порядков в крупных городских агломерациях и мегалополисах. Концепция мультикультурализма, по всей видимости, пока не очень применима или же просто не релевантна по отношению к тем современным этнокультурным ландшафтам, которые могут быть представлены в Москве, Петербурге, Новосибирске или Казани. Ситуация осложняется также значительной иммиграцией как с постсоветского пространства, так и из-за его пределов – из Китая, Юго-Восточной Азии, частично со Среднего Востока.

Советский «привкус», советская «печать» современного географического образа России, понимаемого как транссубъективное ментальное образование, обусловлены в том числе авторитарными (как формальными, так и неформальными, обыденными) языковыми практиками русификаторского плана, усиливающимися параллельно с увеличением иммиграционного потока. Другое дело, что пока эта особенность является вполне приемлемой и даже желательной для большинства российских социокультурных страт. Между тем, образное описание современного российского пространства становится явно не достаточным, не адекватным тому многообразию этнокультурных ландшафтных маркеров, которое можно в действительности наблюдать теперь не только в крупных российских городах, но и в сельской местности, испытывающей – пока ещё не везде – также приток мигрантов, в том числе, и русскоязычных соотечественников из бывших республик СССР¹.

Основная проблема взаимодействия географического образа России и языковых идентичностей в бывших республиках СССР заключается, как ни странно, не во взаимном ущемлении и дискриминации соответствующих языковых практик, что, конечно, может, особенно в ситуативно-политической плоскости, серьёзно влиять на ценностные оценки этого образа. Когнитивная тяжесть данной проблемы лежит в зачатку не преднамеренном или в непродуманном социокультурном доминировании русской языковой идентичности и её ведущих репрезентаций (религиозной, образовательной, литературной, коммуникативной) в рамках весьма одномерного географического образа России – в, своего рода, образном (образно-географическом) империализме, не являющимся, однако, неким строго целенаправленным и детально продуманным политическим проектом. Опять-таки, подобная ситуация является обоюдоострой идеологически, поскольку дилемма русскости/

¹ См., например: *Пядухов Г.* Этнические группы внешних мигрантов в конфессиональном пространстве российской провинции // Вестник Евразии. (Acta Eurasica). 2002. № 4 (19). С. 33–52.

российскости, русского/российского¹ напрямую связана с проблематикой социополитического обоснования русского versus российского патриотизма.

Возможные решения охарактеризованной здесь проблемы могут быть найдены или быть сформулированы в рамках *геоспациализма* – методологического подхода, предполагающего, что онтологические статусы пространственности и её образных репрезентаций являются неотъемлемой частью любой общественной или социокультурной феноменологии; иными словами, определённое видение и ощущение пространства локализуется в ментальном плане как «пучок» социокультурных образов, представляемых, как «реальность». Исходя из этого, можно сказать, что современный географический образ России есть пока запаздывающий в исторической и цивилизационной ретроспективе пространственный «проект» модерна, не предполагающий в своей сути существования языковых идентичностей как автономной когнитивной и социокультурной проблемы (язык не является полем непосредственного дискурса о нём). Вместе с тем, данная проблемная ситуация может трактоваться и как потенциально благоприятная, поскольку физико-географический масштаб пространства России и его этнокультурное ландшафтное разнообразие были достаточно эффективно трансформированы и репрезентированы совокупностью мощных географических знаков, символов, мифов, стереотипов, закреплённых эпохой российской социокультурной модернизации в форме постоянно воспроизводимых цивилизационно-культурных кодов – естественно, по европейскому «лекалу» и по европейским социокультурным образцам (не исключая и традиционных имперских кодов, также ориентированных на уникальные пространственные масштабы)².

¹ См.: *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М.: Наука, 1997. С. 226–280.

² Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин; Под общ. ред. Д.Н. Замятина; Предисл. Л.В. Смирнягина; Послесл. В.А. Подороги. М.: МИРОС, 1994; Империя пространства. Геополитика и геокультура России. Хрестоматия / Сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.

Итак, языковые идентичности в постсоветских государствах можно помыслить, представить как становление иной пространственной «оптики», другого пространственного видения и ощущения, нежели то, которое до сих пор устойчиво транслируется в традиционных версиях географического образа России. Любая языковая идентичность может репрезентироваться как поле образно-географических дискурсов, которые только условно могут быть обозначены конкретными языковыми метками (например, «татарский дискурс», «грузинский дискурс», «казахский дискурс» и т.д.). Собственно язык, его речевые и письменные практики дистанцируются от понятия языковой идентичности посредством ментальной процедуры геоспациализации; языковая идентичность в геоспациалистском контексте является, в сущности, пространством доминирующих и взаимосвязанных образов, обозначаемых языковым маркером, понимаемым как своего рода ментальный «вектор» (армянская идентичность в украинском пространстве будет значить другое, нежели в литовском, или в туркменском).

Политическое и культурно-цивилизационное будущее постсоветского пространства в начале XXI века зависит во многом от того, удастся или не удастся политическим и культурным элитам бывших республик СССР в когнитивном и идеологическом отношении разработать такие формы интерпретации языковых идентичностей, которые не были бы жёстко «завязаны» на географические представления о России эпохи классического модерна (это верно и для самой России). Когнитивная сложность такой ситуации заключается в том, что процессы глобализации, оказывающие мощное воздействие как на становление языковых идентичностей на постсоветском пространстве, так и на формирование взаимных географических представлений и образов, сами по себе есть лишь цивилизационная «реакция» на стихийный и затянувшийся в историческом плане распад культурного проекта модерна, а не чёткое социокультурное выражение нового метацивилизационного проекта. Так или иначе, геоспациализм в примене-

нии к проблематике языковых идентичностей в постсоветских государствах может быть интерпретирован как идеологическая матрица нового цивилизационного образца, учитывающая, тем не менее, в своём когнитивном генезисе всю социокультурную неоднородность, гетерогенность, переходность постсоветской эпохи.

Г л а в а 7.

В центре циклона: политико-географические образы российского пространства

Российское пространство – уникальный для гуманитарных наук объект и предмет исследования. Став предметом серьезного концептуального осмысления уже в XVIII веке, оно превратилось к началу XX века в мощный когнитивный концепт и образ, повлиявший и влияющий на различные руссиеведческие концепции и штудии¹. Отметим, что сами физико-географические и политико-административные масштабы российского пространства явились исходным и сильным импульсом для спекулятивных размышлений о характере и судьбах его развития. Хотя государственные границы России в течение XVII–XX вв. (имеет смысл говорить по преимуществу именно об этом историческом периоде) неоднократно менялись, совершенно очевидно, что за это время сформировались как достаточно ясные географические контуры ядра российского пространства, так и фундаментальные представления об особенностях данного пространства².

В политическом отношении факт быстрого расширения территории российского и советского государств означал включение в состав российского пространства территориальных фрагментов с различными, часто весьма отличавшимися от российской, политическими и государственными традициями

¹ См.: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин; Под ред. Д.Н. Замятина. М.: МИРОС, 1994; Отечественные записки. 2002. № 6 (7). Пространство России; Ахиезер А.С. Российское пространство как предмет осмысления // Там же. С. 72–87; Смирнягин Л.В. Культура русского пространства // Космополис. № 2. Зима 2002/2003. С. 50–59.

² Замятин Д.Н. Стратегии интерпретации историко-географических образов России // Мир России. 2002. № 2. С. 105–139.

(Польша, Прибалтика, Кавказ, Средняя Азия). В то же время культурно-цивилизационные проблемы, вполне неизбежные при подобном государственном расширении, оставались, как правило, в течение большей части рассматриваемого периода, как бы за кадром, выступая, скорее, в качестве основания «айсберга», чьей вершиной были межрелигиозные конфликты и противоречия¹.

Политико-географические образы (далее – ПГО), будучи естественной частью российского пространства как некоей реальности и/или действительности, являются также условным/безусловным планом выражения наиболее существенных, характерных черт этого пространства, выявляемых как в ходе политических процессов, так и по их завершении². Тем не менее, можно говорить и об исходных, фундаментальных ПГО российского пространства, оказывающих непосредственное влияние на содержание и формы политических процессов в России и за ее пределами. Обратим, в связи с этим, внимание на общие особенности и закономерности развития российского пространства (пространств).

Российское пространство: особенности развития

Российское пространство с политико-географической точки зрения есть результат накопления и седиментации (откладывания, осаднения) социокультурных традиций и инноваций,

¹ См., например: *Замятин Д.Н.* Моделирование геополитических ситуаций (На примере Центральной Азии во второй половине XIX века) // Политические исследования. 1998. № 2. С. 64–76. № 3. С. 133–147.

² О политико-географических образах как таковых см.: *Замятин Д.Н.* Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999; *он же.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя, 2003; *он же.* Политико-географические образы и геополитические картины мира (Представление географических знаний в моделях политического мышления) // Политические исследования. 1998. № 6. С. 80–92; *он же.* Национальные интересы как система «упакованных» политико-географических образов // Политические исследования. 2000. № 1. С. 78–81; *он же.* Структура и динамика политико-географических образов современного мира // Полития. 2000. Осень. № 3 (17). С. 116–122 и др.

проявляющихся в определенных типах существующих и развивающихся культурных ландшафтов¹. Понятие культурного ландшафта здесь понимается достаточно широко, что означает включение и политико-географической составляющей. В рамках культурных ландшафтов, формировавших и формирующих российское пространство, значительную роль играли этноязыковые и религиозные компоненты, определявшие структуры региональных и международных политик в Северной Евразии. Исходя из этого, попытаемся сформулировать главные особенности развития российского пространства.

Первая особенность – формирование и развития российского пространства как своего рода «ментального продукта», являющегося в известном смысле знаково-символической конвенцией господствовавших в российских сообществах социальных групп и их дискурсов. По всей видимости, сам концепт и образ российского пространства зарождается еще в XVII веке, однако достаточно строгие формы его артикуляции возникают уже ближе к концу XIX века. Дискурс российского пространства как по преимуществу имперского расцветает, что вполне очевидно, во второй половине XVIII века², однако этого, как показал последующий политический опыт, оказалось недостаточно. Здесь наиболее важно отметить следующее обстоятельство: огромные и беспрецедентные в рамках Нового Времени размеры физической территории континентальных Российского/советского государств порождают поэтику политики, предполагающую как естественность таких размеров, так и естественность дальнейшего расширения государственной территории³.

¹ См. также: *Туровский Р.Ф.* Культурные ландшафты России. М.: Институт наследия, 1998; *Каганский В.* Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001; *Родоман Б.Б.* Поляризованная биосфера: Сб. ст. Смоленск: Ойкумена, 2002.

² *Зорин А.* Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

³ *Надточий Э.* Метафизика «чмока» // Параллели (Россия – Восток – Запад). Альманах философской компаративистики. Вып. 2. М.: Философ. об-во СССР; Институт философии РАН, 1991. С. 93–102.

Заметим, что классическая имперская логика территориального расширения не полностью объясняет такую поэтику. Проще говоря, империя, так или иначе, всегда видит свои пределы, и она вынуждена их осмыслять – в форме лимесов, лимитрофов и т.д. Что касается российских форм государственности, доминировавших на протяжении XVII–XX вв., то подобное имперское осмысление собственных территорий отнюдь не было очевидным – достаточно вспомнить историю завоевания Российской империей Средней Азии во второй половине XIX века¹. Власть осмысляла российское пространство всегда с некоторым запозданием, при этом уровень и качество такого осмысления (в виде соответствующих государственных и административно-политических границ, организации органов управления на новых территориях, политики по отношению к туземному населению и т.д.) не всегда были адекватными соответствующей геополитической ситуации².

Пространство, идентифицируемое как государственное и/или национальное (национально-государственное), имеет, как правило, когнитивный метауровень, на котором происходят его представления (репрезентации) и интерпретации. Этот метауровень обеспечивается чаще всего историософскими, гео-софскими, художественными и философскими спекуляциями по поводу качеств, имманентно присущих данному пространству. В случае России подобные пространственные репрезентации и интерпретации были, с одной стороны, облегчены видимым и наглядным имперским характером самой власти (что позволяло напрямую приписывать российским пространствам, в известном смысле, «самодержавный» и самодовлеющий характер), а также уникальным ландшафтными разнообразием представляемых территорий; с другой стороны, с методологической точки зрения, при проведении этих ментальных операций российское пространство оказывалось иногда феноменально-ноуменальной целостностью, неразличимостью, где

¹ *Замятин Д.Н.* Моделирование геополитических ситуаций...

² См. также: *Королев С.А.* Бесконечное пространство: гео- и социогрфические образы власти в России. М.: ИФ РАН, 1997.

описываемые качества российского пространства (огромность, безграничность, пустынность, дикость, холодность и т.п.) оказывались характеристиками некоего пространства вообще, пространства вне истории и/или географии. Такое пространство может характеризоваться и вполне в духе жесткого географического детерминизма, «отбрасывающего» возможность какой-либо его истории. Наиболее ярко типологически подобные мысли были сформулированы П.Я. Чаадаевым, который писал:

«Всякий народ несет в самом себе то особое начало, которое накладывает свой отпечаток на его социальную жизнь, которое направляет его путь на протяжении веков и определяет его место среди человечества; это образующее начало у нас – элемент географический, вот чего не хотят понять; вся наша история – продукт природы того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве с первых же дней нашего существования; она внушила нам слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозглашавшей себя нашей повелительницей. В такой среде нет места для правильного повседневного обращения умов; в этой полной обособленности отдельных сознаний нет места для их логического развития, для непосредственного порыва души к возможному улучшению, нет места для сочувствия людей друг другу, связывающего их в тесно сплоченные союзы, перед которыми неизбежно должны склониться все материальные силы; словом, мы лишь геологический продукт обширных пространств, куда забросила нас неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница исторической географии. Вот почему, насколько велико в мире наше материальное значение, настолько ничтожно все наше значение силы нравственной. Мы важнейший фактор в политике и последний из факторов жизни духовной»¹.

Совершенно очевидные в тексте Чаадаева паскалевские интонации не мешают, однако, обнаружить тут тотальный характер историко-географического дискурса по отношению к

¹ Чаадаев П.Я. Отрывки и разные мысли // Цит. по: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России... С. 26.

российскому пространству, совпадающий с определенной тотальной целостностью и даже с принципиальной «нерасчлененностью», неразделяемостью этого пространства. Российское пространство существует как предикат и одновременно пропозиция России как таковой, взятой во всей ее географической целостности. Отсюда возможны два очень важных, с методологической точки зрения, вывода.

Первый вывод: явный негативизм в осмыслении российского пространства оставляет грамматологическую возможность бесконечно умножать, размножать такое пространство. Другими словами, гораздо удобнее говорить о российских пространствах или пространствах России. «Единая и неделимая», Россия может как бы клонироваться посредством опространствления собственного пространственного опыта, бесконечно разнообразя свою видимую или ощущаемую пространственную бесконечность и безграничность¹. В контексте такого вывода может быть понята особая болезненность национального унижения, связанного с потерей той или иной территории, не раз случавшейся в истории страны.

Второй вывод: представление российских регионов с политической и/или политологической точки зрения весьма затруднительно, поскольку оно всякий раз наталкивается на заведомую когнитивную непроработанность самого понятия региона (района, территории). Любой регион России, в феноменологическом и одновременно онтологическом смысле, может быть только самой Россией, «всей Россией», взятой в ее непосредственном пространственном опыте, в конкретных географических координатах. Политико-административное деление российского государства выступает здесь как прояв-

¹ См. также: *Замятин Д.Н.* Власть пространства: от образов географического пространства к географическим образам // Вопросы философии. 2001. № 9. С. 144-154; *он же.* Географические образы в культуре: методологические основы изучения // Культурная география. М.: Российский НИИ культурного и природного наследия, 2001. С. 127-143; *Королев С.* Края пространства // Отечественные записки. 2002. № 6 (7). С. 258-271; *Филиппов А.* Гетеротопология родных просторов // Там же. С. 48-63.

ление глубинного, фундаментального дискурса предельной пространственности, «не замечающей» и, более того, как бы забывающей свой прошлый опыт пограничности¹. Тотальная, сплошная пограничность пространств России – «здесь и сейчас» – ведет к неразличимости каких-либо регионов, постоянно «стираемых» с политической карты. Заметим, что подобная, нерегиональная дискурсивность является вполне очевидной знаково-символьной конвенцией, по всей видимости, большинства социальных, или властных групп; иначе говоря, интерференция господствующих российских властных дискурсов, как правило, обеспечивает власть пространств России – во всех возможных смыслах (дискурсах)².

Дадим характеристику *второй особенности* развития российского пространства. Российское пространство часто воспринималось и до сих пор воспринимается во многом как – в своем дискурсивном выражении – как самостоятельный и весьма важный властный ресурс. Именно в случае российского пространства и в связи с ним можно говорить о власти пространства, причем эта власть обретает непосредственный, буквальный и осязаемый характер³. Управленческие распоряжения, указы и приказы, новые законы, в конце концов, вновь назначенный губернатор в отдаленный регион могли достигать этого региона лишь через определенное, иногда очень значительное время⁴. Такие осязаемые, остро осязаемые промежутки своего

¹ Ср.: Бусыгина И. Территориальный фактор в европейском сознании // Космополис. № 2. Зима 2002/2003. С. 59–68.

² См. также: Подорога В.А. Простирание, или География «русской души» // Пространства России... С. 131–136.

³ Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Пространство российского федерализма // Политические исследования. 2000. № 5. С. 104.

⁴ См., например: Сафронов Ф.Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в. М.: Наука, 1978; Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. М.: Наука, 1982; Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск: Омск. ун-т, 1995; он же. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины XIX – начала XX веков. Омск: Омск. ун-т, 1997; Иванов В.Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства. Новосибирск: Наука, 1999 и др.

рода без-властия, «провисания» властных отношений означали на деле, что само физическое расстояние от центра до окраины, от столицы до границы становилось, по сути, своеобразным политическим актором.

Однако, даже если собственно технологические инновации, совершенствование транспортных коммуникаций и увеличение скорости передвижения сводили на нет буквальную роль физических размеров государственной территории (такая роль, конечно, была характерна для множества больших государств древности, средневековья и Нового Времени), сами ее социокультурное разнообразие и ландшафтная мозаичность определяли, в известном смысле, пространство как институциональный фактор. Когнитивные схемы принятия решений в российской внутренней и внешней политике, как правило, учитывали и учитывают роль и влияние пространства на ход прогнозируемых политических процессов. В сущности, это может быть и примитивный расчет на суровые зимние морозы во время военной кампании (в случае Отечественной войны 1812 года и битвы под Москвой во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов); тем не менее, важно восприятие российского пространства как прямо-таки постоянного «теневого правительства» самой России, или как некоего почти вечного «серого кардинала», стоящего за спиной сменяющихся политических лидеров и элит России. Инерционность рецепции России как огромного и «неповоротливого» государства с неизведанными и неосвоенными до сих пор пространствами – причем как российскими, так и зарубежными политиками – не должна скрывать того факта, что российское пространство само по себе (впрочем, как и какое-либо другое, осмысленное в схожих дискурсах) символизирует и означает абсолютный, «тотальный» властный дискурс, в котором властные отношения, отношения господства и подчинения суть пространственные отношения.

Генезис и особенности развития ПГО российского пространства

В соответствии с ранее сделанным выводом будем говорить здесь о ПГО пространств России (российских пространств), подразумеваемая множественность возможных интерпретаций.

Пространства России, воспринимаемые прежде всего как мощный образ (метаобраз) пространственного воления или пространственного определения во властных координатах, порождают, в свою очередь, образные поля, в которых те или иные политические, культурные, социальные и экономические интенции могут проявляться как целенаправленные образные системы, имеющие географическое выражение. В сущности, география российских пространств возможна лишь как образная география российских регионов, актуализирующих свой пространственный генезис в рамках тотального властного дискурса¹. Учитывая, что власть может определяться и как стремление к постоянному переходу из внутренних (по отношению к актору) во внешние пространства, существование внутригосударственных регионов (субъектов административно-политической системы унитарного государства или федеративных отношений) зависит от меры и силы закрепления моментов такого перехода в пределах выбранного направления перехода². Сама институционализация регионов (прежде всего ментальная, когнитивная институционализация) есть следствие формирования максимально внешнего политико-географического образа (образов) российской государственности. Иными словами, ПГО российских пространств возникают как образный «экслав» власти, наблюдающей и формирующей самое себя, выносящей себя за пределы конкретно очерченной и отграниченной государственной (политической) территории. При

¹ См., например: *Замятин Д.Н.* Геоэкономические образы регионов России // *Мировая экономика и международные отношения.* 2002. № 6. С. 15–24.

² *Замятин Д.Н.* Географические образы российского федерализма // *Федерализм.* 2001. № 4 (24). С. 55–67.

этом надо заметить, что в такой интерпретации заранее присутствуют представления о становлении пространств России в культурно-географической и экономико-географической координатах. ПГО пространств России является редуцированным ментальным продуктом культурно-географических и экономико-географических образных полей, переводящим данные репрезентации в, по преимуществу, властные контексты.

Первая особенность развития ПГО пространств России состоит в невозможности сведения этих образов к результатам последовательного рационального отбора (селекции) наиболее ярких и простых знаков и символов, характеризующих эти пространства (в рамках наиболее простого определения географического образа вообще). Динамика политических процессов, предполагающих в качестве основы своего развития конкретные пространства, ведет к отчетливой знаково-символьной седиментации в соответствующих образных полях¹. Такая седиментация по своему содержанию есть наложение и заслонение (перекрывание) всяким последующим символом предыдущего, однако это заслонение, или давление (в ментальном смысле) означает и заимствование наиболее важных символических черт из предыдущего знаково-символического слоя. Не уничтожаемый полностью, каждый предыдущий знаково-символический слой определяет неустранимый контекст развития следующего слоя. Процессы символической «утрамбовки» многослойных, четко стратифицированных ПГО пространств России, необходимые сами по себе, способствуют формированию более глобальных, более общих образных контекстов, выявляющих генерализованный образно-географический рельеф этих пространств. Так, многократно повторяющиеся в образной исторической географии России знаки и символы завоевания, присоединения и освоения новых территорий (на Кавказе, в Польше, Сибири и на Дальнем Востоке, и т.д.), вполне очевидно, позволяют говорить о фундаментальном ПГО фронта, предполагающем прежде всего знаково-символическую

¹ *Замятин Д.Н.* Многоликость современного мира // Мегатренды мирового развития. М.: Экономика, 2001. С. 175-183.

конвенцию пространств Северной Америки и Северной Евразии, дополняемую аналогичной конвенцией этих пространств со слабо освоенными пространствами и других континентов и частей света¹. В свою очередь, подобный вывод означает, что ПГО российских пространств, имея одним из своих оснований фундаментальный образ фронта², являются принципиально открытыми, осмысляемыми в рамках властных (политических) дискурсов цивилизационного порядка. Другими словами, эти ПГО направлены, чаще всего, на обнаружение, идентификацию смежных, параллельных и/или противостоящих ПГО, работающих в режиме образно-географического «зеркала». Несмотря на то, что подобное «зеркало» заранее рассматривается как кривое, искривляющее, оно является весьма значимым когнитивным средством (способом) делимитации образных политико-географических пространств. Например, Саддаму Хусейну и части политической элиты, институционализированной режимом Хусейна, в предверии и во время американского вторжения в Ирак в марте–апреле 2003 г., безусловно, был необходим образ Багдада как Сталинграда, города, который похоронит в своих руинах армии пришлых захватчиков.

¹ *Замятин Д.Н.* Историко-географические образы границ: репрезентация и интерпретация // Регионоведение. 2001. № 2. С. 152–163; *он же.* Русские в Центральной Азии во второй половине XIX века: стратегии репрезентации и интерпретации историко-географических образов границ // Восток. 2002. № 1. С. 43–64.

² *Turner F.J.* The Significance of the Frontier in American History // Proceedings of the State Historical Society of Wisconsin. 1894. # 41. P. 79–112; *Idem.* The Frontier in American History. N.Y., 1920; *Webb W.R.* The Great Frontier. Austin: University of Texas Press, 1964; *Taylor G.R. (ed.)*. The Turner Thesis: Concerning the Role of the Frontier in American History. N.Y., 1966; *Billington R.A.* The American Frontier // *Bohannon P., and Plogg F. (eds.)* Beyond the Frontier. N.Y., 1967. P. 3–24; *Eccles, W.J.* The Canadian Frontier. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969; *Miller, D.H., and Steffen, J.O. (eds.)*. The Frontier. Norman: University of Oklahoma Press, 1977 (Vol. 1), 1979 (Vol. 2); *America's Frontier Story. A Documentary History of Westward Expansion.* Huntington, 1980; *Billington R.A.* Westward Expansion. A History of the American Frontier. N.Y., 1982; *Idem.* America's Frontier Heritage. Albuquerque, 1991 и др.

Вторая особенность развития ПГО пространств России заключается в наращивании символического капитала и, соответственно, дальнейшем структурировании за счет этой символической капитализации, в условиях фонового когнитивного осмысления процессов политической регионализации. Образы регионов России – будь-то провинции и губернии Российской империи, области и советские республики в СССР, или субъекты РФ – не являясь по существу непосредственными образно-символическими ресурсами для развития ПГО российских пространств, выполняли и выполняют, как правило, роль своего рода «политико-географического декора», призванную как бы оттенить изгибы и конфигурацию ведущих, собирающих страну воедино, надрегиональных (метарегиональных) образов-ролей¹. Подобные технологии символической капитализации означают, что сами регионы, вообще говоря, даже не «изобретаются», т.е. не возникают однажды по тем или иным причинам в различных образно-географических полях, а, фактически, «воображаются», исходя из *уже* существующего знаково-символического материала, содержащего разные матрицы, или фреймы возможных региональных «констелляций»². По сути дела, Орловская губерния, Карело-Финская ССР, или же Северо-Западный федеральный округ и т.д. представляют собой не что иное, как образные проекции пространств России, интерпретируемые в определенных географических координатах. Отсюда и такие типичные политические характеристики отдельных регионов, как, например, система управления,

¹ См.: *Замятин Д.Н.* Географические образы регионов и политическая культура общества // Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России. М.: МОНФ, 1999. С. 116–125.

² Ср., например: *Бродель Ф.* Изобретать Сибирь // *Он же.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. М.: Прогресс, 1992. С. 468–474; *Bassin M.* Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // *The American Historical Review.* 1991. Vol. 96. Number 3. P. 763–794; *Todorova M.* *Imagining the Balkans.* N.Y., Oxford: Oxford university press, 1997; *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003; см. также: Регионализация посткоммунистической Европы (Политическая наука. 2001. № 4). М.: ИНИОН РАН, 2001.

состав и особенности политической элиты, ее влияние на общероссийские политические процессы, политические коммуникации регионов между собой и со столицей, социальная стратификация населения, характер институционализации и ресурсная база экономики, степень этнокультурной мозаичности и т.п., выступают в форме знаково-символических локусов российских пространств в целом. Как достаточно экономичные и в то же время избыточные в когнитивном плане инварианты ПГО пространств России, региональные образы призваны углублять, улучшать, модернизировать процессы символической капитализации этих пространств, не определяя, однако, самой их сути (содержания).

Заключение

ПГО пространств России формируются в процессе осмысления и осознания историчности культурных ландшафтов Восточной Европы и Северной Евразии, превращаемых в динамичные образно-географические поля, «захватывающие» соседние пространства и территории. Для того, чтобы осмыслить, достаточно эффективно в когнитивном плане, данные ПГО, необходимо, фактически, «сгустить», сконцентрировать эти образы за счет переноса, дрейфа более масштабных или внешне сходных знаков и символов различных пространств и их дальнейшей адаптации в рамках российских образно-географических систем. Сочетание одновременных центростремительных и центробежных знаково-символических потоков, течений порождает свое собственное образно-географическое пространство, создающее метаяровень, новый контекст осмысления пространств России. Говоря по-другому, пространства России есть не что иное, как один из мощных образных политико-географических «циклонических» центров. Сам образ пространств России несет сильнейший политический «заряд», который может трансформировать доминирующие региональные и геополитические представления, способствовать изменениям реальных политико-географических конфигураций.

Г л а в а 8.

Запасной рай: историко-культурное наследие Севера и моделирование геокультурных образов

Введение: смысловые связи

Историко-культурное наследие Русского Севера – предмет глубокого интереса многих гуманитарных и естественных наук: истории, культурологии, искусствоведения, этнографии, антропологии, филологии, истории архитектуры, психологии, географии. Несомненно, что оно крайне интересно и для гуманитарной географии, занимающейся изучением различных образов пространства – их генезисом, структурами и развитием. Особое направление в рамках гуманитарной географии – это моделирование географических образов, связанное с целенаправленным реконструированием и/или созданием, построением пространственных представлений о различных регионах, странах, местностях и ландшафтах¹.

Моделирование географических образов какого-либо региона или культурного ландшафта предполагает определение общего (генерального) контекста самого моделирования, затем разработку конфигурации требуемого географического образа и, наконец, структурирование уже первоначально очерченного, оформленного образа. Соответственно, моделиро-

¹ См.: *Замятин Д.Н.* Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999; *Он же.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб.: Алетейя, 2003; *Он же.* Власть пространства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М.: РОССПЭН, 2004; *Он же.* Метгеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004; *Он же.* Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006; *Он же.* Методологические и теоретические основания моделирования географических образов // Гуманитарная география. Вып. 3. М.: Институт наследия, 2006. С. 19–45 и др.

вание географических образов историко-культурного наследия Севера должно включать в себя следующие этапы: поиск и идентификацию рамочных для Русского Севера контекстов регионального и странового историко-культурного наследия, выделение и оформление базовых для Севера географических знаков, символов и архетипов; и выявление взаимосвязей и содержательных соотношений внутри выделенного образно-географического массива наследия Севера. Модель таких образов может использоваться при выявлении и обсуждении проблем идентификации историко-культурных территорий, достопримечательных мест и ландшафтов, и процедур принятия решений по планированию социокультурного развития отдельных местностей и районов Русского Севера.

Русский Север: рамочные контексты («фреймы») регионального и странового историко-культурного наследия

Рамочные контексты как предпосылки формирования географического образа Русского Севера

В самом первом приближении можно обнаружить для Русского Севера следующие рамочные контексты регионального и странового историко-культурного наследия: 1) *контекст отдалённого, периферийного региона*, ориентированного на консервацию традиционного образа жизни; контекст типового «северного региона» с разреженной сетевой организацией сохранения и использования историко-культурного наследия; 2) *контекст «уникального странового региона»*, сосредотачивающего в образном смысле большинство фундаментальных культурных архетипов и ценностей всей страны¹. В качестве ос-

¹ См. также: Ведин Ю.А., Гудима Т.М., Шульгин П.М. Концептуальные положения формирования государственной целевой программы «Культура Русского Севера» // Наследие и современность. Информационный сборник. Вып. 12. М.: Институт наследия, 2004. С. 22–41; Шульгин П.М. Надежда Русского Севера: Программа оживления // Наследие народов Российской Федерации. 2004. № 4. С. 29–36.

новых географических знаков, символов и архетипов Русского Севера можно выделить традиционный (обыденный) приречно-деревенский ландшафт, сакральный дорожно-лесной ландшафт, включающий придорожные часовенки и кресты, масштабный локальный миф «затерянного» и в то же время очень ценного в морально-географическом смысле пространства, репрезентируемый различными аспектами старообрядческой и поморской культуры (деревянная архитектура, иконопись, обычаи и традиции поморов, письменные традиции северно-русского старообрядчества). Поиск содержательных соотношений внутри такого образно-географического массива должен быть ориентирован на определение наиболее интересных в данном случае региональных памятников и объектов историко-культурного наследия, рассматриваемые как значимые и увязанные тематически между собой символы и образы всего Русского Севера.

Перечисленные нами выше рамочные контексты регионального и странового историко-культурного наследия Русского Севера формировались, естественно, не сами по себе, по отдельности, а во взаимодействии, влияя друг на друга. Иначе говоря, они, в известной степени, являются инвариантами базового образа-архетипа «запасного региона», «глубинного региона», выражающего одновременно некие фундаментальные, онтологические характеристики страны в целом и некоторую «ненужность», «стёртость», не первостепенную важность для решения насущных вопросов современной жизни страны этих же самых черт и характеристик. Существенно, однако, что такой региональный образ-архетип может развиваться в практически любой стране, подразумевая образно-географическую необходимость «региона-склада», «региона-резервата», «региона-заповедника» для полноценного социокультурного бытия страны¹.

¹ Ср.: *Замятина Н.Ю.* Образ региона как «память» об историко-географическом контексте его возникновения // Вестник исторической географии. № 2. Смоленск: Ойкумена, 2001. С. 31–41; *Она же.* Структура представлений о пространстве в разных странах: постановка проблемы // Третьи Сократические чтения по географии (Старая Русса, 2–5 мая 2002 г.).

Рамочные образно-географические контексты историко-культурного наследия Русского Севера представляют собой предпосылки уникальности самого географического образа этого региона. Историко-культурная значимость Русского Севера для России была осознана, по существу, в период быстрого становления русской национальной идентичности, в XIX веке, когда собрание старинного фольклора, этнографические описания материальной и духовной культуры русских выявили очевидное географическое ядро подобных исследований и экспедиций¹. Характерно, что такие рамочные контексты сами по себе могут сравнительно долгое время, инерционно воспроизводиться в национальной культуре, хотя значительная часть породивших их фактов и артефактов может уже остаться лишь в прошлом.

*Содержательные характеристики рамочных контекстов
Русского Севера*

Контекст отдалённого, периферийного региона, ориентированного на консервацию традиционного образа жизни, может использоваться в образно-географической идентификации не только Русского Севера, но и многих других регионов России, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока. Поэтому данный контекст, применительно к Русскому Северу, нуждается в конкретизации, определённом уточнении – с тем, чтобы он более детально маркировал контуры базовых географических знаков, символов и архетипов региона и, наряду с этим, более эффективно взаимодействовал с другими контекстами. В первом приближении можно сказать, что отдалённость для Русского Севера не всегда является точным определением; часть местностей уже перестала быть труднодостижимой и, скорее, более

Россия в современном мире: поиск интеллектуальных подходов / Сб. статей / Под ред. В.А. Шупера. М.: Компания Спутник+, 2002. С. 242–260.

¹ См.: *Щуров Г.С.* Очерки истории культуры Русского Севера (988–1917). Архангельск: Правда Севера, 2003; *Булатов В.Н.* Русский Север: Учебное пособие. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006.

понятная периферийность¹ – в социально-экономическом и политическом смыслах – хорошо характеризует этот регион.

Правильно понятая периферийность региона есть, в определённом смысле, онтологическое условие значимости, существенности его историко-культурного наследия; более того, сам процесс накопления, седиментации, осмысления регионально-историко-культурного наследия может быть прямым следствием нарастания региональной периферийности, некоторого «регионального комплекса неполноценности» на фоне более успешных, более модернизированных и более динамичных в социально-экономическом и политическом отношениях регионов. Тем не менее, используя спортивные термины, игру можно перевести в овер-тайм, когда историко-культурное наследие региона начинает восприниматься как непосредственный и действенный символический капитал², который можно конвертировать в прямые и портфельные инвестиции в регион. Другое дело, что менталитет населения подобного региона может оказаться, в момент такого перехода, не подготовленным полностью к контекстной трансформации образа региона; в известной мере, привычное и незыблемое историко-культурное наследие региона может оказаться в глазах большинства или существенной части жителей региона неким «почти вечным» ментальным эквивалентом или символическим «гарантом» традиционности их образа жизни.

Периферийность Русского Севера с точки зрения его историко-культурного наследия имеет двойственный и амбивалентный когнитивный характер: с одной стороны, она, несомненно, есть результат, в том числе, осознания значимости региона в истории русской культуры вообще, и в истории из-

¹ См.: Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 60–96.

² Бурдые П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. С. 219–238; также: Замятин Д.Н. Формирование культурно-географических образов города и проблема его переименования // Возвращённые имена: идентичность и культурный капитал переименованных городов России. Нижний Новгород: IREX и «Профессионалы за сотрудничество», 2004. С. 47–48.

учения русской культуры в частности; с другой стороны, она представляет собой латентный, скрытый образ «подлинного центра традиционной национальной культуры», «истинного центра подлинной, настоящей русской культуры». И в этом, содержательном смысле историко-культурное наследие Русского Севера определяет сам регион как периферийно-центральный, как центральную периферию, как «запасной культурный центр страны». Здесь остаётся только указать, что эталонная периферия, как правило, есть лишь некое неполное и неполноценное отражение, воспроизведение центра в его ключевых чертах, тогда как периферийность Русского Севера предполагает всё же возможность перерождения, трансформации в культурном смысле в самостоятельный, автономный центр¹.

Контекст типового «северного региона» с разреженной сетевой организацией сохранения и использования историко-культурного наследия применительно к Русскому Северу требует уточнения понятия и образа типового «северного региона». Многие регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока, безусловно, «вписывающиеся» в такой образ, практически не сравнимы с Русским Севером по основным параметрам своего историко-культурного наследия (количество и значимость памятников, сохранность, известность и т.д.). В то же время Русский Север по природно-климатическим условиям и особенностям хозяйственного освоения довольно близок к ряду уральских и сибирских регионов.

Несмотря на действительно разреженную сетевую организацию сохранения и использования историко-культурного наследия на территории Русского Севера, целостный географический образ данного региона сложился, в отличие от образов уральских и сибирских регионов, именно на базе представлений о региональном историко-культурном наследии. Можно сказать даже, что «северность» Русского Севера уже подразумевает как бы образцовый, эталонный характер самих памятников наследия, воспринимаемых как общерусских. Хотя исто-

¹ Ср. также: Каганский В.Л. Указ. соч. С. 83.

рически всё-таки большинство архетипических черт и обычаев материальной и духовной культуры русских сформировались в основном южнее и западнее¹, Русский Север в течение XIX–XX веков стал восприниматься и воображаться в ментальной географии России как регион исключительно чистой сохранившейся русской культуры, что повело, в свою очередь, к некоторому временному забвению памятников наследия других народов, живших и живущих на территории Русского Севера, а, помимо всего прочего, и к формированию представления о подчас самодовлеющей культурной уникальности этого региона.

С точки зрения специфики своего историко-культурного наследия, проблем его сохранения и использования Русский Север является несомненным эталоном для других северных (уральских, сибирских, даже дальневосточных) регионов России, несмотря на то, что они уже не могут *ad hoc* воображаться как регионы исключительно русской культуры. Поэтому рамочный контекст типового «северного региона» с разреженной сетевой организацией сохранения и использования историко-культурного наследия маркирует, отмечает внешние когнитивные возможности развития географического образа Русского Севера, становящегося ядерным, центральным в сети подобных «северных» образов. Такой контекст, строго говоря, не является необходимым для формирования базовых контуров географического образа данного региона, однако он может способствовать пониманию магистральных перспектив дальнейшего развития и трансформации образа.

Контекст «уникального странового региона», сосредотачивающего в образном смысле большинство фундаментальных культурных архетипов и ценностей всей страны, в основном уже присутствует в двух рассмотренных ранее контекстах. Следует, тем не менее, уточнить, что речь идет по преимуществу о традиционной культуре, воспринимаемой пока как «живой»,

¹ Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. Т. 1. М.: Прогресс, 1993; Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации. М.: Изд-во Московского университета, 1996.

постоянно воспроизводящейся, продолжающейся в некоей линейной исторической перспективе¹. Тогда можно говорить о том, что историко-культурное наследие Русского Севера выполняет свою важную, незаменимую роль в рамках условного территориального разделения культурной деятельности, воспроизводства историко-культурной составляющей русской национальной идентичности.

Образно-географическая стратиграфия Русского Севера: основные процессы

Формирование и дифференциация образно-географического поля

Образно-географическое «стягивание», сосредоточение образов традиционной национальной культуры в географическом образе Русского Севера помогает структурировать сам образ; правильно, наиболее эффективно разместить, позиционировать его базовые элементы, соотнеся их с соответствующими традиционными общерусскими культурными архетипами². Так, архитектурный ансамбль и культурный ландшафт Ферапонтова монастыря, рассматриваемые как базовый элемент географического образа Русского Севера, могут позиционироваться в структуре образа исходя из более общих представлений о значении монастырской колонизации в истории России и о историко-культурных особенностях монастырской каменной архитектуры и монастырского строительства³. Наряду с этим, наиболее интересные и ценные памятники истори-

¹ См., например: Народная культура Русского Севера. Живая традиция. Вып. 2. Материалы республиканской школы-семинара (10–13 ноября 1998 г.). Архангельск: Изд-во Поморского гос. ун-та, 2000; Живая культура российской провинции. Калужский край. Козельский район. Этнографические очерки. М.: Институт наследия, 1999.

² См. также: Соколова (Семенова) А.А. Образ освоенного пространства в северно-русской культуре (к вопросу о зонировании национального парка // Национальный парк как природно-антропогенная система. СПб., 1994.

³ Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М.: Искусство, 1979. См. также: Кочетков И.А., Лелекова О.В., Подъяпольский С.С. Кирилло-Белозерский монастырь. Л.: Художник РСФСР, 1979.

ко-культурного наследия Русского Севера могут, как бы теряя свою традиционную географическую локализацию, становиться существенными элементами географического образа страны в целом, формирующегося в рамках представлений о традиционной русской культуре – таково, например, значение в настоящее время архитектурного ансамбля и культурного ландшафта острова Кижь¹.

Три предварительно рассмотренных контекста географических образов историко-культурного наследия Русского Севера, налагаясь друг на друга, пересекаясь и взаимодействуя друг с другом, создают широкое образно-географическое поле, своего рода образно-географическую плазму, из которой уже конструируются или реконструируются сами образы. Точки или узлы особенно интенсивного взаимодействия подобных контекстов могут сигнализировать о потенциально важных, ключевых элементах географических образов. Так, памятники историко-культурного наследия Великого Устюга, выдающиеся уроженцы этого города, местный культурный ландшафт², ярко репрезентируя все три выделенных контекста, могут быть в итоге объединены в ключевой структурный элемент географического образа историко-культурного наследия Русского Севера.

Выделение и оформление базовых для Севера географических знаков, символов и архетипов, с учётом уже определённых и кратко охарактеризованных контекстов географических образов историко-культурного наследия представляет собой в когнитивном плане процесс дальнейшей концентрации первоначального образно-географического массива, понимаемого как совокупность зачастую разрозненных, слабо связанных ге-

¹ Попов Ю.М. Особенности структуры и проблемы формирования архитектурно-ландшафтной экспозиции музея-заповедника «Кижь» // Актуальные проблемы развития музеев-заповедников. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции (Петрозаводск – Кижь, июнь 2006 г.). Петрозаводск, 2006. С. 149–152; Кижь: путеводитель по музею-заповеднику / Ред и сост.: И.В. Мельников, С.В. Воробьева, Р.Б. Калашникова. Петрозаводск: ПетроПресс, 2001.

² См.: Быть на Устюзе... Историко-краеведческий сборник / Отв. ред. А.В. Быков. Вологда: ЛиС, 1993.

ографических представлений, ассоциаций, стереотипов о конкретной территории¹. Происходит, с одной стороны, «подтягивание», дрейф выделяемых географических знаков, символов и архетипов к наиболее важным образно-географическим точкам или узлам, а, с другой стороны, само выделение и оформление указанных атрибутов тесно связано с позиционированием, размещением данных узлов в образно-географическом поле. В промежуточном итоге выделенные и оформленные (репрезентированные) с помощью визуальных, словесных/письменных, звуковых (записи диалектной речи, песенного фольклора, музыкальных произведений, репрезентирующих регион, звукового ландшафта²) и тактильных образов различных территориальных локусов (мест) базовые географические знаки, символы и архетипы территории образуют новый образно-географический слой, пласт, налагающийся на разработанное ранее образно-географическое поле и создающий вкуче с ним наглядную образно-географическую стратиграфию территории.

*Типологические черты культурного и сакрального ландшафта
Русского Севера*

Традиционный (обыденный) приречно-деревенский ландшафт Русского Севера имеет детально описанные и хорошо узнаваемые визуальные и структурно-функциональные характеристики. Хотя локальные традиции деревянного домостроения, размещения домов в деревне, дворовой, уличной и в целом селитебной планировки могут различаться, варьировать в силу культурно- и природно-географических отличий – например,

¹ Здесь важно привлечение художественных текстов: см., например: *Максаковский В.П.* Литературная география: Географические образы в русской художественной литературе. М.: Просвещение, 2006. С. 49–63.

² См.: *Андреева Е.Д.* Звуковой ландшафт как реальный объект и исследовательская проблема // Экология культуры: Альманах Института наследия «Территория». М.: Ин-т Наследия, 2000. С. 76–85; *Она же.* О звуковом маркировании культурного ландшафта и пространства этнокультуры // Культурный ландшафт как объект наследия: Коллективная монография. М.: Ин-т Наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. С. 105–115.

Заонежья или Пинежья, однако, базовые географические знаки, символы и архетипы всё-таки остаются теми же: большой крытый крестьянский двор, довольно жёсткое функциональное (хозяйственное и одновременно часто социальное) зонирование территории поселения с прилегающей к нему территорией (речная терраса, пойма, заречье, водораздел), традиционное фольклорно-сакральное членение той же территории, могущее образно-визуально не совпадать с функциональным; сохраняющаяся ментальная традиция резкой оппозиции «освоенная территория/неосвоенная, дикая территория (деревня/лес)»¹. Из-за «ленточного», сильно «прижатого» к рекам типа традиционного хозяйственного освоения, доминируют визуальные образы речных панорам с хорошо освоенными частями речных пойм и террас и с вертикальными доминантами по преимуществу деревянных церквей, иногда деревянных мельниц.

Сакральный дорожно-лесной ландшафт Русского Севера, включающий придорожные часовенки и кресты, ориентирован на ментальное контурирование безопасного путевого пространства, пространства-в-дороге; пространства островного, которое является одновременно автономным и зависимым от начала и конца пути – пространств чаще всего обжитых и хо-

¹ Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988; Копанев А.И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л.: Наука, 1978. С. 141–143; Культура Русского Севера / Ред. К.В. Чистов. М.: Наука, 1988; Витов М.В. Этнография Русского Севера. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1997; Ополовников А.В. Сокровища Русского Севера. М.: Стройиздат, 1989; Швейковская Е.В. Государство и крестьяне России: Поморье в XVII веке. М.: Археографический центр, 1997. С. 18–41; Калуцков В.Н., Иванова А.А., Давыдова Ю.А., Фадеева Л.В., Родионов Е.А. Культурный ландшафт Русского Севера: Пинежье, Поморье / Семинар «Культурный ландшафт»: первый тематический выпуск докладов. М.: Изд-во ФМБК, 1998; Жарникова С.В. Архaisческие корни традиционной культуры Русского Севера. М.: МДК, 2003; Локальные традиции в народной культуре Русского Севера. Материалы IV Международной конференции «Рябининские чтения-2003». Петрозаводск, 2004; Пермиловская А.Б. Крестьянский дом в культуре Русского Севера (XIX – начало XX века). Архангельск: Правда Севера, 2005; Орфинский В.П., Гришина И.Е. Типология деревянного культового зодчества Русского Севера. Петрозаводск, 2005 и др.

рошо освоенных¹. Географические знаки, символы и архетипы, формируемые подобным типологическим ландшафтом и формирующие, в свою очередь, его же, репрезентируют здесь, как правило, искривлённое геометрическое пространство, проецирующее сакральную вертикаль на горизонтальные и парагоризонтальные плоскости земной поверхности. Так или иначе, элементы природного северно-русского ландшафта (рощи, деревья, лесные опушки, поляны, холмы, возвышенности, озёра и т.д.) выступают как естественные сакрально-географические объекты, часто не столько в канонической православной традиции (святые места, места святости), сколько в языческой и параправославной традиции, причём своеобразие такого сакрального ландшафта опирается, прежде всего, на довольно распространённое представление, как автохтонное, так и вне-автохтонное, о преобладающей заповедности, существенной сакральной значимости пространства Русского Севера в целом, в его целостном образном смысле.

Ключевой локальный миф Русского Севера

Масштабный локальный миф «затерянного» и в то же время очень ценного в морально-географическом смысле пространства Русского Севера, репрезентируемый различными аспектами старообрядческой и поморской культуры (деревянная архитектура, иконопись, обычаи и традиции поморов, письменные традиции северно-русского старообрядчества), опирается, с одной стороны, на мощные ментальные пласты утопического мышления, сформировавшегося уже в русской средневековой культуре, а, с другой стороны, на образ-архетип «потерянного рая» или пространства «золотого века», в котором снимаются, оказываются вне подлинного бытия все индивидуальные

¹ См.: *Теребихин Н.М.* Сакральная география Русского Севера. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та, 1993; *Калуцков В.Н., Иванова А.А., Давыдова Ю.А., Фадеева Л.В., Родионов Е.А.* Указ. соч.; *Щепанская Т.Б.* Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М.: Индрик, 2003; *Святославский А.А., Трошин А.А.* Крест в русской культуре: Очерк русской монументальной ставрографии. М.: Древлехранилище, 2000.

и коллективные человеческие конфликты, а сам социум пребывает в пространстве, каждая точка или место которого означает конкретную добродетель, благодеяние или, в строго религиозном плане, откровение. Безусловно, поддержанию такого мифа способствовало большое количество старообрядческих пустыней, традиций общежития (например, «Выговского общежития»), а также необходимость прочных и надежных и в то же время достаточно простых и понятных человеческих отношений в жёстких условиях сравнительно суровой природной среды. Белокаменное строительство отдельных церквей и целых монастырских комплексов на Русском Севере (например, Соловецкий монастырь, который, правда, на некоторое время стал оплотом старообрядчества¹) в рамках ортодоксальной православной традиции не противоречило, а, скорее, укрепляло представления о необходимости культивирования этого мифа на фоне точечной, выборочной и в целом не очень прочной, неустойчивой хозяйственной колонизации региона.

Образно-географическое картографирование Русского Севера

Выявление взаимосвязей и содержательных соотношений внутри выделенного образно-географического массива наследия Севера, ориентированное на определение наиболее интересных в данном случае региональных памятников и объектов историко-культурного наследия, осуществляется с помощью *образно-географического картографирования*, когда рассматриваемые как значимые и увязанные тематически между собой символы и образы всего Русского Севера соотносятся с конкретными памятниками и объектами наследия; при этом собственно рамочные контексты историко-культурного наследия региона могут быть либо выведены за пределы подобной карты, фиксируя её когнитивно-географические границы, либо стать её ядерными элементами. В первом, очень грубом приближении, можно составить список (каталог) потенциаль-

¹ См.: Скопин В.В. На Соловецких островах. М.: Искусство, 1991. С. 22–24.

ных элементов образно-географической карты историко-культурного наследия Русского Севера, обозначающих наиболее важные точечные и линейные региональные центры, концентрирующие памятники наследия: Кижы, Каргополь, Соловки, Кириллов-Белозерский монастырь, Великий Устюг, Архангельск, Кенозеро, Пинежье, Тотьма, Ферапонтов монастырь, Вологда, Беломорско-Балтийский канал, Мариинская водная система (естественно, что этот список не полон). Далее данный список структурируется за счёт введения в него образно-географических элементов площадного типа, например: старообрядчество, монастырская колонизация, деревянная архитектура, старообрядческая письменность¹, поморская культура², культура и обычаи ненцев и т.д.; устанавливаются связи этих элементов с элементами первоначального списка.

Для того чтобы образно-географическая карта историко-культурного наследия «заиграла», стала как бы объёмной, необходимо её содержательное насыщение. С этой целью в качестве базовых элементов карты могут рассматриваться ключевые фигуры истории и культуры данного региона, а также знаковые и символические события региональной и локальной истории, вписанные в общерусский и международный контексты (например, раннее проникновение скандинавов в Беломорье и Северную Русь³, история географических открытий в полярных областях⁴; морской выход России в Европу). В случае Русского Севера такими фигурами могут быть, например, уче-

¹ См., например: Печорский старообрядческий писатель С.А. Носов: Видения, письма, записки. М.: Памятники исторической мысли, 2005.

² См.: *Бернитам Т.А.* Поморы. Формирование группы и системы хозяйства. Л.: Наука, 1978; Она же. Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX вв. М.: Наука, 1983.

³ См.: *Глазырина Г.В.* Исландские викингские саги о Северной Руси. М.: Ладомир, 1996; *Джаксон Т.Н.* Исландские королевские саги о Восточной Европе. М.: Ладомир, 1994; *Мельникова Е.А.* Древнескандинавские географические сочинения. М.: Наука, 1986 и др.

⁴ См.: *Старков В.Ф.* Очерки истории освоения Арктики. Т. I. Шпицберген. М.: Научный мир, 1998; *Он же.* Очерки истории освоения Арктики. Т. II. Россия и Северо-восточный проход. М.: Научный мир, 2001.

ный, поэт и общественный деятель Михаил Ломоносов, поэт Николай Клюев, писатели Борис Шергин¹, Степан Писахов, Федор Абрамов, Василий Белов, художники Тыко Вылка и Александр Борисов, землепроходец Семён Дежнёв, мореплаватель Виллем Баренц, правитель Русской Америки Баранов, даже русский царь Пётр I, чья бурная деятельность сильно изменила историко-географический образ Русского Севера², и т.д. В качестве знаковых и символических событий истории Русского Севера, достойных для фиксации на образно-географической карте, можно упомянуть основание Архангельска, многолетнюю оборону Соловецкого монастыря от войск царя Алексея Михайловича («Соловецкое сидение»), первые систематические записи русских былин и др. Конечно, подобным ключевым фигурам и знаковым событиям на образно-географической карте должны быть подобраны конкретные памятники и объекты историко-культурного наследия (например, дом-музей, памятный монумент и т.д.).

Заключение: практический потенциал дальнейшей работы

Дальнейшие этапы моделирования географических образов историко-культурного наследия Севера могут быть связаны с проектированием специализированных образно-географических стратегий историко-культурного наследия, ориентированных, например, на историю русской культуры в целом, на историю русской архитектуры, на региональную историю и историческую географию, на представление локальных школ и традиций иконописи и т.п. Переход в прикладную плоскость предполагает уже осуществление конкретных программ исследования имиджевых ресурсов Русского Севера и его отдельных местностей и подготовку рекомендаций по продвижению как

¹ См.: Шульман Ю. Борис Шергин, запечатленная душа народной культуры Русского Севера. М.: Фонд Бориса Шергина, 2003.

² См., например: Криничная Н.А. Предания Русского Севера. СПб.: Наука, 1991. С. 179–223.

имиджа региона в целом, так и его отдельных городов и районов¹. В рамках подобной работы обычно составляется каталог имиджевых ресурсов территории с их краткими описаниями и характеристиками; проводится оценка потенциальных и экономически выгодных/реальных имиджевых ресурсов территории; разрабатываются стратегии формирования и продвижения имиджа территории и проектируется имидж территории.

¹ См. в связи с этим: *Замятин Д.* Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города // *Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах.* Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005. С. 276–323.

Глава 9.

Стрела и шар: к становлению метагеографии Зауралья

Есть горизонт у каждого предмета,
и он не обязательно внутри
него, а может быть снаружи.
Не потому ли кажется луна
намного ближе, скажем, чем Байкал –
ведь за Уралом все как будто рядом –
поскольку он далек от нас, как миф?

Иван Жданов. Завоевание стихий

Современная метагеография России – предмет заостренного внимания, подчас недоумения и вопрошания. XX век оказался для России временем мощных пространственно-образных трансформаций, смысл и результирующая которых до сих пор не совсем понятны. Попытаемся в первом приближении исследовать некоторые закономерности российской метагеографической динамики. Будем ориентироваться здесь на самые общие и привычные физико- и культурно-географические представления о России (Европейская Россия / Азиатская Россия, Европейская Россия / Сибирь, Россия / Сибирь, Европейская Россия / Зауральская Россия и т.д.), переводя их далее в метагеографический контекст.

На наш взгляд, метагеография российского Зауралья может быть ключевым элементом современной метагеографии России. Если понимать под метагеографией России систему идеологических образно-географических комплексов или ансамблей, ориентированных на закрепление центрального образа-контекста Северной Евразии¹, то метагеография Зауралья

¹ *Замятин Д.Н.* Вообразить Россию. Географические образы и пространственная идентичность в Северной Евразии // *Космополис* № 3 (22). Осень 2008. С. 33–40; *Он же.* Геократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // *Политические исследования.* 2009. № 1. С. 71–90.

представляет собой динамическую образно-географическую структуру, призванную совершить радикальное перемещение, «перетащить» и трансформировать старые образно-географические комплексы, направленные на воспроизведение идеологических образов Византии, Третьего Рима и «второй Европы». Становление метагеографии Зауралья в рамках метагеографии России начинается примерно с XI–XII вв. (походы новгородцев за Камень), однако решающими событиями – в то же время еще не определяющими геоидеологическую ситуацию до конца – оказываются присоединение Сибири к России (конец XVI–XVII вв.) и интенсивное хозяйственное и культурное освоение Урала в XVIII–XIX вв.

Основную метагеографическую проблему России можно сформулировать так: идеологическая инерция старых образно-географических комплексов, «удерживает» страну к западу от Урала и тормозит процессы ментального дистанцирования по отношению к Европе. Соответственно, главную метагеографическую задачу России, которая решается уже приблизительно на протяжении 400 лет, можно обозначить как поиск привлекательных, эффективных идеологических образов Зауралья, способных ментально «развернуть» страну к востоку, в сторону Сибири, Дальнего Востока, Центральной Азии и Китая. Естественно, что накопленные Россией в результате цивилизационного общения с Европой страты никуда не исчезают и остаются фундаментом ее дальнейшего цивилизационного и метагеографического развития – речь в данном случае идет о смене геоидеологического вектора и переносе метагеографического «центра тяжести» за Урал.

Вместе с тем обозначенная выше метагеографическая задача может породить немало вопросов; один из них – почему следует говорить о метагеографии Зауралья, а не о метагеографии Сибири; почему географические образы Зауралья, взятые в их идеологическом контексте, выглядят предпочтительнее, нежели соответствующие образы Сибири? Прежде, чем приступать к изложению стратегических основ метагеографии Зауралья, нужно обосновать сам выбор образа – учитывая, что ге-

ографические образы Сибири складывались достаточно долгое время в историческо-цивилизационном измерении и обладают хорошо развернутыми содержательными характеристиками.

Географические образы Сибири: специфика становления и развития

Географические образы Сибири в их обобщенной целостности – результат длительной ретрансляции идеальных европейских ландшафтных образов на первичное эмоциональное восприятие зауральских пейзажей. Понятно, что подобные ментальные процессы происходили постоянно и очень интенсивно со времен Великих географических открытий, и в этом смысле Сибирь ничем особо не отличается от Америки, Африки или же Южной и Юго-Восточной Азии, ставших объектами европейской колониальной экспансии¹. Другое дело, что Россия, выйдя на уральские рубежи и перешагнув за Камень, воспроизводила такие образы с известной ментальной отсрочкой, с некоторым историко- и геософским «запозданием» – сначала ориентируясь на классические образы колонизации с сакрально-мифологическим библейско-христианским подтекстом, а затем уже на профанизированные «светские» образы сниженной европейской колонизации, обустроивавшей «островки уюта и комфорта» среди «моря» диких или слабо освоенных пространств. Так, первый пространственный русский текст о Зауралье конца XV в. – «Сказание о человецех незнаемых» – является очевидным примером первого дискурса, далее хорошо

¹ Земсков В.Б. Хроники Конквисты Америки и летописи взятия Сибири в типологическом сопоставлении // Латинская Америка. 1995. № 3. С. 88–95; Замятин Д.Н. Дискурсные стратегии в поле внутренней и внешней политики // Космополис. 2003. № 3 (5). Осень. С. 41–49; Он же. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142; Он же. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности / Под общ. Ред. А.О. Бороноева. СПб.: Астерион, 2004. С. 45–60.

развернутого в летописных и церковных образцах¹; великолепным лапидарным образцом второго дискурса можно назвать «Из Сибири» Антона Чехова. Как бы то ни было, мощные природные образы холода, снега, однообразных равнин, тайги, степей и болот сочетались с образами безлюдья и языческой дикости, коим сопутствовали также образы мифологических и реальных богатств.

Ментально-идеологическая ретрансляция в процессах создания и воспроизводства географических образов Сибири, некая дополнительная пространственная трансакция, связанная с промежуточным цивилизационным положением самой России (и не забудем, что в XVI–XVII вв. это было еще Московское царство, довлеющее по преимуществу византийским ментальным и идеологическим образцам сакрального порядка – причем южно-европейского и ближневосточного происхождения²), вела к значительной интровертации этих образов: образы Сибири могли восприниматься и воспринимались (а, следовательно, и регулярно воспроизводились) как некие «внутренние» азиатские образы, необходимые европейской цивилизации для ее ментального равновесия в восточном направлении – Россия была здесь геоидеологическим «учеником» и одновременно «подрядчиком», взявшимся доставлять (хотя бы и частично, неполностью) подобную ментальную продукцию «ко двору». Было бы неверно расценивать такую цивилизационную и метагеографическую ситуацию как ущербную: огромные пространства Зауралья, почти внезапно попавшие в сферу политического влияния Московского царства, требовали соответствующих, достаточно фундированных географических образов, и они были довольно успешно «импортированы» и

¹ *Плигузов А.И.* Текст-кентавр о сибирских самоедах. М., Ньютон-виль: Археографический Центр, 1993.

² *Плюханова М.Б.* Сюжеты и символы Московского царства. М.: Акрополь, 1995; *Богданов А.П.* От летописания к исследованию: Русские истории последней четверти XVII века. М.: RISC, 1995; *Цымбурский В.Л.* Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006.

адаптированы русской культурой, «увидевшей» их для себя, по ходу дела, вполне органичными; «Сибирская Тартария» – это не только европейский, но и российский образ, хорошо «работавший» в течение XVI–XVIII вв.

Метагеография Сибири как «коллективное бессознательное»

Посредник всегда рискует – рано или поздно – оказаться наедине с амбивалентным образом, лишенным внешней поддержки и подпитки и становящимся не управляемым, не предсказуемым. Так и случилось с географическими образами Сибири, в известной мере бывшими глубоким «бессознательным» Европы, Запада вообще на его восточном евразийском фронтире, а заодно и автоматическим «бессознательным» России¹. В XIX веке Сибирь, получив своего внешнего геоидеологического двойника – американский фронтир (что осознавалось к середине этого столетия)² – оказалась нужной Европе уже в качестве ближней периферийно-ресурсной окраины – что стало ясно и российской политической и культурной элите. Между тем, подобный образ рассматривается в когнитивном отношении, как правило, в качестве экстравертного, открытого в сторону дальнейших возможных концептуальных расширений.

Возникновение и развитие сибирского областничества стало «лакмусовой бумажкой» для выявления становившихся очевидными содержательных противоречий в образно-географическом комплексе Сибири, складывавшемся в пределах рос-

¹ Здесь я пытаюсь развить известный постфрейдистский дискурс Б. Гройса, примененный им по отношению к проблематике историсофской и культурософской амбивалентности отношений Запада и России, используя по аналогии некоторые положения глубинной психологии К. Юнга; см.: Гройс Б. Россия как подсознание Запада // *Он же*. Искусство утопии М.: Художественный журнал, 2003. С. 150–168.

² *Замятина Н.Ю.* Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // *Общественные науки и современность*. 1998. № 5. С. 75–89.

сийской цивилизационной целостности¹. Дискурс «Сибирь как колония» и декларировавшиеся как его следствие культурная и, возможно, политическая и экономическая автономия Сибири были когнитивной реакцией на ментальное раздвоение ключевых элементов географического образа-прототипа Сибири, воспринимавшегося «здесь и сейчас»: интровертивные инерционные элементы «говорили» о некоторой закрытости, глубинности, отдаленности, существования для себя и в то же время для каких-то «зеркальных» надобностей цивилизационных отображений; экстравертивные ускоряющие элементы, по сути, вновь копировались с помощью лекал западного воображения². Однако цивилизационная ситуация в рамках диалога Европа – Россия, Запад – Россия к середине XIX в. была иной, нежели ранее, в XVI–XVIII вв. С одной стороны, Запад не нуждался более в образно-географических «посредниках» – эпоха зрелого модерна диктовала стратегии прямой как военно-политической и экономической, так и цивилизационной экспансии. С другой стороны, именно к этой эпохе относится окончательное становление, оформление российской цивилизации, уже могшей, хотя и с оглядкой на Европу, развивать основы своего собственного идеологического дискурса, в том числе и метагеографического.

Метагеографическая проблема, сформулированная по аналогии в терминах психологии, заключалась в следующем: экс-

¹ *Серебреников Н.В.* Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004; *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.

² См. более подробно: *Замятин Д.Н.* Геократия...; анализ общей проблематики истории и теории сибирского областничества см.: См.: *Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В.* Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI–XX века. М.: Наука, 2004. С. 411–448 (авторы раздела «Сибирское областничество: истоки и эволюция» – К.И. Зубков, М.В. Шиловский); также: Сибирское областничество: Библиогр справочник. Томск–Москва: Водолей, 2002; *Горюшкин Л.М.* Дело об отделении Сибири от России // *Отечество. Краеведческий альманах.* Вып. 6. М.: Отечество, 1995. С. 66–84; *Потанин Г.Н.* Областническая тенденция в Сибири // Там же. С. 84–100; *Сватиков С.Г.* Россия и Сибирь // Там же. С. 100–113; www.oblastnichestvo.lib.tomsk.ru и др.

траверсивные образы колонизации и фронта оказывались недостаточными для «раскачки», радикальной трансформации интроверсивных образов Сибири, активно складывавшихся до того на протяжении, по крайней мере, трехсот-четырёхсот лет, при этом Россия, осознав себя самостоятельной цивилизацией, была уже лишена фактически европейской идеологической поддержки – механическое копирование западного по происхождению образа фронта не давало теперь столь же очевидных когнитивно-образных «дивидендов», как ретрансляция европейских образов Сибири в эпоху более раннего ментального осмысления этого региона. Московия исчезла, при этом «исчезла» и Сибирь как достаточно эффективный образно-географический комплекс в рамках российской цивилизации. Интеллектуальные усилия сибирских областников, а также и восприятие их усилий в России различными общественными слоями показали когнитивную недостаточность подобного дискурса; в то же время, благодаря трудам сибирских областников стали понятными сами масштаб и характер проблемы.

На наш взгляд, в течение XX века серьезных изменений в оконтуренной метагеографической проблеме не произошло. Постоянные попытки воспроизводства ресурсно-периферийных фронтальных образов Сибири наряду с достаточно регулярными идеологическими инвективами как политического, так и художественного и философского характера, призванными указать на стратегически важное значение Сибири в будущем российской цивилизации (включая и в идеологические советские трактовки) оказывались противоречащими как друг другу, так и более глубоким интроверсивным слоям образа-архетипа¹. Сибирь действительно стала по настоящему «бессознательным» России, но подобная ментальная ситуация может быть сравнительно благоприятной лишь на небольших исторических отрезках – «купаться» в бессознательном слишком долго не-

¹ Речь здесь может идти, например, о столь разных писателях, как А. Солженицын, В. Астафьев, В. Распутин.

возможно, это вредно для «здоровья» самой цивилизации¹. По сути дела, до настоящего времени образ Сибири может вполне устойчиво воображаться в качестве коллективного глубинного района Евразии, символизирующего слабо тронутую человеком, пугающе суровую и в то же время поразительную своим размахом природу и таящего в себе неизведанные богатства, – как для западной цивилизации в широком смысле, так и для цивилизаций, становящихся современными в условиях западного цивилизационного давления (Россия, Китай, Индия)².

«Двойная Сибирь»

Попытаемся описать сложившуюся ситуацию более подробно. По существу, можно говорить об образе-кентавре, двойном образе, «двойной Сибири» с точки зрения метагеографии. Налицо две очевидные ментальные дистанции, с помощью которых этот двойной образ существует и функционирует, однако подобная амбивалентность затрудняет развитие, переориентацию метагеографии России в целом, тормозит формирование новых, необходимых России как самостоятельной жизнеспособной цивилизации целенаправленных метагеографических структур. Для лучшего понимания такой когнитивной ситуации стоит обратиться, по аналогии, к теории шизофрении, разрабатывавшейся известным американским антропологом и психологом Грегори Бейтсоном³. Центральное понятие его теории – это т.н. «двойное послание» (double bind). Смысл введения и использования понятия «двойного послания» – в попытке фиксации и анализа мощной психологической «вилки», расхождения, ощущаемого шизофреником между собственными мыслями и желаниями, с одной стороны, и практическим отсутствием способов их адекватной репрезентации во внеш-

¹ Ср.: Юнг К. О природе психического // *Он же*. Структура и динамика психического. М.: Когито-Центр, 2008. С. 185–269.

² См. в связи с этим: *Замятин Д.Н.* Образный империализм // *Политические исследования*. 2008. № 5. С. 45–55.

³ *Бейтсон Г.* Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии. М.: Смысл, 2000.

нем мире, в контакте с окружающими людьми. Фактически шизофреник работает с двумя не сочетающимися ментальными дистанциями – огромной по отношению к собственным мыслям и образам и ничтожной, почти исчезающей по отношению к внешнему миру. Постоянное несоответствие, диссонанс двух ментальных дистанций ведут постепенно к распаду индивидуальной психической целостности. По аналогии, можно представить образ-кентавр Сибири («Сибирь-Китоврас») как своего рода метагеографическое «двойное послание», которое со временем может привести к разложению, распаду России как метагеографического целого, метагеографической системы. Сибирь уже может восприниматься как в известном смысле «шизофренический образ» в рамках российской цивилизации. Использование подобной психологической аналогии позволяет более остро почувствовать и более четко осмыслить суть данной проблемы.

Воспользуемся предложенной нами несколько ранее моделью пространственных представлений¹. В ее основе лежит психологическое представление об уровнях психического – от бессознательного до высокой степени рефлексии, характеризующей сознание. Наряду с этим, предполагается восхождение, или движение от преобладания в пространственных представлениях умозрительных схем до преобладания непосредственных визуальных впечатлений, оформляемых соответствующими знаково-символическими конструкциями.

Если структурировать в ментальном отношении основные понятия, описывающие образы пространства, производимые и поддерживаемые человеческими сообществами различных иерархических уровней, разного цивилизационного происхождения и локализации, то можно выделить на условной вертикальной оси, направленной вверх (внизу – бессознательное, вверху – сознание), четыре слоя-страты, образующие треу-

¹ *Замятин Д.Н.* Локальные мифы: модерн и географическое воображение // Литература Урала: история и современность. Сб. ст. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2008. С. 10–12.

гольник (или пирамиду, если строить трехмерную схему), размещенный своим основанием на горизонтали. Нижняя, самая протяженная по горизонтали страта, как бы утопающая в бессознательном – это географические образы; на ней, немного выше, располагается «локально-мифологическая» страта, менее протяженная; еще выше, ближе к уровню некоего идеального сознания – страта региональной идентичности; наконец, на самом верху, «колпачок» этого треугольника образов пространства – культурные ландшафты, находящиеся ближе всего, в силу своей доминирующей визуальности, к сознательным репрезентациям и интерпретациям различных локальных сообществ и их отдельных представителей¹. Понятно, что возможны и другие варианты схем, описывающие подобные соотношения указанных понятий. Здесь важно, однако, подчеркнуть, что, с одной стороны, всевозможные порождения оригинальных локальных или региональных мифов во многом базируются именно на географическом воображении причём процесс разработки, оформления локального мифа представляет собой, по всей видимости, «полусознательную» или «полубессознательную» когнитивную «вытяжку» из определённых географических образов, являющихся неким «пластом бессознательного» для данной территории или места. Скорее всего, онтологическая проблема взаимодействия географических образов и локальных мифов – если пытаться интерпретировать описанную выше схему – состоит в том, как из условного образно-геогра-

¹ Важно отметить, что для репрезентации всех выделенных уровней модели необходимо изучение локальных текстов; см., например: *Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995; *Русская провинция: миф–текст–реальность / Сост. А.Ф. Белоусов и Т.В. Цивьян. М., СПб.: изд-во «Лань», 2000; Кривонос В.Ш.* Гоголь: миф провинциального города // *Провинция как реальность и объект осмысления.* Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. С. 101–110; *Абашев В.В.* Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2000; *Люсый А.П.* Крымский текст в русской литературе. СПб.: Алетейя, 2003; *Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты / Отв. Ред. Л.О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2004 и др.*

фического «месива», не предполагающего каких-либо логически подобных последовательностей (пространственность здесь проявляется как наличие, насущность пространств, чьи образы не нуждаются ни в соотносительности, ни в иерархии, ни в ориентации/направлении), попытаться сформировать некоторые образно-географические «цепочки» в их предположительной (возможно, и не очень правдоподобной) последовательности, а затем, параллельно им, соотносясь с ними, попытаться рассказать вполне конкретную локальную историю, чьё содержание может быть мифологичным¹. Иначе говоря, при переходе от географических образов к локальным мифам и мифологиям должен произойти ментальный сдвиг, смещение – всякий локальный миф создается как разрыв между рядоположенными географическими образами, как когнитивное заполнение образно-географической лакуны соответствующим легендарным, сказочным, фольклорным нарративом².

Если продолжить первичную интерпретацию предложенной выше ментальной схемы образов пространства, сосредоточившись на позиционировании в её рамках локальных мифов, то стоит обратить внимание, что, очевидно, локальные мифы и целые локальные мифологии могут быть базой для развития соответствующих региональных идентичностей³. Ясно, что и

¹ См. также: *Замятин Д.Н.* Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005. С. 276–323.

² См. блестящий современный пример развития бажовской уральской мифологии на основе хтонических горных образов: *Никулина М.* Камень. Гора. Пещера. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002.

³ *Daniels S.* Place and Geographical Imagination // *Geography*. 1992. No. 4 (337). P. 310–322; *Studying Cultural Landscapes / Ed. By I. Robertson and P. Richards.* N.Y.: Oxford University Press, 2003; Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В. Гельмана и Т. Хепфа. СПб.: М: Изд-во Европейского университета, Летний сад, 2003; *Груздов Е.В., Свешников А.В.* Словарь мифологии Омска // Пятые Омские искусствоведческие чтения «Современное искусство Сибири как со-бытие». Материалы республиканской научной конференции. Омск: Изд. Дом «Наука», 2005. С. 109–144; *Вахрушев В.С.* О концепте «Балашовская мифология» // Жанры в мифологии, фольклоре и литературе. Весы. Альманах гуманитарных ка-

в этом случае, при перемещении в сторону более осознанных, более «репрезентативных» образов пространства, должен происходить определённый ментальный сдвиг. На наш взгляд, он может заключаться в «неожиданных» – исходя из непосредственного содержания самих локальных мифов – образно-логических и часто весьма упрощённых трактовках этих историй, определяемых современными региональными политическими, социокультурными, экономическими контекстами и обстановками. Другими словами, региональные идентичности, формируемые конкретными целенаправленными событиями и манифестациями (установка мемориального знака или памятника, городское празднество, восстановление старого или строительство нового храма, интервью регионального политического или культурного деятеля в местной прессе и т.д.), с одной стороны, как бы выпрямляют локальные мифы в когнитивном отношении, ставя их «на службу» конкретным локальным и региональным сообществам, а, с другой стороны, само существование, воспроизводство и развитие региональных идентичностей, по-видимому, невозможно без выявления, реконструкции или деконструкции старых, хорошо закреплённых в региональном сознании мифов¹, и основания и разработки но-

федр Балашовского филиала Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. № 31. Балашов, 2006. С. 59–74; Музейная Долина (рук. проекта И. Сорокин). [Б.м., б.г.] (проект по сакральной топографии и географии Саратова осуществлен при помощи Благотворительного фонда Потанина); Саратовское озеро: сакральная география. Мифопоэтический атлас. [Саратов], 2007; *Богомяков В.Г.* Региональная идентичность «земли тюменской». Екатеринбург: Издательский дом «Дискурс-Пи», 2007; *Рахматуллин Р.* Москва–Рим. Новый счёт семихолмия // НГ Ex Libris. 10 октября 2002. С. 4–5; *Он же.* Две Москвы, или Метафизика столицы. М.: АСТ, Олимп, 2008 и др.

¹ См., например: *Елистратов В.С.* Евразийский Рим или Апология московского мещанства // *Он же.* Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. М.: Русские словари, 1997. С. 640–702; *Конькова О.И.* Ижорский мир: формирование и конструкция. Пространство и время // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 2. Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты наров Европейского Севера / Отв. ред. Н.М. Терехин. Архангельск: Поморский университет, 2006. С. 53–68; *Дранникова Н.В.* Мифология Кенозерья // Там же. С. 109–115.

вых локальных мифов, часть которых может постепенно закрепиться в региональном сознании, а часть – оказавшись слабо соответствовавшей местным географическим образам-архетипам и действительным потребностям поддержания региональной идентичности – практически исчезнуть.

Итак, интерпретируя эту модель на примере Сибири, мы можем предположить, что для нее – в метагеографическом плане – характерно преимущественное развитие двух ментальных страт – страты географических образов (глубоко умозрительных и во многом заимствованных и частично переработанных) и страты культурных ландшафтов, в которой доминирует непосредственная рецепция при слабом развитии оригинальных, самобытных знаково-символических конструкций (они опять-таки в основном заимствованы из «материковой», Европейской России). При этом фактически выпадают или очень слабо репрезентированы локальные мифы и региональные идентичности – собственно средний, крайне важный уровень пространственных представлений. Конечно, не следует говорить, что в Сибири нет локальных мифологий или же отсутствуют региональные идентичности. Как хорошо известно из многих мемуарных, эпистолярных и художественных текстов, самосознание сибиряка (в отличие от собственно «России») отмечалось довольно ясно уже в XIX веке¹. Точно также можно говорить и о рождении локальных мифов, фиксируемых в разных местностях Сибири – здесь, однако, отличия от Европейской, доуральской России минимальны. Речь о другом: количество, качество и уровень репрезентаций локальных мифологий и региональных идентичностей до сих пор недостаточны для того, чтобы обеспечивать равновесие и устойчивость общей «пира-

¹ Кропоткин П.А. Дневники разных лет. М.: Сов. Россия, 1992; Bassin M. *Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century* // *The American Historical Review*. 1991. Vol. 96. Number 3. P. 763–794; *Idem*. *Visions of empire: nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005.

миды» пространственных представлений Сибири и о Сибири – эта ментальная «пирамида» дисгармонична, неустойчива, непрочна, не автономна.

Проблема геоидеологического оформления территории: постановка вопроса

Метагеографические анализ и интерпретация включают в себя выявление идеологического компонента, скрепляющего обозначенные нами пространственные представления. Этот идеологический компонент можно назвать *геоидеологией*, под которой понимается система знаково-символических репрезентаций, в которых пространственные представления о конкретной территории актуализируются и подвергаются метафорической «возгонке»; иными словами, геоидеология делает определенные пространственные представления «горячими», готовыми к широкому и упрощенному риторическому использованию и употреблению в различных социокультурных и политических контекстах¹. Кроме того, геоидеология призвана осуществлять и репрезентировать специфические сакральные контакты между Землей и Небом, необходимые в той или иной форме как домодерным (здесь эта необходимость очевидна), так и современным обществам и цивилизациям (в которых эта необходимость может быть латентной, скрытой, иногда плохо осознаваемой)². С этой целью в геоидеологии могут использоваться различные религиозные представления, распространенные на определенной территории, однако смысл подобной геоидеологической «вертикальной» сакрализации несколько шире и одновременно уже собственно религиозного смысла: геоидеологическая сакрализация (возможная и в профанированных формах) обеспечивает территориям, районам, местам воз-

¹ Здесь мы используем по аналогии введенное впервые К. Леви-Стросом деление культур на «горячие» и «холодные».

² См. в связи с этим: *Замятин Д.Н.* Феномен паломничества: географические образы и экзистенциальное пространство // *Мир психологии.* 2009. № 1. С. 102–111.

можность получения и использования образов сокровения или откровения, придавая им конкретный сакральный или полусакральный статус¹.

Как происходит геоидеологическое скрепление уровней пространственных представлений о территории? Как правило, оно осуществляется с помощью определенных локальных текстов, а также гениев места, чьи биографии, конкретные дела или же произведения актуализируют все уровни пространственных представлений. Можно сказать, что локальные тексты и гении места, «работающие» в разных ментальных измерениях, тем не менее, выполняют одну и ту же функцию – когнитивной «прошивки», связывания всех уровней в единое целое, некую общую экзистенциальную «ткань» пространства. Тем более что значительная часть самих локальных текстов может быть либо непосредственно посвящена собственно гениям определенных мест, либо опосредованно способствовать появлению подобных гениев. И локальные тексты (к которым также могут относиться биографии / агиографии гениев места и тексты самих гениев места – писателей, художников, архитекторов, режиссеров, артистов, музыкантов, философов, общественных деятелей, политиков, краеведов и т.д.), и гении места (представляемые своего рода «эманацией» места, в то время как и место может «эманироваться» гением) могут репрезентироваться и одновременно репрезентировать все или часть описанных уровней пространственных представлений – например, включая только культурно-ландшафтный и локально-мифологический уровни².

¹ Ср.: *Замятин Д.Н.* Локальные мифы... С. 14–16.

² См. более подробно: *Замятин Д.Н.* Гений места. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007. С. 271–273; *Замятин Д.Н.* Неуверенность бытия. Образ дома и дороги в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» // Киноведческие записки. 2007. № 82. С. 14–23; *Замятина Н.Ю., Замятин Д.Н.* Гений места и город: варианты взаимодействия // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 62–87; *Замятин Д.Н.* Внутренняя география пространства. Геономика любви в поэтической книге Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь» // Гуманитар-

Урал как автономный «психологический комплекс» русской культуры.

На пути к метагеографии Зауралья

Вернемся теперь к метагеографической проблеме образов Сибири. С нашей точки зрения, необходим когнитивный переход к более сильным или более широким образам, позволяющим постепенно выявить и сконструировать достаточно устойчивую «пирамиду» пространственных представлений, потенциально обеспечивающих позитивную метагеографическую динамику России и российской цивилизации. Географические образы Зауралья как раз и могут быть такими ментальными конструктами, именно они могут способствовать становлению полноценной метагеографии Зауралья, включающей, в том числе, и динамичные образы самой Сибири. В чем смысл подобного образно-географического замещения?

Зауралье – потенциально открытый географический образ. В содержательном отношении оно может представлять из себя целостный «веер» дискурсов, направленных на ментальное освоение собственно Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, Монголии, Центральной Азии в целом, Китая. Принципиальная разница по сравнению с географическими образами Сибири состоит в том, что географические образы Зауралья могут разрабатываться и конструироваться как комплексные экстравертно-интровертные системы с использованием принципа дополнительности: всякий вновь разрабатываемый образно-географический дискурс имеет когнитивную «поддержку» соседних дискурсов, как бы вставляющихся друг в друга, оппонирующих друг другу и в то же время взаимодополняющих¹.

ная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 5. М.: Институт наследия, 2008. С. 75–87; *Замятина Н.Ю.* Ассоциативный «смысл» ландшафта г. Юрьевец через призму творчества Тарковского // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3: Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера / Сост. Н.М. Терехин, А.О. Подоплёкин, П.С. Журавлёв; отв. Ред. Н.М. Терехин. Архангельск: Поморский гос. ун-т, 2008. С. 362–373.

¹ Ср.: *Митрофанова Л.М.* «Урал», «Зауралье», «Россия» и «Сибирь»: перекресток понятий в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка // С. 130–136.

Следует учесть, что в своей основе эти образы должны иметь российское цивилизационное происхождение, что не может мешать плодотворным знаково-символическим заимствованиям.

В основе потенциально эффективного развития географического образа Зауралья и в целом метагеографии Зауралья должна находиться система устойчивых пространственных представлений об Урале, позиционирующих этот район не как традиционную границу между Европейской Россией и Сибирью, Европейской и Азиатской Россией, но как настоящий, истинный, новый центр России и российской цивилизации. Подобное позиционирование как раз может быть специфической уральской геоидеологией, скрепляющей все уровни достаточно хорошо сложившихся пространственных представлений об Урале. В таком случае пространственные представления Урала и об Урале становятся как бы тыловой базой, прочным ментальным фундаментом развития метагеографии Зауралья. На наш взгляд, мощные локальные мифологии Урала достаточно хорошо сформировались уже к середине XX века, продолжая успешно развиваться и в начале XXI века, тогда как классические культурные ландшафты Урала эпохи раннего и зрелого модерна приобрели свои образцовые очертания не позже конца XIX – начала XX века¹. В то же время можно говорить о достаточно длительной, практически не прерывавшейся и устойчивой традиции становления географических образов Урала начиная с античности². Ряд довольно ярких репрезента-

¹ *Замятин Д.Н.* Локальные мифы...; *Он же.* Геократия...; также: *Капкан М.В.* Уральские города-заводы: мифологические конструкты // Известия Уральского государственного университета. 2006. № 47. Гуманитарные науки. Вып. 12. Культурология. С. 36–45.

² *Архипова Н.П., Ястребов Е.В.* Как были открыты Уральские горы. Очерки по истории открытия и изучения природы Урала. Изд. Третье, переработанное. Свердловск: Средне-Уральское кн. Изд-во, 1990; Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV–XVIII вв.: Коллектив. Монография / Отв. Ред. Е.К. Созина. Екатеринбург: УрО РАН; Изд. Дом «Союз писателей», 2006 (особенно содержательно важны раздел 1, «Урал глазами путешественников: мифопоэтика, идеология, этнография», принадлежащий перу К.В. Анисимова, и раздел 2, «Духовная «оседлость» Урала в памятниках словесности»,

ций уральской идентичности культурного, экономического и политического характера можно было наблюдать, начиная уже со второй половины XIX века, уральское областничество проявило себя как во время гражданской войны 1918–1921 гг., так и при распаде Советского Союза¹. Наконец, в начале XXI века для Урала были характерны интеллектуально-художественные, геомифологические и геоисториософские попытки осмыслить этот район – в различных дискурсивных традициях (сниженный постмодернизм, псевдоисторическое фэнтези, собственно примордиализм и традиционализм, сакральная география в ее паранаучной версии и т.д.) – как ядерное пространство, определяющее перспективы исторического развития гораздо более крупных территорий – России, Северной Евразии, Евразии в целом². Такая когнитивная ситуация, сама по себе, – вне

написанный В.В. Блажесом и Л.С. Соболевой); Образ Урала в документах и литературных произведениях (от древности до конца XIX века) / Сост. Е.П. Пирогова. Екатеринбург: Сократ, 2007; Образ Урала в изобразительном искусстве / Сост. Е.П. Алексеев. Екатеринбург: Сократ, 2008.

¹ Характерен в этой связи выход с августа 1991 г. журнала «Уральский областник», начавшего в первом номере любительские публикации документов Временного Областного Правительства Урала 1918 г. (с. 55–76); более подробно: Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI–XX века. М.: Наука, 2004. С. 448–489.

² В рамках постсоветской социокультурной ситуации важное значение имел цикл романов Сергея Алексеева, прежде всего, «Сокровища Валькирии» (см.: Алексеев С. Сокровища Валькирии. М.: ОЛМА-Пресс; СПб.: Нева, 1997); в 2000-х гг. мифологическую «эстафету» приняли писатели Алексей Иванов (романы «Сердце Пармы» и «Золото бунта») и Ольга Славникова (прежде всего, роман «2017»). См. также: Литовская М.А. Литературная борьба за определение статуса территории: Ольга Славникова – Алексей Иванов // Литература Урала: история и современность. Вып. 2. Екатеринбург: УрО РАН; Изд. Дом «Союз писателей» 2006. С. 66–76; Подлесных А.С. Кама в художественном пространстве романа А. Иванова «Чердынь – княгиня гор» // Там же. С. 76–81; Соболева Е.Г. Формирование мифа «Екатеринбург – третья столица» в текстах СМИ // Там же. С. 95–103; Абашев В.В. «Какая древняя земля, какая дремучая история, какая неиссякаемая сила...»: геопэтика как основа геополитики // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь: Мобиле, 2006. С. 197–208; Новопашин С.А. Священное пространство Урала. В поисках иных смыслов.

зависимости от оценки качества различных попыток обобщенно представить метагеографию Урала – несомненно, является симптомом готовности этого района быть одним из ключевых элементов проспективной и перспективной метагеографии России.

В известной мере Урал может рассматриваться как автономный «психологический комплекс» русской культуры. С одной стороны, «навязчивый» образ Урала может периодически возникать в различного рода дискурсах – политических, культурных, художественных, экономических – о будущем и судьбах России. Характерный и крайне интересный пример подобного «иррационального» появления образа Урала – стихотворение А. Блока «Скифы», в котором общее поэтическое развитие темы «внезапно» нарушается вторжением в целом не подготовленного предыдущим «текстовым потоком» мощного уральского мотива («Идите все, идите на Урал...» и т.д.)¹. С другой стороны, образ Урала может позиционироваться в рамках русской культуры как постоянно подавляемый, «принижаемый», преуменьшаемый – он, видимо, достаточно важен, но не настолько, чтобы считать его вполне открыто первостепенным; это, пожалуй, культурный мотив некоторого психологического «стеснения», отодвигания, пренебрежения (ср. современные народные идиомы и поговорки: «Ты что – с Урала?», «Одет, как с Урала» и т.п.). На наш взгляд, подобная культурно-психологическая ситуация способствует пониманию географиче-

Екатеринбург: Баско, 2005; *Он же*. Уральский миф. Создание мифологем как фактор успешного брэндинга. Екатеринбург: Раритет, 2007; *Литовская М.А.* Проблема формирования региональной мифологии: проект П.П. Бажова // Михаил Осоргин: Художник и журналист. Пермь: Мобиле, 2006. С. 188–197; *Алексеева М.А.* «Объект, к освоению не предназначенный»: пространственная модель мира в романе О.А. Славниковой «2017» // Литература Урала: история и современность. Сб. ст. Вып. 4. Локальные тексты и типы региональных нарративов. Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2008. С. 213–222.

¹ См.: *Замятин Д.* Географические образы и цивилизационная идентичность России: метаморфозы пространства в «Скифах» Александра Блока // *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context*. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2008. С. 237–255.

ского образа Урала как фундаментального для дальнейшего развития географических образов Зауралья и метагеографии Зауралья – вне зависимости от того, будет ли далее этот психокультурный комплекс устойчиво воспроизводиться или же постепенно исчезнет и будет заменен каким-то другим.

Миф о Ермаке: первичная «прошивка» образно-географического поля Урала – Зауралья – Сибири

Как может быть осуществлен эффективный когнитивный переход от, по преимуществу, интровертивных географических образов Сибири к более широким экстравертно-интровертным географическим образам Зауралья? Здесь, по всей видимости, нужен какой-либо ключевой локальный текст и/или гений места, объединяющий и связывающий эти образно-географические системы и пространственные представления в целом. В качестве такого локального текста или, скорее, совокупности локальных текстов, можно рассматривать летописные и фольклорные тексты о Ермаке¹. Ермак выступает героем крупного локального мифа, объединяющего непосредственно Предуралье, сам Урал, Зауралье (в основном Западную Сибирь). Характерно, что этот популярный локальный миф имеет множество конкретных ландшафтных репрезентаций (конкретные памятные места, в том числе, очевидно, большинство тех, где он никогда бывать не мог), является основой для становления, по крайней мере, нескольких региональных идентичностей (предуральской/прикамской/пермской, собственно уральской, западно-сибирской); географические образы, лежащие в его фундаменте, содержательно выражают, *пред-ставляют* от-

¹ См.: *Блажес В.В.* Народная история о Ермаке. Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2002; также: *Соболева Л.С.* Художественная концептуализация похода Ермака в летописных и богослужебных текстах конца XVI – начала XVII в. // Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодействий: конец XIV–XVIII вв.: Коллектив. Монография / Отв. Ред. Е.К. Созина. Екатеринбург: УрО РАН; Изд. Дом «Союз писателей», 2006. С. 91–109.

носителю свободные окраинные речные и приречные пространства, служащие удобными путями для быстрого передвижения и в то же время местами непрекращающихся разбоев и пограничных стычек. Ермака можно назвать даже не гением места (поскольку различные версии ермаковского мифа указывают на множество мест его остановок, разбоев, битв, гибели и т.д.), а, возможно, гением пространства, гением переходного урало-сибирского пространства, причем в образах этого пространства присутствуют и остаточные образы казачьих рек и традиционных казачьих территорий (Волга, Дон, Яик, Терек, Донская область, Северный Кавказ), ибо народные легенды, рассматриваемые как целостная дискурсивная система, пытаются привязать рождение и происхождение атамана к возможно большему вероятному мифологическому ареалу. Существенно заметить, что ермаковский миф можно классифицировать даже не как просто локальный (хотя бы и с широким ареалом распространения), а как именно транслокальный миф, как бы перетекающий из района в район с соответствующими образно-содержательными модификациями, и выходящий в целом очевидно на уровень общенационального мифа, имеющего явные региональные привязки и репрезентации. Принципиальная пространственная переходность этого мифа подчеркивается также сочетанием и взаимодействием нескольких национально-мифологических традиций – русской, татарской, частично и мансийской. Несмотря на то, что ермаковский миф воспроизводится в настоящее время уже в основном не с помощью устной передачи (в устной традиции он практически угасает), а с помощью более современных средств культурной коммуникации и репрезентации, он остается, на наш взгляд, одним из главных содержательных источников структурирования и оформления метагеографии Зауралья.

Образно-географическое поле Урала – Зауралья – Сибири как бы прошивается, пронизывается ориентированными с запада на восток – юго-восток пространственными представлениями, развиваемыми на базе мифа о Ермаке. Важно отметить, что этот миф, по сути, история событий, связанных с движени-

ем по пограничным рекам: Волге, Каме, Чусовой, Серебрянке, Иртышу и т.д. Уральские владения Строгановых на пути Ермака в Сибирь становятся своего рода «ситом» или мембраной, пропускающей казаков в Зауралье. Фактически в данной истории Урал не воображается как горы по преимуществу, хотя в легендах о Ермаке есть и пещеры чусовского камня, и шиханы, и клады в пещерах (подобное типично и для чисто «речных» народных мифов – например, волжский миф о Стеньке Разине). Урал в ермаковском мифе воображается, скорее, как более-менее равнинно-холмистое речное пространство, ведущее казачью дружину в Сибирь; он не видится здесь суровым Камнем, препятствующем походу на восток. Подобная иллюзия, возникающая при непосредственном восприятии легенды о Ермаке, возможно, не случайна и связана с позднейшими текстовыми наслоениями и вариациями, обеспечивающими как бы обратный ход географических образов. Другими словами, равнинный, плоский рельеф Западно-Сибирской низменности мог «выровнять» и ландшафтные репрезентации различных местных вариантов мифа, складывавшиеся *postfactum* гораздо позднее событий конца XVI века в условиях постепенного масштабного осознания важности финальных событий конкретной истории (борьба с Кучумом, гибель Ермака), происходивших уже в Зауралье. Так или иначе, предполагаемая нами образно-географическая аберрация в связке Урал – Зауралье – Сибирь позволяет как бы срастить эти пространства вместе, представить их архетипом-первообразом единого «равнинно-плоскостного» потока российской метагеографии,двигающейся и расширяющейся на восток и юго-восток.

Стрела и шар: «геограмма» Зауралья

Для более полного, целостного понимания содержательного образно-географического перехода Сибирь – Зауралье можно использовать концепты шара и стрелы. Географический, или историко-географический образ Сибири формировался в течение нескольких столетий как шар или сфера – иначе говоря,

большинство знаков, символов, архетипов и стереотипов, связанных с этим образом и связываемых данным образом в единую систему, удобнее представлять как постоянно закругляющуюся бесконечную поверхность, ориентированную в любой её точке на самую себя¹. Здесь мы можем уверенно говорить даже о типе метагеографического образа-шара или сферы, формирующего, как правило, соответствующую конкретную топографию и топологию фрактальных и фрактализующихся мест – эти места в рамках своего самоподобия стремятся к тотальной внутренней пространственности, порождающей геоонтологию стоящего, застаивающегося, расшатавшегося, «вывихнутого», постоянно «распадающегося» времени (ср. в «Гамлете»: «The time is out of joint» и метафизическое продолжение этой темы в поэзии Мандельштама 1920-х гг. с «выходом» в Сибирь, «жаркую шубу сибирских степей»).

В свою очередь, метагеографический образ Зауралья можно рассматривать как стрелу, пронизывающую, протыкающую «дымящийся шар» Сибири и как бы заставляющую его превращаться, трансформироваться в ряд самовоспроизводящихся спиралей, создающих одновременно пространственный эффект ретроспективы и перспективы, «геограмму» всех возможных локальных мифов и текстов, культурных ландшафтов, становящихся уже уникальными представлениями закрепляющихся тем самым мест. Метагеографический образ-стрела, по всей видимости, может выступать как тип упорядоченных и в то же время расходящихся временных последовательностей, постоянно координируемых и соотносимых в рамках всё новых и новых опытов пространственности.

Эти новые возможные опыты пространственности должны опираться всякий раз на метагеографическое понимание Зауралья как расширяющегося образа. В таком случае нужен предварительный метагеографический анализ приставки «за»

¹ Ср. также диалектику шара, точки и линии, разработанную Николаем Кузанским, см.: *Кузанский Н. Игра в шар // Он же. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М.: Мысль, 1980. С. 249–317.*

и, собственно, дефиса, расчленяющего и разделяющего в какой-то момент пространство Урала и то, что за ним следует.

Приставка «за-» в образе Зауралья полагает собой возможность некоего «-уралья» – приуралья, поуралья, подуралья, надуралья и т.д. Мы пишем эти слова со строчной буквы, поскольку сам образ лишь предполагает такие потенциальные пространства, которые не обязательно могут быть и должны быть представлены и репрезентированы. В то же время приставка «за-» акцентирует наше внимание на возможности заглянуть, засмотреться, задуматься, замыслить что-то, что является неким ментальным или онтологическим продолжением Урала, однако сам «Урал» как бы остается на месте – он не передает энергетику своего пространства непосредственно, но создает лучи, районы пространственностей посредством внедрения и повторения данной приставки. В свою очередь, Зауралье или даже Зауралья оказываются возможными в силу онтологического отодвигания самого Урала, своего рода его переворачивания и выворачивания. Урал в непосредственно данной географии кажется продвигающимся на восток, северо-восток и юго-восток и в то же время метагеографически он отгесняется на запад, становясь все более и более европейским, или же российским. Такой подход учитывает и то обстоятельство, что для жителей традиционной Сибири или Дальнего Востока Зауральем является собственно те районы, которые находятся к западу от Урала, Европейская часть России, Восточная Европа и т.д. Мы можем сказать, что метагеографическое понимание Зауралья оказывается серией расходящихся образов-опытов пространственности, включающих как «объевропеивание» районов Европейской части России, так и «овостоичивание» регионов Сибири и Дальнего Востока. Приставка «за-» в образе Зауралья является обоюдоострой – как в смысле непосредственного расширения районов и зон новых опытов пространственности, так и в смысле опосредованного перехода к новым районам человеческого бытия.

Между тем, возникающий в подобном метагеографическом анализе дефис между «за» и «уральем» говорит нам, что

в этом онтологическом зазоре возможно появление «уральскости», т.е. таких ландшафтных и локально-мифологических представлений, которые являют Урал как точно определенное место вне его непосредственных географических координат. Уральскость может рассматриваться как пространственная идентичность, обусловленная расширением онтологического зазора между собственно Уралом и Зауральем. Именно обнаружение и фиксация уральскости позволят твердо говорить и рассуждать о становлении Зауралья как устойчивого бытия-существования новых опытов пространственности – точно так же, как европейскость можно рассматривать в качестве «гаранта» онтологического существования самой России, подобно метагеографическому «Заевропью». В таком случае и Сибирь, попадающая в прочный и надёжный «кокон» зауральских метагеографических образов, может оказаться достаточно автономным и бытийно устойчивым образом-опытом пространственности. Здесь, тем не менее, мы пока не можем говорить об онтологической возможности «Засибирья», поскольку метагеография Сибири еще не явлена как целостное развернутое дискурсивное поле поддерживающего само себя воображения.

Г л а в а 10.

Европа посреди океана: Азиатско-Тихоокеанский регион и российская Северо-Восточная Азия как транстранничные регионы в XXI в.

Многие ученые и политики различных стран считают АТР возможным экономическим и политическим центром мира в XXI веке. Это предположение в целом основано на нескольких аргументах: 1) быстрое социально-экономическое развитие стран, входящих в регион; 2) наличие в регионе мощных экономических держав – таких, как США и Япония; 3) наращивание экономического и политического «веса» такой страной, как Китай; 4) быстрое повышение удельного веса АТР в мировой торговле; 5) экономическое и политическое втягивание в регион таких стран, как Австралия и Новая Зеландия. Мы сознательно не упоминаем пока здесь Россию, поскольку ее институциональное продвижение в этот регион (участие в международных организациях) пока достаточно слабо поддержано экономически и культурно, а политическое влияние пока весьма ограничено.

Не вдаваясь в подробные споры о географических границах АТР и российской Северо-Восточной Азии, выскажем несколько содержательных замечаний о понятиях и географических образах¹ этих взаимосвязанных регионов.

¹ О понятии и концепции географических образов см.: *Замятин Д.Н.* Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: «Ойкумена», 1999; Географические образы в гуманитарных науках // *Человек.* 2000. № 5. С. 81–88; *он же.* Географические образы мирового развития // *Общественные науки и современность.* 2001. № 1. С. 123–138; *он же.* Феноменология географических образов // *Социологические исследования.* 2001. № 8. С. 12–21; *он же.* Власть пространства // *Вопросы философии.* 2001. № 9. С. 144–154; *он же.* Многоликость современного мира // *Мегатренды мирового развития.* М.: Экономика, 2001. С. 175–183; *он же.* Геополитические образы современного мирового раз-

Несомненно, когнитивный центр АТР – т.е. центр, обеспечивающий максимальное восприятие и принятие этого региона как серьезной реальности – смещен в сторону Азии, причем Юго-Восточной Азии, т.н. «стран южных морей» – что обусловлено и исторически, и культурно. Древние цивилизации региона развивались на территории Южного Китая, Индокитая, современной Индонезии¹. Тихий океан в течение нескольких тысячелетий выступал скорее как барьер, нежели связующее звено в установлении торговых и культурных контактов между странами региона. Поэтому, говоря о значении Тихого океана, как составляющей географического образа АТР, мы вынуждены в большей степени говорить о прибрежных морях Восточной и Юго-Восточной Азии, которые до сих пор являются акваторией наиболее интенсивных экономических и культурных контактов. Таким образом, ядро АТР, в нашем понимании – это Юго-Восточная Азия и, частично, Восточная Азия с прилегающими прибрежными морями. Когнитивной и образной полупериферией АТР, как это ни странно, являются такие экономически развитые страны, как США, Австралия и Новая Зеландия – как в силу известной отдаленности от наиболее оживленных морских путей, так и в силу (что даже более важно) культурной и цивилизационной чуждости большинству стран региона. Когнитивной и образной периферией АТР пока является Россия, чей вектор культурного и политического развития в течение XVII–XX вв. был направлен преимущественно в сторону Северо-Восточной Азии и, немного позднее, Центральной Азии. В течение этих исторических эпох России не хватало ни экономического, ни культурного веса, чтобы достаточно серьезно заявить о себе в пределах Восточной и Юго-Восточной Азии, хотя Центральная Азия, благодаря исследованиям великих русских путешественников второй половины XIX –

вития // *Мировая экономика и международные отношения*. 2001. № 11. С. 10–17; *он же*. Геополитика в XX веке // *Политические исследования*. 2001. № 6 и др.

¹ См.: *История древнего мира*. Тт. I–III. М.: Гл. ред. вост. лит., 1989; *Фицджеральд С.П.* Китай. Краткая история культуры. СПб.: Евразия, 1998.

начала XX вв., была довольно хорошо ментально и культурно освоена. Политическое влияние России в АТР было в течение всего указанного времени – XVII–XX вв. – весьма ограниченным вследствие недостаточных экономических, культурных и военных ресурсов, направленных на освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Характерно, что, хотя Россия вышла к Тихому океану еще в XVII веке, само понятие и географический образ Дальнего Востока сформировались в российских политических документах, научной литературе сравнительно поздно, лишь во второй половине XIX века – до этого и Чукотка, и Камчатка считались частями именно Восточной Сибири¹. Вхождение в состав Российской империи Приамурья и Приморья, военно-стратегическое значение этих регионов стали важными факторами быстрого оформления географического образа Дальнего Востока в репрезентациях российских источников к концу XIX века². Стоит заметить, что Северо-Восточная Азия, имеющая гораздо меньшую культурную и цивилизационную историю, чем АТР в целом, в течение длительного времени не воспринималась как самостоятельный трансграничный географический образ. Это был образ Terra Incognita, периферии Великой Татарии (Тартарии), практически не исследованной, образ конца и края мира в библейском понимании – и в силу подобного рода обстоятельств, образ зависимый, производный от географических образов Европы, европейской цивилизации и России³. Затем, в течение XVIII–XIX вв., в той мере, в какой Россия проводила первичное освоение и заселение территорий Северо-Восточной Азии⁴, данный регион стал восприниматься

¹ Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца XIX века. М., 1982.

² См., например: Кропоткин П. А. Дневники разных лет. М.: «Сов. Россия», 1992; Bassin M. Visions of empire: nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge, 1999.

³ См. в связи с этим: Зимин А. И. Европоцентризм и русское культурно-историческое самосознание. М.: Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2000.

⁴ Сафронов Ф. Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в. М.: Наука, 1978.

уже исключительно как дальняя периферия великой полуазиатской державы, по преимуществу, в политическом и этнографическом контекстах, как символ великого этнографического и природного разнообразия, как составная часть имперской «естествоиспытательской» коллекции диких народов, ландшафтов и достопримечательностей¹.

Построение Транссибирской железнодорожной магистрали в конце XIX – начале XX вв. кардинальным образом изменило когнитивно-географическую ситуацию. Впервые появилась возможность создать, сконструировать, «изобрести» единый географический образ России, не распадающийся на совершенно различные «половинки» Европейской и Азиатской России. В то же время сооружение Транссибирской магистрали имело значение и для ментального развития Европы, непосредственно сближая ее образ с образом Дальнего Востока и Азии в целом. Географический образ России, тем самым, как оказалось, продвинулся на запад, став более европейским. Именно в этом контексте стоит понимать, в первую очередь, первоначальные проблемы формирования географических образов АТР и Северо-Восточной Азии «со стороны России».

Несомненным представляется тот факт, что географический образ российской Северо-Восточной Азии долгое время (XVIII–XIX вв.) не мог быть вычленен, структурирован – как в силу слабой географической изученности этого региона, так и в силу безусловной аморфности самого образно-географического контекста. В рамках динамики образа России это была дальняя окраина Сибири, дикие пустыни в *европейской* когнитивной традиции, так или иначе господствовавшей в структурах представлений образованных социальных слоев (страт) российского общества. Япония, продвигавшаяся постепенно на север в течение XVII–XIX вв., создавала, по всей видимости, свой географический образ Северо-Восточной Азии, тоже не бывший, тем не менее, оригинальным, и в значительной мере,

¹ См. также: *Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the Early Nineteenth Century // The American Historical Review. 1991. Vol. 96. Number 3. P. 763–794.*

по-видимому, копировавший китайскую картину мира с четким выделением культурного центра и варварской периферии¹. Образно-географическое поле Северо-Восточной Азии возникает, в оригинальном смысле, очевидно, лишь к концу XIX – началу XX вв., когда постепенное оформление российского (во многом еще европейского) образа Дальнего Востока² дает толчок, придает ускорение процессам автономного структурирования географического образа Северо-Восточной Азии. Быстро модернизовавшаяся во второй половине XIX – начале XX в. Япония, по всей видимости, также внесла значительный вклад в развитие этой локальной когнитивно-географической ситуации, изменяя постепенно «китайский» по генезису образ «северных территорий» на более европеизированный (в том числе и в картографической традиции) образ, предполагающий вполне закономерное существование каких-то других представлений о регионе, в рамках других ментальных образований³.

Отметим, в связи с вышеизложенным два весьма важных обстоятельства, влияющих до сих пор на процессы формирования географических образов АТР и Северо-Восточной Азии.

Во-первых, динамичная геополитическая ситуация, сложившаяся на Дальнем Востоке к концу XIX – началу XX в., стала мощным фактором формирования единого образа АТР – заметим, что первоначально в его более «северной» интерпретации, связанной с расцветом колониального периода в Восточной Азии. Маньчжурия, Корея, побережье Китая, даже

¹ См., например: *Кин Д.* Японцы открывают Европу. М.: Гл. ред. вост. лит., 1972; *Исаева М.В.* Представления о мире и государстве в Китае в III–VI веках н.э. (по данным «нормативных описаний»). М.: Институт востоковедения РАН, 2000; *Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В.* Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М.: Глав. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1987.

² См.: *Замятин Д.Н.* Историко-географические аспекты региональной политики и государственного управления в России // Регионоведение. 1999. № 1. С. 163–173.

³ См., например: Новое издание Совместного сборника документов по истории территориального размежевания между Россией и Японией. МИД РФ и МИД Японии, 2001.

Внешняя Монголия – не говоря о самой Японии и о российском Приморье – стали важнейшими составными частями первоначального ядра единого географического образа АТР в том виде, как он начал формироваться на заре XX века. Серьезную роль в формировании такого образа АТР, безусловно, сыграли активные политические действия США, вышедших, так или иначе, на колониальную арену к концу XIX в., в том числе в Восточной Азии и северной части Тихого океана. В итоге, ядро постепенно складывавшегося в начале XX века единого географического образа АТР в его «северной» интерпретации сформировалось в результате когнитивного (ментального) взаимодействия, по преимуществу, в политической и экономической сферах, таких держав, как Япония, Россия и США. При этом не следует, конечно, отрицать в формировании первоначального образа АТР значительной роли колониальной политики Великобритании, Франции и Германии.

Во-вторых, вполне очевидно, что географические образы АТР и Северо-Восточной Азии, на этапе их первоначального формирования в конце XIX – начале XX в., имели, по существу, различный когнитивно-географический генезис. Если географический образ АТР изначально формировался как сравнительно разнородный, неоднородный, с включениями различных колониальных дискурсов, господствовавших во внешней политике Японии, США, России, Великобритании и других колониальных держав¹, то географический образ Се-

¹ См.: Europe and its Others / Eds. by F. Barker et al. Colchester, UK: University of Essex, 1985; *De Serteau M.* Heterologies: Discourses on the Others. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986; *Pagden A.* European Encounters with the New World. New Haven, CT: Yale University Press, 1993; *Occidentalism: Images of the West* / Ed. by J.G. Carrier. Oxford: Oxford University Press, 1995; *Said E.W.* Orientalism: Western Conceptions of the Orient. L.: Penguin, 1995; *Чешков М.А.* Глобальный контекст постсоветской России. Очерк теории и методологии мироцелостности. М.: МОНФ, 1999; *Коукер К.* Сумерки Запада. М.: Московская школа политических исследований, 2000; *Макиннес Н.* «Ориентализм»: эволюция понятия // Интеллектуальный форум. 2002. № 9. С. 40–62; в мемуарной прозе: *Адамс Г.* Воспитание Генри Адамса. М.: Прогресс, 1988.

веро-Восточной Азии формировался, по преимуществу, как однородный в содержательном плане, включающем упорядоченные и структурированные представления о регионе как некоей дикой, варварской окраине христианской ойкумены в библейском понимании. Вследствие этого, географический образ Северо-Восточной Азии сравнительно долгое время не мог рассматриваться как, возможно, составная часть образа АТР – это был, скорее образ континентальной, Внутренней Азии, как бы не видящей океана (океанов); образ, замкнутый на самое себя в содержательно-географическом отношении. Иначе говоря, этнографический и природный «привкус» образа этого региона, проявляющийся при попытках его традиционных научных и художественных (в европейском понимании) описаний, был долгое время (вплоть до середины XX века) «лакмусовой бумажкой» несформированности отчетливых и структурированных колониальных или же постколониальных дискурсов. Политические территориальные разграничения между Россией (СССР), Японией и США, проводившиеся в этом регионе в течение XIX–XX вв., не внесли и не могли внести ясность в этот вопрос, поскольку, в значительной мере, были продуктом более масштабных политических решений, ориентированных в образном смысле на европоцентристскую модель мира. Именно в такой когнитивно-географической ситуации решался политический вопрос о государственной принадлежности Курильских островов и Сахалина в первой половине XX века – имея в виду, конечно, геополитический контекст I и II мировых войн¹.

Рассматривая проблемы формирования географических образов АТР и Северо-Восточной Азии, невозможно уклониться от интерпретации этих регионов как трансграничных². Более

¹ Аллисон Г., Кимура Х., Саркисов К.О. От холодной войны к трехстороннему сотрудничеству в АТР. М.: Наука, 1997; Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М.: МОНФ, 1997; Русские Курилы: история и современность. Сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы. Изд. 2-е, расшир. и дополн. М.: Алгоритм, 2002.

² О проблеме формирования географических образов границ и трансграничных регионов см. более подробно (там же библиография вопроса):

того, такая интерпретация позволяет более глубоко исследовать выявленные проблемы. В нашем понимании, трансграничный регион – это достаточно значительная (крупная) территория, обладающая определенным культурно-историческим единством (общность культурной и политической истории, некоторая общность культурных ландшафтов, общность продуцируемых или реконструируемых географических образов), и в то же время концентрирующая, сосредотачивающая максимально возможное в данном случае количество переходных зон в развитии существенных и масштабных явлений (культурных, политических, социально-экономических). Наряду с этим, трансграничный регион – один из наиболее емких географических образов, причем такая значительная образная емкость достигается за счет как действительной концентрации различных явлений на определенной территории, так и за счет использования пограничных переходов в формировании наиболее эффективной структуры самого образа. Существенным является также понимание необязательной в общем случае фиксации, демаркации трансграничного региона как географического образа в традиционных географических координатах, на современной физической или политической карте. Например, географический образ Дальнего Востока, понимаемый как трансграничный регион – репрезентируемый и/или интерпретируемый в каких-либо политических или культурных традициях – может охватывать территориально различные части России, Китая, Японии, Кореи, Монголии, США и, возможно, других стран. При этом, однако, более важным аспектом в формировании структуры образа является использование культурных, цивилизационных, политических переходов, так или

Замятин Д.Н. Феноменология географических образов // Новое литературное обозрение. 2000. № 6 (46). С. 255–275; *он же*. Стратегии репрезентации и интерпретации историко-географических образов границ // Вестник исторической географии № 2. Смоленск: Ойкумена, 2001. С. 4–15; *он же*. Русские в Центральной Азии во второй половине XIX века: стратегии репрезентации и интерпретации историко-географических образов границ // Восток. 2002. № 1. С. 43–64.

иначе фиксируемых этим образом (между традиционными и современными культурами, между пространствами христианства и буддизма, между индустриальной и постиндустриальной экономиками, и т.д.). Именно благодаря процессам подобной ментальной переработки и аккумуляции различных переходов может происходить своего рода когнитивный, или ментальный «дрейф» образа в образно-географическом поле.

Если моделировать единое образно-географическое поле, в котором находятся одновременно географические образы Северо-Восточной Азии и АТР, то следует предусмотреть определенный когнитивный дрейф образа Северо-Восточной Азии в сторону образа АТР. Как возможен подобный когнитивный дрейф? Такой дрейф возможен в ситуации одновременной целенаправленной трансформации обоих образов. Географический образ Северо-Восточной Азии необходимо позиционировать в этом случае как более широкий, более емкий и включающий, например, с точки зрения традиционной географии, всю северную часть Тихого океана, побережье Аляски, Тихоокеанское побережье Канады, российское побережье Северного Ледовитого океана; а с точки зрения содержательной концентрации различного рода переходов вбирающий в себя и перерабатывающий, в частности, проблемы этнокультурного взаимодействия палеоазиатских народов (чукчей, алеутов, айнов и т.д.) с государствообразующими народами-пришельцами. В то же время географический образ АТР должен позиционироваться, несомненно, как более «южный» – с точки зрения традиционной географической карты; смещающийся в сторону Юго-Восточной Азии, а впоследствии, возможно, в сторону Латинской Америки (восток и юго-восток). Наряду с этим, при детальном структурировании образа АТР необходимо использовать образы многочисленных культурных и цивилизационных переходных зон (в том числе, христианство – ислам, мировые религии – традиционные культы и верования, ландшафтные ценности прибрежных и континентальных районов). Когнитивное содержание предлагаемых образных трансформаций – максимальное разведение, отдаление ядер рассматриваемых

образов при очевидном расширении самих образов. Моделируемая образно-географическая экспансия должна вести в итоге к более интенсивному взаимодействию обоих образов – при том, что один образ (Северо-Восточной Азии) не обязательно должен входить в другой (АТР) – скорее, они могут формировать определенный когнитивно-географический континуум, пересекаясь в различных содержательных аспектах (культурных, политических, экономических).

Строго говоря, прогнозирование развития географических образов Северо-Восточной Азии и АТР есть процесс (операция) их структурирования как бы в обратной перспективе (используя термин и понятие о. Павла Флоренского)¹. Такой процесс является, по существу, некоей «иконой», в которой предполагаемые, возможные элементы, структурные компоненты данных образов налагаются, накладываются в ментальном отношении на представления, доминирующие в настоящем, а эти представления, в свою очередь, есть не что иное, как целенаправленно отрефлексированный образ, впитавший события прошлых исторических эпох, локализованных и зафиксированных как исторические протяженности именно данных регионов. В итоге, глубина формирующегося ментально-географического (образно-географического) пространства, «опрокинутого» в будущее, является результатом его содержательного расширения в прошлое. Исходя из этого, в отношении географических образов Северо-Восточной Азии и АТР в XXI веке можно предварительно сказать следующее: эти образы как бы распарывают «полотно», холст европоцентристской образно-географической картины мира, но одновременно процесс их моделирования есть, по сути, вторая, в широком когнитивном смысле, европоцентристская попытка создания своего рода образа «Новой Европы» посреди Тихого океана.

¹ См.: Флоренский П. Иконостас: Избранные труды по искусству. СПб.: Мифрил, Русская книга, 1993. С. 175–183; *он же*. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000.

Глава 11.

Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов и онтологические модели воображения

Введение

Арктика – циркумполярный регион Земли, визуальное воображение которого, с одной стороны, может быть достаточно стереотипным и привычным, опирающимся на многовековую традицию его открытия и освоения преимущественно западными культурами; с другой стороны, это огромная территория с очень разными культурными ландшафтами, складывавшимися и продолжающимися складываться в результате различных индигенных, колониальных и постколониальных практик. Суровые природные и климатические условия, низкие температуры, доминирование холода, снежных и ледяных покровов и темноты в длительные зимние периоды, невысокое разнообразие растительного и животного мира, очень низкая плотность населения и очаговый характер освоения территории, связанный преимущественно с первичным освоением природных ресурсов, наличие множества коренных малочисленных народов, во многом утративших свою традиционную культуру или сохраняющих ее обломки, воспроизводящих частично ее фрагменты в уже принципиально иных социокультурных и цивилизационных контекстах – всё это создает устойчивые визуальные фреймы воображения и восприятия Арктики, так или иначе, постоянно воспроизводящиеся в западных или западноцентричных дискурсах – информационных, деловых, культурных, политических, научных или в сфере искусства. Вместе с тем, в силу своей очевидной экстремальности для обитания и преобладания относительно однообразной цветовой гаммы наряду с визуальным типологическим однообразием доминирующих ландшафтов большую часть года Арктика оказывается

своего рода испытательным полигоном для апробирования тех или иных новых визуальных практик и политик, формируемых как ее постоянными насельниками, так и прибывающими на относительно недолгое время людьми и сообществами.

Методологические и теоретические представления, развиваемые в рамках визуального (или иконического) поворота в социальных и гуманитарных науках¹, позволяют нам говорить о том, что определённые визуальные практики могут быть одним из важнейших аспектов культурных, политических, социальных, экономических практик. В то же время динамичные визуальные репрезентации тех или иных культурных ландшафтов могут выступать не только свидетельством конкретных изменений, или, наоборот, стагнаций в жизни локальных сообществ, но и быть существенным проявлением, феноменом автономных визуальных политик – как на уровне сознательного поведения, так и на уровне бессознательного². Визуальное и визуальности, их репрезентации и интерпретации, онтологическая и феноменологическая специфика становления региональных визуальных практик и политик оказываются ключевыми компонентами геокультурного пространственного анализа.

Геокультурное пространство любого региона или макрорегиона (каковым является Арктика) формируется, как правило, в результате взаимодействия двух фактически слабо отделимых друг от друга элементов – геокультур, развивающихся и действующих на данной территории, и собственно культурных ландшафтов, являющихся одновременно и определёнными уникальными продуктами деятельности конкретных геокультур, и специфическими социокультурными полями, чьи локаль-

¹ Moxey K. Visual Studies and the Iconic Turn // *Journal of Visual Culture*. 2008. Vol. 7. # 2. P. 131–146; Bartmanski D. Modes of seeing, or, iconicity as explanatory notion: Cultural research and criticism after the iconic turn in social sciences // *Sociologica*. 2015. Vol. 9. # 1. P. 1–34; Bertolini M.

² Bottici Ch. *Imaginal Politics: Images Beyond Imagination and the Imaginary*. New York: Columbia University Press, 2014. P. 93–95, 162–167; Shim D. *Visual Politics and North Korea. Seeing is Believing*. London: Routledge, 2014; *Visual Global Politics (Interventions)* / Ed. by R. Bleiker. London: Routledge, 2018.

ные конфигурации способствуют очередным трансформациям соответствующих геокультур¹. Стоит отметить, что динамичные геокультурные пространства складываются, скорее, как результат не строгой симметрии, жестких соответствий между определенными геокультурами и культурными ландшафтами, а значительной асимметрии между ними, существенного несоответствия или зазора, когда та или иная геокультура, расширяясь, перемещаясь или сжимаясь, отступая, оказывается зачастую не в полном культурно-ландшафтном «комфорте», испытывая некоторый дискомфорт и пытаясь преобразовать «под себя» те или иные ландшафтные особенности. Наконец, и сам культурный ландшафт в ситуации вторжения нехарактерной для него ранее геокультуры может стать полем создания какой-то принципиально новой геокультуры. В сущности, любое геокультурное пространство можно рассматривать как динамическую пространственную систему с высокой степенью эмерджентности.

Полноценное развитие геокультурного пространства предполагает формирование своеобразной онтологии воображения, создающей когнитивный «фундамент» для построения соответствующих моделей. Онтологические модели воображения характеризуют возможности расширенной репрезентации и интерпретации культурных ландшафтов какого-либо региона, в рамках которых вырабатываются специфические «коды» геокультурного воображения². Геокультуры, вновь и вновь воссоздавая своей деятельностью уникальные культурные ландшафты, постепенно обретают в типологическом ракурсе «канонические» онтологии воображения, призванные воспроизводить основные дискурсы пространственного вос-

¹ *Wallerstein I.* Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge: Cambridge University Press, 1991; *Wallerstein I.* After Liberalism. New York: New Press, 1995; *Voskopulos G.* Western Europe and the Balkans: A Geo-Cultural Approach of International Relations? // Perspectives. Winter 2001/2002. Vol. 17. P. 30–42; *Замятин Д.Н.* Геокультура: образ и его интерпретации // Социологический журнал. 2002. № 2. С. 5–13.

² *Замятин Д.Н.* Геоспациализм. Онтологическая динамика пространственных образов // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. 2011. С. 21–28.

приятия. Естественно, что подобные онтологии воображения опираются во многом именно на хорошо разработанные визуальные дискурсы, закрепляющие также привычные стереотипы ландшафтного восприятия. В ходе анализа онтологических моделей воображения выявляются также и феноменологические особенности становления самих геокультур и культурных ландшафтов.

Визуализация культурного ландшафта: базовые установки

Культурный ландшафт можно рассматривать как по преимуществу визуальный феномен, хотя в формировании его репрезентаций принимают участие, как правило, и географические образы, и локальные мифы, и те или иные проявления территориальных идентичностей. Визуальность культурного ландшафта представляет собой сложное образование, в котором собственно зрительные реакции и рефлексии оказываются продуктом и результатом множественного и «стратиграфического» воображения (одновременно и индивидуального, личностного, и коллективного, группового)¹. Такое культур-

¹ *Tuan Y. F.* Thought and landscape: The eye and the mind's eye // The interpretation of ordinary landscapes: geographical essays / Ed. by D. W. Meinig. New York : Oxford University Press, 1979. P. 89–102; *Lash, S., Urry, J.* Economies of Signs and Space. London: TCS/Sage, 1994; *Bergin, J., Price, C.* The travel cost method and landscape quality // Landscape Research. 1994. No. 19. P. 21–23; *Lothian, A.* Landscape and the philosophy of aesthetics: is landscape quality inherent in the landscape or in the eye of the beholder? // Landscape and Urban Planning. 1999. No. 4. P. 177–198; *Daniel, T. C.* Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century // Landscape and Urban Planning. 2001. Vol. 1-4. No. 54. P. 267–281; *Nohl W.* Sustainable landscape use and aesthetic perception preliminary reflections on future landscape aesthetics // Landscape and Urban Planning. 2001. No. 54. P. 223–237; *Davidson, J., Bondi L., Smith, M.* Emotional Geographies. Ashgate, Aldershot, 2005. *Benediktsson, K.* Scenophobia, geography and the aesthetic politics of landscape // Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 2007. Vol. 89. No. 3. P. 203–217; *Lothian A.* Scenic perceptions of the visual effects of wind faros on south Australian landscapes // Geographical Research. 2008. No. 46. P. 196–207; *Falk J. H.; Balling J. D.* Evolutionary Influence on Human

но-ландшафтное воображение (или, вернее, воображения – коль скоро ландшафт изначально выявляется как фрагментарная и фрактальная множественность) включает любые акты первичных зрительных восприятий в складывающиеся «как бы под них» ментальные паззлы или фреймы, имеющие экзистенциальную составляющую. Панорама города, горная долина, морской пляж, сельская улица – практически любое, казалось бы, типовое зрительное впечатление опирается на соответствующую – и всегда разную, в зависимости от самого взгляда – онтологию воображения, продуцирующую, в свою очередь, экзистенцию конкретной ландшафтной визуальности.

Процедуры визуализации культурного ландшафта – будь то целенаправленный процесс или же случайные, спонтанные акты (например, фото понравившегося вида или события на смартфон во время прогулки) – завязаны на актуализацию того или иного геокультурного слоя (страты), который оказывается ре-активным в определённой ландшафтной ситуации. Повседневная жизнь, обыденные привычные события становятся ландшафтным фоном, и сам ландшафт в его визуальных аффектах проявляет себя зачастую как «экзотическое» событие. Визуализация культурного ландшафта может стать и концептуальной экзистенциальной проблемой, когда почти любая мелкая ландшафтная деталь рассматривается «носителем» конкретного геокультурного «взгляда» на метауровне, в пределах которого те или иные хорошо известные « типовые » значения этих деталей будут встроены в совершенно иную, непривычную или необычную онтологию воображения. В этом случае вполне возможно возникновение конфликта ландшафтных воображе-

Landscape Preference // *Environment and Behavior*. 2010. No. 42. P. 479–493; Petrova E.G., Mironov Yu.V., Aoki Yo., Matsushima H., Ebine S., Furuya K., Petrova A., Takayama N. and Ueda H. Comparing the visual perception and aesthetic evaluation of natural landscapes in Russia and Japan: cultural and environmental factors // *Progress in Earth and Planetary Science*. 2015. Vol. 2. No. 1. P. 1–12; Muñoz-Pedreiros A. The visual landscape: an important and poly conserved resource // *Ambiente & Sociedade*. 2017. Vol.20. No.1. São Paulo. P. 165–182; Замятин Д.Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук // *Социологическое обозрение*. 2010. Т. 9. № 3. С. 26–50.

ний, принадлежащих к различным геокультурным традициям и имеющим разные геокультурные установки¹.

Культурные ландшафты Арктики и деколонизация взгляда

Геокультурное пространство Арктики в его визуально-дискурсивном измерении является крайне сложным, поскольку мощная традиция «колониального взгляда» вкупе с усиливавшейся в последнее время тенденций к анализу постколониальных практик и к деколонизации различных арктических дискурсов создаёт довольно противоречивое, амбивалентное дискурсивное поле актуальных визуальных практик и политик². В связи с этим комплексный анализ должен опираться, в первую очередь, на сами смещения и «зазоры», возникающие по мере расхождения визуальных практик, характерных для геокультур, действующих на арктических и северных территориях. Кроме того, следует учесть, что геокультуры коренных малочисленных народов Арктики вынуждены, как правило, репрезентировать себя в визуальном отношении, в основном, посредством различных типов медиа и соответствующих визуальных дискурсов, созданных и разработанных не ими, а геокультурами, пришедшими на эти территории сравнительно недавно и формировавшимися в совершенно иных условиях (как правило, гораздо южнее)³.

¹ Pratt M. L. *Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation*. London and New York, Routledge, 1992; *Landscape, Seascape, and the Eco-Spatial Imagination* / Edited By Simon C. Estok, Jonathan White, I-Chun Wang. New York: Routledge. 2016.

² *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory – A Reader* / Edited and introduced by Patrick Williams and Laura Chrisman. New York: Columbia University Press, 1994; *Grovogui, S. N. Postcolonialism* // Dunne, Tim; Kurki, Milja; Smith, Steve (eds). *International Relations Theories – Discipline and Diversity*. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 247–266; *Hanrahan M. Enduring polar explorers' Arctic imaginaries and the promotion of neoliberalism and colonialism in modern Greenland* // *Polar Geography*. 2017. 40(1). P. 1–19.

³ *Шартье Д. (2017) Что такое воображение Севера? // Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования / Под общей редакцией Д.Н. Замятина и Е.Н. Романовой. М.: Канон+. С. 13–28.*

В визуальном отношении культурные ландшафты многих, если не большинства арктических территорий представляют собой довольно хаотическую «картину», состоящую из исторически очень разнородных элементов, которые можно вообразить и воспринимать как в постмодернистском, так и в каких-либо альтернативных контекстах. Мощная модернистская подоснова арктических ландшафтов, связанная, естественно, с колониальным взглядом и классическим колониалистским дискурсом¹, в настоящее время продолжает оставаться визуально яркой, свидетельствующей о продолжающемся воспроизводстве пространства, ориентированного, прежде всего, на разработку природных ресурсов. Однако визуальные политики модернистского толка, работающие чаще всего с ментальными концептами освоения, преодоления, завоевания, проникновения, достижения (по сути, «фаустовскими» концептами в терминологии О. Шпенглера), оказываются также удобным имажинальным полигоном для наложения различного рода посмодернистских оптик, направленных на создание и производство текстуально-визуальных «картинок», продвигающих Север и Арктику в сферах туризма, массовой культуры и медиа (таковы во многом более традиционные дискурсы кино и видео, тогда как современное и актуальное искусство, уходя иногда от сложившейся в течение XIX–XX веков живописно-графической иконографии, пытается репрезентировать специфику арктической ландшафтной экзистенции за пределами популярных модернистских концептов)².

Попытки деколонизации привычного «западного» взгляда на арктические ландшафты, важные, прежде всего, для самой концепции деколонизации и постколониального поворота, обнаруживают, с одной стороны, стремление к показу «вну-

¹ Hanrahan M. Enduring polar explorers' Arctic imaginaries and the promotion of neoliberalism and colonialism in modern Greenland // *Polar Geography*. 2017. 40(1). P. 1–19.

² *Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives* / Ed. by Svein Aamold, with Elin Haugdal and Ulla Angkjær Jørgensen, afterword by Ruth B. Phillips, Aarhus: Aarhus University Press, 2017.

тренней» жизни сообществ коренных малочисленных народов Арктики и её экзистенциального наполнения (особенно этнографическое и антропологическое кино и фотография), а, с другой стороны, зафиксировать саму возможность «туземного», индигенного взгляда на ландшафты, чья потенциальная автохтонная историчность была утрачена в ходе интенсивной модернизации Севера и Арктики в течение всего XX века¹. Ключевым моментом в формировании подобного деколонизирующего взгляда оказалась ситуация непосредственной визуальной работы с арктическими «руинами» и процессами руинирования и их осмысления, связанных с исторической неустойчивостью самого освоения Арктики в эпоху Модерна (локальные упадки моноиндустриальных городов и поселений в результате выработки полезных ископаемых или же более масштабные, резкие демографические, социальные и экономические отступления и регрессии, связанные с общим упадком страны, осваивающей арктические территории – здесь очевиден свежий пример постсоветской России)². Кроме того, в ракурсе подобного деколо-

¹ В этом контексте в современном российском этнографическом кино наиболее интересны фильмы Андрея, Ивана и Владимира Головневых.

² *Замятина Н.Ю.* Арктические города между Сциллой и Харибдой // <https://goarctic.ru/live/arkticheskie-goroda-mezhdu-stsilloy-i-kharibдой/>; Dybbroe S. Is the Arctic really urbanising? // *Études/Inuit/Studies*. 2008. Vol. 32(1). P. 13–32; *Dybbroe S., Dahl J., Müller-Wille L.* Dynamics of Arctic urbanization // *Acta Borealia*. 2010. 27(2). P. 120–124; *Saxinger G., Petrov A., Krasnoshtanova N., Kuklina V., Carson D.A.* Boom back or blow back Growth Strategies in mono-industrial resource towns – ‘east’ and ‘west’ // *Settlements at the Edge: Remote Human Settlements in Developed Nations* / Eds. by Taylor A., Carson D.B., Ensign P.C., Huskey L., Rasmussen R.O., Saxinger G. Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2016. P. 49–75; *Nyseth T.* Arctic Urbanization: Modernity Without Cities // *Arctic Environmental Modernities. From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene* / Ed. by Körber L.-A., MacKenzie S., Stenport A.W. London: Palgrave Macmillan, 2017. P. 59–70; *Reisser C.* Russia’s Arctic Cities: Recent Evolution and Drivers of Changes // *Sustaining Russia’s Arctic Cities: Resource Politics, Migration, and Climate* / Ed. by Robert W. Orttung. New York, Oxford: Berghahn Books, 2017. P. 1–25; *Heleniak T.* Boom and Bust: Population Change in Russia’s Arctic Cities // *Sustaining Russia’s Arctic Cities: Resource Politics, Migration, and Climate* / Ed. by Robert W. Orttung. New York, Oxford: Berghahn Books, 2017. P. 67.

ниального взгляда попали и руины традиционных поселений коренных народов Арктики, возникшие в результате насильственных переселений, организованных центральными властями (характерные примеры – российская и канадская Арктика). Так или иначе, визуальная материальность арктических ландшафтов становится почвой для весьма разнообразных, гетерогенных оптик и визуальных политик, чьи совмещения и сосуществования способствуют пониманию и интерпретации геокультурного пространства Арктики как зоны интенсивного визуально-экзистенциального эксперимента, имеющего значение не только для самой Арктики, но и для других регионов Земли.

Онтологические модели воображения, геокультура и визуальность

Онтологические модели воображения формируются, как правило, в рамках довольно продолжительных исторических длительностей (по Фернану Броделю); именно они определяют «тонкие» структуры воспроизводства как геокультур, так и культурных ландшафтов в конкретную историческую эпоху. Роль визуальности и визуального в таких моделях обусловлена доминированием и господством визуальных репрезентаций культурных ландшафтов, дискурс которых (по происхождению – западный, европейский) напрямую связан с онтологизацией визуального. Воображение в процессе своей собственной онтологизации как бы захватывает непосредственные первичные визуальные восприятия внешнего мира, перекрывая тем самым когнитивные возможности интенсивной ментализации дихотомии внешнее / внутреннее; следствием и результатом такого развития становится создание «автохтонных» визуальных образов, чей пространственный характер фиксируется через и посредством серийных онтологических различий, географических vs топографических дифференциаций, утверждающих непрерывное отождествление феноменологических расширений.

Географическое (геокультурное) воображение оказывается онтологической реальностью, которая моделируется как бы в режиме «здесь-и-сейчас»; в свою очередь, подобное моделирование становится органической, неотъемлемой частью любой геокультуры, транслирующей свои образы. Визуальности, пребывая в качестве онтологической «самости» геокультуры в типологическом смысле, как таковой, в то же время постоянно прибывают, увеличиваются, приращиваются феноменологически, образуя своего рода гибридную реальность, чей онтологический статус остаётся под вопросом, является спорным и пограничным; в рамках этой гибридной реальности могут формироваться те или иные, зачастую амбивалентные визуальные политики, генетически принадлежащие различным геокультурам. Визуальность конкретного культурного ландшафта проявляется как, по сути, ризоматическая онтологическая множественность геокультурных воображений, ретерриторизирующих всякий предыдущий опыт пространственной феноменологии.

Итак, онтологическое моделирование воображения предполагает рассмотрение культурных ландшафтов как визуальных реальностей, что не отрицает наличие также звуковых, тактильных и иных сенсорных реальностей, связанных с культурно-ландшафтными репрезентациями¹. Процедуры визуализации культурных ландшафтов опираются на включение любого условного наблюдателя или автора соответствующих визуальных репрезентаций в автохтонное геокультурное пространство, даже если этот наблюдатель / автор не принадлежит к автохтонным геокультурам. Подобное допущение основывается на примате геокультурной онтологизации любой визуальности, целенаправленно репрезентирующей тот или иной ландшафт – иначе говоря, реальность ландшафта обусловлена

¹ Kaymaz I. C. Landscape Perception // Landscape Planning / Ed. by M. Ozyavuz. London: IntechOpen, 2012. P. 251–276; Bryan C. Pijanowski, Luis J. Villanueva-Rivera, Sarah L. Dumyahn, Almo Farina, Bernie L. Krause, Brian M. Napoletano, Stuart H. Gage and Nadia Pieretti. Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape // BioScience. 2011. Vol. 61. No. 3. P. 203–216.

имеющимися в наличии «здесь-и-сейчас» визуальными репрезентациями, моделирующими возможности любых феноменологических расширений, добавлений или дополнений. Таким образом, геокультурная реальность, становящаяся своими культурными ландшафтами, может онтологизироваться как условно «северная», «южная», «северо-восточная» или какая-то иная вне зависимости от геокультурного происхождения самого наблюдателя / автора визуальных репрезентаций и потенциальных интерпретаций. Одним из важных следствий подобного допущения является фактическое признание феноменологической равноценности как колониального, так и деколонизирующего взгляда, поскольку оба они фиксируют определённые онтологические процессы опространствления воображения, закрепляющего также временность и релятивность любой точки зрения.

Визуальные репрезентации Арктики: от экзотизма к постэкзотизму

Визуализации культурных ландшафтов Арктики во многом связаны с феноменами экзотизма и постэкзотизма¹. Так же, как и в случае других регионов Земли, интенсивно открывавшимися, колонизировавшимися и осваивавшимися западными культурами, Арктика подверглась мощной экзотизации, в том числе визуальной посредством различных видов медиа, являвшейся, безусловно, составной частью более масштабного колониального дискурса и «колониального взгляда»². Тем

¹ *Forsdick Ch.* Victor Segalen and the Aesthetics of Diversity: Journeys between Cultures. Oxford: Oxford University Press, 2001; *Huggan G.* The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. London and New York: Routledge, 2001.

² *Therkelsen A., Halkier H.* Umbrella Place Branding A Study of Friendly Exoticism and Exotic Friendliness // Coordinated National Tourism and Investment Promotion. Discussion Paper No. 26/2004. Aalborg: Aalborg University; SPIRIT School for Postgraduate Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality, 2004; Arctic Discourses / Edited by Anka Ryall, Johan Schimanski, and Henning Howlid Wærp. Newcastle: Cambridge

не менее, как экзотизм, так и коррелирующий с ним ориентализм обладали определённой дискурсивной автономией, формировавшейся на основе преимущественно эстетических или же экзистенциальных положений, являвшихся результатом того или иного эмпирического опыта вживания в конкретный «туземный мир» и одновременного опыта выработки ментальной и эстетической дистанции по отношению к этому миру (то, что можно было бы назвать операцией дизъюнктивного коннективного синтеза по Делезу и Гваттари)¹. Арктичность как некая метафизическая, метагеографическая и экзистенциальная категория или концепт могла мыслиться как своего рода эстетически-экстатическая квинтэссенция, характеризующая не только специфику колониального видения приполярных территорий, но и особенности генезиса новых геокультурных практик и новой арктической геокультуры.

В эпоху глобализации, в ситуации очевидного онтологического кризиса Модерна, развития постмодернистских и иных альтернативных концепций развития человеческих сообществ процессы экзотизации Другого и иных миров перерастают и превращаются, скорее, в постэкзотические процессы, направленные на создание ментальных процедур самодистанцирования по отношению к тем или иным обстоятельствам и условиям длительного геокультурного становления². Это означает,

Scholars Publishing, 2010; *Loftsdóttir K.* The Exotic North: Gender, Nation Branding and Post-colonialism in Iceland // *NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.* 2015. 23(4). P. 246–260; *Arcticness: Power and Voice from the North* / Edited by Ilan Kelman. London: UCL Press, 2017.

¹ Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010; *де Кастру Э. В.* Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии Серия «Новая антропология». Рубежи постструктурной антропологии М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 74.

² Концепт постэкзотизма первоначально возник и развивался в рамках художественной литературы, в произведениях французского писателя Антуана Володина, начиная с 1990-х гг. К началу 2010-х гг. этот термин стал активно использоваться в литературоведении, а затем и в антропологии. На данный момент пока не существует общепризнанного определения этого феномена. Тем не менее, можно утверждать, что постэкзотизм – это

что представители разных арктических геокультур (коренные народы Арктики; пришлые поселенцы, полностью освоившиеся в течение нескольких поколений на арктических территориях; люди, периодически постоянно живущие и работающие вахтовым методом в Арктике на предприятиях добывающей промышленности) оказываются, чаще всего, в ситуации, похожей на психологическую ловушку *double bind*, двойной связи, впервые описанной Г. Бейтсоном применительно к опытам лечения шизофрении¹. Конечно, в данном случае речь идёт лишь об аналогии: так, представители коренных народов Арктики, оказываясь по ходу процессов деколонизации и выработки постколониального видения в двойственной ситуации доминирования / подчинения одновременно, часто пытаются воссоздавать целостные фрагменты утраченного во многом ранее традиционного образа жизни (например, чукчи и эскимосы на Чукотке, восстановившие традиционную морскую охоту на китов в течение 1990-2000 гг., которая была запрещена в советскую эпоху), иногда с помощью совершенно иных пост-традиционных технологий, автоматически наращивая при этом рефлексивные процедуры самоэкзотизации по отношению к собственной геокультуре, и в то же время частично формируя своего рода вторичный колониальный взгляд на все другие геокультуры, более поздние по отношению к его геокультуре².

совокупность социокультурных процессов, развивающихся в деколонизирующихся и постколониальных сообществах и характеризующихся значительными трансформациями в восприятии и воображении «других» – как представителями коренных народов, так и представителями пришлых поселенцев, см.: *Elie S. D.* The Production of Social Science Knowledge beyond Occidentalism: the quest for a post-exotic anthropology // *Third World Quarterly*. 2012. Vol. 33. # 7. P. 1211–1229; *Vallorani N.* 2016. *Sidelong Thinking: Disobedient Geographies and Subaltern Cultures* // *Altre Modernità*. Vol. 16. P. 120-133. <https://doi.org/10.13130/2035-7680/7844>.

¹ *Бейтсон Г.* Экология разума: Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии / Пер. Д. Я. Федотова, М. П. Папуша; вступ. ст. А. М. Эткинды. М.: Смысл, 2000.

² Здесь возможно “зеркальное” копирование и воспроизводство представителями коренных народов в ходе борьбы за свои права колониальных дискурсов, принадлежавших ранее пришлым поселенцам. В то же время

В свою очередь, представители пришлых поселенцев, давно освоившихся в Арктике и являвшихся длительное время репрезентантами колониального взгляда на автохтонные культурные ландшафты, могут оказаться, с одной стороны, объектом постэкзотической ностальгии в глазах новых иммигрантов или туристов (например, жители сёл Русское Устье и Чокурдах в низовьях реки Индигирки в Якутии, которые рассматриваются как субэтническая группа русских – *русскоустыинцев*), а, с другой стороны, они могут рассматриваться теперь уже представителями коренных арктических народов как объект традиционного экзотизма колониального происхождения, способствуя тем самым формированию их новых постэкзотических идентичностей.

Экзистенциальная ситуация постэкзотизма, типологически характерная для арктических регионов, является полем онтологизации множественных визуальных практик, закрепляющих ризоматические процедуры геокультурных различий как специфические фреймы или матрицы потенциальных геокультурных идентичностей, укореняющих эти различия, дифференциации с помощью транслокальных медиа (прежде всего в социальных сетях). Фрактальные локализации, становящиеся обыденной повседневностью для большинства арктических мобильностей, фиксируют также иммерсивность по-

стремление коренных жителей к восстановлению своих исходных механизмов адаптации в геокультурном пространстве может носить признаки причудливости или же «избыточности»; см.: *McIntosh I. S. Reconciling Personal and Impersonal Worlds: Aboriginal Struggles for Self-Determination // At the risk of being heard: Identity, indigenous rights and postcolonial states / Edited by Dean, Bartholomew and Jerome M. Levi. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003. P. 293–324; Thisted K. Imperial ghosts in the North Atlantic: Old and new narratives about the colonial relations between Greenland and Denmark // (Post-)colonialism across Europe: Transcultural history and national memory / Edited by Dirk Göttsche and Axel Dunker. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2014. P. 107–344; Kaganovsky L. The Negative Space in the National Imagination: Russia and the Arctic Pages // Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene / Edited by Lill-Ann Körber, Scott MacKenzie and Anna Stenport. London: Palgrave Macmillan, 2017. P. 169–182.*

стэкзотического арктического опыта, рассматриваемого как заранее дистанцированная ментальная реальность. Природное, этнографическое, социальное, культурное своеобразие арктических территорий и мест проявляется как постэкзотика самих процессов визуализации, в которых конкретный культурный ландшафт всякий раз «изобретается» под вновь становящуюся «здесь-и-сейчас» геокультурную идентичность актора-медиума, чья арктичность репрезентируется как самодистанцирование от улавливаемой и удерживаемой территориальной экзистенции.

Северо-восточная Чукотка как полигон полевого визуального исследования

Целью экспедиции было полевое феноменологическое изучение арктических культурных ландшафтов региона, ориентированное в первую очередь на специфику зрительного воображения и визуального репрезентативного дискурса.

Главные задачи, которые я сформулировал перед своим исследованием, были следующие: 1) выявить ключевые ландшафтные ассамбляжи Северо-Восточной Чукотки; 2) описать субстанциальные основы (геокультурные и постколониальные особенности) формирования подобных ассамбляжей; 3) выделить и кратко охарактеризовать базовые визуальные диспозитивы этого арктического региона; 4) попытаться обнаружить визуальную специфику деколонизации изученных ландшафтов.

Российская Арктика, являясь в ландшафтном отношении крайне разнообразной, естественным образом способствует формированию различных визуальных дискурсов и визуальных политик¹. Конечно, очень часто это зависит от коренных наро-

¹ Арктика!!! Каталог. М.: Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Московский дом фотографии, 2007; *Крупник И.И., Михайлова Е.А.* Эскимолог Александр Форштейн (1904–1968) // Тропюю Богораза. Научные и литературные материалы. М.: Институт наследия – ГЕОС, 2008. С. 32–44; Наши льды, снега и ветры народные и науч. знания о ледовых ландшафтах и климате Восточной Чукотки; сост. и ред. Л. С. Богословская, И. И. Крупник. М.; Вашингтон: Ин-т Наследия, 2013.

дов, живущих на данных территориях; от специфики истории, степени и характера их освоения российскими поселенцами – политической, экономической, культурной; и от вовлеченности этих территорий в процессы интенсивной аккумуляции, культурного, социального и демографического обмена с другими российскими регионами, а также глобализации. Понятно, что удаленные друг от друга российские арктические территории – например, Мурманская область, Таймырский автономный округ, Чукотка – несмотря на очевидную похожесть с точки зрения экстремальности природных условий, имеют множество отличий, создающих тем самым крайне дифференцированное поле актуальных и возможных визуальных дискурсов. Тем не менее, общий генезис их исторического прошлого в рамках Российской империи и Советского Союза, связанный с феноменологическим дискурсом колонизации окраин, определяет возможности применения постколониальной теории и методологии, а особенности современной социальной и экономической политики Российской Федерации в Арктике позволяют говорить о первоначальной общности «пучка» территориальных идентичностей, связанных с типологически сходными геокультурами и культурными ландшафтами.

В качестве case-study я предлагаю рассмотреть северо-восточную Чукотку, на территории которой в июле 2016 года была проведена экспедиция Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск), в которой принимали участие Дмитрий Замятин (руководитель), Софья Гаврилова и Николай Смирнов. Целью экспедиции было полевое изучение арктических культурных ландшафтов этого региона, ориентированное, прежде всего, на специфику их визуального воображения и дискурсов визуальных репрезентаций. Маршрут экспедиции включал в себя г. Анадырь, села Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун и поселок городского типа Провидения, а также объекты культурного наследия «Наукан» и «Мыс Дежнева». В ходе экспедиции было сделано большое количество фото- и видеофиксаций ландшафтов Чукотки. В своём анализе я буду опираться на мой личный архив экспедиционных фотографий.

В зону нашего визуального исследования попали сравнительно слабо хозяйственно освоенные прибрежные территории Берингова и Чукотского морей¹. Образ жизни населения изученных нами населенных пунктов во многом связан с природными ритмами, собирательством (травы, грибы и ягоды), охотой (морская охота на китов, моржей и тюленей) и рыболовством. В этническом отношении большинство жителей составляют чукчи, эскимосы и русские. Эскимосы и чукчи являются древними насельниками Чукотки, тогда как русские начинают проникать сюда, начиная с XVII века. Нас в первую очередь интересовали представители коренных народов (чукчи и эскимосы), их взаимодействие с ландшафтом. Под культурным ландшафтом здесь понимается освоенное человеческими сообществами культурно и символически пространство, репрезентированное, в том числе преимущественно визуально, теми или иными знаковыми местами. С одной стороны, деятельность чукчей и эскимосов во многом определяет визуальную экзотичность данной территории; с другой – интересна как яркий пример региональной постколониальной ситуации, характеризующейся специфическими визуальными маркерами. Общение в ходе экспедиции со многими коренными жителями северо-восточной Чукотки помогло понять геокультурную специфику этого региона, проблемы его развития (не только экономические, социальные и культурные, но и психологические). Мы не занимались социологическими опросами или сбором интервью; это общение имело для нас важный феноменологический смысл, позволяя более точно проанализировать те или иные визуальные аспекты формирования местных ландшафтов. Благодаря помощи местных жителей нам удалось побывать на охоте на китов и близко познакомиться с морскими охотниками, увидеть также места покинутых традиционных поселений. Прежде всего, мое личное исследование было сосредоточено на выявлении ключевых ландшафтных ассамбляжей и основных

¹ Ориентиры развития Берингии в XXI веке // Труды ЧФ СВКНИИ ДВО РАН. Магадан, 2004.

визуальных диспозитивов, формирующихся в результате деятельности местного населения¹.

Мой полевой опыт визуального исследования культурных ландшафтов Северо-восточной Чукотки пришелся на летнее время, что обуславливает его сезонную специфику. Внешнее визуальное воображение Арктики во многом привязано к зимнему сезону, когда зимний и ледовый покровы, низкие температуры, темнота создают своеобразную экзистенциальную атмосферу, способствующую формированию базовой онтологической модели воображения арктических регионов². Тем не менее, летний сезон здесь также может стать источником серьезных феноменологических наблюдений, связанных с большей подвижностью населения и с большим разнообразием повседневных практик. Кроме того, условия естественного освещения в это время года и основные цветовые характеристики пейзажа позволяют наметить визуальные фокусы, выявляющие глубинные, имманентные черты местных культурных ландшафтов, которые типологически могут трансцендироваться далее и как онтологические.

Прежде всего, стоит оговорить принципиальную множественность визуальных репрезентаций чукотских ландшафтов, не привязанных жестко к очевидным содержательным темам

¹ Общий проект экспедиции и полевого исследования побережья Северо-Восточной Чукотки был разработан мной как руководителем Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики. Вместе с тем, каждый из участников экспедиции был достаточно автономен, разработав собственные локальные задачи исследования. Естественно, постоянное общение в ходе экспедиции помогало каждому из нас более эффективно решать собственные задачи.

² *Замятин Д. Н.* Геокультурное пространство Арктики: онтологические модели воображения // В кн.: Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования / Под общ. ред.: Д. Н. Замятин, Е. Н. Романова. М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. Гл. 3. С. 28–37. *Замятин Д. Н.* Арктические геокультуры: ландшафт, сопостранственность и онтологические модели воображения // В кн.: Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования / Под общ. ред.: Д. Н. Замятин, Е. Н. Романова. М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. Гл. 5. С. 81–92.

(которые, конечно, есть, но не являются онтологическим ядром ключевых визуальных репрезентаций). Такая множественность, ризоматичность (в терминологии Делеза и Гваттари) опирается на процедуры постоянной ретерриторизации вновь становящихся и распадающихся ландшафтов, представляющих собой недолговременные сборки, ассамбляжи, состоящие из различных разномасштабных тел, вещей, объектов, сущностей материального и ментального происхождения¹. Например, визуальность села Лаврентия, в котором мне довелось провести довольно долгое время, формируется с помощью совершенно разных, не совпадающих друг с другом множественных визуальных репрезентаций, которые как бы растягивают, «растворяют» собственное, довольно небольшое физически пространство этого населенного пункта на фоне объектов, предметов и тел, принадлежащих, с одной стороны, морю, морским образам и субстанциям (поскольку село находится на берегу Берингова моря), а, с другой стороны, пространству тундры, окружающих село сопкам, различных геоморфологических форм рельефа и соответствующих им оптических панорам. В то же время, жители села Лаврентия, благодаря своей высокой локальной мобильности и завязанности на множество мелких повседневных территориальных практик вне территории села или около него, способствуют формированию «мелкоячеистых» фрагментированных культурных ландшафтов, вновь и вновь «собирающих», ретерриторизирующих это место.

Картографии воображения Северо-восточной Чукотки представляют собой «ризому», в которой море и тундра, сопки и моржи, туманы и вездеходы, китовые «кладбища» и руины старых эскимосских поселений, пограничный контроль и обилие летних снежников, новые домики «канадского типа» и китовые гарпуны, традиционные камлейки и иностранные туристы создают масштабные ассамбляжи, чьи визуальные репрезентации представляют собой линии уклонения, ускользания от типичных «древовидных», бинарных противопоставлений природа –

¹ Деланда М. Новая философия общества: Теория ассамбляжей и социальная сложность. Пермь: Гиле Пресс, 2018. С. 18–20, 53.

культура, цивилизация – варварство, традиционное – современное, коренные жители – иммигранты, город – сельская местность. Геокультуры этого региона являются безусловным эклектическим смешением, перемешиванием очень разных образов жизни, мобильностей, архаических и постсовременных практик. Постэкзотизм подавляющего большинства местных культурных ландшафтов базируется на вторичной визуальной кодификации ключевых фрагментов картографии воображения Чукотки, акцентирующей и сосредотачивающей внимание на постоянно повторяющейся ретерриторизации разнородных ландшафтных ассамбляжей, ориентированных на детерриторизацию практически любых попыток калькирования и закрепления визуальных дискурсов внешнего происхождения.

Ключевые ландшафтные ассамбляжи Северо-восточной Чукотки

Геокультурное пространство побережья Северо-восточной Чукотки представляет собой ризоматическую множественность сопостранственных культурных ландшафтов, чьи визуальные репрезентации можно рассматривать как накладывающиеся, просвечивающие друг сквозь друга «голограммы». Такие «голограммы» сосуществуют, создавая оригинальные экзистенциальные пространственности, имеющие часто своей основой одно и то же физическое место, иногда те же субстанции, тела и предметы, однако развивающие совершенно отдельные, самостоятельные картографии воображения¹. Можно сказать даже, что эти ландшафтные ассамбляжи пронизывают друг друга без

¹ Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2008; Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010; Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000; Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: ПОСТУМ, 2015; Jameson F. Cognitive Mapping // Nelson C. and Grossberg L. (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1988. P. 347–358; Flatley J. Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

какого-либо ментального или материального взаимодействия, формируя автономные визуальные направления, линии имажинальных интенсивностей и аффектов.

Попробуем в первом приближении выделить ключевые ландшафтные ассамбляжи, оказавшиеся наиболее визуально интенсивными в моих полевых практиках.

Первый из них – это ассамбляж морской охоты, визуально охватывающий прибрежные воды Берингова и Чукотского морей, а также полевые базы морских охотников и побережья крупных сел и поселков, где часто производится разделка и распределение добычи. На мой взгляд, это одновременно и наиболее постэкзотичные, и наиболее пограничные и мобильные культурные ландшафты северо-восточной Чукотки. С одной стороны, здесь можно наблюдать крайне необычные для внешнего зрителя визуальные сцены самой охоты (мне довелось быть непосредственным зрителем двух охот на серого кита в районе села Лаврентия), включающие погоню за замеченным в море китом, его загарпунивание, расстреливание из охотничьих карабинов и затем буксирование в родное поселение. С другой стороны, сам образ жизни морских охотников, их экипировка и охотничьи навыки, предполагающие высокую мобильность и специфические умения, включая метание гарпуна и разделку добычи (в данном случае – кита), оказываются практиками ускользающих детерриторизаций, когда ландшафтные ассамбляжи конкретных морских охот предстают относительно кратковременными визуально-аффективными «вспышками», почти ритуально многократно повторяющимися в течение охотничьего сезона (в ходе которого охоту на кита сменяет охота на моржей, а затем и на тюленей)¹. Наконец, относительную эфемерность такого гетерогенного, почти кочевнического ассамбляжа подчеркивают и постоянные, внешне кажущиеся хаотическими и мало объяснимыми перемещения морских охотников из села на полевую базу, спорадические

¹ Яценко О. «Смотри и учись»: молодые чукотские и эскимосские охотники сёл Лорино и Сиреники 2010-х гг. // Лицом к морю. Памяти Людмилы Богословской / Сост.; Отв. ред. И.И. Крупник. М., 2016. С. 191–214.

или внезапные выходы в море и возвращения (зависящие от крайне изменчивых погодных условий – облачности, ветра, волнения, шторма и т.д.), создающие «кентаврическую» картину сухопутно-морской, водно-земной текучей протеической сопостранственности.

Второй важный ландшафтный ассамбляж – это традиционные праздники морских охотников, помогающие коренным жителям – чукчам и эскимосам – ритуально постоянно возобновлять свою идентичность посредством манифестаций традиционных еды, одежды, песен, танцев, спортивных состязаний, лодочных гонок и соответствующего аффективного общения. Понятно, что в настоящее время эти праздники не являются полностью аутентичными, включая в себя продажу различных традиционных сувениров для туристов и представляя собой эклектичную пёструю визуальную картину, сочетающую, например, неумелые энтузиастические попытки непрофессиональных танцоров исполнить классический традиционный танец, а также элементы программы, не имеющие никакого отношения к традиционной культуре морских охотников Чукотки. В то же время подобные празднества являются циклическими ландшафтными сборками, ретерриториализующими, пусть и в искажённой форме, ядерные моменты идентичности населения чукотского побережья. Как правило, праздники проводятся на морском берегу, стягивая многих жителей из соседних поселений, демонстрирующих свою одежду, лодки и навыки традиционной деятельности. Постэкзотичность такого ассамбляжа связана с заведомым постколониальным содержанием элементов праздника – например, значительная часть снаряжения и оборудования для проведения различных соревнований, а также условия их проведения не имеют отношения к традиционной культуре, однако они принимаются коренными жителями вполне добровольно, как бы делая внешним их взгляд на само событие.

Третий ландшафтный ассамбляж фокусируется на территориях, непосредственно прилегающих к крупным поселениям на побережье. Его невозможно назвать чисто «природным»,

несмотря на его очевидную пустынную и немногочисленность следов присутствия человека. Ландшафты, маркируемые в физико-географическом отношении как тундровые, мелко-сочные, увалистые, останцовые, в то же время оказываются насыщенными множествами значений, принадлежащими как местным жителям, так и людям, относительно часто здесь бывающим. Как правило, в визуальном отношении эти места транслируют – как бы сами по себе – экзистенциальную идею оставленности, покинутости, руинированности не только брошенных зданий и сооружений (например, системы спутниковой связи «Орбита» советского времени или советской воинской части, а также традиционных эскимосских и чукотских поселений), но и тех ментальных оснований, которыми руководились внешние властные инстанции и силы – здесь, конечно, прежде всего, советские и постсоветские. Однако, такие визуальные образы могут относиться и к более общей, онтологической проблематике философской антропологии пространства, геофилософии или метагеографии, в рамках которых ландшафты прибрежных чукотских территорий оказываются визуальными «свидетелями» масштабных процессов пространственной десакрализации мира, наиболее остро ощущаемой не в многолюдных мегаполисах, а на циркумполярных окраинах мира¹.

Если ландшафтные ассамбляжи вокруг прибрежных чукотских поселений наиболее ярко характеризуют детерри-

¹ Возможно, такое впечатление сходно с тем, которое описывал К. Леви-Строс в своей книге «Печальные тропики», касаясь проблемы взаимоотношений южноамериканских индейцев с природой, окружающей их. См. также: *Замятин Д. Н.* Геокультурное пространство Арктики: онтологические модели воображения // В кн.: Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования / Отв. ред.: Д. Н. Замятин, Е. Н. Романова; под общ. ред.: Д. Н. Замятин, Е. Н. Романова. М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. Гл. 3. С. 28–37; *Замятин Д. Н.* Арктические геокультуры: ландшафт, сопостранственность и онтологические модели воображения // В кн.: Геокультуры Арктики: методология анализа и прикладные исследования / Отв. ред.: Д. Н. Замятин, Е. Н. Романова; под общ. ред.: Д. Н. Замятин, Е. Н. Романова. М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. Гл. 5. С. 81–92.

торизации, ускользания ризоматических множественностей визуального, относящегося к синкретическим геокультурным альянсам чукотских сообществ в постколониальной перспективе, то визуальное воображение ландшафтов самих поселений связано с множественностью повторяющихся попыток ретерриторизации, которые каждый раз подчёркивают, фиксируют очевидную разделённую локальность, очаговость подобных процессов на фоне как бы проникающих извне процессов детерриторизации. Именно наблюдая планировку этих поселений, их визуальную специфику, можно обнаружить своего рода «когнитивный диссонанс» между нарастающими аффективными интенсивностями возобновляющихся ретерриторизаций и уменьшением самого физического пространства, подлежащего этим процессам: чем больше мест, зданий, домов оказывается в упадке или брошенными и постепенно разрушающимися, тем в большей степени перегруппировываются, перестраиваются и переосваиваются места, становящиеся как множественности развития, «процветания» и укрепления человеческого присутствия и человеческой деятельности. Таким образом, эти процессы в пределах самих поселений оказываются тесно переплетёнными между собой и взаимозависимыми, в том числе и визуально – одно невозможно без другого, манифестируя тем самым новый тип расселенческого ландшафтного ассамбляжа, формирующегося с помощью процедур дизъюнктивного синтеза как «дышащая», пульсирующая «дырчатая» поверхность¹.

Субстанциальные основы ландшафтных ассамбляжей Чукотки: пример водной субстанции

Прежде чем перейти к анализу конкретных фотографий, репрезентирующих те или иные выделенные мной ландшафтные ассамбляжи побережья северо-восточной Чукотки, я попытаюсь рассмотреть субстанциальные основы возможных ландшафтно-визуальных сборок и пересборок, характерных

¹ Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: Астрель, У-фактория, 2010.

для этих территорий. Существенно, что подобные сборки можно назвать не только пограничными с физико-географической и гуманитарно-географической точек зрения, коль скоро речь идет о стыке суши и моря, определяющем соответствующие образы жизни и визуальные панорамы, но и фрактальными – в силу практически бесконечного умножения ландшафтных подобию как на (гео)морфологическом, так и (гео)структурном уровнях¹, подразумевающих визуальное исследование вертикальных субстанциальных стратиграфий². Здесь наиболее интересным ракурсом оказывается наблюдение за субстанциальной стратиграфией воды, которая сосуществует одновременно в разных состояниях (жидкость, лед, вечная мерзлота, снег, дождь, туман и т.д.) и формирует тем самым различные ландшафтные ассамбляжи с не всегда очевидным аква-генезисом.

Именно летний сезон на Чукотке даёт возможность изучения уникальных водных стратиграфий, когда остаточные пятна, фрагменты снежного и ледового покровов позволяют геоструктурно и геоскульптурно зафиксировать множественные сингулярности субстанциальных репрезентаций, при этом конечно, огромную роль играют условия освещения, облачность, время суток. Так, фрагменты сохранившегося и летом снежного покрова в долине небольшой реки (такую картину мне довелось наблюдать в окрестностях руинированного чукотского села Нунымо) оказываются визуально чётко стратифицированными по вертикали в зависимости от условий таяния, нахождения в той или иной точке рельефа, количества растительного опада, проникающего в снежную толщу, а также элементов почвы. Наряду с этим, формируются и остаточные снежные морфоскульптуры, характеризующие субстанциальные потоковые

¹ Для такого анализа достаточно удобно использовать также принятое в геоморфологии деление форм рельефа на морфоскульптуры и морфоструктуры: Герасимов И.П., Мещеряков Ю.А. Понятия «морфоструктура» и «морфоскульптура» и использование их в целях геоморфологического анализа // Рельеф Земли М., 1967. С. 7–13; Морфология рельефа / Отв. ред. Д.А. Тимофеев, Г.Ф. Уфимцев. М.: Научный мир, 2004.

² Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: Астрель, У-фактория, 2010. С. 66–69.

интенсивности и создающие яркое представление о своего рода аффектах локальной ландшафтной сборки.

Особый интерес может вызывать фрагментарная горизонтально-вертикальная стратификация различных состояний водной субстанции – например, небольшие льдины и фрагменты льда на морской воде. Такую картину мне пришлось наблюдать во время летней поездки на крайнюю северо-восточную точку Евразии – мыс Дежнёва, когда сильные ветры со стороны Чукотского моря способствовали прохождению льдов на юг, через горловину Берингова пролива в Берингово море. Отсутствие волнения, штиль, отсутствие облачности, белая ночь с очень низкими положением почти закатившегося солнца – эти климатические и погодные условия вкуче с соответствующим временем суток создали уникальное освещение, при котором ядром морского ландшафтного ассамбляжа стала в большей степени горизонтальная стратификация водной поверхности и льда¹, оптическая цветовая интенсивность которой на фоне затемненной вертикально вздымающейся оконечности мыса Дежнёва способствовала формированию двойственного ландшафтного аффекта, одновременно детерриториализующего «тело» суши и ретерриториализующего её же – как часть более мощной «здесь-и-сейчас» водной субстанции.

Наконец, субстанциальная стратиграфия воды может быть скрытой, латентной в определённом ландшафтном ассамбляже с визуальной точки зрения, когда её агрегатное состояние вызывает очевидные физические последствия и наглядные изменения, характеризующие становление альтернативных содержательных консистенций. Важный пример: роль вечной мерзлоты в деградации кладбища около покинутого прибрежного чукотско-эскимосского поселения недалеко от села Лаврентия. Хотя люди покинули это поселение не так давно и продолжают здесь временно пребывать летом (это, прежде всего, морские охотники и несколько дачников), за кладбищем практически никто не присматривает, поскольку сопротивляться природно-клима-

¹ Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988. С. 83–90.

тическим процессам невозможно. Значительная часть захоронений, расположенных очень неглубоко, оказалась на поверхности из-за сезонных пульсаций вечной мерзлоты. Кроме того, такие кладбища, если захоронения относительно недавние, могут подвергаться нападениям бурых медведей, раскапывающих могилы в поисках пищи (так, например, происходит в селении Инчоун на побережье Чукотского моря, где мне также довелось побывать). Так или иначе, скрытая потоковая вертикальная стратиграфия водной субстанции сочетается здесь с постепенным уничтожением культурной стратиграфии, предполагающей, помимо соблюдения гигиенических и санитарных правил, наличие символического хтонического пространства, соотнесённого с видимой земной поверхностью. Ландшафтный ассамбляж, формирующийся в результате подобных процессов, оказывается как бы смешанным – почва, камни вперемешку с разрушенными гробами, костями, разбитой посудой, остатками надгробных сооружений советского времени (например, традиционного надгробного обелиска с советской пятиконечной звездочкой из жести) – однако здесь видимая руинированность ритуальной человеческой деятельности воспринимается как лишь одна из страт масштабной ландшафтной стратификации, десакрализирующей значимость разделения природы и культуры и делающей человеческие останки частью более общих потоков ландшафтных интенсивностей.

Итак, водная субстанция и её визуальные трансформации являются одним из главных факторов формирования ландшафтных ассамбляжей Чукотки.

Базовые визуальные диспозитивы Северо-восточной Чукотки

Ландшафтные ассамбляжи могут быть репрезентированы теми или иными визуальными диспозитивами. Под визуальными диспозитивами я понимаю здесь устойчиво воспроизводящиеся и феноменологически фиксируемые визуальные ландшафтные (геокультурные) образы, характеризующие

специфику определённых ландшафтных ассамбляжей. В качестве критериев для выделения визуальных диспозитивов выступают часто повторяющиеся ландшафтные признаки, артефакты и их совокупности. Анализ визуальных диспозитивов позволяет выявить структурные особенности формирования ключевых ландшафтных ассамбляжей.

На основе моего фотографического архива экспедиции на Северо-восточную Чукотку (июль 2016 года, более 3500 фотографий) в рамках поставленного исследованием цели и задач можно выделить пять ключевых визуальных диспозитивов¹, обуславливающих специфические формы воспроизводства и развития как самих геокультур, так и соответствующих культурных ландшафтов данных территорий: 1) диспозитив морских охотников, наиболее пограничный и фрактальный; 2) диспозитив праздников традиционной культуры морских охотников; 3) диспозитив разрушения и руинирования, связанный, как с экстремальными природными условиями региона, так и с эпохой советского и постсоветского развития; 4) диспозитив «природного», «первозданного» пространства, связанный с низкой освоенностью территории, и 5) диспозитив мультинатурализма, проявляющийся в особенностях визуальных сред чукотских поселений (сел, поселков городского типа, небольшого города)². Сделанные мной во время экспедиции фотографии были разделены первоначально на несколько ча-

¹ O'Connor D. Lines of (f)light: The visual apparatus in Foucault and Deleuze // *Space and Culture* 1997. Vol. 1. P. 49–66; Caborn J. On the Methodology of Dispositive Analysis // *Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines*. 2007/ Vol. 1. # 1. P. 115–123; Bussolini J. What is a Dispositive // *Foucault Studies*. 2010. Vol. 10. P. 85–107; Raffnsøe S., Gudmand-Høyer M. T. & Thaning M. S. What is a Dispositive? Foucault's Historical Mappings of the Networks of Social Reality. Frederiksberg: Copenhagen Business School, 2014. [wp].

² Выделенные мной базовые визуальные диспозитивы во многом коррелируют с доминирующими визуальными нарративами, репрезентированными в наиболее известных фотографиях и фильмах, посвященных Северу и Арктике. Тем не менее, они отличаются от этих нарративов, показывая системный *геокультурный характер* подобной «ландшафтной оптики».

стей с доминирующими визуальными мотивами («природа», «море», «ландшафты поселений», «люди и их деятельность»). Далее я, исходя из уже описанных мной ранее ландшафтных ассамбляжей, отобрал фотографии, близкие по визуальным смыслам этим описаниям. Проанализировав композиционные особенности самих фотографий и их содержательный контекст, и сократив в результате очередной итерации их количество, я выделил в итоге визуальные диспозитивы, коррелирующие с ландшафтными ассамбляжами.

Естественно, что эти диспозитивы могут пересекаться, взаимодействовать, создавать достаточно выразительные визуальные когерентности и интерференции – например, сочетание руинирования с образами «первозданного» пространства, или сцены разделки только что добытого морскими охотниками кита, привлекающей значительную часть жителей поселения и иногда формирующей эфемерную атмосферу местного праздника. Тем не менее, каждый из выделенных мной диспозитивов характеризуется особыми визуальными образами с соответствующей цветовой гаммой, а также определённой визуальной политикой, связанной, чаще всего, с теми или иными коннотациями экзотичности / постэкзотичности.

Далее я постараюсь кратко охарактеризовать каждый из выделенных мной диспозитивов, обращая, прежде всего, внимание на их тесное взаимодействие, и общий геокультурный контекст.

Визуальный диспозитив морских охотников

Как я уже отмечал ранее, мне довелось побывать на двух охотах на серого кита в районе села Лаврентия – одна из них завершилась разделкой добычи, а вторая – нет, поскольку канат, с помощью которого буксировали кита, лопнул уже на подходе к селу, и убитый кит затонул. Помимо этого, я наблюдал разделку китов, добытых другими командами морских охотников, на морском берегу, в национальном селе Лорино и поселке Уэлен. Две главные части этого диспозитива – собственно, по-

иск, погоня и охота (1) и разделка добычи на берегу (2) – объединены, пожалуй, мощными образами морской субстанции, очень изменчивой в зависимости от погоды и ветра, в которой привычные процедуры поиска добычи также кажутся внешне хаотическими, и образами морского берега (охота протекает, как правило, недалеко от берега), который, с одной стороны, является источником снабжения и наблюдения для охотников, а, с другой стороны, он же в пределах уже самого селения, обеспечивает удобную площадку для, во многом, ритуального процесса разделки добытого кита. Очевидная пограничность и агонистичность такой деятельности – на стыке разных стихий, с постоянными перемещениями – формирует, очевидно, сильно детерриторизированный визуальный дискурс, в котором те или иные визуальные коды – одежда охотников, моторные лодки, гарпуны и карабины, место наблюдения за морем на базе морских охотников, изредка появляющийся над поверхностью воды преследуемый кит сопровождается чуть отстающим по времени ретерриторизированным дискурсом разделки добычи, в рамках которого эмоциональное оживление и подъем участвующих в этом процессе, красный цвет мяса кита, его крови, сама анатомическая графика последовательного «разбирания» убитого кита вкупе с разными моделями поведения охотников и пришедших помочь и получить часть добычи местных жителей, создаёт кратковременную выразительную визуальную картину частичного декодирования экзистенциальных смыслов геокультуры морских охотников Чукотки. Вместе с тем, культурные ландшафты этой геокультуры оказываются, с одной стороны, либо не очень приметными и укрытыми от постороннего взгляда (базы и обучение участников команды, подготовка к охоте, хранение разделанной добычи, сам процесс охоты), либо весьма кратковременными, хотя и часто воспроизводимыми (опять-таки процесс охоты, а также разделки добычи), с «плавающей» локализацией (охота может разворачиваться на разных участках моря, разделка добычи чаще происходит на одном месте берега, но и это может не всегда соблюдаться, в зависимости от обстоятельств).

Ландшафтный ассамбляж, формируемый этим визуальным диспозитивом, оказывается чрезвычайно разнообразным, включающим множества людей, предметов, вещей, субстанций разного происхождения, а также преимущественно номадическим и воспроизводимым исключительно в сезон охоты на конкретного морского зверя (кита, моржа или тюленя). Крайне важными для понимания подобного диспозитива оказываются постколониальный и постэкзотический контексты. В советское время коренным жителям Чукотки была запрещена традиционная охота на кита, поэтому восстановление этого права чукчей и эскимосов в постсоветский период было важным деколонизирующим фактором восстановления фрагментов традиционного образа жизни¹. Однако современные технологии сильно изменили и упростили процесс охоты на морского зверя, и даже при всем своем желании морские охотники не готовы полностью воспроизводить традиционные архаические процедуры и технологии². Соответственно, и в визуальном плане можно непосредственно наблюдать интенсивное смешение различных технологических практик, вещей и навыков из разных исторических эпох, создающих уникальный ландшафтный ассамбляж. Само восстановление традиционных практик охоты на морского зверя оказалось для малой части местных жителей, ставших морскими охотниками, довольно экзотическим, хотя и желанным процессом; большая часть коренного населения, в отличие от эпохи 100-200-летней давности, не имеет отношения к этому и сейчас, приобщаясь к ритуальному пространству охоты лишь частично, во время разделки кита на берегу (феномен внутреннего экзотизма).

¹ Иващенко Ю. История китобойного промысла в Русской Арктике <https://goarctic.ru/live/istoriya-kitoboynogo-promysla-v-russkoy-arktike/>

² Морские охотники Северо-Восточной Чукотки используют моторные лодки с мощными двигателями, современные карабины для добывания раненого гарпуном кита, непромокаемые американские комбинезоны. В то же время они вручную гарпунят кита, что требует серьезных навыков.

Иллюстрация 1. Водная субстанция и ландшафтные ассамбляжи Северо-Восточной Чукотки

Ландшафтная
панорама
долины реки
Нуньяваам.
Июль 2016 г.
Фото автора.



Кладбище на
сопке около
руинированного
посёлка Нуньямо.
Большинство
захоронений
оказалось на
поверхности
из-за сезонных
колебаний вечной
мерзлоты.
Июль 2016 г.
Фото автора.



Покинутое
эскимосское
поселение Наукан,
мыс Дежнева.
Заснеженные
льдины,
припльвшие из
Чукотского моря.
Белая ночь,
июль 2016 г.
Фото автора.



Покинутое
эскимосское
поселение Наукан,
мыс Дежнева.
Заснеженные
льдины,
припльвшие из
Чукотского моря.
Белая ночь,
июль 2016 г.
Фото автора.

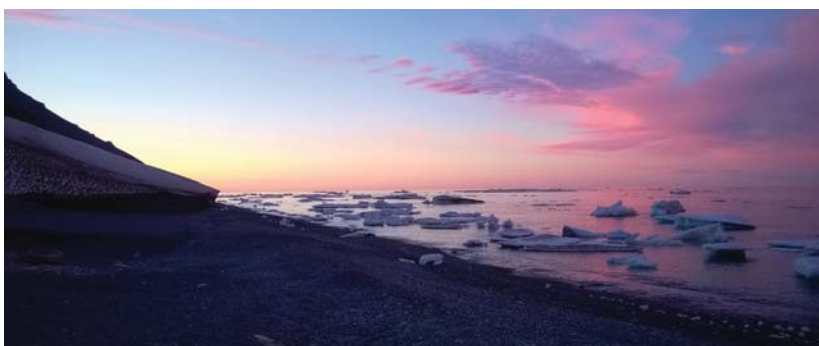


Иллюстрация 2. Визуальный диспозитив морских охотников



Морской охотник метает гарпун в кита. Охота на кита в окрестностях поселка Лаврентия, июль 2016 г. Фото автора.

Морской охотник добивает кита, раненого гарпуном, из карабина.
Охота на кита в окрестностях поселка Лаврентия, июль 2016 г. Фото автора.





Только что добытый кит вытасчен на берег. Поселок Уэлен, белая ночь, июль 2016 г. Фото автора.



Разделка добытого кита, национальный поселок Лорино, июль 2016 г. Фото автора.

Иллюстрация 3. Диспозитив праздников традиционной культуры морских охотников



Культурно-спортивный фестиваль морских охотников на берегу Берингова моря, выступление гостей - эскимосов из Аляски. Поселок Новое Чаплино, июль 2016 г. Фото автора.



Культурно-спортивный фестиваль морских охотников, спортивные гонки на байдарках с участием нескольких команд из соседних поселков. Поселок Новое Чаплино, июль 2016. Фото автора.



Праздник морских охотников, спортивные гонки на байдарках. Члены одной из команд и их болельщики фотографируются после гонки с своей байдарой. Поселок Лаврентия, июль 2016 г. Фото автора.



Праздник морских охотников, женщины готовят и предлагают блюда из морской рыбы и морских животных. Поселок Лаврентия, июль 2016 г. Фото автора.

Иллюстрация 4. Визуальный диспозитив разрушения и руинирования

Поселок
городского типа
Провидения,
улица с
большим
количеством
брошенных
жилых зданий.
Июль 2016 г.
Фото автора.



Разрушенная
система
спутниковой
связи «Орбита»
в окрестностях
села Лаврентия,
июль 2016 г.
Фото автора.



Руинированный
поселок Нунямо
на побережье
Берингова моря,
недалеко от села
Лаврентия. Июль
2016 г. Фото автора.



Руины
эскимосского
поселка Наукан,
мыс Дежнева.
Июль 2016 г.
Фото автора.



Иллюстрация 5.
Визуальный диспозитив «природного» и «первозданного» пространства



Тундровый останец в окрестностях села Лаврентия. Июль 2016 г. Фото автора.

Кости кита на побережье Берингова моря, окрестности села Лаврентия.
Июль 2016 г. Фото автора.





Мыс Дежнёва, белая ночь. Июль 2016 г. Фото автора.

Устье реки Нунываам у впадения в Берингово море. Июль 2016 г. Фото автора.



**Иллюстрация 6.
Диспозитив
мультикультурности
и визуальные среды
поселений**



Село Лаврентия, центральная площадь. Июль 2016 г. Фото автора.



Панорама
посёлка
городского типа
Провидения.
Июль 2016 г.
Фото автора.



Город Анадырь.
Визуальный брендинг
для гостей Анадыря на
торцах зданий. Июль
2016 г. Фото автора.

Город Анадырь. Специфика организации
дворового пространства с учётом вечной
мерзлоты. Июль 2016 г. Фото автора.



Диспозитив праздников традиционной культуры морских охотников

В ходе экспедиции я дважды наблюдал праздники морских охотников – в селе Лаврентия и в селе Новое Чаплино (недалеко от порта и поселка городского типа Провидения). Этот визуальный диспозитив локально чётко привязан к морскому берегу и морю как таковому. Структура и организация таких праздников носит типовой характер: оперативно сооружаемая накануне праздника открытая сцена, торжественное открытие праздника, как правило, с участием местных административных руководителей и почетных гостей, проведение традиционных соревнований (гонки на байдарках с участием приглашенных команд из окрестных поселений, иногда – национальная борьба и перетягивание каната); концерт, включающий как выступления профессиональных артистов с традиционными танцами и песнями, так и выступления любительских коллективов, в том числе специально приглашенных гостей (так, например, на празднике в Новом Чаплино выступали приглашенные из Аляски американские эскимосы, демонстрировавшие хорошо узнаваемый всеми традиционный танец). Кроме того, на специальных столах предлагается традиционная еда эскимосов и чукчей, а также продаются различные самодельные сувениры (здесь существенно важно, что сувениры часто сделаны с использованием материалов, добытых на морской охоте – моржовые клыки, шкуры и кости – и являются частью традиционных промыслов). Этничность происходящего события подчёркивается надеванием многими местными жителями, особенно выступающими на концерте, элементов традиционной национальной одежды, прежде всего, камлейки.

Пространство таких праздников гетерогенно как в коммуникативном, так и в визуальном планах, поскольку на них присутствуют туристы, путешественники, журналисты, ученые, фотографы (российские, а иногда и иностранные). Визуальная атмосфера праздника сильно зависит от почти всегда изменчивой погоды чукотского побережья (сплошная облачность,

дождь или туман, ветер и волнение на море могут нарушить планы и программу праздника, но не отменить их). Цветовые гаммы праздничного ландшафта (одежда, флаги, транспаранты, украшение сцены, форма спортивных команд, раскрашенные байдары) крайне разнообразные и яркие, расцветывающие на один-два дня естественный, привычный трех-четырёхцветный визуальный фон прибрежного ландшафта (довольно монотонный и непривлекательный в пасмурную погоду), прямо связаны с манифестациями этнической и культурной идентичности коренных жителей Чукотки (прежде всего, чукчей и эскимосов), однако смешанный в этническом отношении состав населения чукотских поселений (русские, украинцы, дагестанцы и другие национальности) позволяет рассматривать их и как демонстрацию определённого геокультурного сплочения и единства (показывать элементы национальной одежды эскимосов и чукчей может и любой другой местный житель, как и участвовать в гонках байдар или быть членом команды морских охотников).

Ландшафт праздника морских охотников Чукотки в типологическом контексте является, очевидно, постэкзотичным, поскольку манифестации этнической и культурной идентичности включены сразу в несколько визуальных страт, находящихся в отношении геокультурного и эпистемологического масштаба на метауровне – страту мировой этноархаики эпохи New Age, в рамках которой репрезентации традиционных этнокультурных идентичностей рассматриваются как элементы «игровых» пространств релаксации или сознательного ментального дауншифтинга; страту современного этнокультурного праздника коренных народов Севера и Арктики, чья когнитивная матрица предполагает экзотическую событийность как элемент постколониального дискурса, уже заранее присвоенного и капитализированного соответствующими бюрократическими и капиталистическими властными институтами¹; и страту

¹ *Therkelsen A., Halkier H. Umbrella Place Branding A Study of Friendly Exoticism and Exotic Friendliness in Coordinated National Tourism and Investment Promotion. Discussion Paper No. 26/2004. Aalborg: Aalborg*

саморепрезентации пост-традиционной культуры, воспроизводящейся в «клиповых» ландшафтно-визуальных режимах, в которых рефлексивный уровень оказывается, как правило, «вырезанным» или перенесенным в сферу широкого трактуемого образовательно-музейного проектирования. Территориальные коды, демонстрируемые коренными жителями на таком празднике, заранее смешиваются в плане консистенции с процессами детерриторизации (использование современных технологий, привлечение туристов, профессионализм отдельных традиционных исполнителей или команд, встроенный в иерархию выступлений и соревнований за пределами небольшого региона, не имеющую отношения к глубинным геокультурным манифестациям) и ретерриторизации, когда программы праздников традиционной культуры жестко встраиваются в планы социокультурного развития поселений и районов и становятся фрагментами типовой «машинной сборки» арктических сообществ. Тем не менее, визуальная эфемерность, эпизодичность праздничного ландшафта морских охотников может интерпретирована и как свидетельство мощных геокультурных изменений, сдвигов, в ходе которых формируются принципиально новые признаки, критерии геокультурного сознания и геокультурных практик, ориентированные на выделение и сегментацию фрагментов вновь возникающих мобильных сообществ, чьи идентичности уже в самом своём онтологическом основании могут быть «плавающими», «расплывчатыми», «нечеткими» и «ускользающими».

Визуальный диспозитив разрушения и руинирования

Этот диспозитив, как я уже отмечал выше, связан как с экстремальными природными условиями арктических территорий, так и со спецификой постсоветской эпохи, приведшей в

University; SPIRIT School for Postgraduate Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality, 2004; Socio-Cultural Impacts Of Aboriginal Cultural Industries. Discussion Paper: Toronto, Ontario, March 2008 <http://kta.on.ca/pdf/SocioCulturalImpacts.pdf>; Arctic Discourses / Ed. by A. Ryall, J. Schimanski, H. H. Wærp. Cambridge Scholars Publishing, 2010.

1990-х гг. к сильнейшему социальному и экономическому коллапсу в наибольшей степени именно районы крайнего Севера и Арктики¹. Естественно, что этот тренд не миновал и Чукотку, на которой визуальные последствия такого коллапса вполне очевидны – прежде всего, в достаточно крупных селах и городских поселениях. Кроме того, здесь необходимо сказать и о местах руинирования бывших национальных поселков эскимосов и чукчей, переселенных из своих родных мест в более крупные поселения в результате длительной социально-экономической политики советских властей, направленной на укрупнение национальных поселений и соби́рание коренных жителей в нескольких больших национальных селах, в целях как экономии средств, так и более жесткого и упрощенного контроля за местным населением в условиях пограничного режима². Хотя эти два параллельных процесса и могут казаться схожими в своих визуальных последствиях, однако, это не так, поскольку следы разрушения в крупных и вполне жизнеспособных поселениях и вокруг них включены в совершенно иные визуальные режимы и визуальные политики, нежели места руинирования полностью покинутых поселений (хотя и здесь эта покинутость и оставленность часто является не полной и не окончательной³).

¹ *Опарин Д. А.* Вариативность современного ритуального пространства Нового Чаплино и Сиреников. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М.: МГУ, 2015. С. 27–32.

² *Членов М.А., Крупник И.М.* Наукан: главы к истории // Спасти и сохранить. Культурное наследие Чукотки: проблемы и перспективы сохранения. Вып. I. М.–Анадырь, 2016. С. 38–73 и др.; Наукан и наука́нцы: Рассказы наука́нских эскимосов / Сост. В. Леонова. Владивосток, 2014. *Шокарев С.Ю.* История мемориала Семену Дежневу на мысе Дежнева // Спасти и сохранить.... С. 96–115. <https://chukotskiarchiv.livejournal.com/>; *Krupnik I., Chlenov M.* The end of “Eskimo land”: Yupik relocation in Chukotka, 1958–1959 // *Inuit Studies*. 2007. Vol. 31 (1-2). P. 74; *Опарин Д. А.* Вариативность современного ритуального пространства Нового Чаплино и Сиреников. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М.: МГУ, 2015. С. 25–26.

³ Таков пример упраздненного в 1978 году поселка Аккани, жители которого были переселены в национальное село Лорино. С 1991 года там восстановлено несколько построек, в Аккани летом приезжают его бывшие жители.

Процессы руинирования в крупных, продолжающих жить, чукотских поселениях и в их окрестностях, вписаны в сети повседневных социальных и культурных практик, ставших, в каком-то смысле, ответом местных сообществ на демографический и социально-экономический коллапс. Так, в поселке городского типа Провидения в течение 1990-х гг. было покинуто довольно большое количество многоэтажных многоквартирных зданий, часть которых была законсервирована, а часть осталась просто брошенной и подверглась постепенному разрушению. Поскольку сам поселок небольшой, а брошенные дома находятся непосредственно в единой ткани общей застройки, то визуально это может напоминать результаты авиационной бомбежки в ходе военных действий. Для любого нового внешнего наблюдателя подобный визуальный ландшафтный ассамбляж может показаться как необычным, так и устрашающим – и порождающим серьезные сомнения в его комфортности для местных жителей. Тем не менее, общение с жителями поселка и наблюдение за их мобильными практиками показало, что они воспринимают такую картину как вполне обычную и привычную, а места разрушения и руинирования фактически оказываются вновь переосвоенными, приобретая несколько иные локальные социокультурные смыслы, нежели ранее. Части улиц, где расположены брошенные и частично руинированные дома, используются как места для вечерних прогулок после работы (таким образом, они вновь присваиваются с помощью практик повседневного отдыха), а стены этих домов покрыты большим количеством граффити – как обычного бытового содержания, так и специфического этнического – чего почти не наблюдается в районе, где очень мало или почти отсутствуют брошенные здания и сооружения. Поскольку, так или иначе, жилые и брошенные здания соседствуют друг с другом, перемежаются в общей планировке поселения, то его ландшафтный ассамбляж можно охарактеризовать с визуальной точки зрения одновременно и как крайне фрагментированный, и как по-настоящему фрактальный – на некотором отдалении поселок Провидения, «прижатый» сопками к морю, может показаться своего рода

«шахматной доской», где чередуются жилые и нежилые фрагменты застройки, являющиеся также некими подобиями друг друга.

Несколько иные визуальные режимы и политики, а также локальные мобильности формируются при наличии очагов руинирования непосредственно в окрестностях крупных чукотских поселений. Например, таким очагом рядом с селом Лаврентия стала разрушенная система спутниковой связи «Орбита», являвшаяся в позднюю советскую эпоху элементом целой системы подобных типовых станций, установленных в разных местах СССР для устойчивого телевизионного вещания на всей его территории. Расположенная на сопке недалеко от села, она хорошо видна со всех сторон и может служить ландшафтным ориентиром. Сама станция в постсоветское время была в значительной степени разрушена (как и здания бывшей советской воинской части на соседней сопке), часть ее оборудования растащена, однако фундаментальные сооружения этой станции до сих пор остаются существенными элементами местного ландшафта – естественно, выглядящего довольно пустынно. Несмотря на то, что разрушенное и разорённое, это место может казаться внешнему наблюдателю лишь потенциальным убежищем каких-либо сталкеров, оно в реальности является сильным местом притяжения как для одних местных жителей, делающих воскресные прогулки и организующих пикники (главный элемент интереса – огромный сохранившийся локатор, на который можно взобраться), так и для других – как правило, бомжей и бродяг, представителей коренного населения, днем ищущих пропитание и временную работу в селе, а к вечеру уходящих ночевать на «Орбиту» в одном из более или менее сохранившихся сооружений станции. Существенно отметить, что это, бывшее в советское время закрытым для местных жителей место, теперь стало вполне открытым (хотя и руинированным) и используемым местными сообществами совсем иначе. Интенсивные процессы детерриторизации постсоветской эпохи привели, по сути, к формированию новых территориальных кодов или значительным трансформациям старых, что повлекло

за собой и создание новых, довольно оригинальных способов ретерриторизации.

В свою очередь, места покинутых эскимосских и чукотских поселений, подвергнувшиеся почти тотальной детерриторизации, оказываются объектом ностальгических визуальных политик и практик, а также пространствами новых ретерриторизаций – чаще всего, летнего дачного переосвоения (например, уже упоминавшийся поселок Аккани). Здесь, однако, следует различать более старые, традиционные поселения, покинутые уже довольно давно и состоявшие из традиционных чумов и полуземлянок (валькаров) (от них, как правило, остались полузаросшие ямы с китовыми костями, служившими своего рода балками), и поселения, состоявшие уже из деревянных домов и покинутые значительно позже в результате новой волны сселения коренных жителей, предпринятой советскими властями. Естественно, что места давних родовых поселений рассматриваются теперь коренными жителями лишь как объекты периодических ностальгических паломничеств¹, тогда как покинутые позже и не до конца еще руинированные поселения являются предметом живой памяти пока не ушедших окончательно поколений, представители которых регулярно посещают, иногда вместе со своими семьями, эти места и временно живут в них². Так или иначе, руинированные ландшафтные ассамбляжи побережья северо-восточной Чукотки стали существенным элементом постколониального визуального дискурса, во многом репрезентирующего эти территории. В то же время, основополагающим визуальным контекстом их воображения и восприятия оказывается визуальный диспозитив «первозданного» пространства, как бы поглощающего и растворяющего любые попытки прочного и долговременного освоения Арктики – по крайней мере, извне.

¹ Так, например, происходит с покинутым поселком Наукан на мысе Дежнева.

² Наглядный пример – Аккани.

Визуальный диспозитив «природного» и «первозданного» пространства

Ландшафтные ассамбляжи, воображаемые и структурируемые в рамках данного диспозитива, базируются не на условном разделении «природы» и «культуры», а, скорее, на представлении о некоем «первичном» состоянии пространства, в котором подобного разделения нет, а всё «человеческое» вписывается в естественное (циклическое) движение бытия – само по себе, возможно, «сакральное» и «вечное». Конечно, такое представление близко к традиционным и архаическим онтологиям и мифологиям; в условиях пост-современного глобального мира оно оказывается не вытесненным полностью, а привязанным и локализованным к наименее освоенным, сильно удалённым от глобальных центров территориям, часто с экстремальными природными условиями – к которым относится и Арктика. В визуальном отношении морское побережье северо-восточной Чукотки оказывается одним из таких эталонных «полигонов», продуцирующих столь притягательные для экстремальных туристов и путешественников номадические образы «первобытности» и «затерянности».

Ландшафтные ассамбляжи, определяющие здесь «первозданное пространство, включают, в тех или иных вариациях, ключевые образы моря (морская поверхность, морская стихия), тундры и сопки, узкой береговой полосы, фиксирующей и ярко представляющей амбивалентное взаимодействие суши и моря, твердой и жидкой поверхностей, а также и, в меньшей степени, образы руин, останков морских животных (китов и моржей) и небольших прибрежных поселений, кажущихся маленькими и «затерянными» на фоне окружающих их безлюдных пространств моря и тундры. Именно эти поселения и являются первоначальной отправной когнитивной точкой, позволяющей дальше выстраивать воображаемые картографии огромных «природных» пространств, по сути, онтологизирующих и, в какой-то степени, «оправдывающих» пребывание на этих территориях человеческих сообществ. Но следует сразу

подчеркнуть, что подобный взгляд является, конечно, трансгуманистическим, включающим в себя феноменологические горизонты как нечеловеческого живого, так и неживых объектов¹: человек или человеческие сообщества формируют своим взглядом конкретные ландшафты, создавая тем самым оригинальные геокультуры, но и разнообразные ландшафтные ассамбляжи включают в себя людей, определяя, таким образом, ландшафтные онтологии человека как такового.

Те прибрежные чукотские поселения, в которых мне удалось побывать (прежде всего, Лаврентия, Провидения, Уэлен, Анадырь), действительно задают исходный масштаб визуального воображения пространства. Как правило, на расстоянии, панорамные виды этих поселений кажутся как бы «вписанными» в огромность и просторность моря и тундры, прилегающих сопок. В то же время, фрагменты руин, являющие практически неотъемлемыми компонентами этих поселений и их окрестностей, увеличивают впечатление известной хрупкости и ненадёжности освоения территории. В маршрутах, пролежавших в окрестностях поселений, я довольно быстро, даже еще не теряя из виду жилую застройку, оказывался в визуальном мире детерриторизации любой человеческой деятельности, несмотря на ее очевидные следы – пластиковые бутылки, обрывки полиэтиленовых пакетов, китовые кости, обезглавленный труп моржа, проржавевшие остатки металлических деталей и конструкций. Как правило, время суток и условия природного освещения в визуально открытой местности на границе суши и моря часто определяли быструю смену оптических эффектов: например, быстрое и неожиданное появление тумана в середине дня или долгий закат на фоне безоблачного неба июльской белой ночи. Так или иначе, именно непредсказуемые эффекты изменчивой пограничной визуальности открытых горизонтов чукотского побережья определяли для меня и эмоциональные аффекты сиюминутных по ходу маршрута ландшафтных сборок.

¹ *Matthew E. Gladden. Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies // Soc. Sci. 2019. Vol. 8, 148. doi:10.3390/socsci8050148*

Цветовые гаммы летних чукотских ландшафтных ассамбляжей не обладают все же широкой вариативностью – можно говорить, скорее о разнообразных цветовых оттенках и нюансах. Сами цвета, за редким исключением (например, небольшие цветущие растения в тундре, создающие впечатление микромасштабной пестроты земной поверхности), не являются яркими и сочными – они в большей степени приглушённые, светлые или тёмные, и, кроме того, достаточно редко создают контрастные визуальные картины. Ландшафтные сборки масштабных визуальных панорам зависят, главным образом, от погодных условий, поскольку довольно однообразный рельеф создает хорошие возможности для широкого обзора местности. Фрагменты летнего чукотского ландшафта, напоминающие о суровой зиме – сохраняющие кое-где в лощинах, в долинах рек и на склонах сопки небольшие снежники и ледники – создают дополнительное цветовое и образное измерение, расширяющее первоначальную базовую гамму свето-зеленого, серого, темно-синего, желтоватого, буро-коричневого цветов.

Диспозитив мультинатурализма и визуальные среды поселений Северо-восточной Чукотки

Культурные ландшафты прибрежных чукотских поселений – открытое поле взаимодействия типологически различных визуальных образов, ориентированных, тем не менее, на вариативное «вписывание» жизненных циклов в окружающее «природное» пространство. Это «природное» пространство, несмотря на его различные использования, понимания, репрезентации и интерпретации, является, своего рода, нулевой «точкой отсчета». В силу своих относительно небольших демографических и территориальных размеров, чукотские поселения, с одной стороны, не имеют жестких видимых границ с окружающими их морем, тундрой, сопками, а, с другой стороны, в них формируются хорошо узнаваемые архетипические визуальные особенности, являющиеся непосредственными реакциями человеческих сообществ на относительно сложные

и суровые условия жизни: например, дома на сваях, учитывающие вечную мерзлоту, или обилие транспортных контейнеров, образующих иногда целые небольшие «улицы» на окраинах небольших поселений и придающее им оригинальный «конструктивистский» вид. Иначе говоря, визуальные среды чукотских поселений оказываются мультинатуралистскими вследствие своеобразного множественного мимесиса по отношению к окружающему кормящему пространству, как бы проникающего разными ментальными и материальными путями в жизненное пространство самих поселений.

Естественно, что более крупные поселения – в моем экспедиционном опыте таковым стал город Анадырь, столица Чукотского автономного округа – выглядят внешне более выделяющимися и «яркими», нежели более мелкие поселения (села и поселки), однако, на мой взгляд, различия здесь касаются только степени гипостазирования того или иного способа преодоления природных «неудобств» и одновременно их последующей интерпретации, в том числе визуальной. Так, культурный ландшафт Анадыря в визуальном отношении выглядит крайне характерным, исходя из трех важных особенностей: 1) преобладания панельных пятиэтажных домов на сваях, что создаёт интересные визуальные прозоры, проходы и импровизированные площадки для детских игр или маргинальных сообществ; 2) довольно разнообразной раскраски большинства зданий в рамках доминирующего современного представления дизайнеров и планировщиков о визуальных средах арктических поселений (на фоне относительного цветового однообразия арктического ландшафта поселения должны обладать яркой цветовой гаммой, поддерживающей психологическое здоровье жителей); и 3) наличием большого количества на торцевых (боковых) стенах жилых домов оригинальных фресок советского времени (1970–1980-х годов) и современных масштабных фотокартин, продвигающих этнокультурные и природные достопримечательности Чукотки (визуальный брендинг для гостей Анадыря). Множество визуальных прозоров и проходов между и под зданиями, близко к земной поверхности, создают доволь-

но необычные визуальные среды – город оказывается как бы просвечивающим с разных сторон, эти просветы, часто очень неожиданные, формируют одновременно фрагментарный и множественный взгляд на культурный ландшафт. Использование торцов зданий для визуального брендинга региона является, с моей точки зрения, свидетельством своего рода сильного когнитивного удвоения, мультинатуралистского гипостазирования специфики Чукотки, поскольку изображения кита или моржа, представленные на масштабных фотокартинах и сопровождаемые их наименованием на чукотском языке, избыточно дублируют возможность их непосредственного появления в окрестностях города, хотя морская охота здесь, в отличие от других, более мелких поселений, уже невозможна.

Культурные ландшафты чукотских сел и поселков, по сравнению с Анадырем, в визуальном отношении менее разнообразны, однако их ассамбляжи предполагают более органичные и непосредственные включения мультинатуралистских компонентов в жизненное пространство, когда «природа» не только прямо используется в тех или иных целях, но и оказывается одним из ключевых экзистенциальных смыслов функционирования поселенческих сообществ. Так, прибрежная полоса поселений является местом множества событий, определяющих визуальные стороны ландшафта: здесь начинается и заканчивается охота на кита, это место для сараев и гаражей для моторных лодок, тут происходят неформальное общение, а также праздники морских охотников, а рядом, на сохранившемся небольшом снежнике в прибрежной лощине могут все лето содержаться ездовые собаки-лайки (так было, например, в селе Лаврентия). Мобильности жители часто связаны с выходами и выходами за пределы поселений (охота, рыбалка, собирание грибов, ягод и лекарственных растений, обмен с оленеводами внутренних районов Чукотки). По сути, благодаря ориентированности жителей прибрежных поселений на окружающее «природное» пространство ландшафты самих поселений во многом выглядят как результат определенных повторяющихся процессов детерриторизации, ускользания жителей от

«слишком прочной» оседлости, а временные и номадические локусы их ретерриторизаций могут находиться за пределами самих поселений (периодические выезды и проживание на местах разрушенных поселений, иногда небольшие циклические кочевания). «Вторжение» за последние 10-20 лет современных технологий арктического домостроения (преимущественно канадские технологии) и нового архитектурно-планировочного дизайна в сочетании с сохранением больших фрагментов советского ландшафта (например, бюст Ленина на центральной площади в селе Лаврентия), в том числе руинированного, и созданием фрагментов постсоветского ландшафта (новые православные церкви и часовни) часто формирует причудливую визуальную картину, в которой невозможно увидеть преобладание какой-либо четкой визуальной политики. Отдельные новые архитектурные объекты, строящиеся в чукотских поселках, могут производить своего рода «марсианское» впечатление, настолько они визуальнo диссонируют с остальной средой (например, здание новой школы в поселке Инчоун на побережье Чукотского моря), символизируя, в известной степени, ускоряющуюся детерриторизацию традиционного культурного ландшафта в его архитектурно-планировочной феноменологии, однако, на мой взгляд, это же можно рассматривать и как свидетельство процессов дальнейшей рассредоточенной ретерриторизации чукотских сообществ за пределами самих поселений.

* * *

В целом для постколониального ландшафта Северо-Восточной Чукотки характерно смешение выделенных нами визуальных диспозитивов. По сути дела, эти диспозитивы, переплетаясь и взаимодействуя между собой, создают множественные, постоянно трансформирующиеся ландшафтные ассамбляжи. В свою очередь, ландшафтные ассамбляжи оказываются активными репрезентантами деколонизации базовых геокультур этого арктического региона. В визуальном аспекте это означает

фрагментацию и одновременно фрактализацию традиционного «колониального взгляда» на арктический ландшафт. Наряду с этим, в рамках представленных визуальных диспозитивов формируются феномены постэкзотизма и внутреннего экзотизма, фиксирующих невозможность возвращения к доколониальной «ландшафтной оптике».

Заключение

Итак, моё исследование визуальных репрезентаций культурных ландшафтов Арктики на примере Северо-Восточной Чукотки позволяет сделать следующие выводы: 1) доминирующие способы визуальных репрезентаций арктических ландшафтов связаны, безусловно, с концептуальной проблематикой экзотичности / постэкзотичности и колониального / постколониального взгляда; 2) производство и воспроизводство единой визуальной политики¹ по отношению к геокультурному пространству Арктики практически невозможно из-за высокой степени ризоматичности арктических ландшафтов, связанной с экстремальными природными условиями и выработкой множества локальных способов социокультурной адаптации и соответствующего разнообразного репрезентирования этих способов; 3) всякая репрезентативная визуализация арктических культурных ландшафтов должна опираться на представление о крайне интенсивно протекающих здесь процессах детерриторизации / ретерриторизации, что ведёт, как правило, к преобладанию визуальных диспозитивов «природного» пространства и руинирования и разрушения; 4) визуализация ландшафтов Северо-восточной Чукотки очень сильно связана с онтологиями воображения водной субстанции в её различных проявлениях (морская стихия, снег, лед, туман, вечная мерзлота и т.д.), что определяет также и развитие специфических постэкзотических этнокультурных диспозитивов морской

¹ Такие тенденции могут быть характерны для органов государственного управления или же крупных добывающих компаний, действующих в арктических регионах.

охоты и праздников морских охотников; 5) морское побережье Северо-восточной Чукотки является довольно типичной арктической территорией, на которой формируются гибридные, смешанные культурные ландшафты, визуальная «сборка» которых зависит от ситуативных и контекстных обстоятельств (время года, конкретная событийность, наличие постэкзотической авторефлексии, сочетание высоких технологий с тщательно сохраняемыми фрагментами архаики, сохранение тех или иных элементов «южной» вестернизированной «оптики»); 6) специфика визуальных репрезентаций современных чукотских ландшафтов, как и остальных регионов российской Арктики, до сих пор во многом связана с последствиями советской социально-экономической и культурной политики, а также с длительной постсоветской депрессией (мощная ландшафтная символика разрушения и забвения, наличие многочисленных визуальных свидетельств частичного сохранения советских ландшафтов – зданий, сооружений, памятников).

ЧАСТЬ 3.
СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ AD NOS:
ОТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МЕТАГЕОГРАФИЙ
К СОПРОСТРАНСТВЕННОСТИ
ГЕОКУЛЬТУР

Г л а в а 12.
«Умножарь земного шара»:
метагеография Велимира Хлебникова
в сверхповести «Зангези»

Метагеография Велимира Хлебникова – это особый, пока не исследованный образно-идеологический мир. Не вдаваясь подробно в описание предмета и задач метагеографии, попробуем очертить в первом приближении метагеографическое пространство произведений Хлебникова и выявить его ключевые онтологические смыслы и дискурсы. Мир Хлебникова, наряду с миром Андрея Платонова – принципиально мета-географичен, задавая тем самым базовые направления и координаты пространственного воображения в русской литературе и культуре XX века.

Несомненно, что мифы времени и числа играют в мировоззрении и произведениях Хлебникова первостепенную роль в этом он схож с другими выдающимися писателями и поэтами литературного модерна начала XX века¹. Однако, на протяжении всего своего творческого пути, Хлебников, по-видимому, уделяет не меньше внимания и мифу пространства, что также

¹ Григорьев В.П. Будетлянин. М.: Языки русской культуры, 2000; «Доски судьбы» Велимира Хлебникова: Текст и контексты. Статьи и материалы. М.: Три квадрата, 2008.

близко к мифологической тематике ключевых течений модерна – борьбы с неизбежной, казалось бы, темпорализацией самого литературного дискурса – будь то произведения Андрея Белого, Пруста или Джойса. Ясно также, что пространственный дискурс великого поэта русского авангарда находится, по сути, в эпицентре ментального «взрыва» европейской и русской культуры, основные события и последствия которого охватили как науку и философию (Бергсон, Пуанкаре, Эйнштейн), так и литературу, и искусство – прежде всего, в рамках феномена авангарда.

Как мы помним, у Хлебникова идёт речь о «глыбах времени», само время подвергается у него интенсивному опространствлению, а числовые формулы, с помощью которых поэт ищет общие законы времени, фактически выстраивают метапространства исторического времени. Наряду с этим, Хлебников напрямую работает с языком и звуками, что позволяет ему выйти на космогонический уровень: «звёздная азбука», которую заявляет поэт, выстраивается им как основополагающее онтологическое пространство, судьба его непосредственно связана с будущим всего человечества. Как и другие великие творцы модерна и авангарда, Хлебников в своём творчестве оказывается весьма двойственным: работая в речи и языке с «тканью времени», он, тем не менее, борется, порой неосознанно, с классическими западными дискурсами темпорализации, доминирующими на протяжении более чем двух тысяч лет в онтологии и феноменологии западных (европейских) культур.

Если исследовать внешние, «экстенсивные» образно-географические локусы произведений Хлебникова (не касаясь прямо геобиографии и путешествий), то очевидно, что образно-географический, или же метагеографический вектор направлен на восток – восток в широком смысле, хотя в текстах поэта мы находим множество топонимов (Китай, Персия, Индия, Сибирь и т.д.)¹. Языковое новаторство Хлебникова здесь

¹ Баран Х. О Хлебникове. Контексты, источники, мифы. М.: РГГУ, 2002; Евразийское пространство: Звук, слово, образ». М.: Языки славянской культуры, 2003.

движется сразу в нескольких плоскостях: с одной стороны, он непосредственно утверждает необходимость более интенсивного взаимодействия русской словесности с соседними (азиатскими, евразийскими) культурами и цивилизациями (здесь мы наблюдаем своего рода его культурно-литературную и цивилизационную геополитику, по смыслу близкую чуть более позднему по времени евразийству); с другой стороны, он «раскачивает», трансформирует орфографически, семантически и грамматически привычные топонимы и связанные с ними географические образы, позволяя тем самым расширить как собственно пространство языка, так и образно-географическое (метагеографическое) пространство (например, «Белый Китай», «конница сибирей», «осибирить»); и, наконец, поэт часто проникает в геоонтологию и геопэтику языка, близких к рубежам его «звёздной азбуки» (например, неологизм «путестан»). Во всех этих случаях важно продумать и осмыслить пограничный, сопространственный характер слов, словосочетаний, синтаксических и семантических конструкций, которые образуют в итоге N-мерное пространство Хлебникова, включающее как традиционные историко-географические образы царств, империй и государств, так и образы различных созвучий, формирующие мощную хтонику поэта, его оригинальную внутреннюю метагеографию.

Велимир Хлебников очень тонко чувствовал пространство, жил им в своих произведениях. Образы времени и числа, которые столь важны для его поэтического и историсофского творчества, пронизаны пространством, пространственны по своей сути. Вот один пример из многих – из сверхповести «Зангези»:

*«Это железные времени палки,
Оси событий из чучела мира торчат, -
Пугала войн проткнувшие прутья,
Точно железные в чучеле прутья.
Проволока мира – число».*¹

¹ Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 тт. Т. 5. Стихотворения в прозе. Рассказы, повести, очерки. Сверхповести. 1904–1922 / Под общ. ред.

События – пространственны, они – как бы проволоки, прутья или палки, формирующие мир, Вселенную как пространственную целостность. Фактически, Хлебников здесь становится «предтечей» геоистории или пространственной истории, получившей развитие чуть позже во французской исторической школе «Анналов» (хотя и на совершенно иных основаниях). Сами числа, которыми постоянно оперирует поэт, несомненно, имеют пифагорейский, платоновский онтологический смысл; они формируют первоначальную онтологическую геометрию мира, числа же выступают как своего рода геометрические коды важнейших исторических событий. Иначе говоря, число «как таковое» у Хлебникова играет роль имагинально-онтологической (образно-онтологической) матрицы, благодаря которой можно творчески моделировать пространственные состояния человеческой истории.

Числа в картине мира Хлебникова органически сосуществуют со звуками, образующими звёздную азбуку; числа и звуки взаимно дополняют друг друга, формируя первопространство Вселенной. Можно сказать, что числа и элементы звёздной азбуки соппространственны в тех или иных констелляциях, описываемых поэтом во многих его произведениях. Опять-таки, в качестве образно-онтологической квинтэссенции, характеризующей подобные соппространственности, в данном случае можно рассматривать текст «Зангези», в котором Хлебников, в том числе, старался максимально сжато и концентрированно, художественно выразить и представить своё мироучение.

Описывая звуки пространственно-геометрически, Велимир пытается с помощью антропоморфных образов передать их взаимодействия – дружественные или же конфликтные – которые, в свою очередь, характеризуют то или иное истори-

Р.В. Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е.Р. Арэнзона и Р.В. Дуганова. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 339. Первое научное издание «Зангези», включая ключевые научные исследования этого итогового произведения Хлебникова см.: Сверхповесть «Зангези» Велимира Хлебникова: Новая текстология. Комментарии. Рецепция. Документы. Исследования. Иллюстрации / Составитель и научный редактор А. Россомахин. М.: Бослен, 2021.

ческое (историософское) время. Вопрошая Зангези, верующие у Хлебникова попутно излагают примеры такого взаимодействия, изначально пространственного:

«В е р у ю щ и е. Спой нам самовитые песни! Расскажи нам о Эль! Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, а услышали стук длинных копий Азбуки, шашек Азбуки. Сечу противников: Эр и Эль, Ка и Гэ!

Ужасны их грозно пернатые шлемы, ужасны их копья! Страшен очерк их лиц, смуглого дико и нежно пространства. Когда шкуру стран съедает моль гражданской войны, столицы засыхают, как сухари – влага людей испарилась.

Мы знаем: Эль – остановка широкой площадью поперечно падающей точки, Эр – точка прорезавшая, просекшая поперечную площадь. Эр – реет, рвёт, рассекает преграды, делает русла и рвы.

Пространство звучит через Азбуку.

Говори!»¹

Далее уже сам Зангези описывает драматическую борьбу различных звуков (плоскость VII), порождая в поэтической форме антропоморфные метафизические пространства, в контексте которых даются характеристики недавних событий в истории России. Для метагеографического понимания этой борьбы стоит обратиться, однако, к следующей плоскости VIII, дающей «ключи» для такого понимания.

Характерно, что язык и пространство, речи и движения связаны у Хлебникова непосредственно, по сути, онтологически:

«...речи – здания из глыб пространства.

Частицы речи – части движения. Слова – нет, есть движения в пространстве и его части – точек, площадей.

<...>

¹ Там же. С. 313. См. достаточно подробное и упорядоченное описание звёздного языка Хлебникова: Перцова Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 40. Wien – Moskau, 1995. С. 53–60, 515–541.

Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в неё – вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык – и вы увидите пространство и его шкуру»¹.

Фактически, поэт использует метафизику и космогонию Платона с её геометрически ясными, вечными и божественными идеями, но, в отличие от великого древнегреческого философа, прямым выражением пространственно-геометрических форм оказывается сам язык, речь и её частицы; собственно слова оказываются «вне игры». Отдельные фонемы выступают одновременно и как графемы, формируя «кусты», кластеры созвучных слов, близких также и семантически. Семантическая онтология Хлебникова репрезентируется яркими визуальными образами: элементы его звёздной азбуки становятся самостоятельными пространственными «актерами», превращаясь из отдельных космогонически-геометрических демиургов в деятелей геоисторисофии России.

Значения, придаваемые отдельным звукам в азбуке звездного языка, развиваются поэтом в «звездных песнях», «...где алгебра слов смешана с аршинами и часами»². Эти звуки показаны и рассказаны Хлебниковым как «внутренние» части, онтологические ядра воображения явлений и вещей, природных событий и метафор. Например:

«Го камня в высоте,
Вэ волн речных, *Вэ* ветра и деревьев,
Созвездье – *Го* ночного мира,
Та тени вечеровой – дева,
И За-за радостей – глаза»³.

Пытаясь сопоставлять эти «онтологические концепты» со значениями элементов звездной азбуки, мы обнаруживаем,

¹ Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 тт. Т. 5. Стихотворения в прозе. Рассказы, повести, очерки. Сверхповести. 1904–1922 / Под общ. ред. Р.В. Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е.Р. Арензона и Р.В. Дуганова. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 322.

² Там же. С. 321.

³ Там же. С. 320–321.

что первичная абстрактная «азбучная» геометрия превращается либо в семантические пучки природных образов, либо в онтологические метафоры, локализуемые также и определёнными созвучиями. Так, *Го*, сопоставимое с *Гэ* азбуки («движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда высота»¹), оказывается и образом камня, брошенного в небо, и образом ночного созвездия, а *Вэ* («*Вэ* значит вращение одной точки около другой (круговое движение)»²) ассоциируется с подвижным миром природного ландшафта, хотя в других фрагментах присутствуют и «*Вэ* толп кругом незримого огня», и «*Вэ* кудрей мимо лиц», и т.д. В свою очередь, *За-за*, близкое к *Зэ* звездной азбуки («*Зэ* – отражение луча от зеркала. Угол падения равен углу отражения (зрение)»³) становится зрительным образом чувства (как поэт, Хлебников, естественно, активно использует ассонансы). *Та*, не присутствующее в варианте звездной азбуки, который представлен в «Зангези», ассоциативно можно увязать со статным медленным движением («дева») и постепенным убыванием света («тьма вечерняя»). Так или иначе, поскольку любая частица звездного языка связана с определенным движением, звездный язык оказывается *подвижной системой соппространственностей*, в которой ядерные звуки постоянно меняют свои семантические («поверхностный» слой воображения) тональности и обертоны, сохраняя внутренний прочный онтологический «стержень». Говоря по-другому, поэт формирует мир-язык, Вселенную, тождественную языку, где акт называния может быть *транслокальным*, переходящим, изменяющимся, тогда как ключевые звуки изначально *сопространственны* сами себе, их онтологии как бы запечатлены самим пространством.

Звуки и созвучия, имеющие внечеловеческий, божественный, небесный характер, как бы привлекаются человеческим разумом, умом в широком смысле, который их «обрабатывает», трансформирует, создавая новые метагеографические смыслы.

¹ Там же. С. 322.

² Там же. С. 321.

³ Там же. С. 321.

Хлебников буквально реализует свою поэтическую и одновременно метагеографическую концепцию, «раскачивая» ум присоединяемыми к этому слову элементами звездной азбуки:

«Это большой набат в колокол ума.

Божественные звуки, слетающие сверху на призыв человека!»¹.

Но это не просто глоссоластики: поэт далее включает свои звуковые упражнения в продолжение и расширение звездной азбуки, предлагая как метафорические, метафизические, так и чисто геометрические определения полученных им неологизмов на основе корневого слова «ум». Некоторые из этих определений строго следуют смыслу соответствующих приставок в русском языке (например, *Ноум*, *Даум* или *Ниум*), часть – использует ассоциации с другими индоевропейскими языками: например, «*Оум* – отвлеченный, озирающий все кругом себя, с высоты одной мысли»² (ассоциация с санскритским «Ом»), или, «*Раум* – не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. Речи его – *раречи*»³ (очевидная ассоциация с немецким Raum – пространство). Наиболее интересны неологизмы, содержательно использующие основные элементы звездной азбуки и предлагающие либо «кусты» новых слов, либо развёрнутые семантические интерпретации. Например: «*Чеум* – поднимающий чашу к неведомому будущему. Его зори – *чезори*. Его луч – *челуч*. Его пламя – *чепламя*. Его воля – *чеволя*. Его горе – *чегоре*. Его неги – *ченеги*»⁴, или: «*Лаум* – широкий, разлитый по наиболее широкой площади, не знающий берегов себе, как половодье реки. *Лаум* с вершины входит в толпы ко всем. Он расскажет полям, что видит с горы»⁵. Поэт составляет своего рода «таблицу Менделеева», но уже в другой области – онтологического воображения пространства, которое воспринимается, скорее, не как пространство классического евро-

¹ Там же. С. 324.

² Там же. С. 325.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 324.

пейского мышления, а *акаша* древнеиндийской философской мысли – как некий звуковой эфир. Можно сказать, что так рождается, чисто интуитивно, не декларированная самим поэтом, «таблица звуковых элементов Хлебникова», или, подхватывая его словотворческие приёмы – «таблица звуковых совместий (совместностей) Хлебникова», причём таких таблиц может быть очень много.

Поэт выступает здесь как «богоборец», поскольку боги в его сверхповести демонстрируют своего рода красивую, но не упорядоченную «птичью заумь», а главный герой Зангези волевым образом формирует новые принципы расширения звуковых пространств. Так, игры со словом «ум» переходят к показу того, что можно сделать со звуком *Эм*, буквально отождествляющим мощь действия. Словотворчество Хлебникова вновь оказывается изумительно гибким, использующим как простые замены в различных словах начальных согласных звуком *Эм*, так и дальнейшие многообразные вариации с суффиксами и игрой со словом «могу». Очень важно отметить, что в тексте присутствует одновременно, в пределах одной «плоскости», авторефлексия, и после обширной импровизации с *Эм* и «могу» Зангези указывает:

«Это *Эм* ворвалось в владения *Бэ*, чтоб не бояться его, выполняя долг победы. Это войска пехотные *Эм*, размололи глыбу объема невозможного, камень-дикарь невозможного на муку, на муравьиные ноши, из дерева сделали мох и мураву, из орла муху, из слона мышь и стадо мурашей, и целое стало мукой бесконечно малых частей. Это пришло *Эм*, молот великого, молью шубы столетий все истребив.

Так мы будим спящих богов речи»¹.

Космогония Велимира Хлебникова оказывается геогонией, ибо люди у него – словами Зангези – становятся звуковыми демиургами, строящими новый облик Вселенной. Поэт неоднократно уподоблял Землю, земной шар человеческому мозгу, но почти также часто он говорит о земном шаре как мячике, подчеркивая мощь человеческого ума:

¹ Там же. С. 327.

*«В великих погонях
Бешеных скачек
На наших ладонях
Земного шара мячик»¹.*

Благодаря новым звуковым законам Вселенной возникают новые миры, за пределами прежних числовых законов. Хотя сам Хлебников посвятил изучению законам Времени большое количество текстов («Доски Судьбы»), для него работа со звуками, понимание звездной азбуки становится ключом к преодолению численных закономерностей:

*«Если кто сетку из чисел
Набросил на мир,
Разве он ум наш возвысил?
Нет, стал наш ум еще более сир!
Раньше улитки и слизи –
Нынче орлиные жизни»².*

По сути дела, метагеография Хлебникова – это стремление описать и закрепить упорядоченную Вселенную земными звуками, перенести звуковые ландшафты и пейзажи Земли в космос, создать звуковую империю внеземных пространств, уподобленных земным благодаря укрощённым в будущем звукам. Герой сверхповести манифестирует это буквально, используя образы конной лавины:

*«Мы, дикие звуки,
Мы, дикие кони.
Приручите нас:
Мы понесем вас
В другие миры,
Верные дикому
Всаднику*

¹ Там же. С 344.

² Там же.

Звука.

*Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав.
Конницу звука взнуздай!»¹*

Для метагеографического захвата Вселенной, прежде всего, необходимо захватить звуками и словами, неологизмами и саму земную поверхность, земные ландшафты – и ландшафты небесные – там, где обычно живут боги. Зангези пытается это сделать для слушающих его, но его не понимают – он терпит неудачу. Герой Хлебникова повторяет его судьбу: хотя описать мир новыми звуками и словами непросто, но возможно – однако его должны понять другие, что гораздо сложнее и проблематичнее; без этого «взлом Вселенной» невозможен.

Задумчивый и изменчивый небесный ландшафт описывается Зангези соответствующими неологизмами, транслирующими идеи плавного, тихого полета, медитации, символизирующими уход богов со сцены:

*«Они улетят в никогдавель.
Очами земного нетеж,
Закона земного нетуры,
Они в голубое летеж,
Они в голубое летуры.
Окатаны вещью грустью,
Летят к доразумному устью»².*

Гораздо более экспрессивна и разнообразна картина земных ландшафтов, представленная Зангези в ответ на жалобы учеников, которым наскучили его небесные описания, например:

*«Пел ветер дикой степи,
Лелепр синеем ночей,
Весны хорошава ночная, верхарня травы.*

¹ Там же. С. 346.

² Там же. С. 330.

*Где ветра ходно, на небе огнепр.
<...>
И гибельный гнестр,
И хивень божеств.
А я, божестварь, одиноч»¹.*

Неологизмы Хлебникова позволяют совсем иначе вообразить романтические и одновременно трагические ландшафты горных ущелий, бурных рек, дикой степи – пространства одиночки, задумавшего покорение и изгнание богов. Главное, однако, в том, что Зангези осознает, несмотря на свой неуспех у учеников: только проникновением в новые земные звуковые миры он сможет тем самым умножить Землю, создать множество необычных географических образов, из которых уже строится новая метагеография Вселенной:

*«Вперед, шары земные!
Так я, великий, заклинаю множественным числом,
Умножать земного шара: ковыляй толпами земель.
Земля, кружись комариным роем. Я один,
Скрестив руки.
Гробизны певцом.
Я небыть.
Я такович»².*

Естественно, метагеография Велимира Хлебникова не ограничивается только его сверхповестью «Зангези», анализ многих его поэтических и прозаических произведений, манифестов, эссе, равно как и «Досок судьбы» может дать ещё многое для понимания его пространственно-онтологических и образно-географических дискурсов. Тем не менее, именно в «Зангези» сведено самим поэтом множество кардинальных лейтмотивов его творчества, крайне важных в контексте данной темы. Наконец, и само это произведение организовано, на

¹ Там же. С. 331.

² Там же. С. 332.

наш взгляд, метагеографически: его «плоскости» могут свободно перемещаться, перемешиваться, создавая различные дискурсивные ландшафты и новые пространства воображения. Хлебников действительно был метагеографом-демиургом, использовавшим органику русского языка и русской словесности в своей грандиозной попытке создать иной, может быть, «вывернутый наизнанку», образ Вселенной, соединяющей микромиры человеческого мозга, мезомиры традиционных земных ландшафтов и макромиры бесконечных пространств космоса.

Г л а в а 13.

Гунны в Париже: к метагеографии «скифов» Александра Блока

Образ Скифии: пространство и наследие

Наследие как важная онтологическая проблема и задача – пространственно – постольку, поскольку и само пространство бытует и бытийствует, как правило и прежде всего, в форме наследия – культурного, исторического, метафизического. Пространственность проявляет и «атрибутирует» себя посредством наследования самой себе; она движима объектами, предметами, вещами, чей онтологический статус вообразим в топосах наследия – наследия пространственного бытия *ad hoc*. В то же время мыслимое и мыслящееся феноменологически наследие обретается как экзистенция сопостранственности, бытующей локальными мифами, географическими образами, культурными ландшафтами, индивидуальными и групповыми территориальными идентичностями. Оппространствление и оппространствование наследия – необходимый онтологический ход, шаг, выявляющий естественную онтику существующего и живущего.

Воображение пространства, как и воображение наследия – два сходные, пересекающиеся и взаимодействующие процесса. Онтически образ всегда пространствен, пространственен, его онтологическая суть и сущность – выразить феноменологию пространства «здесь и сейчас». Но будучи исходно пространственным, любой образ мыслится и существует расширительно, в движении и в трансформации, что предполагает, почти «автоматически», возникновение и зарождение наследия как образа. Воображение наследия онтологизируется всяким «уходящим», меняющимся, трансформирующимся пространством, его ландшафтами и мифами, его геокультурной спецификой, что способствует рождению и созданию не только ностальгии

или же пассаизма, но и конструированию образов (пространства) будущего, возникающего из буквальной жажды наследия, воли к (истинному) наследию.

Скифия и «скифское» – краеугольный, мощный онтологический образ, синтезирующий евразийскую и европейскую сопостранственность и северо-евразийское наследие. Скифы – один из многочисленных кочевых народов в сложной исторической географии Евразии – стали выразительным обобщающим символом кочевых народов и кочевых культур, кочевого духа и степной дикости и варварства. Конечно, рождение столь важного образа-архетипа в европейских культурах, включая русскую культуру, связано исключительно с древнегреческой и античной цивилизациями, в которых скифы оказались необходимыми для становления базовых идентичностей этих цивилизаций «Иными» и «Другими». Несмотря на то, что взаимодействие оседлых и кочевых культур на внешних рубежах античного мира было довольно плотным и тесным, весьма длительным и противоречивым, мирным и воинственным, зафиксированным во множестве письменных источников и археологических свидетельств, последующие культурные эпохи, несомненно, способствовали развитию постоянно трансформирующегося «скифского мифа», порой очень далёкого от известного и хорошо изученного историкам и филологам скифского мира.

Безусловно, тот образ кочевой дикости и варварства, который находится в ядре «скифского мифа», был описан и древнегреческими и античными историками и писателями, начиная с «Геродотовой Скифии». Волны кочевых нашествий из Азии всякий раз актуализировали этот образ и расширяли его, способствуя онтологическому отождествлению Скифии, скифов и скифского с Азией, кочевыми набегами, степной удалью, воинственностью и дикостью. Естественно, что в ходе своего мифологического развития и расширения образ Скифии всё дальше и дальше уходил от географических, антропологических, исторических, политических и культурных реалий.

Нет сомнения, что образ Скифии является центральным для понимания философской и культурологической проблемы

взаимоотношений цивилизации и варварства, периодически актуализируемым европейской культурой в широком смысле, а также и кругом культур, обязанных европейскому наследию. Два онтологические «столпа» европейского наследия – античность и христианство (вместе с его иудейскими коннотациями) – по-разному включали и интерпретировали «скифский миф», однако именно христианство по-настоящему способствовало онтологическому «ускорению» формирования этого мифа, размещая его в своём эсхатологическом поле мифов. Естественно, это вело к ещё большему содержательному «искажению» исходного античного «скифского мифа», но в то же время образ Скифии и скифского приобретал более широкие, «мировые» мифологические и онтологические координаты.

Европоцентричный образ Скифии имеет свой практически такой же масштабный аналог – образ кочевых народов на северных границах китайской цивилизации. Многовековое противостояние-взаимодействие китайской земледельческой цивилизации и северных кочевых народов имеет также множество исторических, археологических и культурных свидетельств. Хотя эти народы многожды сменялись, по существу, доминирует образ народа хунну (близкий народу гуннов в европейской исторической традиции), наиболее сильно повлиявший на представления древних китайцев о мощи степных кочевых культур. И здесь мы наблюдаем классическую культурологическую оппозицию «цивилизация – варварство», однако китайский случай, на «европоцентричный» взгляд, в первом приближении более прост и понятен – в нём нет столь разнородных мифологических «пластов», как в европейском цивилизационном варианте.

Цивилизации и культуры, обязанные своим первоначальным онтологическим импульсом более древним цивилизациям, часто заимствуют наиболее свои важные образы-архетипы, в дальнейшем существенно их видоизменяя – в процессе феноменологического и метафизического усвоения и освоения. В то же время «материнские» цивилизации, как бы наблюдая за ростом и развитием «дочерних» цивилизаций, пытаются

осознать их динамику посредством использования старых, уже «апробированных» ранее образов. В ходе подобных процессов формируется переходное, фронтирное, противоречивое ментальное образно-мифологическое пространство, часто с известным «удвоением» и дальнейшей трансляцией ключевого образа-архетипа вовне.

Так, вполне очевидно, транслируются миф цивилизации и варварства и миф империи – из византийской и (западно-)европейской цивилизаций в русскую (российскую) цивилизацию, из китайской – в японскую. В своём территориальном расширении и российская, и японская цивилизации используют эти мифы как «свои собственные», практически аутентичные, при этом, естественно, адаптируя их в рамках геокультурной специфики. Но в то же время, в переходные эпохи, «дочерние» цивилизации могут и готовы примерять на себя мифологические маски «варварства», придавая им положительные смыслы и ценности. Таково, например, «скифство» русской культуры конца XIX – начала XX в.

Образ Скифии, скифского, скифов в русской культуре ассоциируется с молодостью, свежей кровью, энергией дикого напора, жизненной неудержимой силой, далёкой от застоявшихся, затхлых, загнивающих форм старящейся древней культуры. Произведения Бальмонта, Брюсова, Блока, Андрея Белого, Иванова-Разумника, Пришвина, Пильняка, раннего Вс. Иванова, живопись Васнецова, «Весна священная» Стравинского «говорят» о кризисной эпохе, смене вех и поиске новой метафизики, опирающейся на иные образы-архетипы. Возникновение и развитие евразийского движения, имея свой конкретный исторический генезис, связанный с политической и социальной катастрофой России 1917–1921 гг., было, вне всякого сомнения, образно-символически тесно связано, со «скифским» культурным, историософским и метафизическим сдвигом и «впитало» его базовые ментальные установки.

Образ Скифии оказывается амбивалентным «двойным оружием», палкой о двух концах, «двойной связью» (double bind) в терминологии шизофренического анализа Г. Бейтсона.

С одной стороны, российская цивилизация может часто представлять, воображаться «глазами» европейской и, шире, западной цивилизации, как полудикая и «скифская» с известными отрицательными ценностными обертонами; с другой стороны, российская цивилизация, борясь с таким отрицательным образом и «обижаясь» на него, может периодически, в трудных переходных социально-психологических ситуациях прямо использовать образ Скифии в своих целях, переосмысливая его уже в положительных коннотациях – заданных, кстати, еще в рамках древнегреческой оппозиции цивилизации и варварства. Как всякое образное наследие, образ Скифии может быть амбивалентным, иметь одновременные сосуществующие противоречивые интерпретации в переходном ментальном пространстве цивилизационного взаимодействия.

Картография воображения Скифии в её исторической динамике хорошо показывает как мифологическую подошлёку развития этого образа так и особенности формирования переходного ментального пространства, «балансирующего» на постепенно меняющихся свои контуры границах Европы. Если античная и наследующая ей раннесредневековая европейская картография размещали Скифию в основном в пределах современной Европейской части России, до вполне мифологических тогда Рифейских гор, привязывая сам образ к античной и пост-античной цивилизации, то более поздние европейские картографические традиции, смешивая Скифию с библейским мифом о народах Гога и Магога и Великой Тартарией, «уводили» её всё дальше в сторону Азии, на восток и северо-восток. Существенно, что библейская мифология, осложнённая образами периодических кочевых нашествий из Азии, постепенно «размывала» исходный историко-географический образ Скифии античного времени; в то же время образ Великой Тартарии, выступая в некоторой степени синонимом и коррелятом образа Скифии, постепенно вытеснял его как с реальных географических карт XV–XVIII вв., так и с умозрительных европейских карт воображения. Образ Московского царства опять-таки мог быть вполне амбивалентным: с одной стороны, Московское го-

сударство могло условно размещаться на крайних восточных рубежах Европы, защищая её от кочевников, и в то же время, оно могло быть и коррелятом угрожающих образов Скифии и Великой Тартарии и непосредственно грозить европейским государствам. По-разному размещаемые на различных европейских картах, Московия, Сибирь и Великая Тартария, образно взаимодействуя между собой, постепенно вытесняли образ Скифии в сторону умозрительной картографии воображения, заимствуя в то же время его базовые содержательные коннотации.

Пространство и эпоха: метагеографическое взаимодействие

Пространство и эпоха – два мощных и даже, пожалуй, всеобъемлющих образа-архетипа, которые формируются, функционируют и развиваются в общественном и культурном сознании в качестве его непосредственного ментального фундамента. При этом они, как правило, воспринимаются и – можно сказать – воображаются совместно, в тесной обоюдной связи и взаимодействии. Конечно, та картина мира, которая стала складываться к началу XX века, способствовала подобному культурному «раскладу»: пик модернизма в архитектуре, живописи, литературе, по-видимому, не случайно совпал с открытием и развитием теории относительности, со становлением понятия и концепта пространства-времени. Позднейшие, уже относящиеся ко второй половине XX века гуманитарные и научно-гуманитарные открытия, связанные с развитием искусствоведения, языковедения, филологии, когнитивной психологии, культурной географии, обусловили своеобразный фон, мыслительное поле, в рамках которых практически любые пространства и эпохи могли осмысляться, продумываться и воображаться и синхронно, и диахронно, и в то же время как прообразы других пространств и времён, ориентированных не только в прошлое, но и в активно идеологически представляемое будущее. «Скифы» Александра Блока, несомненно, относятся к

тем художественным произведениям, чьё значение выходит за рамки определенного периода развития русской и мировой литературы, демонстрируя исследователям и просто читателям один из начальных образных экспериментов совмещения пространств и эпох, ведущего к быстрому и как бы самопроизвольному умножению, мультиплицированию образов – не только художественных и/или историософских, но также географических и геософских – раскрывающихся, однако, только в плотных «сцепках», сплотках друг с другом.

Скифский «взгляд» на образ России

Образ страны наиболее ярко репрезентируется, как правило, в художественных произведениях – литературных, живописных, музыкальных, кинематографических, фотографических и т.д. В ту или иную эпоху этот образ может приобретать специфические черты, благодаря которым он неотделим от конкретного, насыщенного определенными политическими и культурными событиями исторического времени. Однако картина становится более сложной, если учитывать также рецепцию репрезентированного образа страны не только современниками, но и последующими поколениями. По сути дела, происходит своего рода образная интерференция, когда различные и порой сильно отличающиеся друг от друга рецепции и интерпретации образа накладываются друг на друга, начинают взаимодействовать друг с другом (общественные, художественные, социально-политические дискуссии). Наконец, следует учесть, что исследователь, принадлежащий уже другой, иногда весьма далёкой эпохе, привносит своё видение, свою интерпретацию подобной образной интерференции. Такие условные целенаправленные упорядочения интерференционной образной картины могут происходить время от времени, создавая потенциальное пространство для будущих рецепций и интерпретаций.

Ёмкость художественно-географического образа. Образ России должен иметь целый ряд, веер вариантов: Россия как

европейская страна, часть Европы; как часть Азии, азиатская или восточная страна; как полупериферия Запада; как авангард Запада на крайнем востоке Европы; как пограничная (фронтирная) империя (Российская империя)¹. Веер подобных образов довольно четко выявляется в классическом произведении Александра Блока «Скифы». Все эти модификации используются по мере надобности, в зависимости от целей, задач, обстоятельств – осознанно или неосознанно.

«Скифский взгляд» на образ России оказывается, благодаря блоковскому произведению, весьма ярким и плодотворным, поскольку он позволяет художественно синтезировать различные и зачастую противоречивые представления и путей развития и судьбах России. Здесь нет надобности говорить о мощном «скифском пласте», комплексе «скифских образов» русской культуры 1890–1920-х гг., корни которого можно проследить, начиная с XVII века². Естественно, что поэт постарался учесть уже существующую «скифскую» художественную традицию – в том числе и в произведениях его именитых поэтов-современников – например, Бальмонта или Брюсова – скорее, на уровне «музыки», общего культурного фона, нежели непосредственного содержания. Характерно, что Блоку удалось в его «Скифах» создать действительно «богатую» интерференционную образную картину, в которой, казалось бы, несовместимые образы России сосуществуют и взаимодействуют в едином поэтико-географическом пространстве. Одна из важных предпосылок такой образно-географической удачи – дар Блока всегда находиться, жить «внутри эпохи», быть неотделимым от собственной эпохи, заставляя её быть тем самым и «блоковской». Художественное или поэтическое «присвоение» эпохи порождает многообразие поэтических пространств, нуждающихся в органичных и естественных для них географических образах.

¹ *Замятин Д.Н.* Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск: Ойкумена, 1999. С. 63.

² См., например: *Богданов А.П.* От летописания к исследованию: Русские историки последней четверти XVII века. М.: RISC, 1995.

Роль географических образов в поэтическом произведении

Географические названия, понятия, термины встречаются в поэтических произведениях довольно часто, при этом их роль может быть различной: они могут нести декоративную функцию (функцию украшения), быть вплетены строго в смысловую или сюжетную ткань стихотворения; участвовать в создании, формировании основных образов поэтического произведения. В чистом виде эти три роли (функции) географических названий встречаются редко; чаще географическое название (термин, понятие) выполняет их все в тех или иных пропорциях.

Географический образ в поэтическом произведении может формироваться как неявно, в «подпочве» различных исторических и культурологических образов и понятий, так и самостоятельно, открыто – на базе одного или более географических понятий, пересекающихся и взаимодействующих между собой и со смежными историческими и культурологическими понятиями. Структура неординарного, глубокого поэтического текста создает возможности для формирования множества географических и парагеографических образов, соединяющихся в динамичную, иерархическую образно-географическую картину стихотворения, определенного поэтического мира.

В результате изучения важных примеров формирования и развития географических образов в литературных произведениях¹ можно сформулировать следующие закономерности:

¹ См.: *Замятин Д.Н.* Империя пространства. Географические образы в романе Андрея Платонова «Чевенгур» // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 82–90; *он же.* Географические образы путешествий в русской литературе // География в школе. 2001. № 8. С. 26–29; *он же.* Географические образы в комедии Андрея Платонова «Ноев ковчег» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, юбилейный. М.: ИМЛИ, 2003. С. 162–170; *он же.* Метагеография города: особенности и закономерности // Урбанизация в условиях трансформации социально-экономической структуры общества. Смоленск: Универсум, 2003. С. 74–80; *он же.* Географические образы путешествий // Культурный ландшафт: Теоретические и региональные исследования. Третий юбилейный выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт». М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.

1) географические образы в литературных произведениях могут играть самостоятельную роль, являясь иногда их содержательным ядром – скрытым или явным; 2) структуры и системы прикладных географических образов, формирующиеся в литературных произведениях, наиболее эффективны (с точки зрения восприятия читателем или влияния на реальные процессы) в тех случаях, когда их содержание в значительной степени отличается от содержания описаний (характеристик) реальных географических пространств-прототипов; 3) формирование и развитие структур и систем подобных географических образов во многом зависит от феноменологических особенностей художественного языка, используемого тем или иным литературным автором.

Образно-географический анализ поэмы А. Блока «Скифы»

Поэма А. Блока «Скифы», написанная на переломе, разрыве исторических эпох, – удобный полигон для исследования закономерностей формирования географических образов в поэтических произведениях. Для неё характерны обилие историко-культурных параллелей и образов, создающих поле, фон, катализирующие, ускоряющие рождение и развитие целостной образно-географической картины произведения.

Ядро, центр этой образно-географической картины – образ скифов (*Скифы*), который, будучи парагеографическим и, даже, скорее, историко-культурологическим, способствует концентрации, конденсации различных и разнородных образов, претерпевая при этом последовательно ряд метаморфоз, трансформаций и образуя динамическую ось картины. Анализ текста позволяет выделить 11 подобных «метаморфоз», в которых

С. 32–42; *он же*. Русская усадьба: ландшафт и образ // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Выпуск 10 (26). М.: Жираф, 2004. С. 51–64; *он же*. Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004; *он же*. Круглая вечность. Образная геоморфология в романе А. Платонова «Чевенгур» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 6. М.: ИМЛИ, 2005.

образ *Скифы* меняет внешние оболочки (упаковки) (рис. 1). Эти упаковки достаточно разнородны и включают в себя географические (Восток, Россия, Париж), историко-этнологические (монголы, гунны), историко-культурологические (Сфинкс, варвары) понятия (образы). Меняя эти оболочки, Скифы «выбрасывают», выталкивают в окружающее их пространство картины (поэтико-географическое пространство) уже практически сформированные, самостоятельные географические и парагеографические образы, приобретающие при этом особенную, «скифскую» окраску.

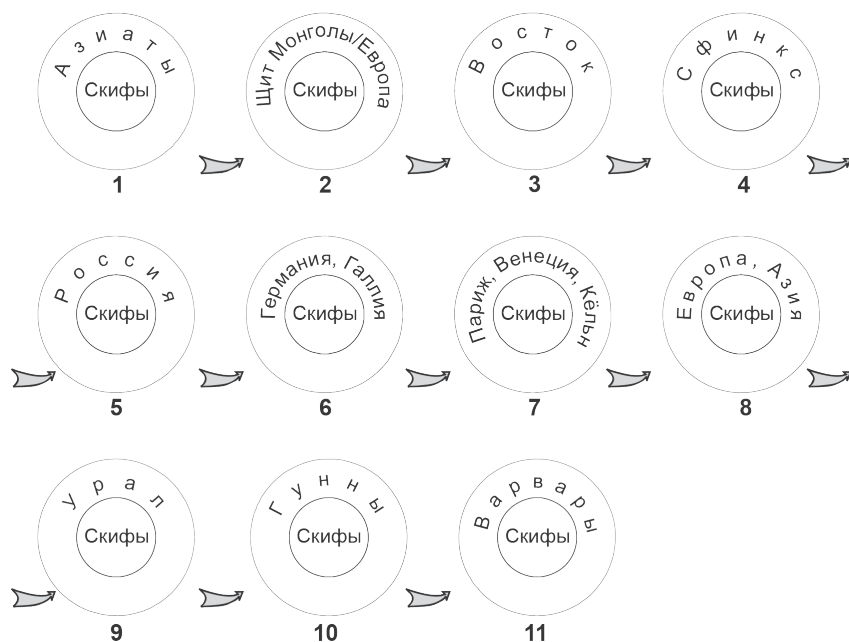


Рис. 1. «Метаморфозы» образа Скифы

Образы, составляющие последовательно сменяющиеся оболочки ядерного образа *Скифы*, можно разделить на два типа (класса): 1) образы тождественные, синонимические образу *Скифы*, – это *Азиаты*, *Россия*, *Восток*, *Сфинкс*, *Урал*,

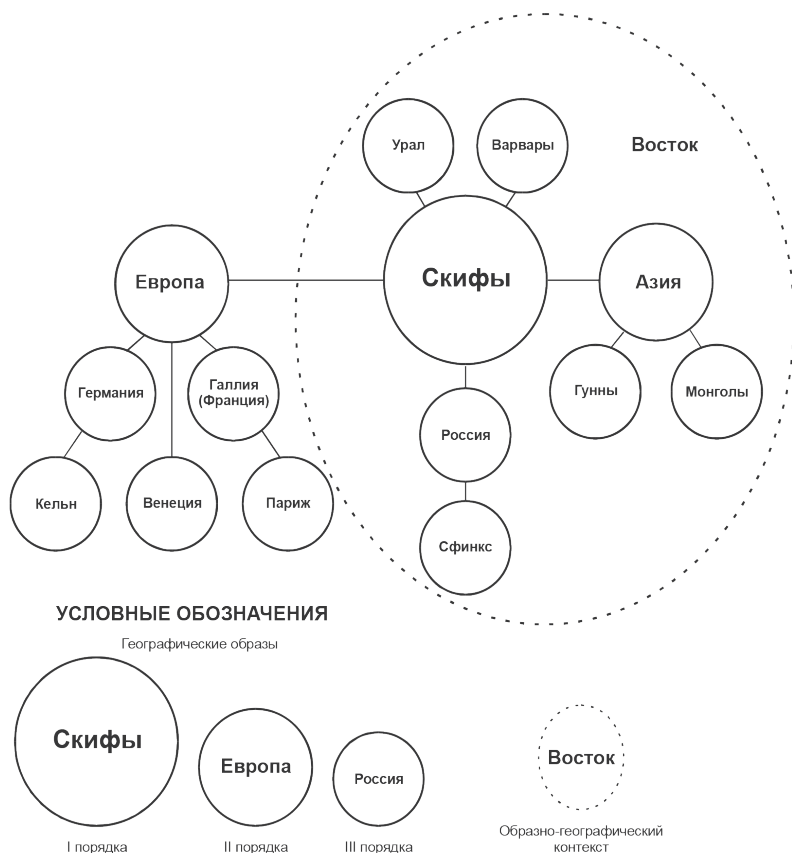


Рис. 2. Структура поэтико-географического пространства «Скифов»

Варвары, и 2) образы пересекающиеся, взаимодействующие с образом *Скифы*, но не тождественные ему – это *Монголы*, *Европа*, *Германия*, *Галлия*, *Париж*, *Венеция*, *Кельн*, *Азия*, *Гунны*. Таким образом, динамическую поэтико-географическую картину произведения составляют центральный парагеографический образ *Скифы*, 11 его основных «упаковок» (оболочек); 15 тождественных центральному образу или пересекающихся с ним образов, формирующих структуру, ткань поэтико-географического пространства.

Поэтико-географическое пространство «Скифов» организовано иерархически; 1-й иерархический уровень – образ *Скифы*, от этого ядерного образа идут связи к образам 2-го и 3-го уровней (рис. 2). Систему взаимосвязанных образов стихотворения можно представить как *семантическую сеть*, в которой четко выделяется «**западный**», **европейский фланг**, включающий образы, содержательно объединенные понятием Европы; и «**восточный**» **фланг**, составляющий большую, доминирующую часть или регион поэтико-географического пространства. Сюда отнесен сам образ *Скифы* и ряд образов, объединяемых общим образом *Востока*. Сложность, разветвленность поэтико-географического пространства характеризует мощь, силу центрального образа.

Анализ поэтико-географического пространства исследуемого произведения позволяет определить, выделить его **наиболее важные внутренние взаимосвязи и структуры** – это: 1) связь *Скифы* – *Монголы*, сильнейшим образом расширяющая и фактически формирующая границы поэтико-географического пространства стихотворения (хотя собственно исторические сведения о скифах и монголах позволяют сближать их только на основе сходных кочевых типов хозяйства и географического положения на разных концах Великой евразийской степи) и 2) ключевая, узловая структура *Европа* – *Скифы* – *Азия*, на которой «держится» каркас, структура всей системы ГО стихотворения. Эту узловую структуру можно представить как *дихотомию* (рис. 3), в которой образ *Скифы* расчленяется, разделяется поэтической логикой стихотворения на образы *Европа* и *Азия*.

Представленная образно-географическая картина поэтического мира «Скифов» составляет лишь верхний видимый «слой» образов, прикрывающий ряд географических образов (историко-географических образов), находящихся как бы в почве, глубинном слое поэти-



Рис. 3. Узловая структура поэтико-географического пространства «Скифов»

ко-географического пространства. Здесь можно выделить образы, прямо, непосредственно связанные с верхним «слоем» – например, образы Португалии и Италии, расширяющие, продолжающие образы Лиссабона и Мессины; и слой более незаметный, выявляемый опосредованно, путем реконструкции, «археологических раскопок» – так, образ Галлии привязан к более фундаментальным, архетипическим образам Рима и Греко-римской цивилизации; образ варваров опять приводит к *Риму* и *Греции*; *Сфинкс* – к древнему *Египту*, *Монголы* – к *Тюркам* и *Китаю*. Детальный поиск подобных глубинных образов может привести к увеличению размеров поэтико-географического пространства, усложнению его организации, иерархии и стратификации.

Структура и генезис поэтико-географического пространства «Скифов»

В целом поэтико-географическое пространство «Скифов» обладает очевидной способностью к расширению, экспансии; к включению в свой состав новых географических и парагеографических образов, обнаруживаемых в его глубинных слоях и усложняющих образно-географическую картину произведения. При этом оно наращивает определенную автономию, самостоятельность по отношению к другим внутренним параметрам (качествам) самого поэтического произведения (историко-литературное и историко-культурное значение, художественные качества, поэтическая и литературная значимость, сложность и т.д.). Наличие крупного, устойчивого ядерного географического или парагеографического образа (в данном случае – *Скифы*) – важное условие формирования развитого, разнообразного (также и в буквальном смысле – *разнообразного*) поэтико-географического пространства.

Образно-географический анализ поэмы А. Блока «Скифы» показывает, что парагеографический (геоисториософский) символ скифов притягивает к себе как географические, так и негеографические символы и архетипы. В то же время прак-

тически любой географический знак, символ и архетип, входящий в определенный географический образ, может иметь историко-культурные, политические, историософские, экономические и др. значения (коннотации).

Художественно-географические образы обеспечивают взаимодействие порой очень удаленных, сильно дистанцированных в реальном пространстве и времени знаков и символов. Использование и развитие А. Блоком первоначально парагеографического образа скифов в одноименном стихотворении привело к наложению и соединению образов Запада и Востока, азиатских степей и освоенных территорий Европы, Урала и Франции, и т.д.

Географические образы, формирующиеся в художественных текстах, как правило, гетерогенны, неоднородны по своему происхождению. Источниками таких образов могут выступать сведения из СМИ, какие-либо научные факты, сообщения, концепции; художественные образы и символы; биографические события. Такая гетерогенность ведет к структурной неоднородности формирующихся географических образов, когда используемые и разрабатываемые знаки, символы и образы имеют различную содержательную насыщенность и разный потенциал содержательного взаимодействия. В поэме Блока образ Мессины формируется в основном за счет сведений о мессинском землетрясении 1908 г., полученных преимущественно из СМИ; соответственно, содержательная емкость этого образа сравнительно невелика – он выполняет подчиненную роль в образно-географической картине (модели) произведения. В то же время, образ Урала формируется в основном не за счет простых географических сведений об этой горной системе, а за счет богатой художественной и культурной традиции осмысления этого образа в русской поэзии, развивающего, в свою очередь, античные и средневековые, прежде всего научные и мифологические, представления.

К основам российско-евразийской идентичности

«Скифы» Александра Блока демонстрируют в яркой художественной форме кризис европоцентристской картины мира в русской модернистской культуре и ментальный – историко-офосский и геософский – поворот к «евразийской» картине мира. Русское евразийство, которое начало стремительно развиваться чуть позднее, фактически выросло из этого культурного кризиса эпохи и проявилось не только статьями и книгами официальных «евразийцев» – мыслителей и философов русской эмиграции, но и художественными произведениями таких русских писателей и поэтов, как, например, Андрей Платонов, Борис Пильняк, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Леонид Леонов. Но дело обстоит бы слишком просто, если бы можно было свести содержание и форму стихотворений, поэм, рассказов или романов к наглядной иллюстрации фундаментального поворота в русской культуре. Как всегда, картина неизмеримо сложнее: любая интерпретация художественного произведения должна быть объёмной, более широкой, нежели требования дисциплинарного «вписывания» или приписывания содержательных смыслов произведению; иначе говоря, всякое значительное художественное произведение «излучает» свои образы как в будущее, так и в прошлое, как «вовнутрь» материнского, субстратного географического пространства, так и вовне его – радикально меняя и образы эпох, и образы пространств. При этом и сами образы, несмотря на неизменность, казалось бы, текста произведения, могут меняться, трансформироваться, описываться и характеризоваться различными способами, порождая расходящиеся пространственно-временные вариации и интерпретации произведения.

Сама скифская «идея» произведением Блока, всем его разным строем стала неузнаваемой, стала совершенно другой, нежели её более ранние и/или параллельные художественные репрезентации. Классически ясный, почти не терпящий образных сломов язык Блока столкнулся с почти впервые описываемой на таком онтологически серьёзном уровне метагеографией

России (в «Двенадцати» такой задачи нет, поэтому языковые новации фиксируют лишь динамизм самой эпохи перехода). Нельзя сказать, что язык «потерпел» образную неудачу. Выше уже говорилось о том, что поэма Блока есть удача в образно-географическом смысле. Но если прилагать эту удачу к выросшей внезапно в ходе интерпретации задаче метагеографического представления России, то обнаруживается поверхностный мелодраматизм гораздо более глубокой онтологической трагедии разрыва не только эпох, но и пространств – родственных, но стремительно отдаляющихся друг от друга. Весь метагеографический пафос «Скифов» – в надуманном, но от того не менее значимом столкновении образов Европы с европейскими же по происхождению образами варваров, Азии, Востока. Борьба Европы с пара-Европой ведёт к формированию и расширению образной расщелины, к первичному возникновению фрагментов новой метагеографической карты, где протейский, по сути, образ скифов являет и синкретические поначалу основы российско-евразийской идентичности.

Глава 14.

Демон места: к становлению образов реки в российских ментальных мирах

Лечу над равнинной местностью, очевидно степью, это, наверное, Россия. Парю над величественной рекой, через которую перекинут высоченный мост. Под мостом в реку выдаётся кирпичное здание, из труб клубится дым, слышится скрежет машин. Это – фабрика.

Река изгибается гигантской лукой. Берега поросли лесом, панорама безгранична. Солнце скрылось в облаках, но всё пронизано резким, не отбрасывающим тени светом. По широкому руслу стремительно несётся зеленоватая, прозрачная вода, по камням в глубине то и дело мелькают тени – огромные сверкающие рыбыны. Я спокоен и преисполнен доверия.

Ингмар Бергман. Латерна магика, 1987

Речные миры: введение в контекст

Река – всеобъемлющий образ забытья, вечного движения и преходящей и всё же постоянно возобновляющейся жизни. Архетип воды, живущий органичными природными образами морей, озёр, болот, прудов и ручьев, проявляется образом реки, пожалуй, наиболее полно и выпукло. Река организует как образ множество мелких и крупных ландшафтов, порождающих, в свою очередь, гроздь новых развивающихся образов.

Древние культуры понимали реки в основном как символ и источник жизни: речная вода была питьевой, ею поливались поля, в реках поили домашний скот и ловили рыбу, реки крутили мельничные колёса, и они же позволяли передвигаться довольно далеко на лодках и кораблях и таким образом торговать и знакомиться с новыми землями. Часто реки служили и очевидными естественными границами между племенами, народами и государствами – перейти реку означало попасть в другой, чужой мир с массой смертельных опасностей и приключений¹.

¹ *Пропт В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. С. 170–171, 185, 208, 221.

Эта пограничная функция рек перешла и во множество древних и архаичных мифологий: именно реки с различными в разных традициях названиями служат границей между земным, человеческим миром и подземным, загробным миром, где обитают души мёртвых¹.

Великие реки были колыбелью древних цивилизаций Египта, Двуречья, Древней Индии и Китая; речные ландшафты определили, по сути, магистральные пути политического и культурного развития древнего человечества. Лев Мечников впервые типологизировал это явление, что позволило описать важнейшие признаки подобных цивилизаций². Пантеоны древних речных цивилизаций закономерно включали и речных богов, богов рек, игравших существенную роль в ключевых мифах и экспонировавшихся в основных обрядах и ритуалах.

Реки могли символизировать и жизнь, и смерть; они могли нести живительную влагу полям, но могли и уничтожать дома и дороги, убивать людей во время наводнений; они защищали от вторжений иноземных захватчиков, но могли во время засухи или межени «предать» и пропустить нападавших внезапно врагов. Реки казались древним изменчивыми и двуличными богами, их противоречивые образы расслаивались, иногда заслоняли друг друга³. Так или иначе, можно говорить о статичных и динамичных образах рек.

Образы реки: статика и динамика

Статичные образы реки связаны с закреплённой, относительно неподвижной и стабильной позицией наблюдателей и

¹ *Топоров В.Н.* Река // Мифы народов мира. М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1982. С. 374–376.

² *Мечников Л.И.* Цивилизация и великие исторические реки; Статьи. М.: Издательская группа «Прогресс», «Пангея», 1995. С. 328–329, 337.

³ *Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т.* В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. С. 50, 161; *Павлова Н.Л.* Река и Солнце в едином пространственном искусстве Древнего Египта // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. М.: НИИ РАХ, 1997. С. 31–41.

создателей образов. Это, скорее всего, люди, постоянно живущие на берегу реки, наблюдающие её жизнь, пользующиеся её благами непосредственно – таковы, конечно, земледельцы и рыболовы. Для них река, прежде всего – образ природной, повторяющейся, сезонной силы, могущей нести одинаково блага и убытки, счастье и горе. Сезонная цикличность жизни реки определяет цикличность и их жизни. По сути, река олицетворяет здесь наиболее важные природные ритмы, выступает как «полномочный представитель» природы в целом.

Всякое движение по реке или вдоль неё по берегу может породить уже динамичные, более, возможно, бедные содержательно, однако более жёстко структурированные и порой более экспрессивные образы¹. Можно включить сюда и полёт над рекой: хотя воздушные аппараты не были известны древнему человеку, но скалы, обрывы и горные уступы по берегам рек позволяли как бы зафиксировать речные панорамы с воздуха, превратить их в сознании в подобие слайдового фильма. Нет сомнения, что такие «воздушные» образы рек, змеящихся по широким равнинам или клочкующихся в горах среди камней, были доступны и интересны и постоянным прибрежным жителям. Но у речных путешественников, каковыми чаще всего с древности были купцы, паломники и солдаты, речные панорамы могли скорее и эффективнее породить соответствующие – величественные или грозные, убаготворяющие и расслабляющие – образы. Движение позволяло создать динамичную картину речной воды и окружающих её ландшафтов, разработать ту или иную мифопоэтическую или философскую «подложку» этого неустанного и, казалось бы, вечного движения.

Опасности и превратности речных путешествий – каменные пороги и песчаные мели, враждебные береговые крепости или преследующие корабли по берегам кочевники; в конце концов, никогда не виданные и неизвестные земли в верховьях или низовьях рек – всё это способствовало накоплению острых

¹ См., например: *Розанов В.В. Русский Нил // Он же. «Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков, 1899–1913 гг. М.: Танаис, 1994. С. 329–409.*

впечатлений, претворявшихся в образы враждебных, авантюрных и всё же привлекательных речных ландшафтов. Пожалуй, в повести английского писателя Джозефа Конрада «Сердце тьмы» наиболее ярко показаны роль и значение реки в становлении человеческих характеров в условиях дикой природы и первобытной цивилизации¹. Характерно, что эпохи Великих географических открытий, колониальных захватов и империалистического раздела мира породили устойчивый образ конкистадора, землепроходца, казака, в котором связь человека с рекой проявилась очень чётко. Амазонка и Миссисипи, Волга и Обь, Конго и Замбези – все эти реки стали символами неустанного продвижения в неизвестность, обещающую как золото, так и новые ускользающие горизонты².

Самобытные человеческие сообщества, формировавшиеся на берегах крупных рек и в непосредственной близости от них, развивали свой образ жизни, оказывавший влияние, в свою очередь, на становление фундаментальных страновых и этнических образов. Вряд ли кто будет отрицать, что образ жизни казачьих областей Днепра, Дона, Кубани, Урала (Яика), Оби, Амура стал существенной частью этнокультурного образа России в целом. Закономерно, что выдающийся роман Михаила Шолохова о судьбах донского казачества в переломные для России годы Первой мировой войны и гражданской войны назван именем реки – «Тихий Дон».

Демон места: генезис образа

Всякая река в онтологическом смысле – место неопределённости, место изменчивости. В то же время река как «расплывчатая», нечёткая» онтология места может располагать своими «демонами». Здесь мы следуем в образной интерпрета-

¹ Конрад Дж. Сердце тьмы и другие повести. М.: Азбука, 1999. См. особенно: с. 61–66. Этот образ был удачно переосмыслен в фильме Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис XX века».

² См., например: Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М.: Наследие, 1997. С. 57–59, 128–131.

ции понятия демона за античной традицией, в которой демоны выступают как низшие божества или же вознесённые человеческие души, выступающие в качестве посредников между миром людей и миром высших богов¹. Характерно, что демоны могут нести людям как добро, так и зло – в зависимости от ситуации. Вместе с тем, воздействие демонов на людей может быть очень тонким, как бы не слышным и не заметным – «воздушным». Каждый человек может иметь своего демона, «подсказывающего» ему в трудных ситуациях².

Распад традиционных европейских обществ и их постепенная десакрализация привела первоначально к актуализации понятия гения места, использовавшегося в античной мифологии – наиболее активно в Век Просвещения, а затем в начале XX в. – в связи с нарастающим чувством пассаизма и вновь возникающим культом наследия³. Модерные интерпретации гения места, как бы они не различались в культурологической, эстетической, философской, литературной, архитектурной постановках, имели и имеют до сих пор позитивную эмоциональную и рациональную герменевтику. Эта локальная герменевтика привязана онтологически, образно и символически к некоей геокультурной статике – будь то культ дома, усадьбы, рощи, парка или любого иного памятного локуса в связи с какой-либо личностью. Изменчивость, динамика, неоднозначность, амбивалентность, «тёмные глубины» локальной геокультурной памяти явно не описывались понятием гения места, и здесь «на помощь» приходит понятие демона места. В российских ментальных мирах, по-видимому, именно образ реки в наибольшей

¹ Плутарх. О лике видимом на диске луны, 941–945 (*Плутарх. О лике видимом на диске луны* // *Философия природы в античности и в средние века*. Ч. 2. М.: Институт философии РАН, 1999. С. 76–81; *Трубецкой С.Н. Философия Плутарха* // *Плутарх. Исида и Осирис*. Киев: УЦИММ-ПРЕСС, 1996. С. 241–245.

² *Плутарх. О демоне Сократа* // *Он же. Исида и Осирис*. М.: Эксмо, 2007. С. 360–363.

³ См. более подробно: *Замятин Д.Н. Гений и место: ускользающая совместность* // *Общественные науки и современность*. 2013. № 5. С. 154–165.

степени соответствует такой онтологической интерпретации, тогда как, может быть, ментальные миры Северной Америки порождают, в первую очередь, доминирующее представление об океане или море как соответствующем демоне места и его персонификациях (например, в великом романе Германа Мелвилла «Моби Дик» или же в «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара Алана По).

Река и образы-архетипы: пути цивилизаций

Как статичные, так и динамичные образы реки могут соединять в себе в тех или иных пропорциях образы-архетипы границы, пути-дороги и моста. Если граница и путь могут выступать как вполне понятные и естественные представления образа реки, то мост может иметь, по крайней мере, две важных образных репрезентации, объединяющие и частично снимающие предыдущие образы¹. Построенный через реку понтонный, деревянный, каменный, железобетонный или стальной мост означает, так или иначе, усиление связующей функции границы, рост общения и обмена между людьми, живущими на разных берегах реки. В то же время любой мост через реку – это и наиболее короткий и часто хрупкий путь от одних способов мышления и воображения мира к другим. Неслучайно, что в ходе конфликта между албанцами и сербами в Косово конца XX – начала XXI века не раз разрушались речные мосты между этнически различными частями одного и того же города, расположенного на обоих берегах; иногда такие мосты служили постоянным местом противостояния враждующих этнических общин. Если же речной мост оказывается внутри процветающего торгового, военного или административного города, столицы обширного района или метрополии, то он постепенно обрастает торговыми лавками, туристическими приманками, пропускными пунктами и башенками, становится даже местом постоянного жилья торговцев или охранников. Блестящий при-

¹ См.: Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской модели мира. Исследования по структуре текста. М.: Индрик, 1999. С. 167–205.

мер подобного моста «для жизни» – Карлов мост через Влтаву в Праге. В этом случае мост становится отдельным автономным миром, висящим над рекой, обязанным ей своим происхождением и всё же уже «преодолевающим», как бы заключившим её в свой, более широкий образ маленького медиативного водно-воздушного обжитого и уютного пространства. Сочетание внутренней бойкой панорамы самого моста с его бьющей ключом жизнью внешней величественной панорамы текущей внизу и вдаль реки, видов старинного города по обоим берегам порождает ощущение парения в нескольких ландшафтах одновременно, чувство разнообразной полноты земного бытия.

Однако образ реки-моста может формироваться и на гораздо больших пространствах, становясь масштабной метафорой объединения стран и народов. В таком случае в качестве дополнительного образа-архетипа используется и образ пути. Образ Дуная является классическим примером: река множества разнородных этнических традиций, высоких и низких культур, река-граница между странами и в то же время река-путь, способствующая взаимопониманию сербов и австрийцев, венгров и цыган, румын и болгар¹.

Нетрудно догадаться, что разные исторические эпохи, особенности политического, культурного и экономического развития регионов и стран «диктуют» различные доминирующие образы рек. В эпоху римского владычества Рейн и Дунай представляли исключительно пограничными реками с укрепленными военными лагерями по всей линии лимеса. Они остались во многом пограничными и до настоящего времени, однако образ реки-границы стал второстепенным, уступив первенство образам реки-моста и реки-пути. В то же время, как бы абсорбируя и трансформируя все исторические и культурные события, происходившие на их берегах, многие реки становятся национальными и даже сакральными символами, собирающими большинство когда-либо преобладавших образов. Таковы, конечно, Рейн для Германии, Волга для России, Нил для Египта, Дунай для Венгрии, Днепр для Украины.

¹ Там же.

Речной дискурс в русской культуре и литературе: ключевые положения

Русская культура и литература обладает богатыми «речными» контекстами. Если вспомнить известное выражение о. Павла Флоренского о том, что культура, по сути, есть деятельность по освоению пространства, то можно утверждать, русская культура во многом разворачивалась как деятельность по освоению речных и приречных пространств – пространств, безусловно, равнинных. В свою очередь, русская литература на протяжении, по крайней мере, XIX–XX вв., развивается, имея в своём сюжетном и лексическом «багаже» немалое количество «речных» произведений.

Если классическая русская история, а затем и историческая географии, определили значимость для себя «равнинно-речного дискурса» ещё в XIX в. – прежде всего в произведениях великих русских историков Сергея Соловьёва и Владимира Ключевского = то русская литература лишь постепенно, незаметно начинает «присматриваться» к речной топике, используя её в различных сюжетных поворотах¹ – здесь уместно вспомнить и «Капитанскую дочку» Александра Пушкина, рассказ Ивана Тургенева «Муму», повесть «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова, цикл произведений Мельникова-Печерского о заволжских старообрядцах², рассказ Владимира Короленко «Река играет» и др. Характерно, однако, что лишь в начале XX в. русская литература осознает, наконец, речной дискурс, во всей его всеобъемлющей художественной и образной значимости – как с точки зрения геоисториософии (например, в поэтическом цикле Александра Блока «На поле Куликовом»), так и с точки зрения репрезентации личной, приватной метагеогра-

¹ Мы не претендуем здесь на исчерпывающий обзор «речной» темы в русской культуре и литературе, а пытаемся лишь наметить некоторые базовые основания для дальнейшего изучения.

² Существенно также отметить, что и в ряде произведений Достоевского мы находим экзистенциальный речной локус – прежде всего, локус Невы в его «петербургских» произведениях – например, в романе «Преступление и наказание».

фии (Волга в прозе поэта и писателя Михаила Кузмина). Существенно также, что подобные процессы происходят не только в поэзии (поэма Велимира Хлебникова «Хаджи-Тархан» о его родине – Нижней Волге), но и в прозе (рассказы и воспоминания Максима Горького, которого на определенной стадии его литературной биографии вполне можно назвать «волжским» писателем).

На протяжении всего XX и в начале XXI в. русская культура и литература продолжает активно использовать речной дискурс. При этом можно выделить, как минимум, три аспекта геокультурного воображения речных пространств в русской литературе¹: 1) наличие речных образов в сюжетах произведений в качестве «фоновых», иногда «сюжетных» (например, автобиографическая повесть современного российского писателя и актера Евгения Гришковца «Реки» или же произведение также современной российской писательницы Татьяны Толстой «Река Оккервиль»; 2) использование речных образов как ключевых экзистенциальных образов-архетипов, определяющих в целом смысл произведения (например, уже упоминавшийся роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» или повесть Валентина Распутина «Прощание с Матёрой»; 3) фиксация речных образов как, по сути, онтологических моделей геокультурного воображения, когда речной дискурс, осознанно или неосознанно, рассматривается как локальное бытие самого авторского письма. Здесь нас интересует именно третий выделенный аспект, поскольку, на наш взгляд, именно он является наиболее ярким репрезентантом существенной онтологической ориентации русской культуры и литературы на речные образы-архетипы и соответствующие локальные мифологии.

В русской литературе XX в. мы можем найти два – очень разных – примера попытки мыслить реку как онтологическую

¹ Здесь мы не будем пока рассматривать другие сегменты русской культуры и их репрезентации – например, изобразительное искусство, кино, видео, музыку, репрезентации в социальных сетях и т.д. – полагая также, что русская культура до сих пор в своих массовых и элитарных срезах сохраняет известный литературоцентризм.

модель воображения. Первый из них – поэтические и прозаические тексты Бориса Пастернака 1910–1940-х гг., биографически связанные с верховьями реки Камы, а также с несколькими более мелкими реками на Северо-Западном Урале. Важно понять, что в своих прозаических текстах – подступах к его роману «Доктор Живаго», и в самом романе – писатель всё-таки не дал целостного и поистине масштабного в онтологическом измерении образа реки, однако он сумел дать первые наброски подобного онтологического видения – до тех пор не характерного для русской литературы. Второй пример – роман современного русского писателя Саши Соколова (р. 1943) «Между собакой и волком», в котором – в отличие от фрагментарного речного дискурса Пастернака – представлена систематически целостная и мощная онтология реки как автономного и почти замкнутого жизненного мира, живущего по своим речным «законам – мира во многом фантастического и, тем не менее, вполне реального – постольку, поскольку всякий действенный, развёрнутый и мощный образ порождает соответствующую реальность.

Река и место: становление образа

Образы реки, разрастаясь и углубляясь, получая всё новые и новые выражения в произведениях культуры и искусства, в самосознании региональных общностей и народов позволяют представить их как содержательные образы мест и территорий. Речная топонимика дает здесь поначалу важный ключ к пониманию образа, затем, как правило, нужна образная интерпретация, вводящая образ реки-места, реки-территории в необходимые для его развития контексты. Так, в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» описана река с вымышленным им названием Рыньва. Хотя реки с таким названием в действительности нет, однако писатель использовал известные ему топонимические особенности Северного Урала, придав названию содержательный смысл. Буквально в переводе с одного из диалектов языка коми это означает «река, раскрытая настезь»,

«река, устремленная в будущее», обобщенно – «река жизни»¹. Характерно, что когда писатель искал будущее название своего романа, одним из вариантов было название «Рыньва»². Дальнейшая интерпретация возможна с помощью интересного отрывка из «Начало прозы 1936 года» – прообраза романа «Доктор Живаго» (название «Рыньва» есть, однако, уже и в «Записках Патрика»).

«После ужина и примирения я ушёл на кручу, обрывавшуюся в задней части роци над рекой. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесённом на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознание своего речного имени и тут же, на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежащие её занятию. Каждое её колебание разливалось излучиной. Её созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь её легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд»³.

Река в художественном описании неразрывно сливается с собственным именем; она как бы проигрывает и оправдывает его. Река – живое существо, чей рост и форма создают пространства воображения; она – некий метаобраз, дающий право представить различные срезы времени – прошлое, настоящее, будущее – как специфические пространства и места со своим набором признаков. По всей видимости, неслучайно писатель характеризует Рыньву в верховьях как демона места. Разные участки реки, верховья и низовья, исток и устье, различные направления движения по реке – вверх и вниз – имеют еще с древности чаще всего противоположные мифологические коннотации. Верховья реки в этой бинарной структуре – мир неизвестного, опасного, демонического, неразвёрнутого, потаенно-

¹ Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. М.: Тройка, 1994. С. 497.

² Там же. С. 462–463.

³ Пастернак Б.Л. Воздушные пути: Проза разных лет. М.: Советский писатель, 1982. С. 295.

го. Само движение к верховьям реки означает путь к истокам бессознательного, ещё как бы не родившегося бытия, к запретным тайнам, может быть, потустороннего мира¹. Фольклор многих народов сохраняет такое противопоставление: так, *кайгусь*, мифологический персонаж мифов и преданий кетов, обеспечивающий промысловый успех и дающий законы охотничьей этики, обитает часто именно в верховьях реки². В свою очередь, низовья реки – пространство светлого будущего, осуществления заветных желаний, широких просторов и полнокровного бытия. Диалектика реки как становления пространства бытия остро ощущалась Борисом Пастернаком посредством и выбора судьбоносного речного имени, и художественных стратегий описания речных ландшафтов. В верховьях своего литературного пути он написал такие «речные» стихотворения, как «Ледоход» и «На пароходе», в низовьях – роман «Доктор Живаго», реализовав, по существу, буквально, метафору «люди как реки».

Речной текст Саши Соколова: сумерки демонов

Книга Саши Соколова «Между собакой и волком» – один из блестящих примеров «речного текста», в котором разворачиваются практически все основные, архетипические географические образы реки и речных пространств. По всей видимо-

¹ Ср.: «Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала по земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. <...> Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то... где-то... быть может – в другой жизни. Бывали моменты, когда всё прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании» // *Конрад Дж.* Указ. соч. С. 61–62.

² Мифы, предания, сказки кетов. М.: Издательская фирма «Восточная дитература» РАН, 2001. С. 120, 127, 169.

сти, образ реки-границы, границы между бытием и небытием, между жизнью и смертью, усиливаемый и представляемый культурологически мощным образом сумерек, некоего полубморочного непроходящего, непреходящего сумеречного состояния, является главным для этого текста. Вместе с тем, метапространство географических образов реки, под которой, конечно, угадывается Верхняя Волга, служит одновременно – в понимании читателя – и одним из ключевых географических образов российских пространств, ментально-художественной микромоделью метагеографии России.

Река – Волга, Итиль, Волчья река – как бы сама собой строит огромное образно-мифологическое пространство, в рамках которого переплетаются, казалось бы, вполне ординарные бытовые события российской глубинки, описываемые по ходу неоднократно с различных точек зрения. Это одновременно – пространство греха, чуда и спасения в православно-русской народной традиции, волчье пространство гибели, пространство суетной, мелко-дробной «приземленной» к реке жизни, пространство побережья, речной стремнины, охотничьей заимки, деревеньки и ближайшего городка. Между тем, это и пространство Брейгеля-Старшего, его сферических перспектив и панорам, как бы свёртывающих всё многообразие противоречивых жизненных трагических эпизодов в единый географический образ, может быть – в живописно-географический образ Единого.

Река у Саши Соколова определяет и время, и пространство, причем это «слипшееся» пространство-время реки-границы, в котором водный поток моделирует становление и дифференциацию самого речного ландшафта, в его временной статике и динамике. Река – «всеобщая»¹, «Всюду сумерки, всюду вечер, везде Итиль»², от неё непосредственно «зависит» время года в разных побережных местах: «Но там, где Зимарь-человек на телеге супругу на карачун повез, лист сухой в самокрутку сво-

¹ Соколов С. Между собакой и волком. М.: Огонёк – Вариант, Советско-британская творческая ассоциация, 1990. С. 133.

² Там же. С. 85, 106.

рачивается на лету; под Городнищем, где речь про Егора, про Федора – чистый декабрь; а на нашей на Волчьей – не верится даже – там иволга, там желна. Парко, жарко ракушкам в геене их, эк скрипят, соболезную»¹. Один из героев книги, Илья Петрикеич, воспринимает метафору реки-времени буквально, ободренный советом приятеля Крылобыла: «Смотри, Крылобыл, этот умняга, учит, давай с тобой не время возьмем, а воду обычную. А давай. И останови впечатление, тормозит, в заводи она практически не идет, ее ряска душит, а на стрежне – стремглав; так и время фукцирует, объяснял, в Городище шустрит, махом крыла стрижа, приблизительно, в Быдогоще – ни шатко ни валко, в лесах – совсем тишь да гладь. Потому и пойми уверенье, что кража, которой ты – жертва, случилась пока что лишь в нашем любимом городе и больше нигде, и на той стороне о ней и не слыхивали. Стоит, значит, тебе туда переехать – все ходом и образуется. Принял я это к сведению и заездил на будущем челноке в позапрошлом»². Река как образ времени формирует здесь и образы пространства, даже дифференцирует их, оставаясь при этом видимым, визуальным ландшафтом. Характерно, что далее, в прямой речи Ильи Петрикеича, подобная быто-бытийственная ситуация приводит и к собственно различным географиям воображения, в которых образ реки выступает пространственной границей между темпорально не совместимыми в традиционной формальной логике ландшафтными панорамами-точками зрения: «Главная сложность – добраться до причальных колов. Несмотря на графы, параграфы волонтеров ущербным способствовать недостаток у нас остреющий был и будет, на то мы и избраны. Посему в похождениях известного толка мне, дяде, соучаствуют знакомые Вам троюродные плетни. Перегреб и тащусь вдоль кромки Лазаря наобум, хромотой хромоту поправ, Вы же здесь, в настоящем периоде, изучаете сей волапук. Поднялись на терраску проветриться и обратили воображение на меня: наш пострел-то, заститесь, всюду поспел – в Заволчье точильщика зрю. Нет, это я Вас там вижу, ибо не я

¹ Там же. С. 106.

² Там же. С. 152–153.

там, а Вы. Словом, оба мы правы. Ведь поскольку на разных мы сторонах, то и различная у нас география: Вы за Волчьей и я же»¹. Параллельные географии реки оказываются прозрачными, взаимно зримыми и в то же время (или в те же времена – так будет правильнее) со-пространственными друг другу – полагая при этом, что понятие со-пространственности влечёт за собой сосуществование логических временных диссонансов/противоречий; речные миры «зрят», созерцают друг друга, взаимопроникают, оставаясь, тем не менее, не совсем реальными, переходными, «сумеречными» – сами ландшафтные образы здесь смешиваются с обычно более психологически укорененным образом реальности, реальность Заитильщины выступает как «туманное море» со-пространственных видений, неких, может быть, вполне агриографических чудес.

Заитильщина: оптика сумеречных ландшафтов

Пространство Заитильщины, обладая явной зрительной анизотропностью и взаимобратимостью, имеет, вместе с тем, специфические оптические свойства, которые, несомненно, сопутствуют вездесущему образу сумерек и, по существу, репрезентируют этот образ. В одном из первых фрагментов книги, в «Ловчей повести», словами живописца и поэта, сумерки обретают напыщенную старославянскую интонацию, становясь тем самым, в контексте всей книги, образом полузрения и полу-умозрения, видимость пространства реки и ее ландшафтов как бы ставится под сомнение, но в то же время постоянно оправдывается непрерывающимися состояниями аффекта ее жителей и насельников, включая также героев видений и призраков: «Господа, в Лето от изобретения булавки пять сот сорок первое, в последнюю пятницу ноября, часу примерно в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц, посреди России, а вместе с тем – на берегу полноводной реки, некто нетрезво бьет в бубен. Сумерки уже растащили очи, затушева-

¹ Там же. С. 153.

ли перспективы и упразднили згу»¹. Такое пространство всегда чревато чудесами и «преобразованиями» в духе христианских традиций, однако сами эти чудеса и преобразования происходят в нарочито сниженном «тоне», смешивающем опять же некую старинно-обрядовую торжественность и убогий «бытовизм» обрамляющих чудо событий-полупародий. Подобное происходит, например, в «Записках охотника», в которых записан рассказ утильщика «Преобразование Николая Угодникова»:

*«Раз бродили-побирались по дворам,
Выручайте Христа ради-ка гостей,
Выносите барахло и прочий хлам,
Железяки, стеклотару и костей.
Пали сумерки, и снег пошел густой.
Не бреши ты, сука драная, не лай.
Мы направились к портному на постой,
А с нами был тогда Угодник, Николай.
С нами был, говорю, Угодников-старик,
Поломатый, колченогий человек.
Мы калики, он – калика из калик,
Мы – калеки, он – калека средь калек.
Нет у Коли-Николая ни кола,
Лишь костылики. И валит, валит снег»².*

Экспозиция в духе православно-народного сказания имеет, по сути, лишь одно довольно важное отличие от соответствующей традиции: пространство (сумерки, густой снег), очевидно, претендует не просто на фон внутренне ожидаемого сакрального события, а, скорее, на неперемненное условие будущего чуда и, может быть, одну из его причин. Дальнейшее развитие рассказа подтверждает наше предположение:

*«Непогода. И галдят колокола,
И летят куда-то галки на ночлег.*

¹ Там же. С. 24.

² Там же. С. 81.

*А летят они, лахудры, за Итиль,
В Городнище, в город нищих и ворья,
А мы тащим на салазочках утиль,
Три архангела вторичного старья.
Час меж волка и собаки я люблю:
Словно ласка перемешана с тоской.
Не гаси, пожалуй, тоже засмолю.
Колдыбаем, повторяю, на постой»¹.*

Ключевые строки здесь: «Час меж волка и собаки я люблю: // Словно ласка перемешана с тоской» – именно они говорят нам о том, что чудо будет, оно обусловлено и предугадано Зайтильщиной; с другой стороны, само существование, онтологический статус этого сумеречного пространства обеспечивается то там, то сям описываемыми чудесами и видениями.

Конец рассказа логически уже ожидаем и предвидим, и хотя сумерки более прямо не упоминаются (за исключением ночи – кстати, «сереющей» и опять же напоминающей те же самые сумерки), пространство Зайтильщины, очевидно, «прирастает», наращивается метагеографически произошедшим преобразованием:

*«А портняжка при свечах уже сидит,
Шьет одежду для приюта слепяков.
Отворяй давай, товарищ паразит,
Привечай уж на ночь глядя худаков.
Как засели дружно у окна,
Ночь серела – что застираны порты.
Не припомню, где добыли мы вина,
Помню только – насосались в лоскуты.
Утром смотрим – летит Коля-Николай:
Костыли – как два крыла над головой.
Обратился, бедолага, в соколá:
Перепил. И боле не было его»².*

¹ Там же.

² Там же. С. 82.

Между тем, сумеречные ландшафты реки можно повсеместно назвать сакральными, в них везде есть свой «гений» в контексте известной древнеримской религиозной традиции: чудо, призрак, видение возможны и на берегу, и на речных островах, и на ледяном пространстве зимней ставшей реки. В островных зарослях, в закатных сумерках, происходят любовные встречи «матерого» Калуги-Костромы с русалочной нечистью, кончающиеся его смертью от волчьей ягоды, в сумеречно-ночном видении человека «непреклонных лет» Карабана является к нему на берегу женщина «Вечная жизнь», с которой он «полегонечку балуется»; на подледном лове, опять-таки в сумерках, встречает Запойный охотник призрак утонувшего давно татарина Алладина Батрутдинова – «с лампой и на коньках»¹. В конце концов, сумерки как бы оживают, персонифицируются образами Волка и Собаки в «Валдайском сне» охотника:

*«Погляжу ли из окна,
Из другого гляну –
Вся в снегу стоит сосна
На снегу поляны.
Идут ведьмы на погост,
О своем судача:
Мерзни, мерзни, святой хвост,
Грейся, хвост чертячий.
Все сине. И вся синя
Слюдяная Волга,
Едет Пес по ней в санях,
Погоня Волка».*²

* * *

Амбивалентность и непрерывное становление самих образов реки – нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя дважды представить один и тот же образ реки – расширяют об-

¹ Там же. С. 110–111, 75–76.

² Там же. С. 74.

ласти образного генезиса, позволяют переопределить понятие географического образа. Его «речная интерпретация» может быть и такой: пространство пространственных возможностей и потенциалов, реализующихся и разворачивающихся максимально многочисленными и непрерывными в своей криволинейности формами земного рельефа и земных ландшафтов. И если исходить из подобного определения, то можно утверждать, формально-логическим и одновременно образным «бу-мерангом»: образы реки есть максимально изменчивые архетипы, знаки и символы водной стихии, ограниченной законами земной гравитации и топонимики самого бытия.

Глава 15.
Центр апокалипсиса.
Географические образы
в поэтическом цикле Александра Блока
«На Поле Куликовом»

Поэзия – тем более великая поэзия – не стремится к точности топографических привязок и географических реалий. Всякий поэтический образ может стать геопозитическим, однако это не предполагает (или не делает обязательным) детальных и безусловных соотношений с классической географической картой. Речь, скорее, должна идти о другом: как могут порождаться, трансформироваться, представляться географические образы в крупном поэтическом произведении?

Поэтическое творчество Александра Блока – пример довольно скрытой, латентной и в то же время весьма пафосной геопозитики, смыкающейся в отдельных случаях с мессианского рода геополитикой, или даже геософией. Блоковская картина мира откровенно европоцентрична, однако именно разочарование в старом versus европейском мире позволяет поэту увидеть некие новые геопозитические, или метагеографические горизонты – в контексте, прежде всего, судьбы и будущего России – будущего, «опрокинутого» в прошлое. Метагеографические горизонты поэзии Блока ограничены, безусловно, образом Востока, носящим несомненные содержательные черты мессианских воззрений Владимира Соловьева. Тем не менее, Блоку – благодаря огромному поэтическому дару – удаётся выйти за пределы абстрактных историософских и геософских построений в мир неявных и, казалось бы, весьма прямолинейных, часто повторяющихся, а иногда даже и не очень выразительных географических образов, воспринимаемых порой как обычные топосы.

Поэтический цикл «На поле Куликовом» – пожалуй, первый значительный пример крупной поэтической формы в

творчестве Блока, ориентированной на определённые базовые географические образы-архетипы, которые как бы растворены в поэтично-идеологическом пространстве, условно обозначаемом как «судьба России». Именно это обстоятельство и не позволяет нам говорить о детальности, конкретности, глубокой эмпирической разработанности образно-географической картины цикла. В то же время, уже при первом внимательном его прочтении становится ясным, что поэтическая ткань держится, в том числе, некими сквозными повторяющимися простыми географическими образами – иногда явными, иногда скрытыми, но в любом случае как бы имплантированными в главные художественные смыслы произведения. Другими словами, здесь можно говорить о своего рода гибридных и довольно органичных геопоэтических образах, выдерживающих всю «тяжесть» идеологического мессиджа цикла и становящихся фактически одним из его наиболее важных выражений.

Один из главных географических образов-архетипов цикла «На поле Куликовом» является образ степи. Он фактически «скрепляет» собой всю поэтическую ткань произведения, проявляясь в каждом стихотворении и неся на себе в семиотическом отношении и геопоэтическую, и идеологическую нагрузку. При этом, что вполне очевидно, для этого образа характерна некоторая содержательная динамика, отражающая и, частично, выражающая смену эмоциональных и экзистенциальных состояний автора-героя.

Первичная ментальная карта цикла, которую пока еще не стоит называть образно-географической, состоит из трёх основных элементов – собственно степи, чуждой, враждебной, татарской, олицетворяющей Восток; рек, служащих границей между степью и Русью (они прямо названы Доном и Непрядвой), и Куликова поля, которое само по себе первоначально не имеет никаких естественных маркеров – оно, просто по контексту, является местом стояния русских войск перед битвой, и, одновременно, местом экзистенциальным, на и в котором перед битвой, в предчувствии судьбоносного для Руси столкновения с Востоком, происходят невидимые внешнему миру события

(переживания героя, явление Богородицы, носящей при этом черты и Прекрасной Дамы, и Незнакомки, что вообще характерно для всей изменчивой, многоликой и, казалось бы, расплывчатой символики блоковского творчества). Эмоциональное наполнение и постоянные экзистенциальные превращения данной ментальной карты произведения приводят к созданию своего рода образно-географического рельефа, становлению настоящей образно-географической карты, а вместе с ней и нового метагеографического пространства, где почти каждое эмоциональное состояние автора-героя выражается определённой метагеографической координатой. Этот метагеографический процесс нельзя назвать строго последовательным или восходящим – скорее, он напоминает морские приливы и отливы, следуя за образами эмоциональных подъёмов и упадков.

Уже первое стихотворение цикла представляет нам мощные амбивалентные образы степи-тоски, степи-как-отсутствия-покоя, степи-как-судьбы-России; эти образы затем, в менее пафосном «формате» повторяются в последнем, пятом стихотворении цикла. Здесь стоит обратить внимание на постоянно употребляемое Блоком прилагательное «степной», которое, по сути не являясь эпитетом, становится в когнитивном и образном планах чрезвычайно содержательным, как бы сигнализируя читателю о всех будущих идеологических и одновременно метагеографических построениях автора. «Степная кобылица», «степной путь», «степная даль» в нагнетаемой ритмической экспрессии становятся экзистенциальными эквивалентами зловещих и неотвратимых предчувствий (в латентном виде также очевиден «кровавый» степной закат) и в то же время знаками расширения, экспансии самого образа степи, предстающего образом степи-Руси, степи-скорости, степи-сражения. Здесь вновь появляется столь характерная для поэтического творчества Блока символика плачущего сердца, как бы усиленная «кровавыми» коннотациями и обертонами. В сущности, тут можно говорить о внезапном, несомненно судьбоносном и, вероятно, очень жестоком преодолении границы между Русью и степью, Русью и Востоком с далеко идущими историософски-

ми и геософскими последствиями, причем образы, используемые поэтом, вряд ли можно назвать образами фронта – это, скорее образы стремительного, безвозвратного, фатального проникновения и противоречивой, амбивалентной трансформации – желаемой и не желаемой одновременно. Русь проникает в степь, граница разрушается, но сама Русь в результате жестоких битв превращается, по сути, в степь и даже Восток – теперь уже воюющий чуть ли не сам с собой, внутри себя. Всё волшебство поэтического цикла «На поле Куликовом», может быть, и состоит в том, что интровертные образы эмоциональных состояний автора-героя оказываются блестяще выражены полноценными экстравертными образами метагеографической картины мира, возникающей и разворачивающейся на наших глазах по мере прочтения произведения.

Реки – Дон и Непрядва – в геопозитическом пространстве цикла являются образами, чётко привязанными, встроенными в контекст идеологического противоборства, вражды-любви Руси и степи. Татары, орда, Мамай с ордой находятся за рекой; река у Блока – одновременно и геостратегическая, и геоидеологическая граница. Наряду с этим, образ Непрядвы, «туманной реки», сопряжён с образом Богородицы; Непрядва – то место, которое даёт русскому войску поддержку «свыше». Так или иначе, река в широком когнитивном смысле оказывается и образно-географической экспозицией (с её описания начинается сам цикл), и неким мета-местом, обеспечивающим, собственно, возможность увидеть, почувствовать, «перестрадать» блоковский образ Куликова поля в его противоречивой целостности.

Куликово поле в геопозитической версии автора цикла не имеет однозначных топографических и идеологических маркеров. Само историческое событие – Куликовская битва – по сути дела, остаётся «за кадром», важнее переживания самого автора-героя по этому поводу. Тем не менее, именно судьбоносное для Руси сражение с татарами создаёт своего рода экзистенциальный контекст, благодаря которому событийность Куликова поля – которая как бы уже была, состоялась – вновь становится актуальной и действенной: мы наблюдаем «удвое-

ние» и расширение пространства; Куликово поле как непосредственное топографическое событие прошлого представляется автору ареной не менее существенных эмоциональных событий его собственного экзистенциального мира. В таком случае мы можем говорить, что образ Куликова поля постепенно «захватывает» поддерживающие его в символическом отношении образы степи, Руси, реки, трансформируясь в метагеографический образ, перестраивающий соотношения отдельных знаково-символических структур цикла.

Что же позволяет нам «зафиксировать» метагеографическое пространство произведения Блока, говорить с определённой уверенностью о существовании соответствующей образно-географической карты, развёртывающейся по мере чтения стихотворений цикла? В духе неравновесной термодинамики Ильи Пригожина можно утверждать, что поэт творит свой собственный авторский миф путем конкретного топографического, традиционно-географического разрушения, ментального сдвига по отношению к некоей реальной историко-географической «подложке». Само событие битвы оказывается не только в прошлом, но и в как бы постоянно актуализируемом, мобилизуемом будущем; поэт пытается выйти, или, по крайней мере, «нащупать» экзистенциальные выходы в пространство Апокалипсиса, где «времени больше не будет». Именно отсюда проистекает в известной мере притягательный эмоционально-когнитивный диссонанс между весьма «обветшавшей» и «декоративной», а иногда и просто банальной топикой эпохи русского символизма, и образами метагеографической экзистенции, как бы растворёнными и рассеянными по всему художественному пространству произведения.

Но Апокалипсиса не происходит – его изначальный смысл оказывается в том, что он постоянно «отодвигается», отбрасывается в будущее (время, когда «времени больше не будет», никак не может настать) – однако именно это экзистенциальное обстоятельство, интуитивно понятое и пережитое поэтом, позволяет ему множить, умножать, размножить метагеографическое пространство Куликова поля. Гений оказывается в ме-

сте, носящем условные признаки, топонимические приметы другого места; гений сотворяет место, обладающее возможностями постоянно растущей образной экспансии; место, в свою очередь, размещает гения (гения, естественно, в широком смысле, как всякого творца своего собственного мира, репрезентируемого вовне) в последовательности внутренних экзистенциальных событий, как бы упорядочивающих его приватную «маленькую» вечность. Иначе говоря, метагеографическое пространство цикла «На Куликовом поле» возникает и развивается как условие и одновременно последствие существования локального мифа, присваиваемого и символически трансформируемого в пределах глубоко личной эсхатологии; миф Куликова поля становится авторским мифом, благодаря чему поэт оказывается не просто гением этого места, но и метагеографом Центральной России.

Экзистенциальная значимость и символичность Куликовской битвы как одного из главных событий русской истории были преобразованы и переосмыслены поэтом в форме метагеографического пространства, неявно порождающего ядерный географический образ Центральной России. Центральная Россия в поэтической картине мира Блока, возможно, является метагеографическим эквивалентом эсхатологической событийности русской истории как таковой – если рассматривать её в рамках классических «по-ставов» (в хайдеггерианском смысле) Сергея Соловьева и Ключевского. Другими словами, среднерусский, центрально-русский ландшафт в его устоявшихся художественных и идеологических образах-архетипах XIX–XX веков есть «произведение» не только природных базовых характеристик и соответствующих историко-хозяйственных изменений, но и метагеографическое произведение, одним из ключевых авторов которого является и Александр Блок. Центральная Россия – тот метагеографический образ, которым, по сути, «оправдана» и заслужена конкретная историческая *со-бытийность* Куликова поля.

Глава 16.

Затмение места: распад имперской метагеографии в фильме Александра Сокурова «Дни затмения»

...всесовершенный человек на всё и всех всегда
взирает как на единое вполне, и человеческий свой
идеал распространяет он на всё и всех. Он весь внима-
ние к тому, что перед ним вблизи и целокупно забирает
всю даль вещей.

*Хань Юй (768-824).
Что, собственно, такое человек?
(Пер. В.М. Алексеева)*

В некоторых местностях мы со сладостным ужа-
сом открываем самих себя – это наш прекраснейший
двойник.

Фридрих Ницше. Странник и его тень, 1879

телá тянутся к месту но
вес
также растёт

книзу место
мелет
дыру в пространстве
это душа связь глаз
в темноте совиной

непруха любовь смятенье
моей любви к себе ах
плюнь выложи мне
безобразную массу

*Кристиан Прижан. Душа, 2000
(Пер. И. Карпинской)*

Взаимоотношения места и гения (гения в широком смыс-
ле как творческой личности) всегда, в любую историческую

эпоху остаются сложными и до конца не понятными¹. Мы подразумеваем здесь, что место во взаимодействии с гением представляет собой одновременно и чётко локализованное пространственное со-бытие, и автономную сущность в её аристотелевском значении – как обладающую известной автономностью, первичностью и онтологичностью. Высказав эти предположения, мы попытаемся далее конкретизировать, описать и характеризовать в первом приближении упомянутое выше взаимодействие – в метагеографическом и имперском контекстах.

Метагеографический феномен: контексты понимания

Попробуем в первую очередь определить понятие метагеографического феномена. С нашей точки зрения, метагеографический феномен представляет собой достаточно свободно наблюдаемую и идентифицируемую систему пространственных воображений, развивающихся, практически одновременно (имеется в виду историческая одновременность в её, возможно, и эсхатологическом варианте), одну и ту же содержательную тему, выходящую за пределы традиционных, укоренённых в данной культуре, метафизических интерпретаций². Важно подчеркнуть, что эта система «завязана» и на то место / пространство, в котором она развивается (иначе говоря, конкретное место является неперменным, обязательным условием её развития),

¹ *Замятин Д.* Гений места. Материалы к словарю гуманитарной географии // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах / Отв. ред. И.И. Митин; сост. Д.Н. Замятин. Вып. 5. М.: Институт наследия, 2008; *Он же.* Гений и место: В поисках сокровенных пространств // Литература Урала: история и современность: сб. ст. Вып. 6: Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2011. С. 37–52.

² См.: *Замятин Д.Н.* Метагеографические оси Евразии // Политические исследования. 2010. № 4. С. 22–48; *Он же.* Стрела и шар: введение в метагеографию Зауралья // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. С. 7–27.

и на принципиальную пространственную воображаемость самой себя (пространственное воображение «в квадрате»), что и создаёт внешний когнитивный эффект феноменальной метагеографичности – очевидного и как бы даже «немыслимого» выхода за пределы наблюдения обычных географических феноменов (например, извержение вулкана, экологически грязное производство на берегу уникального озера, сценки из жизни «мирового города», типичная сельская пастораль, политическая демонстрация, бытовая сцена в конкретном ландшафте, зрелище природной или техногенной катастрофы и т.д. – причём мы знаем, точно или приблизительно, место происходящего события). Таким образом, метагеографический феномен может восприниматься, с одной стороны, как своего рода «голография места», его «неслыханное» воображаемое расширение и, наряду с этим, «закрытие» традиционно наблюдаемой («репрезентативной» в социологических терминах) местной, локальной действительности / реальности; с другой стороны – как онтологическое «ничто», в рамках которого процедуры любой локализации конкретного события обретают статус «пространственно не определённых», или «не доопределённых».

Надлом империи как смерть географического воображения

Обратимся теперь к понятию «надлом империи», памятуя о дальнейшем его рассмотрении как метагеографическом феномене. В сущности, уже в своём первообразе надлом империи есть, несомненно, метагеографический феномен. Не всегда обязательно выявлять это сразу, но понимание подобного феноменологического обстоятельства может облегчить переход к различным методологическим и сциентистским интерпретациям – на уровне определённых исторических ситуаций.

Суть надлома империи (мы не конкретизируем пока – какой империи, полагая это понятие здесь как условно онтологическое – что непривычно, но возможно), на наш взгляд, состоит в осознании, как коллективном, групповом, так и индивиду-

альном, её пространственной ограниченности, а, следовательно, и её идеологической и эсхатологической ущербности. Речь тут должна идти не только и не столько о некоем материальном, военно-политическом, экономическом надломе, сколько об идеологической «усталости», поворачивающей вспять все возможные и невозможные планы имперского расширения. При этом может даже продолжаться по инерции некоторое, исторически ограниченное время, политическая, военная, экономическая экспансия империи, однако уже идёт, развивается «умирание» имперского географического воображения; распадается, собственно говоря, имперская метагеографическая конструкция, в рамках которой имперское пространство мыслится как фактически бесконечное и единственно «правильное» бытие. Мы сознательно не касаемся здесь проблематики сакрализации имперского пространства, являющейся естественной частью данной метагеографической конструкции, лимитируя себя исключительно её «эссенциалистскими» аспектами. Другими словами, нас интересует следующий вопрос: *как происходит надлом империи, осмысляемый в качестве метагеографического феномена?* Вопрос этот не представляется нам достаточно простым, поскольку как только начинают рушиться имперские метагеографические конструкции, начинают изменяться, трансформироваться те условия, благодаря которым и может быть выявлен пресловутый «надлом империи» – в его поистине «химической» чистоте и органике.

Итак, сопрягая взаимно понятия надлома империи и метагеографического феномена, мы обнаруживаем, что воображение имперского пространства становится как бы психологически неуверенным, скорее интровертным, чем экстравертным, а само это пространство не представляется более чётко оформленным, хорошо структурированным, правильно «разграфлённым». Мы можем сказать даже, что такое пространство перестаёт быть «заземленным», оно становится как бы излишне, избыточно метагеографическим, тяготея к «подвешенным», «реющим», «зависшим» образам – образам, сильно оторвавшимся от некоей земной действительности, но в то же время

теряющим опору и в некоей небесной ориентированности или скоординированности. Сакральная целостность империи расплзается, её пространство оказывается как бы распоротым; из этой распоротой пространственной «подушки» высыпаются бесчисленные «пустые» места, своего рода метагеографический «пух». Не пытаясь далее наращивать количество образов, описывающих данную когнитивную ситуацию, отметим: *надлом империи в метагеографическом ключе есть тотальная потеря любых мест как пространственных событий – место перестаёт быть бытиём пространства-здесь и пространства-для-себя.*

**Имперский надлом в фильме
Александра Сокурова «Дни затмения»:
метагеографические интуиции и ландшафты-без-места**

Фильм Александра Сокурова «Дни затмения» (1989) – пример художественного произведения, в котором пространство и место осмысляются и воображаются на метагеографическом уровне. Немаловажно также, что метагеография этого фильма прямо связана с надломом и близостью грядущего распада советской империи. На наш взгляд, именно пространственные / географические образы «Дней затмения» чётко фиксируют, наиболее ярко выражают имперский надлом СССР, метафизическую и метагеографическую бессмысленность его дальнейшего существования¹.

Молодой врач Дмитрий Малянов, попадающий по распределению из медицинского института в Среднюю Азию, видимо, в Туркмению, оказывается на окраине советской империи. Ему всё равно, где жить – это как раз и характерно для живых

¹ См. также очень интересный анализ этого фильма, не использующий метагеографическую терминологию, однако содержательно интерпретирующий архетипический мотив странничества на основе лиминальной традиции в русском кино второй половины XX века: *Хренов Н.А.* Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М.: Прогресс – Традиция, 2008. С. 385-390.

имперских структур, делающих социальное пространство в известном смысле достаточно однородным. Он вполне имперский житель, довольно быстро адаптирующийся к внешним обстоятельствам. Конкретное место для него не имеет значения – были бы минимальные источники существования (профессиональная занятость – работа в больнице, какое-никакое жильё), а далее он находит сам для себя свои внутренние экзистенциальные «запасы» (в случае Малянова это интерес к сравнительному медицинскому исследованию, попытка сравнить разные группы больных и написать научную работу – без какой-либо конкретной цели отправить статью в журнал или поступить в аспирантуру).

Ландшафт, открывающийся нам в фильме – а он именно «открывается», раскрывается всё больше и больше, постоянно углубляется – кажется *безместным*. Вернее, места внешне есть: пустынные предгорья, пыльный город, залегший в предгорной долине, огромные и безликие советские монументы, должностующие символизировать мощь империи. Мы видим людей, часто больных, уродов, калек, без какой-либо мысли в глазах, равнодушных, родившихся и живущих здесь, в убогой обстановке, в нищете, среди ветхих строений и маленьких «шанхаев» и нам кажется, что у них нет надежды, но, может быть, она им и не нужна, без неё лучше.

Малянов своеобразно судит о них, считая, что часть из местных удовлетворена минимальным полукочевым бытом, а другая пытается соответствовать идеалам другой жизни, видимо, западной, но это не удается, так как деньги тратить не на что. Но нам интереснее другое: как сам Малянов движется в этой среде, становится ли он частью этого ландшафта, воображает ли он место, в которое занесла его судьба? И первое впечатление – это ощущение водной толщи, в которой молодой русский движется как бы с сопротивлением; порой он выглядит здесь «инопланетянином».

Вообще, ландшафт порой сам вторгается в дом Малянова. Характерно, что дверь в его дом – слабая преграда, дом почти не отделен от двора и улицы, ему очень трудно уединиться, от-

делиться от окружающей обстановки¹. Несмотря на то, что он уже привык к здешним людям и их привычке бесперемонно входить и нарушать его работу, ряд последовательных, никак не связанных между собой событий показывают, что Малянов постепенно начинает терять ориентацию в этом мире, пространство становится непонятным и вопрошающим – в метафизическом и метагеографическом смысле. По-видимому, мы можем сказать, что внутреннее развитие всего фильма связано как раз с показом выхода главного героя фильма из пространства обыденности, давящей повседневности имперско-советского захолустья в пространство ещё-неопределённости, но близкое к метагеографическому уровню.

И здесь легче всего указать на самый конец фильма, когда камера очень долго показывает Дмитрия Малянова на фоне пустынных безлюдных гор, обыденного «туземного ландшафта», причем хорошо видно и понятно, что это – совмещение, комбинированная съёмка: герой как бы приподнят над горами, он меланхолично, молча, в раздумье, может быть в оцепенении смотрит на них; общий план плывет, вращается, а сам Малянов остается неподвижным в центре кадра. Нам ясно, что его прежняя привычная жизнь закончена, но что дальше? Он только что попрощался со своим единственным другом здесь, геологом Александром Вечеровским, возможно, навсегда уехавшим отсюда. И замысел режиссера мы можем толковать по-своему: Малянов обретает какие-то промежуточные метагеографические координаты; он потерял обыденное своё место, «прижатое» к земле – теперь он как бы висит в воздухе, в котором ему нужно «нарисовать» новую, теперь уже метагеографическую карту дальнейшей жизни. Он пока не уехал вслед за Ве-

¹ Интересен в этой связи эпизод, связанный с ручной змеей, постоянно приползающей к Малянову от соседа и сильно пугающей на сей раз его только что приехавшую сестру. Малянов почти привык к этим эксцессам – также как и к дежурной застывшей улыбке соседа, в очередной раз забирающего змею и ничего не говорящего. Окружающая Дмитрия среда как бы заставляет притерпеться к ней в бытовом отношении; это начальное условие, которое может оказаться и окончательным, если человек не хочет стать «местным».

черовским отсюда, он – на распутье, которого раньше не было («жить можно везде»).

Имперская окраина: распад советского ландшафта

Возвращаясь в пространство жизни Дмитрия Малянова в фильме, мы можем сразу найти эпизоды, символизирующие метафизический, а для нас и метагеографический надлом советской империи. Эти эпизоды опять-таки не связаны никак между собой, но они как бы вынуждают героя задуматься о смысле его жизни в данном месте и пространстве. Отношения Дмитрия со Снеговым – инженером на секретном военном объекте – показаны очень немного, но они, вкупе с эпизодом посещения Снеговым православной церкви, показывают нам полную утрату смысла места и одновременно смысла жизни Снеговым. Империя направила Снегового служить на окраину, и он, видимо, верил до определенного момента в свою службу родине. В отличие от Малянова, у него полностью отсутствовали какие-либо другие приватные смыслы – без семьи, в жестком инокультурном окружении Снеговой попытался зацепиться за религию, отринутую советской действительностью, но оказался не в состоянии проникнуть в чуждый ему метафизический мир. Самоубийство Снегового становится «первым звонком» для Малянова, не сумевшего понять его метафизическое томление, потерю всех смыслов существования.

Сцена составления милицейского протокола в квартире Снегового и выноса тела – возможно, одна из сильнейших в фильме. Звук нарочно приглушен, мы практически не слышим, о чём говорят милицейские и военные чины, прибывшие на место происшествия. Место медленно меняется и в то же время не меняется: разбросанные бумаги, бюст Ленина, типовой советский интерьер, испуганные понятия в углу, тихо переговаривающиеся и что-то ищущие люди в форме, незаметно делающие своё дело возле тела врач и медсестра. Произошло какое-то событие, внешний смысл его ясен, однако чем дальше, тем больше само место распадается, не теряя своих привычных

ландшафтных черт. Основной причиной тому – сам Малянов, ничего не знавший до последнего момента, с опозданием появившийся в квартире самоубийцы. Это событие становится для героя началом конца того места, в котором он сумел вроде бы поначалу наладить первичные механизмы своего автономного социального существования. Мы долго наблюдаем, как расходится народ, уезжают милицейские и военные машины, уходят солдаты, стоявшие в оцеплении; порядок ландшафта восстановлен, но в нём, кажется, начинает теряться сам Малянов (его растерянные движения становятся на время не управляемыми, он, очевидно, в шоке). Неслучайно параллельно этой сцене идёт сцена псевдонародного праздника – конкурс традиционной музыки на фоне железобетонных заборов с самодельными граффити «рок», «брейк». Ничего не меняется, различные события сосуществуют в повседневности, но их смысл может быть почти утерян (каков смысл угасающей народной музыки в оупляющей советской действительности?), или же одно почти незаметное событие может разом начать разложение, ядерную реакцию распада тотального «забетонированного» советского ландшафта имперской окраины¹.

«Впитывание пространства» и проблема региональной идентичности

Попытаемся проникнуть немного глубже. Воспользуемся обобщенной схемой пространственных представлений, продуманной и опубликованной нами ранее². Согласно этой схеме, на уровне бессознательного в основном репрезентируются базовые

¹ См. также: *Каганский В.Л.* Советское пространство // *Иное*. Т. I. М., 1995. С. 99–130; *Он же*. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

² *Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие гуманитарных наук // *Социологическое обозрение*. Т. 9. № 3. 2010. С. 26–51; *Он же*. Локальные мифы: модерн и географическое воображение // *Миф и художественное сознание XX века* / Отв. Ред. Н.А. Хренов; Гос. Ин-т искусствознания. М.: Канон +; РООИ «Реабилитация», 2011. С. 268–308.

географические образы-архетипы, затем из них формируются простейшие мифологические нарративы, описывающие место/территорию – локальные мифы. Эти ментальные конструкты становятся фундаментом для формирования на границе подсознания и сознания региональных идентичностей, и, наконец, в сфере сознания доминируют репрезентации типичных для данного места культурных ландшафтов. Естественно, различные типы пространственных представлений сосуществуют одновременно, создавая неоднородное ментальное поле, включающее элементы бессознательного, подсознания и сознания. Что же мы наблюдаем в «Днях затмения»?

Главный герой, Дмитрий Малянов, по-видимому, обладает способностью географического воображения: его зрением, его общением, его действиями формируется в фильме мощная образно-географическая толща, во многом именно «бессознательная». Наряду с этим, мы часто наблюдаем, как Малянов передвигается в культурных ландшафтах этой местности – как своего рода слепой или впитывающий всё пространство с ходу, сразу, без остатка; создаётся впечатление порой бесцельного движения, и в то же время постоянно чего-то ищущего. На наш взгляд, проблема Малянова, если формулировать её в метагеографическом плане, состоит в поиске простейших локальных мифов места, где он живёт. Ему нужны мифологические нарративы, простые истории, объясняющие смысл этого места и, одновременно, смысл его жизни в нём. Кажется, что ему не нужна своя региональная/территориальная идентичность – он говорит своей сестре, приехавшей из Нижнего Новгорода навестить его: «...а я не вижу особой разницы, где жить, здесь мне свободнее...»¹. Чуть позже он отвечает ей, продолжая разговор: «...отсутствие дома помогает, как выяснилось». Ему не нужен свой дом в обычном смысле – одна из основ традиционной территориальной идентичности. Ему лучше быть как бы потерянным здесь, и в то же время быть более свободным.

¹ Ср.: *Edith W. Clowes. Russia on the Edge: Imagined Geographies and Post-Soviet Identity. Ithaca and London: Cornell University Press, 2011. P. 23–24, 42.*

Отвечая Вечеровскому на вопрос, зачем он здесь живёт, Малянов говорит просто: «Мне здесь лучше». Интуитивно Малянов ощущает, что на имперской окраине всегда свободнее, чем в её центре, тем более что сама империя уже разлагается, теряет свои основополагающие метафизические смыслы и не в состоянии тотально контролировать собственных граждан/подданных. Мы видим этому вполне отчётливые приметы: Снеговой свободно посещает православную церковь, его подчиненный, солдат свободно читает британскую газету *The Guardian*, «Журнал Московской патриархии» спокойно лежит у Малянова на рабочем столе, в маляновском радиоприемнике торжественно звучат католические песнопения.

Итак, сила и слабость Малянова в «бессознательном» впитывании чужого пространства, которое он, оставляя в меру «чужим», всё же формирует своими уникальными географическими образами. Он проходит «сквозь» культурные ландшафты, первоначально почти не осознавая их; ему пока нет необходимости в мифе места, как и в обретении местной идентичности. А что же другие герои фильма, каковы их пространственные представления, есть ли у них собственные метагеографии?

Имперское пространство и экзистенциальные стратегии

Проще всего ответить в отношении Снегового: это человек, для которого данное место существовало до тех пор, пока он обладал неким общим метафизическим смыслом на службе советской империи. Место, где он жил, носило чисто служебный, прикладной смысл – соответственно, и все его пространственные представления, имеющие отношения к этому месту, были суррогатами, эрзацами, чётко зависимыми от его синкретических представлений о пространстве всей империи. Метагеография Снегового была неполноценной, лишенной конкретного экзистенциального фундамента дома-места, который остаётся последним оплотом человека.

Совсем другая ситуация у Александра Вечеровского: он почти местный и осознает себя таким – хотя родился он не здесь.

Его мать стремилась на родину, в Крым, куда ее не пускали; её ранняя смерть связана с попыткой возвращения на родину и препятствованием советских властей этому. У него есть здесь свой дом, который ему подарили приёмные родители, живущие на другом конце города. Наблюдая Вечеровского на фоне местных ландшафтов, мы не чувствуем диссонанса, как в случае Малянова; Вечеровский, действительно, здесь свой – но только на поверхности: он чувствует ландшафт, у него есть местная идентичность, но глубже, к бессознательному, видимо, не всё так хорошо. Его проблема противоположна проблеме Малянова: он должен двигаться «вглубь», создавая свой собственный местный миф, свои географические образы, поддерживающие его «на плаву» в этом пространстве. И это не получается: Вечеровский, как это ни банально, ощущает «зов предков», он хочет вернуться на родину: его пространство, внешне хорошо «построенное», оказалось пока без фундамента; ущербность его метагеографии здесь в отсутствии мощного географического подсознания и бессознательного. Вечеровский уезжает и, возможно, путём обретения родины ему удастся достроить свою метагеографию.

Неустойчивые (по разным основаниям) метагеографии Малянова и Вечеровского еще более ярко выглядят на фоне весьма условной, но довольно ясно проступающей метагеографии сестры Малянова, неожиданно приехавшей его навестить. Для неё здесь всё чужое, ландшафт, постоянная невыносимая жара, люди, совсем другая культура. Она привязана к своему месту, городу, где она родилась и так и живёт; ей очень трудно представить «безместное» существование брата. Расспрашивая его, зачем он здесь живёт, она так и формулирует вопрос в итоге: «Ты что, доктор Чехов?» – предполагая некую сознательную жертвенность со стороны Дмитрия во имя какой-то непонятной ей пока цели. Само собой, этот вопрос был просто не понят Маляновым и пропущен им без внимания. Ей одиноко у себя в Нижнем Новгороде, она не вышла замуж за ухаживавшего за ней человека из Киева – по вине, как утверждает, брата; и всё же она очень быстро, внезапно, без предупреждения уезжает

обратно, стремясь к привычному месту и быту. Её разделение своё/чужое пространство очень традиционно и чётко, зависимо от гендерных оснований: если бы она когда-нибудь приехала бы сюда с мужем, то, может быть, и прижилась бы – а так ей здесь делать нечего, и даже брат, казалось бы, единственная родная душа, не может её удержать, поскольку он ей совсем непонятен в желании остаться здесь.

Люди, вступающие с Маляновым в эпизодическое общение – дезертир, ворвавшийся в его дом и удерживающий его в качестве заложника; учитель, которого он встречает в доме Вечеровского – также, видимо, имеют, свои экзистенциальные стратегии, связанные с местом и пространством. Из разговора дезертира с Маляновым становится ясно, что его проблема, видимо, та же, что и у Снеговой – он потерял все метафизические смыслы, служа в затерянном Богом месте; смысл «здесь» потерян, а, значит, и места этого нет, нет жизни в нём. При этом дезертир точно чувствует чуждость Малянова этому месту – задавая вопрос «Ты откуда?», и получая односложный ответ «Отсюда.», он реагирует сразу: «Врёшь, парень, здесь таких не бывает». Даже внося поправку на повышенную эмоциональную чувствительность человека, только что совершившего побег и, по всей видимости, обреченного, мы можем отметить, что дезертир, как и Снеговой, всегда отделял себя от местных людей, предпочитая жить за счёт привносимого извне метафизического (имперского) смысла, не уделяя много внимания тому, где ты «находишься». Как и Снеговой, дезертир гибнет, не утратив, в отличие от Снегового, волю к жизни, но утратив, как и он, смысл жизни здесь.

Иную стратегию мы наблюдаем у учителя, русского человека, приехавшего сюда, видимо, когда-то, как и Малянов, по распределению после окончания института. Он женат на местной женщине, имеет ребёнка и пытается влюбить себя в этот край, занимаясь краеведением. Он показывает Малянову старинные дореволюционные фотографии, иллюстрирующие русскую колонизацию территории, стараясь доказать правильность своей жизненной стратегии, убедить в ней Малянова – «я остал-

ся здесь, прижился, оставайся и ты, делай, как я». Но зритель ощущает, что не всё так просто: учитель чего-то всё время боится, он в итоге оказывается «подкаблучником» у своей жены, он психологически зависим – он не может быть примером и образцом Малянову, испытывающему, действительно, душевный кризис. Проникновение учителя в местный мир всё же поверхностно, и наблюдая довольно долго за тем, как учитель идёт за своей внушительной женой, несущей ребёнка – то отставая, то нагоняя её – мы осознаём его тщательную скрываемую «неприкаянность» здесь, некоторую внутреннюю насильственность, неестественность его экзистенциально-пространственной стратегии. Он хочет проникнуть в этот ландшафт, но ландшафт отторгает его, «предполагая» в нём всё тот же тип колониального/постколониального чиновника-культуртрегера. Он не может быть до конца своим.

Метакартография имперского ландшафта: попытка обрести миф

Ландшафт начинает осознаваться, проникать в твои образы и мысли, когда ты начинаешь видеть его сверху, приподнимаешься над ним, начинаешь как бы ментально картографировать его и одновременно ты оказываешься «внутри» него, ощущая его сокровенные токи и смыслы. Переломный эпизод «Дней затмения» – общение Малянова с маленьким мальчиком, найденным им у порога. Ухаживая за ребёнком, пытаешься его понять, даже когда он продолжает работать над своей статьёй, главный герой постепенно «выпадает» из своей капсулы, из своего автономного пространства, позволявшего ему быть свободным в чужом по сути месте. Александр Сокуров намеренно чётко символизирует конец этого эпизода, когда мальчика забирает, по-видимому, его отец – самого отца мы не видим, а успеваем увидеть лишь чьи-то руки, берущие мальчика и как бы уносящие его в небо (камера расположена снизу, взгляд зрителя направлен снизу вверх). Вполне прозрачная метафора маленького ангела, посетившего главного героя, становит-

ся новой границей метагеографического воображения: вслед за мальчиком-ангелом Малянов начинает «входить» в место, в местный ландшафт, «приподниматься» над ним, пытаясь впервые по-настоящему осмыслить и осознать его. В контексте этого метафизического и метагеографического движения можно понять и неожиданную спазматическую неумелую попытку Малянова сжечь папку со своими рабочими материалами – что ему не удаётся. Герой интуитивно пробует «освободиться» от своей внутренней работы «свободного человека», ибо ему кажется, что она может помешать ему сделать место «своим», попасть «внутрь» ландшафта. Но, видимо, здесь нет столь прямой связи, и внутренний переворот Малянова начинается без обязательной связи с возможным прекращением всех предыдущих «внутренних проектов» (они могут, наверное, быть «вписаны», включены в новую метафизическую и метагеографическую конфигурацию).

Тем не менее, дальнейший путь главного героя не кажется безоблачным и хорошо понятным. Так или иначе, он может попытаться найти собственные мифы этого места, «врасти» в ландшафт, обрести местную идентичность. Но как это сделать, или: как это происходит? Говоря по-другому: *как быть в со-бытии места и тебя?*

Ситуация осложняется и обостряется отъездом из города Александра Вечеровского. Малянов провожает его до пристани, запрыгивая на ходу в маленький местный паровоз-поезд-вагон, идущий к побережью. Всю дорогу они молчат, почти не говоря между собой, понимая друг друга без слов. Но интереснее другое: в вагоне Малянов пытается заговорить с местными пассажирами, но они не отвечают ему, почти не меняя выражения лиц. И дело не в возможном плохом знании русского языка: Малянов остаётся пока не понятен местным людям; его привычки, поведение, выражение эмоций, внутренние смыслы существования пока чужды этому ландшафту и воплощающим его людям. Пока место для главного героя «молчит» в буквальном смысле, оно очень немногословно (характерно, что и до этого диалоги Малянова с местными жителями, если не брать

в расчёт Вечеровского, оказывались на удивление односложными и примитивными, работавшими только в бытовой, «приземлённой» плоскости).

В эпизоде прощания Малянова с Вечеровским мы ощущаем главного героя уже другим человеком: в нём появился какой-то новый внутренний «двигатель». Это, видимо, почувствовал и Вечеровский – прощаясь на палубе с Дмитрием и отрицательно отвечая на его просьбу остаться, он передаёт ему свой дневник. Мы можем назвать передачу дневника символическим актом: Вечеровский передает Малянову свои личные переживания, неотъемлемые от жизни здесь, в этом месте. И тогда дневник друга становится для главного героя возможностью «стартовой площадки», с которой он может обрести свой миф, свою местную идентичность; дневник – локальный текст-помощь, благодаря которому Малянов, может быть, станет *гением места*. История друга для него – один из важнейших мифов данного места; она становится мифом именно тогда, когда дневник переходит в руки Малянова, а Вечеровский остаётся на палубе жалкого суденышка, уходящего в море. Теперь Малянов не безоружен, и хотя друг уехал, отъезд главного героя фильма отсюда для нас в заключительных кадрах непредставим.

«Затмение места»: власть и ландшафт

Мы возвращаемся к названию фильма – «Дни затмения». В чём смысл этого названия в метагеографической перспективе, в контексте истории, показанной фильмом? Мы наблюдаем кадры ночного лунного затмения – в ту ночь, когда Малянов беседует с сестрой, не могущей спать от жары, а Снеговой кончает жизнь самоубийством. Ночное небо над азиатским городом, внезапно теряющее луну; пространство душной южной ночи, вдруг лишаящейся последних следов света. Это – пространство метафизического и метагеографического перелома, его условные небесные знаки, которые сам Малянов еще не может понять и осознать, но на следующее утро, попадая в квартиру уже мёртвого Снегового, он начинает свой новый путь к месту, где

он уже довольно давно живёт – но живёт, скорее, рядом с ним, но не «внутри» него. Разрыв и отчуждение от самого себя, но по направлению к месту; затмение старого экзистенциального пространства, автономного и удобного, и нащупывание, изыскание следов нового пространства, в котором главный герой уже может себя рассказать, описать, показать местом – своим, освоенным и присвоенным – там, где он может обладать сугубо местными жизненными стратегиями и сценариями. Само небо, вдруг резко меняющее ритмику своих обычных состояний, оказывается метагеографическим ориентиром, указующим Дмитрию направление вверх, ввысь – для «полёта» над ландшафтом, который может быть теперь в его власти, но власти именно внутренней, власти держать себя этим ландшафтом, власти мыслить себя «ортопедически» этим местом.

«Постэкзотика места»: за пределы имперской метагеографии

Мы можем осознать проблему, сформулированную выше, как пространственную проблему «фаустовского человека», описанную Освальдом Шпенглером в «Закате Европы»¹. Воля к пространству, стремление к власти над пространством, пространство как истинное бытие – так можно понять скрытые мотивы действий Дмитрия Малянова после самоубийства Снегово-

¹ Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 578–579, 582, 598–600, 611–615; ср. пассаж Ницше из его произведения «Рождение трагедии из духа музыки», в котором, собственно, рождается концепция фаустовского человека, развиваемая впоследствии Шпенглером в сторону воли к пространству: «Сколь непонятым должен был представиться настоящему греку самопонятный современный культурный человек *Фауст*, этот неудовлетворённый, мечущийся по всем факультетам, из-за стремления к знанию предавший магии и чёрту Фауст, которого стоит лишь для сравнения поставить рядом с Сократом, чтобы убедиться, как современный человек начинает уже сознавать в своём предчувствии границы этой сократической радости познания и стремится из широкого пустынного моря знания к какому-нибудь берегу» (*Ницше Ф.* Соч. в 2-х тт. Т. 1 / Сост., ред., и примеч. К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990. С. 127).

го. Пребывая в своего рода «аспациальном анабиозе», главный герой постепенно «пробуждается» в месте, среди места, начиная воображать его как то пространство, которое нужно освоить и присвоить – но не во внешнем советско-имперском смысле, а во внутреннем, экзистенциальном, ментальном, наконец, онтологическом смысле. Это пространство должно стать его собственным бытием, и тогда бытие проявит себя, поистине в хайдеггеровском дискурсе, как *его* место, место Дмитрия Малянова. Используя традиционную дихотомию пространство/место¹, мы не хотели бы противопоставлять данные понятия – они, на наш взгляд, перетекают друг в друга, описывая и репрезентируя состояния героя. Место не обходится без пространства, пространство предшествует, поспешествует месту и обволакивает его, *ландшафт – проникающий жест пространства в место*.

Рассматривая специфику самого пространства, показанного в фильме и фильмом, мы можем вспомнить традиционную оппозицию Запад – Восток, столь своеобразно интерпретируемую в рамках постколониализма². Имея дело с мощными визуальными образами среднеазиатского, туркменского, прикаспийского ландшафта позднесоветской эпохи, мы можем наблюдать распад мировидения, распад пространства, сконструированного первоначально Российской, а затем советской империей. Обыденные знаки типового советского ландшафта выглядят особенно уродливыми на фоне знаков ландшафта традиционного, «восточного», но этот диссонанс, как мы можем мыслить его в постколониалистском дискурсе, по сути, является внутренним – показывающим ментальный и онтоло-

¹ *Аристотель*. Метафизика. 1067a, 1072b-1073a; *Он же*. О душе. 407a-407b; *Лукреций*. О природе вещей. Книга 1, 329-539; *Sack R.D.* Human Territoriality: It's Theory and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; *Tuan Yi-Fu*. Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, a. values / With a new pref. by the author. New York: Columbia University Press, 1990; *Idem*. Space and Place. The Perspective of Experience. 9th ed. Minneapolis. London: University of Minnesota Press, 2002.

² *Caud Э.* Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006; *Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H.* Key Concepts in Post-Colonial Studies, L.: Routledge, 1998.

гический кризис самого колониального взгляда и способа видения. И если в начале фильма мы еще могли воспринимать показываемые нам виды города и его окрестностей как в значительной степени «экзотичные», как «типично азиатские» (в их советском варианте), то к концу фильма, уже проникаясь внутренней историей Малянова, мы настроены, скорее, «постэкзотически» (наверное, не столь грутально, как это описывается в эссе Виктора Сегалена об экзотизме и романами Антуана Володина)¹, пытаюсь расширить наш «внутренний взгляд» и поймать пространство, *со-звучное*² и *со-размерное* главному герою. В конце фильма, как мы помним, он должен вернуться в город после того, как проводил своего друга. Заключительные кадры, показывающие Малянова на фоне пустынных гор и предгорий, возможно, теперь – образы вдохновляющего его пространства, которое может далее преобразоваться в его собственные культурные ландшафты – где нет колонизаторов (даже бывших) и колонизируемых (пусть тоже бывших), а есть органика места, настроенная на поиск, выявление, проявление собственного генезиса, вне зависимости от его национальности, пола, вероисповедания или же длительности проживания.

На руинах империи: от пространства-без-образов к живому умозрению места

В чём же сущность надлома советской империи как метагеографического феномена, исходя из пространства фильма

¹ См.: Володин А. Маленькие ангелы: Наррацы. М.: ОГИ, 2008 (см. также весьма ёмкое и содержательное предисловие к этому изданию французского литературоведа и критика Фредерика Детю, трактующего понятие постэкзотизма, предложенного Володиным: с. 6–34); Он же. Дондог. СПб.: Амфора, 2010.

² Музыка в фильме «Дни затмения» может быть предметом отдельного исследования. Первоначально она кажется беспорядочной, хаотичной, фрагментированной, нагнетающей, казалось бы, бессмысленность визуальных ландшафтов, однако в целом, благодаря мощным композициям и мелодическим повторам основной темы композитора Ю. Ханина она оказывается драматическим «строительным раствором», позволяющим оценить фильм как единое визуально-звуковое произведение.

Александра Сокурова «Дни затмения»? Позднесоветская империя эпохи брежневского застоя (который многим современникам казался «вечным»), вполне очевидно, уже не обладала мощным дискурсом пространственных воображений. Если само советское пространство еще продолжало существовать несколько лет по инерции, то его воображение, столь интересное и разнообразное в 1920-х – начале 1930-х гг, распалось, «схлопнулось» уже к началу 1970-х гг. *Геоократия* в её российском/советском изводе – так, как мы её описали и проанализировали ранее¹ – также почти распалась, оставаясь потенциальной онтологической возможностью как культурное наследие российской цивилизации. Своим фильмом Сокуров сумел уловить тончайшие метагеографические черты этого надлома, используя свои детские воспоминания о жизни на среднеазиатской окраине советской империи и наложив их на известное произведение братьев Стругацких². Обобщая в итоге, мы можем сформулировать имперский надлом в терминах метагеографического феномена как невозможность вообразить, «увидеть», почувствовать, помыслить пространство как своё в рамках эсхатологической телеологии, переводимой на любой персональный и/или индивидуальный уровень. Это означает, как уже отмечалось нами ранее, практически тотальную «безместность» имперского пространства в личностном/групповом/общественном сознании. Пространство перестаёт быть источником воли и прямого целенаправленного действия, что ведёт к метагеографическому умиранию как традиционных, так и колониальных ландшафтов. *Место исчезает как возможность пространственного со-бытия; смерть – как физическая, так и*

¹ *Замятин Д.Н.* Геоократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // Политические исследования. 2009. № 1. С. 71–90.

² Стоит заметить, что фильм Сокурова оказался автономным произведением как по отношению к собственно литературному произведению Стругацких, так и к их первоначальному сценарию, благодаря участию в сценарии Ю. Арабова. Режиссер очевидно сместил акценты в сторону несколько меньшего сциентизма и несколько большей визуально-звуковой метафизичности, по сути, к большей пространственности.

метафизическая – становится инвариантом места-как-пустоты, пространства-без-образов.

Возвращаясь к «Дням затмения», вспомним сцену в морге, когда Малянов приходит «проститься» с трупом Снегового. Вся эта сцена по духу и антуражу напоминает рассказы Эдгара По, в ней есть ощущение «готического ужаса»: пещерообразный тёмный тесный захламлённый морг с вспыхивающим ослепительным светом, внезапно заговаривающий труп Снегового, предупреждающий Малянова о непереходимости границ смерти («Зачем ты пришел? Тебе здесь не место»), почти физиологическое чувство страха главного героя, впервые вдруг приблизившегося к до того не мыслимым им границам бытия и небытия (то, что он врач по профессии, возможно, как раз и усиливает этот эффект). Выражаясь чересчур, может быть, аллегорически, мы скажем, что голосом мёртвого Снегового «говорит» уже мёртвая в метагеографическом отношении советская империя, но её «токсичное» для жизни пространство ещё может предупреждать и отталкивать¹. Малянов предупреждён, ему не нужно «туда», но тогда он должен озаботиться своим личным спасением, поисками своего места в этом мертвеещем на глазах имперском пространстве, построением своей экзистенциальной метагеографии, которая не есть некая «пространственная капсула» (в коей, собственно, Малянов здесь и жил), а является пространством-бытием; пространством, бытийствующим местом и местами как образами волевой протяженности к самому себе. Затмение уходит, когда небо включается в место как его метагеографический ориентир и основа; *живое умозрение места оказывается упорядоченной последовательной «лестницей» ландшафтов на пути к онтическому пространству-состоянию.*

¹ О взаимосвязи смерти и пространства в сокуровском творчестве см. также: *Ямпольский М.* О близком (Очерки немиметического зрения). М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 124–147.

Глава 17.

«Приближение к югу»: черноморский текст русской литературы и сопространственность геокультур

«Чувствуют – надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда – из солнечных степей, обтекаемых морем.»

Исаак Бабель. Одесса (1916)

Геокультуры и локальные тексты: проблема сопространственности

Любая, по-настоящему сложившаяся и развивающаяся геокультура создаёт свои тексты – вербальные и/или визуальные. Эти тексты по характеру своей репрезентации могут относиться к различным культурным сегментам или стратам (массовая или элитарная культуры; возрастные, гендерные или профессиональные субкультуры), а также и литературным жанрам (если речь идёт о вербальных текстах). Номинация подобных текстов, как правило, происходит либо по географическому, либо по этническому объекту – если иметь в виду классическое разделение на субъект и объект в рамках научной культуры Модерна.

В содержательном отношении геокультурный характер определённого текста может проявляться как с помощью очевидных текстуальных маркеров (локация, культурный ландшафт и его ключевые признаки и приметы, территориальная идентичность ключевых персонажей, включая особенности их речи), так и с помощью специфических нарративов (включая то, что можно назвать атмосферой, аурой или флёром текста). Кроме того, можно говорить и о геокультурных онтологиях конкретных текстов, связанных с особенностями творческого

и профессионального мышления, стиля их авторов. Наконец, в ходе формирования достаточно представительного массива или кластера текстов, имеющих отношение к определённой геокультуре, могут также выявляться своего рода метапризнаки этого геокультурного текстуального кластера, не заметные при изучении отдельных текстов, входящих в данный кластер (геокультурный свертхтекст или гипертекст)¹.

Тексты определённой геокультуры могут быть сопространственны текстам другой геокультуры. Это происходит в случае, когда и сами геокультуры в целом сопространственны друг другу – также, как и их тексты. Геокультурная сопространственность в текстуальном отношении означает, что тексты из разных сопредельных геокультур могут порождать сходные или дополняющие друг друга геокультурные образы, а также способствовать появлению новых образов в соседних геокультурах (своего рода геокультурное «эхо»).

Географическое воображение и геокультурные интенциональности

Географическое воображение, формирующееся в рамках той или иной геокультуры, имеет как текстуальные, так и не-текстуальные репрезентации. Естественно, что репрезентации разных типов могут влиять друг на друга, взаимодействовать и взаимно дополнять друг друга. В известном смысле, можно говорить о тотальном поле географического воображения, рельеф которого формируется отдельными геокультурами, как

¹ *Замятин Д. Н.* Геокультура: образ и его интерпретации // Социологический журнал. 2002. № 2. С. 5–12; *Замятин Д. Н.* Культура и пространство: моделирование географических образов. Москва: Знак, 2006; *Замятин Д. Н.* Постгеография: капитал(изм) географических образов. Санкт-Петербург: Гуманитарная академия, 2014; *Замятин Д. Н.* Гунны в Париже: к метагеографии русской культуры. Санкт-Петербург: Алетейя, 2016; *Замятин Д. Н.* Сопространственность, геокультуры и (не)локальные тексты: к транссемиотике провинциальных текстов // *Enthymema*. 2021. XXVIII. P. 77–91.

бы перетекающими друг в друга, и в то же время обладающими соответствующими дискретными репрезентациями¹.

Подобная имагинальная геокультурная феноменология невозможна без онтологии, чей геокультурный смысл заключается в непрерывном становлении пространственных трансформаций. Благодаря таким «невидимым» трансформациям, до-интенциональным состояниям появляются возможности развития и оформления геокультурных интенциональностей. Уникальные геокультурные тексты в той или иной степени могут вероятностно соотноситься с определёнными онтологическими «пластами» или «стратами», хотя сами эти пласты нельзя непосредственно, прямо связать с конкретной геокультурой (геокультурами).

Особенности развития геокультурных текстов

В типологическом отношении локальные геокультурные тексты могут быть ориентированы на архетипические тексты (или гипертексты), репрезентирующие, как правило, масштабные природные и/или климатические зоны (например, «горный текст», «морской текст», «пустынный текст», «степной текст», «арктический текст», «тропический текст» и т.д.); территории, характеризующиеся мощными антропогенными признаками (например, «городской текст», «промышленный текст», «сельский текст», «постиндустриальный текст» и т.п.); или же крупные регионы, имеющие общую религиозную и культурную историю (например, «античный текст», «христианский текст», «скифский текст», «восточный текст» и т.д.). Чаще всего, в формальном ракурсе, такие локальные геокультурные тексты представляют собой пересечение и взаимодействие архетипических (гипер)текстов, однако в содержательном плане они,

¹ *Замятин Д. Н.* Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов и онтологические модели воображения // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2021. Т. 27. № 1. С. 48–94; *Замятин Д. Н.* Сопространственность, геокультуры и (не)локальные тексты: к транссемиотике провинциальных текстов // *Enthymema*. 2021. XXVIII. Р. 77–91.

будучи в генетически-типологическом контексте изначально гибридными, оказываются, тем не менее, уникальными, демонстрирующими специфическую геокультурную образность. Естественно, что феноменология самих архетипических (гипер)текстов формируется в эволюционной динамике конкретных ярких образцов локальных геокультурных текстов – таков очевидный пример «петербургского текста русской литературы», впервые подробно описанного В. Н. Топоровым.

Так или иначе, формирование масштабных геокультурных текстов, соотносимых с крупными геокультурными регионами, связано, с одной стороны, с выявлением и образно-символическим закреплением регионального геокультурного сверх-или гипертекста, постоянно развивающегося и трансформирующегося за счёт появления всё новых и новых текстов, но сохраняющего, тем не менее, своё устойчивое и очень медленно изменяющееся (по меркам человеческой жизни) образно-символическое «ядро»; с другой стороны – с непрерывным ментальным координированием и, возможно, незаметным «дрейфом» в рамках большой типологической геокультурной картографии, ориентированной на архетипические (гипер)тексты¹. Эволюционная траектория регионального геокультурного текста может быть феноменологическим свидетельством как определённого «размывания» образно-символического ядра подобного текста и его постепенного перехода к другим геокультурным координатам, так и наращивания ядерной образно-символической «мощности» и становления самого текста как «образцового» в контексте архетипической геокультурной картографии². В этом случае, с достаточной степенью уверен-

¹ Так, можно сказать, что черноморский текст является частью средиземноморского гипертекста, наследуя ряд его содержательных признаков (прежде всего, роль античного и христианско-исламского компонентов); см. также: *Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 3-х частях. Ч. 1. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 148–154.

² *Замятин Д. Н.* Сопространственность, геокультуры и (не)локальные тексты: к транссемиотике провинциальных текстов // *Enthymema*. 2021. XXVIII. P. 77–91.

ности, можно утверждать, что такой геокультурный текст становится всё более сопостранственным самому, обретая всё новые и новые «оттенки» и модуляции – и в то же время он расширяет зону своего влияния, своего рода «текстуальный хинтерланд», в котором могут оказаться соседние геокультуры и их тексты, становящиеся более сопостранственными растущему геокультурному центру.

Черноморские геокультурные тексты: специфика генезиса и эволюции

Черноморские геокультурные тексты – образно-символическое поле, формирующееся здесь-и-сейчас как результат взаимодействия и интерференции множества геокультурных импульсов и иррадиаций¹. Понятно, что любое море способствует созданию текстов, репрезентирующих, прежде всего, проблемы морских путешествий, морской торговли, передвижений и коммуникаций, взаимосвязей различных геокультур, локализованных на морских побережьях². Хотя можно и должно го-

¹ Ашерсон Н. Черное море. Колыбель цивилизации и варварства. М.: АСТ, 2007. King, Ch. The Black Sea. A history. Oxford, etc.: Oxford University Press, 2004.

² Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998; Барсамов Н. Море в русской живописи. Симферополь: Крымиздат, 1956; Прокофьева Т. Морская лексика в произведении И. А. Гончарова “Фрегат “Паллада” // Ученые записки Вильнюсского университета. 1960. Т. 30. Языкознание. Вып. 2. С. 143–156; Миллер, Т.А. Образы моря в письмах каппадокийцев и Иоанна Златоуста. (Опыт сопоставительного анализа) // Античность и современность. М.: Наука, 1972. С. 364–366; Топоров В.Н. Эней-человек судьбы. Ч. 1. М.: Радикс, 1993; Топоров В.Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 575–622; Топоров В.Н. Архетип моря («Морской» синдром) // Странный Тургенев (Четыре главы). М.: РГГУ, 1998. С. 102–126; Кошарная С.А. «Море» в русской мифологической картине мира // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2008. Т. 15. №. 2. С. 19–23; Куликова Е.Ю. Мертвые корабли и мертвые моряки в поэзии И. А. Бунина (к литературным истокам бунинской морской темы) // Кормановские чтения. Ижевск: Удмуртский государственный универси-

ворить о некоем потенциально или виртуально едином черноморском геокультурном гипертексте (сверхтексте), следует всё же обсуждать, в первую очередь, множественность черноморских текстов, чья уникальность базируется на различных исто-

тет, 2011. С. 108–118; *Потапова О. Е.* Лексико-семантическое поле «море» как фрагмент русской языковой картины мира диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. СПб., 2012; *Азарова Н.* «Морская ода» Фернандо Пессоа: О критериях опознания прецедентного текста // Новое литературное обозрение. 2014. Т. 128. С. 201–207; *Малишевский И. А.* Морской код в творчестве И. А. Бунина: дис. Воронеж, 2015; *Павлович К. К.* Живописание морского пейзажа в книге путевых очерков «Фрегат» Паллада» И. А. Гончарова // Мировая литература в контексте культуры. 2016. №. 5 (11). С. 189–194; *Новикова М. А.* Маринистические мотивы в европейских текстах и сверхтекстах (к постановке проблемы) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. Научный журнал. 2019. Том 5 (71). № 1. С. 93–109; *Лушникова Г. И., Горелова О. О.* Контаминация художественного и документального нарративов в травелоге Пола Теру «Геркулесовы столбы: большое путешествие по Средиземноморью» // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. 2019. Т. 5. №. 2. С. 51–66; *Маре К.* Эстонские нарративы и мифология о водяных духах // IV Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник научных трудов. В 3 тт. Сер. «Актуальные проблемы современной отечественной фольклористики». Т. 3. М.: Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, 2020. Т. 3. С. 301–314; *Edwards P.* The story of the voyage: sea-narratives in eighteenth-century England. New York: Cambridge University Press, 2004; *Krier T.* Mère marine: narrative and natality in Homer and Virgil // Luce Irigaray and Premodern Culture / E. D. Harvey, T. Krier (eds.). London: Routledge, 2004. P. 32–49; *Blum H.* The view from the masthead: maritime imagination and antebellum American sea narratives. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008; *Mentz S.* Toward a blue cultural studies: The sea, maritime culture, and early modern English literature // Literature Compass. 2009. Vol. 6. №. 5. P. 997–1013; The sea and Englishness in the Middle Ages: Maritime narratives, identity and culture / Sobeci S. I. (ed.). Cambridge: Boydell & Brewer Ltd, 2011; *Foulke R.* The sea voyage narrative. London: Routledge, 2013; *Yamashiro S.* American Sea Literature: Seascapes, Beach Narratives, and Underwater Explorations. Springer, 2014; Sea Narratives: Cultural Responses to the Sea, 1600 – Present / Mathieson C. (ed.). Springer, 2016; *Pyo J.-O.* Modern Colonial Period and the Sea Narrative in the Korean Mythological Work, Samgukyusa (e Retained History of ree Kingdoms): Choi Nam-Seon’s Imagination of the Sea // Journal of Marine and Island Cultures. 2018. Vol. № 6. P. 20–30; *Campbell A.* Extractive Poetics: Marine Energies in Scottish Literature // Humanities. 2019. Vol. 8. № 16. P. 1–19.

рических, географических, религиозных и этнокультурных генезисах¹.

¹ Следует сразу отметить парадоксальную когнитивную ситуацию: работы о собственно черноморском или же черноморском текстах русской литературы и культуры на данный момент практически отсутствуют. Понятно, что доминируют исследования крымского и одесского текстов (о которых тоже, естественно, следует говорить как о множественных), причём как сами эти тексты, так и исследования о них, безусловно, посвящены во многом образам Чёрного моря и черноморским содержательным контекстам. Ниже представлен в первом приближении относительно репрезентативный срез исследовательского массива «черноморских» текстов (далее по ходу нашей работы будут представлены более подробные ссылки по их отдельным локальным и персональным сегментам). *Люсый А. П.* Крымский текст в русской литературы. СПб.: Алетей. 2003; *Люсый А. П.* Наследие Крыма: геософия, текстуальность, идентичность. М.: Русский импульс, 2007; *Лиценко Н. Ф.* Одесский городской текст и карнавальная традиция // Научовий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки. 2014. №. 13. С. 134–139; Крымский текст в русской культуре. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 4–6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, М. Н. Виролайнен. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2008; *Строганов, М. В.* «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических...» (И не только Пушкин) // Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конференции. 4–6 сентября 2006 г. / Под ред. Н. Букс, М. Н. Виролайнен. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2008. С. 72–88; *Курьянов С. О.* Несколько слов о Крымском тексте (Разграничение понятий Крымский мотив, образ Крыма и Крымская тема) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2014. Т. 27. №. 1–2. С. 171–176; *Кошелев В. А.* Таврическая мифология Пушкина: литературно-исторические очерки. Великий Новгород – Симферополь – Н. Новгород: Растр, 2015; Крымский миф в русской литературе первой половины XIX века: свод малоизвестных свидетельств современников / изд. подгот. К. В. Борисова, А. В. Кошелев, В. А. Кошелев, Л. А. Орехова, Д. К. Первых, А. С. Шеремет; науч. ред. В. А. Кошелев. Великий Новгород – Симферополь: Растр, 2017; *Курьянов С. О.* «...тайный ключ русской литературы»: генезис, структура и функционирование крымского текста в русской литературе X–XIX веков: монография. Симферополь: Бизнес-информ, 2014; *Лищицына Е.Ю.* Курортные мифологемы в русской литературе рубежа XIX–XX веков // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. №. 8-2 (86). С. 239–243; *Лищицына Е. Ю.* Крымский миф в творчестве К.М. Станюковича (на примере повестей «Черноморская Сирена», «Свадебное путешествие») // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2018. Т. 4. №. 1. С. 77–93; *Цветкова Н.В.* Крым в творческой судьбе

В генетическом плане в основе большинства ныне воспроизводимых и развивающихся черноморских геокультурных текстов лежат исторически уже «мёртвые» черноморские тексты – прежде всего, древнегреческий и римский (их можно объединить в целостный «античный черноморский текст»), а также византийский, арабский, древнескандинавский и итальянский (точнее, генуэзско-венецианский) тексты¹. Как о вто-

Пушкина // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. №. 1. С. 221–227; Орехова Л. А. «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина в литературе путешествий по Крыму: проблемы интерпретации // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. №. 1. С. 258–265; Фадеева Т. М. Крым в сакральном пространстве: история, символы, легенды. Симферополь: Бизнес-Информ, 2002; Ладохина О. Ф. Трикстер в одесском тексте русской литературы // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. №. 2-2. С. 219–223; Курьянов С. О. Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов крымского текста русской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Літературознавство. 2018. Т. 2. №. 2-78. С. 82–95; Козмин В. Ю. Черноморские мотивы в элегии А.С. Пушкина «... Вновь я посетил» (к проблеме идентификации Михайловского «Парнаса») // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. №. 1. С. 235–248; Курьянов С. О. Глава I. Крымский текст в русской литературе X–XIX веков: Очерки по истории формирования и развития // Художественный дискурс: филологический анализ текста. Севастополь: Рибест, 2016. С. 76–130; Курьянов С. О. На пути к созданию Крымского текста русской литературы. Миф первый. О святости крымской земли // Филология и литературоведение. 2014. № 7. С. 31–37; Курьянов С. О. Миф о Крыме как о восточной мусульманской стране в повестях Азовского цикла (XVII век) // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. Том 1 (67). № 4. 2015. С. 53–61; Мащенко А. П. Крымское измерение русской литературы: от Пушкина до Прилепина // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2019. Т. 5. №. 1. С. 70–92; Лищенко Н. Ф. Крымский текст русской литературы: топосы, мотивы, семиосфера // Вопросы русской литературы. 2014. №. 30 (87). С. 206–215.

¹ В известной мере к этой категории можно отнести и древнерусский черноморский текст (ориентируясь на летописи, в которых сохранились описания походов на Византию) – коль скоро этот исторический слой практически отсутствует в современных художественных произведениях. В то же время идеологически окрашенная тема принятия христианства на Руси,

ричных «мёртвых» черноморских текстах можно говорить также о «скифском черноморском тексте» и, в некоторой степени, «готском черноморском тексте» – коль скоро геокультурный образ этих народов оказался хорошо репрезентирован в антич-

в том числе тема крещения киевского князя Владимира, естественным образом возвращают этот слой в зону медиа, позволяя ему в трансформированном виде, так или иначе, присутствовать в черноморском тексте русской культуры, и – гораздо менее заметно – в соответствующем тексте русской литературы (преимущественно через достаточно традиционную историческую романистику). См.: *Щеглов А. Н.* Заметки по древней географии и топографии Сарматии и Тавриды. 3 К Руб., IV, 41 // Вестник древней истории. 1972. № 2. С. 126–133; *Скржинская М. В.* «Перипл Понта Эвксинского» анонимного автора // Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 1980. С. 115–125; *Подосинов А. В.* Произведения Овидия как источник по истории Восточной Европы и Закавказья. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука, 1985; *Бородин О. Р.* Географические знания // Культура Византии. Том 2. Вторая половина VII–XII вв. М.: Наука, 1989. С. 335–366; *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги как источник по истории Древней Руси и ее соседей // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1988–1989. М.: Наука, 1991. С. 5–169; *Мельникова Е. А.* Древнескандинавские географические сочинения. Тексты. Перевод. Комментарий. М.: Наука, 1986; *Ермолова И. Е.* Аммиан Марцелин и античная традиция о Северном Причерноморье // Древнейшие государства Восточной Европы. 1996–1997 гг. Северное Причерноморье в античности: Вопросы источниковедения / Отв. ред. А. В. Подосинов. М.: Восточная литература, 1999. С. 339–341; *Зубарев В.* Историческая география Северного Причерноморья по данным античной письменной традиции. М.: Языки славянской культуры, 2005; *Малетко Е. И.* Антология хождений русских путешественников XII–XV вв. Исследования. Тексты. Комментарии. М.: Наука, 2005; *Коновалова И. Г.* Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв. Текст, перевод, комментарий. М.: Наука, 2009; *Karatay O.* 2011: On the Origins of the Name for the Black Sea // Journal of Historical Geography. 2011. Vol. 37. № 1. P. 1–11; *Бухарин М. Д.* Возникновение понятия «Черное море» в средневековых географических традициях // Monumentum Gregorianum. Сборник научных статей памяти академика Г. М. Бонгард-Левина. М.: Граница; Клио, 2013. С. 464–488; *Harland P. A.* Greco-Roman Associations: Texts, Translations, and Commentary. II. North Coast of the Black Sea, Asia Minor. BZNW, 204. Berlin: de Gruyter, 2014; *Скрябин А. О.* Мифические и полумифические народы Северного Причерноморья и Приазовья в описании античных авторов // Таврические студии. Серия: Искусствоведение. 2016. № 11. С. 87–92.

ных и византийских источниках. Конечно, именно античный черноморский текст, опирающийся на содержательное богатство античных мифов, описаний путешествий и литературных произведений, оказался одним из наиболее мощных факторов развития черноморских текстов эпохи Модерна¹.

Взаимодействие ныне развивающихся черноморских геокультурных текстов может происходить как посредством классических античных или же религиозных (чаще всего, христианских, исламских и иудаистских) контаминаций и реминисценций, так и с помощью конкретного геоисторического воображения, осмысляющего различные географические локусы и исторические события с разных сторон и формирующего общие места памяти, чьи образы могут быть сходными или конфликтными и иметь безусловную этнокультурную специфику². Здесь, в первую очередь, можно упомянуть известное противостояние исламской и православной геокультур в широком смысле – в более узком смысле возможна, например, значительная общность содержательного фона многих текстов турецкой, грузинской, болгарской, румынской, молдавской, украинской и русской литератур. В условиях постмодерна эти

¹ На наш взгляд, онтология геокультурного воображения Чёрного моря до сих пор определяется «античным взглядом»: именно он до сих пор обуславливает целостность подобного воображения – несмотря на то, что в последующие исторические эпохи на берегах бывшего Понта Эвксинского сформировалось множество различных и разнородных этнокультурных, религиозных и геокультурных дискурсов, репрезентированных соответствующими текстами. В этом смысле современное Чёрное море вкупе с его побережьями может напоминать «лоскутное одеяло» (patchwork quilt), однако черноморское античное наследие, будучи относительно маргинальным по отношению к античному геокультурному «ядру» (Восточное и Центральное Средиземноморье), по-прежнему остаётся имагинально-онтологическим фундаментом условного геокультурного единства этой окраины средиземноморской ойкумены.

² *Цымбурский В.Л.* Как живут и умирают международные конфликтные системы судьба балтийско-черноморской системы в XVI–XX веках // *Полис. Политические исследования.* 1998. №. 4. С. 52–73. *Алексеев П. В.* Формирование мусульманского текста русской литературы в поэтике русского романтизма 1820–1830-х гг.: дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 2006.

геокультурные обстоятельства могут как бы «уходить на дно», уступая место всеобщим приметам глобализации и способствуя, в известной мере, формированию пласта глокальных черноморских текстов, в которых глобальный фон может служить поводом для выявления порой неожиданных и новых локальных сюжетов и нарративов¹.

Между тем, свои черноморские тексты формируют также геокультуры, чьи территории в реальности практически никогда не выходили к Чёрному морю – например, Австрия, Германия, Сербия или Польша. Такие тексты связаны, как правило, либо с различного рода интерпретациями античного и христианского текстов, либо с попытками использования

¹ Специфика географического положения Чёрного моря (его окраинность, периферийность, отдалённость от Атлантического океана), отсутствие крупных заселённых островов на его акватории, сравнительная бедность морского животного и растительного мира, немногочисленность по-настоящему крупных цивилизационных городских центров на его берегах способствовали, в известном смысле, и отсутствию того, что можно назвать «большим путешествием», помещающим море в более широкий и масштабный цивилизационный и геокультурный контекст. За исключением античной эпохи, на заре которой возник «большой» миф о путешествии аргонавтов, вписывавший Понт Эвксинский в средиземноморскую цивилизационную панораму, все последующие исторические эпохи, характеризовавшиеся быстрым расширением человеческой «европоцентристской» ойкумены, постепенно «отодвигали» Чёрное море на периферию масштабного или глобального цивилизационного восприятия и воображения. Это сказалось и на осмыслении Чёрного моря в рамках русской литературы и культуры, в которых оно предстаёт преимущественно в локальных образах своего побережья, прибрежных акваторий и очень редко – в качестве масштабной сцены персонального авторского путешествия, хотя бы и в качестве одного из его этапов (обычно начального или конечного). Среди русских писателей, осмысливших Чёрное море как опыт «большого путешествия», как выход в более широкие цивилизационные и геокультурные пространства, можно отметить, пожалуй, только Ивана Бунина, Алексея Н. Толстого и, в некоторой степени, Константина Паустовского. Характерный же пример очевидного локального снижения пафоса «большого морского путешествия» в черноморском ракурсе русской литературы, в сравнении с исходным условным высоким эталоном античной «Аргонавтики» – хорошо известное популярное стихотворение Эдуарда Багрицкого «Контрабандисты» (1927).

ключевых элементов черноморского образа в разработке того или иного архетипического жанрового нарратива (будь то детектив, триллер или исторический роман). Понятно, что для этих геокультур черноморский текст является в известной степени маргинальным, однако некоторые тексты, порождённые подобными «удалёнными» геокультурами, вполне могут относиться к содержательному ядру виртуального черноморского гипертекста¹.

Черноморский геокультурный текст в системе локальных текстов русской литературы

Россия, в силу очевидно огромных размеров своей территории и большого этнокультурного и ландшафтного разнообразия, способствовала формированию сразу многих геокультур, осваивающих и трансформирующих множество зональных и азональных в природно-климатическом отношении ландшафтов. Естественно, что русская литература, являясь, по сути, главным культурным репрезентантом русской культуры в течение нескольких столетий, оказалась «чуткой» к описаниям и характеристикам совершенно различных культурных ландшафтов. Российские геокультуры, будь то по происхождению равнинные, степные, лесные горные, морские, речные, сель-

¹ Такова, например, трагедия Гете «Ифигения в Тавриде» (1779–1786), наследующая одноименной трагедии Еврипида. Ещё один яркий пример – «Крымские сонеты» (1825–1826) Адама Мицкевича. В совершенно ином, уже постмодерном ключе, присутствует черноморский текст в романе современного австрийского писателя Кристофа Рансмайра «Последний мир» (1988), в котором трагический опыт черноморской ссылки Овидия переосмыслен в историко-культурном и геокультурном контекстах, смешивающих несколько реальностей. В определённой степени, к черноморскому тексту может быть отнесён также известный роман сербского писателя Милорада Павича «Хазарский словарь» (1978–1983). См. также: *Кучумова Г.В.* Роман К.Рансмайра «Последний мир» и «Метаморфозы» Овидия: диалог в «большом времени» // EXPERIMENTA LUCIFERA: Материалы V Поволжского научно-методического семинара по проблемам преподавания и изучения дисциплин классического цикла. Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2007. С.46–51.

ские, городские, горнопромышленные, достаточно хорошо репрезентированы соответствующими текстами, формирующими, в свою очередь, локальные геокультурные тексты – петербургский, московский, чернозёмный, волжский, северный, арктический, балтийский, черноморский, кавказский, сибирский, среднеазиатский, дальневосточный и т.д.¹. Конечно, степень членения и детализации больших литературно-текстовых массивов может быть разной в зависимости от целей исследования – тем не менее, можно уверенно говорить, что геокультурное разнообразие русских литературных текстов является существенной основой геокультурного воображения Северной и, в некоторой степени, Центральной Евразии².

Черноморский геокультурный текст – один из наиболее интересных и наиболее объёмных (по количеству представляющих его конкретных литературных текстов) региональных геокультурных текстов русской литературы³. Хотя этот текст возникает и формируется, по понятным причинам, несколько позднее, чем ряд других региональных геокультурных текстов, стоит отметить его взрывное развитие во второй половине XIX – первой половине XX века, когда в целом российская культура

¹ *Купина Н.А., Битенская Г.В.* Сверхтекст и его разновидности // Человек – Текст – Культура. Екатеринбург: АО «Полиграфист», 1994. С. 214–235; *Меднис Н.Е.* Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск: НГПУ, 2003; *Люсий А.П.* О ментальной карте России: к философии текстуальности // Человек вчера и сегодня. Междисциплинарные исследования М.: Институт философии РАН, 2008. С. 237–247; *Старыгина Н.Н.* Система локальных сверхтекстов русской литературы // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2017. №. 3-2 (95). С. 129–136.

² *Замятин Д. Н.* Геоократия. Евразия как образ, символ и проект российской цивилизации // ПОЛИС. Политические исследования. 2009. №. 1. С. 71–99; *Замятин Д. Н.* К образу Северной Евразии: становление локальных мифологий в России и Советском Союзе // Русская культура на перекрестках истории. Дальний Восток, близкая Россия. Вып. 4. Белград: Логос, 2021. С. 9–25.

³ Естественно, что в качестве геокультурного текста могут рассматриваться и произведения искусства, и кинофильмы, и сами ландшафты. В данном случае мы ограничиваем себя преимущественно литературными произведениями.

обрела свои устойчивые типичные черты в рамках классического западного Модерна¹. Можно утверждать, что черноморский геокультурный текст сам по себе² стал одним из ключевых репрезентантов русской культуры, а собственно черноморская геокультура стала одной из ведущих в множественном единстве российских геокультур.

Черноморский геокультурный текст русской литературы формировался на стыках «соседних», возможно, не менее важных для русской культуры текстов – прежде всего, кавказского³,

¹ Гусев В.А. Море как символ свободы и вечности в русской прозе конца XIX века // Морской вектор в судьбах России: история, философия, культура: IV Крымские Пушкинские чтения. Симферополь, 1994. С. 31–32; Шемакин Я.Г. Россия в западном восприятии (Специфика образов «пограничных» цивилизаций) // Общественные науки и современность. 2008. №. 1. С. 133–144.

² Естественно, что сам черноморский текст неоднороден: с одной стороны, его можно рассматривать как довольно «рыхлую» совокупность отдельных субгеокультурных локальных текстов (Крым, Кавказ, Одесса, причерноморские районы Грузии, Молдавии, Украины и т.д.); с другой стороны, черноморский текст, что уже частично отмечалось выше, может интерпретироваться как пересечение и взаимодействие более масштабных геокультурных текстов: средиземноморского, южно-европейского, восточноевропейского, ближневосточного, евразийского пограничного и т.д.

³ Гаджиев А. Кавказ в русской литературе первой половины XIX века. Баку: Язычы, 1982; Степанова Е. А. Кавказская фабула в русской литературе XIX–XX веков: диссертация... кандидата филологических наук. Уфа, 2004; Султанов К.К. Преодолевать отчуждение (кавказский дискурс русской литературы) // Литературоведческий журнал. 2007. №. 21. С. 21–35; Савченко Т.Д. Литература путешествий о Кавказе второй половины XX века: дис. Краснодар, 2009; Шульженко В.И. Дискурсионная классификация «кавказского текста» // Вестник Пятигорского государственного университета. 2011 №4. С. 181–184; Шульженко В.И. «Кавказский текст» русской литературы: границы описания и парадоксы восприятия // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. 2017. Т. 11. №. 1. С. 104–108; Багратион-Мухранели И.Л. Кавказ как утопия русской классической литературы // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. №. 9 (150). С. 83–89; Багратион-Мухранели И.Л. Репрезентация Грузии и Кавказа в русской литературе XIX–начала XX века: автореф. дисс. ... д. филол. Н. М., 2016; Галиева М.А. Лики Кавказа в русской литературе XIX – начала XX вв.: топос и топика: к постановке вопроса // Научный диалог. 2015. №. 9 (45). С. 113–124; Мартазанов А.М. О современном состоя-

крымского¹ и, немного позднее, более локального одесского²

нии» кавказского текста» русской литературы // Литературное обозрение: история и современность. 2015. № 5. С. 64–69; *Казиева А.М., Плисс А.А.* Мифомотивы как основа семиотической инфраструктуры произведений о Кавказе // Гуманитарные исследования. 2018. № 3. С. 62–67; *Зубцова Ю.О.* Кавказский текст в литературе нового века // Русский язык и межкультурная коммуникация. 2018. № 1. С. 122–126.

¹ *Дайс Е., Сид И.* Переизбыток писем на воде. Крым в истории русской литературы // Нева. 2011. № 3. С. 155–182; *Люсый А. П.* Крымский текст русской литературы: история и современность // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2016. № 11 (750). С. 161–171; *Арзамасцева И. Н.* «Крымский текст» детской литературы: история и современность // Литература в школе. 2015. № 6. С. 4–7; *Курьянов С. О.* Крымский текст как литературоведческий феномен // Вопросы русской литературы. 2014. № 29 (86). С. 176–185; *Шульженко В. И., Савченко Т. Д.* Крым vs Кавказ // Мировая литература на перекрестке культур и цивилизаций. 2016. № 3 (15). С. 140–150; *Лищенко Н. Ф.* Крымский текст русской литературы: топосы, мотивы, семиосфера // Вопросы русской литературы. 2014. № 30 (87). С. 206–215; *Михайлова А. К.* Крымский текст в русской культуре XVIII–XX веков // Русская литература. 2007. № 2. С. 232–240; *Леонов И.С., Машенькин В.П.* Крым в творчестве А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А.П. Чехова // Русский язык за рубежом. 2014. № 5. С. 92–98; *Савченко Т. К.* Крым в поэзии Серебряного века // Русский язык за рубежом. 2020. № 3. С. 10–14. В формировании ключевых особенностей крымского текста сыграли также и визуальные искусства, особенно живопись и графика (в творчестве Максимилиана Волошина мы наблюдаем сочетание вербального и визуального дискурсов); см.: *Барсамов Н. С.* Айвазовский в Крыму. Очерки об Айвазовском и художниках Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслере, К. Ф. Богаевском, М. А. Волошине, М. П. Латри. Симферополь: Изд-во «Крым», 1970; *Берестовская Д. С., Шевчук В. Г.* «Топос» и «темпоральность» Киммерии в творчестве К. Богаевского и М. Волошина // Синтез искусств в художественной культуре. Симферополь, 2010. С. 171–180; *Сиренко А. С.* Образы «Страны Киммерии» в творчестве К. Богаевского, М. Волошина, М. Латри // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012 № 2 (16): в 2-х ч. Ч. I. С. 181–184; *Ябуров С. И.* Константин Богаевский и Максимилиан Волошин // Крымский архив. 2015. № 3 (18). С. 100–109.

² *Александров Р.* Прогулки по литературной Одессе. Одесса: Весть, 1993; *Смирнов В.П.* Большой полутолковый словарь одесского языка. Одесса: Друк, 2003; *Смирнов В.П.* Одесский язык. Одесса: Полиграф, 2008; *Гінрікс Я. П.* Міф Одеси. Київ: Дух і Літера, 2011; *Абельская Р. III.* О генезисе «одесской» песни // Дергачевские чтения-2008. Ч. 2. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2009. С. 399–409; *Калмыкова В. В.* Одесский

текст русской литературы (К постановке проблемы) // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2014. №. 6. С. 84–96; *Лиценко Н. Ф.* Одесский городской текст и карнавальная традиция // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер.: Філологічні науки. 2014. №. 13. С. 134–139; *Верникова Б.* Одесский текст: от Осипа Рабиновича к Юшкевичу и Жаботинскому // Дерибасовская–Ришельевская: альманах. 2014. №. 56. С. 239–250; *Шеховцова Т.А., Юрченко С.П.* Одесский текст и одесский миф в русской прозе 1920–1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2020. №. 86. С. 35–48; *Маркина П.В.* Особенности одесского текста Бабеля // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 5. С. 402–404; *Ладохина О.Ф.* «Милей писать не с плачем, а со смехом...» (комическое в «Одесских текстах» русских писателей) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №. 2. С. 66–73; *Ладохина О.Ф.* К вопросу о современном «Одесском тексте» // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №. 2. С. 84–89; *Vasilyev E.* Одесский и волынский тексты в русской литературе XIX–XX вв.: «Две большие разницы»? // *Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka / Одеса і Чорне море як літературний простір / Odessa and the Black Sea as a literary space / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Natalia Maliutina.* Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski, 2018. С. 329–350; *Ладохин Ю., Ладохина О.* Одесский текст»: солнечная литература вольного города. Из цикла «Филология для эрудитов. Litres, 2018 <https://www.litres.ru/olga-fominichna-ladohina/odesskiy-tekst-solnechnaya-literatura-volnogo-goroda-iz-cikla-filologiya-dlya-eruditov/chitat-onlayn/>; *Тернавская А.* «Зеленый фургон» Александра Козачинского как одесский текст. 2019. С. 213–217 – <http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28448/1/213-217.pdf>; *Калмыкова В.В.* Тайна третьей столицы, или Юго-западный ветер в московской литературе (к вопросу об одесско-московском тексте) // Москва и « московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей. М.: Московский городской педагогический университет, 2015. С. 67–77; *Яковлева Т.А.* Одесские городские пространства в литературе: «потемкинские дни» у Кармена, Жаботинского и Чуковского // Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике. 2018. №. 18. С. 59–76; *Букач В.М.* История Одессы в художественной литературе // Життя і пам'ять: науковий збірник, присвячений пам'яті В'ячеслава Івановича Шамко / відп. ред. В. М. Букач. Вип. 3. Одеса: Homeless Publishing, 2018. С. 31–48; *Князькова В.С., Хмелевский М.С.* Язык Одессы как отражение региональной самобытности: история и современность // Этническая культура в современном мире. 2020. С. 86–94; *Савченко А.В., Хмелевский М.С.* Язык современной Одессы как феномен городской речи (с культурологическими комментариями) // Социо-и психолингвистические исследования. 2020. №. 8. С. 86–92; *Маркина П.В.* Одесский миф Ю.К. Олеси

текстов. Естественно, что многие авторские тексты по своему содержанию могут относиться сразу к нескольким обобщённым текстам: большинство текстов с «крымским» содержанием практически «автоматически» относится и к черноморским текстам, такая же ситуация, во многом, и с одесским текстом русской литературы. Кавказский текст русской литературы в силу физико-географического и геокультурного положения Кавказа в этом смысле несколько более автономен, хотя и здесь содержательное «дублирование» доминирует вследствие большей геокультурной освоенности Черноморского побережья российского Кавказа, нежели его внутренних районов или же Каспийского побережья этого сложного и «мозаичного» региона.

Интенциональные особенности развития черноморского текста русской литературы

В интенциональном плане черноморский геокультурный текст русской литературы обладает несколькими, взаимно переплетающимися существенными особенностями. Для русской культуры широкий выход к Чёрному морю – событие по историческим меркам относительно недавнее. Морские образы впервые столь глубоко ощущаются, переживаются, осмысляются в литературных репрезентациях, преимущественно с начала XIX века. Более ранний литературный аспект такого освоения – это геополитическая одическая риторика на античном фоне в рамках литературного классицизма¹. Поскольку русская

// Вестник Алтайской государственной педагогической академии. 2010. №. 4. С. 71–81; *Кораблина Ю.Н.* Художественная картина мира в мемуарных произведениях В.П. Катаева: дис. канд. филол. наук. Сургут, 2006; *Кальчева Ю.С.* Языковые средства выражения одесского колорита в произведениях В. Катаева. Дипломная работа. Одесса: Одесский национальный университет імені І. І. Мечникова, 2019 http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/29100/1/6.020303_Kalcheva%20Yuliia%20Serhivna_1.pdf. Двнятина Т. М. Одесский цикл И.А. Бунина 1918 года: Стихи после жизни // Текст и традиция. 2020. Т. 8. С. 177–191.

¹ Характерный пример подобного стиля – ода «На приобретение Крыма» (1784) поэта Василия Петрова (1736–1799), в которой практически пол-

литература в течение XVIII – первой половины XIX веков типологически оформилась как европейская, то в значительной степени её черноморский текст формировался в этот длительный период как своего рода «вышивание по канве» в контексте господствующих эпох в европейской культуре и литературе – прежде всего, классицизма, сентиментализма и романтизма¹. При этом, конечно, была и определённая специфика, связанная со становлением Российской империи как мощной европейской державы в XVIII столетии и, вследствие этого, с особым пафосом черноморских завоеваний и приобщения к античной культуре и средиземноморскому кругу европейских и христианских народов²; здесь же – очевидный романтический байронизм Пушкина периода южной ссылки, безусловно, отличается уже геокультурным своеобразием, особо педалирующим тему сим-

ностью отсутствуют какие-либо приметы крымского и / или черноморского ландшафта, но в то же время постоянно муссируется геополитическая риторика с восхвалением Екатерины II и унижением Оттоманской империи. См. также: *Живов В. М.* *Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII веков // Живов В. М., Успенский Б. А.* *Из истории русской культуры: т. IV (XVIII – начало XIX века).* Москва: Языки русской культуры, 2000. С. 449–536.

¹ *Зорин А. Л.* *Кормя двуглавого орла...: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века.* М.: НЛЮ, 2001.

² Здесь, безусловно, необходимо выделить первого русского поэта, воспевшего Крым – Семёна Боброва (поэма «Херсониды», первоначальное название – «Таврида», 1798, 1804); также, сборник стихотворений «Таврида» (1827) писателя и поэта Андрея Муравьёва, значительно уступающий по своим художественным достоинствам произведению Боброва. Существенно отметить, что поэма Боброва, очевидно, была важным контекстом для написания Пушкиным его поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823) – безусловного «ориенталистского» романтического шедевра и русской литературы в целом, и её крымского текста. Конечно, для русской литературы конца XVIII – первой половины XIX века Крым был источником преимущественно традиционных, европейских по своему происхождению, образов Востока, преломлённых сквозь историко-культурное и политическое наследие Крымского ханства. См.: *Бобров С.* *Рассвет полночи. Херсониды, в 2-х тт.* М.: Наука, 2008; *Люсьи А. П.* *Первый поэт Тавриды: Семён Бобров.* Симферополь: Облполиграфиздат, 1991; *Коровин В. Л.* *Семен Сергеевич Бобров: Жизнь и творчество.* М.: Academia, 2004.

волического схода морской (черноморской) стихии и чувства свободы (стихотворение «К морю», 1824).

Немаловажно также, что черноморский текст русской культуры развивался во многом как южный и «экзотический». Несмотря на то, что Чёрное море попадает в круг российской истории, начиная уже с IX века, оно остаётся чаще всего лишь «эпизодом» или формальным местом действия для отдельных фрагментов исторического летописания и описаний различных паломничеств. Активное формирование русской черноморской геокультуры начинается лишь с конца XVIII – начала XIX века, причём освоение черноморского побережья и прилегающих к нему районов ведётся за счёт в основном миграций из более северных районов России и Украины, а также иммиграции из европейских стран, в основном отдалённых от средиземноморского ареала¹. В этой геокультурной ситуации черноморский текст русской литературы складывался поначалу часто как «экзотический»: приметы юга, эмоциональное удивление перед южным черноморским ландшафтом и его спецификой – природа, люди, их привычки и обычаи, особенности хозяйствования – всё это оказывается прочувствованным и осмысленным исторически гораздо более северной российской геокультурой в целом².

¹ *Перечицкая С.Л.* Заселение Юга российской империи в последней четверти XVIII в // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. Т. 63. №. 9. С. 66–69; *Недосекина Т.В.* Переселение болгар на юг Российской империи. XVIII–XIX в.в. Днепропетровск, 2012. С. 1–7; http://urlicey.dp.ua/uploads/file/Pereselenie_bolgar.pdf; дата обращения 1.02.2022; История Новороссии / Отв. ред. В.Н. Захаров. М., СПб: Центр гуманитарных инициатив, 2017; *Вшнякава Н.Е.* История экономической, социальной интеграции немецких поселенцев в российское общество на территорию Северного Причерноморья и Крыма в конце XVIII – середине XIX века // Черноморско-Средиземноморский регион в системе национальных интересов России: История и современность: К 80-летию начала Великой Отечественной войны. Материалы Международной научно-практической конференции. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2021. С. 70–78.

² Современный российский писатель Игорь Клевх в своём геопозитическом эссе «Школа юга» говорит в основном о важности для русского геокультурного пространства и русской литературы Киева и «киевской шко-

лы», однако, на наш взгляд, о «школе юга» русской литературы и культуры можно говорить в более широком смысле, имея в виду значимость геокультурного / образно-географического освоения Украины, Кавказа, черноморского побережья в целом. На начальном этапе геокультурного освоения русской литературой черноморского побережья (конец XVIII – начало XIX вв.) большинство художественных описаний балансировало в той или иной степени между чисто историко-топографическим, историко-этнографическим «штилем» и господствовавшей в это время сентименталистской традицией. Так или иначе, значительная часть подобных произведений представляла собой смесь очевидного ориентализма (граничащего и во многом совпадающего, естественно, с «экзотическим взглядом» – здесь наиболее показательны были описания жизни и быта крымских татар, татарских городков и местечек) с сентиментальным восхищением пышной «южной» природой Причерноморья, особенно Крыма (генетически восходящим к взглядам Руссо и руссоизму), «прослоенную» также античными аллюзиями. В качестве показательного примера можно процитировать фрагмент из «Путешествия по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» Павла Сумарокова (? –1846), племянника поэта и драматурга А.П. Сумарокова, посвящённый Ялте: «На другой день поутру очень рано мы прибыли в Ялту, которая на полтора часа, или в осьми верстах от ночлега, имеет своё положение. Она прежде была местечком, и в оной ещё приметны многие развалины церквей, мечетей и домов; ныне же обитают в ней одни арнауты греческого баталиона. Она наполнена хорошими садами и служит входом в прелестные места.

На пути, проложенном по чрезмерной над морем высоте, представляются с правой стороны громады гор различных видов, иные покрытые лесом, иные же обнажённые. Приятный лесок составляет как нарочно насаженные аллеи, в которых приморская сосна, похожая на величественный кедр, восточный меспил, растущий в самых жарких странах, бук, гробина и пахучая ветла соединёнными ветвями своими делают там покрытые и тенистые ходы; дикий виноград, обвинившись вокруг шиповных кустов, спускает из-под розовых его цветов свои мелкие грозды, а благовонные деревья и травы разносят тончайшие по воздуху ароматы. [...] В левую сторону является под ногами открытое море, коего струи от преломления в них солнечных лучей отливают как перламутр, и к нему склоняется гора амфитеатром, покрытая площадками, лесными островками и желтеющими нивами. [...] Здесь природа себя не пощадила; она хотела блеснуть мастерскою рукою, показать, что искусство есть слабый её подражатель, и она, кажется, всех созывает сюда дивиться неисчерпаемому её в произведениях богатству. Все придуманные пейзажи суть ничто в сравнении с сими райскими местами. Тут везде зрение услаждается, сердце ощущает удовольствие, и душа, исполненная восторга, парит в горня открыт премудрого сему виновника. Одним словом, слаба кисть, недостаточно перо, чтоб изобразить хоть мало оные красоты. О вы, бессмертные наши стихослагатели! ты, великий лирик,

В известном смысле, Чёрное море, его побережье, исторические памятники и города оказались «школой юга» для относительно молодой, но быстро «мужавшей» русской литературы. Хотя и тогдашняя Новороссия, и горный Кавказ тоже были источниками мощных, по-настоящему южных географических образов, именно морская «экзотика», соединённая с «атмосферой» античности, окраинной древности европейской культуры, оказалась наиболее сильным эмоциональным стимулом формирования как южных, так и собственно черноморских образов в русской литературе. В течение всего XIX века число литературных произведений, в которых фигурируют описания Чёрного моря и черноморских ландшафтов, постоянно увеличивается, однако «кристаллизация» черноморского текста русской литературы происходит только к концу XIX – началу XX века.

и ты, сладостный творец Семиры! здесь то бы надлежало вам бряцать на стройных лирах своих. Взирая при бреге ревущего моря на разверстые пропасти, на курящиеся верхи гор и на смеющиеся предметы, воображение ваше ещё более бы воспламенялось и открыло бы вам новые в картинах тайны. «Вот сии громады, помещённые одни на другие, – сказали бы вы, – напоминают брань гигантов против богов. В этом-то густом лесу Диана преследовала зверей и дриады обитали. Тем Церера, увенчанная колосьями, предускоряла жатву; Помона вливала вкусные соки в различные плоды, и Пан, играющий в свирель, забавлял полевых нимф». Вы живо бы себе представили на морских волах Нептуна с трезубцем в руках и везомого дельфинами. Нереиды являлись бы пред вас из глубины вод, и найдя при чистых бы родниках покоились. Вы воспевали бы здесь мирную и простую жизнь прошедших веков и в оной-то стране вопреки Овидию положили бы прежнее существование Елисейских полей. Восхитительные те места продолжались вёрст на 10, при расставании с коими взор мой беспрестанно назад обращался, а наконец потеряв их совсем из вида, мысленно себе сказал: «Я Ялты более уже не увижу». (*Сумароков П.* Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. С метрическим и топографическим описанием всех тех же мест // Ландшафт моих воображений. Страницы прозы русского сентиментализма. М.: Современник, 1990. С. 332–333). См. также: *Муравьев-Апостол И.М.* Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб, 1823. Спустя треть века этот южный романтизированный экзотизм продолжает сохраняться – например, в классической повести Михаила Лермонтова «Тамань». См. в связи с этим: *Шёнле А.* Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб.: Академический проект, 2004.

В поисках черноморской онтологии: «кристаллизация» черноморского текста русской литературы. Крым и античность

Несмотря на то, что Чёрное море присутствует – скорее, как фон – в «Севастопольских рассказах Льва Толстого», и, в значительной мере, как своеобразный южный крымский ландшафт, в произведениях Константина Леонтьева¹, – оно не получает в них тех художественных характеристик и описаний, которые

¹ Константин Леонтьев служил в Крыму батальонным лекарем в 1854–1857 гг., затем ещё раз возвращался туда в 1861 г. Действие его повести «Исповедь мужа» (1867) практически полностью происходит на южном побережье Крыма. Хотя саму повесть можно отнести к реалистическому направлению, эмоциональные описания крымской природы от лица главного героя можно уверенно охарактеризовать как постромантические, явно наследующие южно-ориенталистской традиции предыдущей эпохи – например:

«Что за день сегодня! Я ездил утром верхом. Море бледно-фиолетовое и как зеркало. Тишина. На шоссе холодно, на Яйле снег, а внизу в садах как майский день в России. Я встретил в своей роще татарку, которая сбирала хворост. Она из бедной семьи, но здесь и бедность не страшна. Что за мир, что за живое забвение! Какие слова изобразят то, что я чувствовал? Только прекрасные стихи могли бы сравняться и с природой этой, и с тихой жизнью здешних людей, и с тем ощущением восторженного покоя, которым я упивался сегодня, когда лошадь моя то осторожно опускалась с камня на камень по высохшему руслу ручья, то бежала с горы на горку по гладкой дороге. Какое счастливое сочетание диких картин с изящными следами просвещения! Здесь надо мной сосна поднялась из голого камня и на такой отвесной громаде, что смотреть на нее от подошвы трудно, а у подножья этого гигантского камня шоссе; а прямо с шоссе один шаг в поблекший на зиму цветник и на чистый двор готической дачи. Иные деревья в саду оброняли листья, а другие – лавр, кипарис и лавровишневый куст зелены как летом. К ограде, по которой сам собою ползет плющ, привязаны две прекрасные оседланные лошади. Высокая девушка в легком платье гуляет с книгой между миртами. Еще шаг – и дача волшебным образом за куполом черной сланцевой скалы, округленной, как хребет скорченного зверя. Страшные глыбы серых камней в вековечной неподвижности как бы катятся с гор в море. Татарка на плоской крыше стелет ковер; из трубы дымок; красный перец висит у дверей... Аулы тонут в зелени... Нет, один Пушкин достоин был этой жизни...» (Леонтьев К.Н. Египетский голубь: Роман, повесть, воспоминания. М.: Современник, 1991. С. 257–258).

позволили бы говорить о «черноморскости» этих текстов. По всей видимости, появление подобных «черноморских» текстов можно отнести уже к литературной эпохе модернизма, когда некоторые произведения, прежде всего, Бунина¹ и Куприна²,

¹ Иван Бунин с 1896 по 1918 год ежегодно приезжал в Одессу, неоднократно выступал здесь с чтением стихов и рассказов. Он также неоднократно приезжал в Крым, где часто общался в Ялте с Антоном Чеховым. С 1918 по 1920 гг. жил в Одессе, откуда и эмигрировал. Его книга «Окаленные дни» описывает период гражданской войны в Одессе. Небольшой крымский «пласт» присутствует также в его романе «Жизнь Арсеньева». В 1900–1906 гг. Буниным написано несколько стихотворений, живо передающих образы черноморского ландшафта (см. *Одесса в русской поэзии: поэтическая антология / Сост. А.М. Рапопорт. М.: Арт хаус медиа, 2009. С. 55–59*). Интересно, что в этих стихотворениях отсутствует историко-культурный, в том числе античный подтекст, и в то же время развиваются архетипические образы моря как такового и океанские мотивы (Черное море для него не окраинный водоём Мирового океана, а полноценный выход к ландшафтному «богатству» всего мира). Важно отметить также, что личное общение с ним в его одесский период 1918–1920 гг. очень сильно повлияло на творческое становление Константина Паустовского и Валентина Катаева – создателей следующего хронологического «слоя» черноморского текста. См. также: *Зябрева Г.А. Морская символика в образно-философской системе бунинской прозы // Морской вектор в судьбах России: история, философия, культура: IV Крымские Пушкинские чтения. Симферополь, 1994. С. 106–108; Бильк М.П. Образ Черного моря в «крымских» произведениях И.А. Бунина // Культура народов Причерноморья, 2006. С. 61–67; Бильк, М.П. «Крымский цикл» произведений И. А. Бунина: проблематика, тематика, поэтика: дисс. канд. филол. наук. Симферополь, 2006; Бильк М.П. Крымский вектор в творческом наследии И.А. Бунина // Творческое наследие И.А. Бунина в контексте современных гуманитарных исследований. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2015. С. 262–266; Малишевский И.А. Морской код в творчестве И. А. Бунина: дис. Воронеж, 2015.*

² Александр Куприн – также, как и его современники Горький и Бунин – был писателем-путешественником, постоянно ездившим по российской провинции. Черноморское побережье сыграло значительную роль в его творческой биографии: он жил в Балаклаве, Одессе, бывал в Севастополе. В контексте нашей темы наиболее значимы серия очерков «Листригоны» (1907–1911) о жизни балаклавских рыбаков, рассказ «Гамбринус» (1907) об одесском еврейском музыканте и повесть «Гранатовый браслет» (1911), также созданная по одесским впечатлениям. Если «Листригоны» и во многом «Гамбринус» отличаются детальным ландшафтным натурализмом, то «Гранатовый браслет», на наш взгляд, имеет более тонкий геопо-

оказываются уже «черноморскими» в силу как очевидной сюжетной локализации, так и благодаря насыщенным ландшафтными описаниям, дающим возможность говорить как о «черноморской ауре» этих текстов, так и о возникновении, своего рода, «черноморской онтологии» (или онтологиях), выявляющей неотъемлемые и оригинальные свойства и качества этих ландшафтов и собственно, российской черноморской геокультуры¹.

этический, как бы слегка приглушенный пейзажный колорит. См.: Аспиз Е. М. А. И. Куприн в Балаклаве // Крым: Литературно-художественный альманах Крымского отделения Союза писателей Украины. Вып. 23. Симферополь: Крымиздат, 1959. С. 131–136; *Викторина Т. В.* Языковые средства создания образа Балаклавы в очерках А. И. Куприна «Листригоны» // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 374–378; *Горбынко Е. Ю., Хоменко А. И.* Миф о крымских листригонах в очерках А. И. Куприна // Современная наука: актуальные вопросы теории и практики: материалы региональной научно-практической конференции / Отв. ред. Бугославская А. В. Армянск, 2016. С. 252–257; *Перонко Ю. В., Миленко В. Д.* Образ Южного берега Крыма в творчестве А.И. Куприна: приемы физико-географической характеристики водного пространства // Междисциплинарный научно-практический форум ученых-филологов: сборник статей (10–12 мая 2018 г., г. Севастополь) / Ответственные редакторы Тяллева И. А., Самойленко Н. Б., Шутова О. А., Сукиасян А. А. Стерлитамак: АМИ, 2018. С. 63–66; *Хронов А. Г.* Творчество А. И. Куприна как объект исследований литературной географии // Вопросы географии. 2020. № 151. С. 111–159.

¹ Естественно, что к концу XIX – началу XX века, когда Крым уже стал одним из наиболее популярных южных курортов России, многие русские писатели бывали и отдыхали в Крыму. В это время начинает формироваться достаточно автономный и внушительный массив литературных произведений, посвященных Крыму или же написанных на крымском материале. (См.: *Марков Е. Л.* Очерки Крыма: Картины Крымской жизни, истории и природы. Симферополь: ООО «Терра-АйТи», 2015; *Ильченко Н. М., Сергеева В. С.* Легенды и предания Крыма в интерпретации В.Г. Короленко // Гуманизм в культуре и гуманитаристике: Сборник статей участников Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Десятые Короленковские чтения», посвящённые 70-летию присвоения ГПТИ имени В. Г. Короленко: 19 октября 2016 г./ Науч. ред. Н. Н. Закирова, отв. ред. Я. А. Чиговская-Назарова. Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2017. С. 38–44; *Говедарица П. П.* Культура различных обществ. Цивилизация. Побережье Крыма как колыбель эстетики и философии русских писателей начала XX века. Максимилиан Волошин // Потемкинские чтения. 2021. С. 60–61). Русская поэзия хронологически несколько опередила прозу, но

в целом можно говорить о становлении «крымского субстрата» русской литературы к 1920–1930-м гг.; см.: Сиренко А. С. *Образы» Страны Киммерии»* в творчестве К. Богаевского, М. Волошина, М. Латри // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012 № 2 (16): в 2-х ч. Ч. I. С. 181–184. Если говорить преимущественно о прозе, то кроме упомянутых нами ключевых «крымских» авторов, можно выделить также *Сергея Сергеева-Ценского* (ряд его произведений жанрово обозначен, следуя гоголевской и тургеневской традиции, как «стихотворение в прозе» и «поэма»), написавшего, пожалуй, наибольшее количество произведений на крымском материале (выделим особо его стихотворение в прозе «Улыбки», поэму «Неторопливое солнце» и роман «Весна в Крыму») – однако в целом качество этих текстов не позволяет утверждать, что они сыграли выдающуюся роль в формировании черноморского геокультурного текста. Вместе с тем, Сергеев-Ценский сумел создать оригинальные геопоэтические образы крымского ландшафта, формирующие «плоть» черноморского текста – например, фрагмент стихотворения в прозе «Улыбки» (1909): «Какое море здесь!.. На берегу крутые, красные потрескавшиеся пластами скалы; море изорвало их отражение в мелкие треугольные клочья. Каждая волна взяла себе клочок, окаймила его голубым, лиловым, чуть-чуть желтым переливом и качает игриво, любовно, ласково.

Чистенький, сухой небольшой пляж раскинулся между скал, как забытая купальщиками простыня. Дачи мреют сквозь гущину кипарисов. Дороги почему-то розовые и бегут между пожелтевшими виноградниками куда-то очень далеко, высоко, круто – туда, где все краски гладко слизаны и полиняли нежно.

Стадо прозрачных, как студень, медуз отдалось теплу и висит лениво между яхтой и лодкой. Осторожно гребет голорукий турок в яркой феске, а другой – высокий, горбоносый, – стоя, откинул голову с блещущими зубами и белками глаз, впился в матроса с «концом», считает в воздухе крупными кистями рук и ждет каната. И как раз над его головой вползла в радужное небо по-домашнему взлохмаченная буковым лесом синяя круглая голова Чечель-горы» (*Сергеев-Ценский С.Н.* Неторопливое солнце: Роман, повесть, рассказы. М.: Современник, 1985. С. 131). См. также: *Берестовская Д.С.* Закон « всеобщей аналогии» (Ш. Бодлер) и образ крымской природы в прозе С.Н. Сергеева-Ценского // *Культура народов Причерноморья*. Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 1997. С. 1–8; *Берестовская Д.С.* Крымский миф в символическом мире раннего СН Сергеева-Ценского // *Культура народов Причерноморья*. Симферополь: Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, 2012. С. 7–10; *Хворова Л.Е.* Поэтика портрета и пейзажа в сказовой прозе С.Н. Сергеева-Ценского 20-х годов (цикл «Крымские рассказы»). Традиции русской классики // *Вестник Тамбовского университета*. Серия: Гуманитарные науки. 1998. №. 3. С. 10–16; *Тырновецкая Е.П.* Модель ху-

дожественного времени прозы позднего А.С. Пушкина в» Крымских рассказах» С.Н. Сергеева-Ценского: дис. Тамбов: [Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина], 2003; *Аблаева А.Т.* Крымско-татарский мир в творчестве Сергея Сергеева-Ценского // Современные проблемы социально-гуманитарных наук. 2015. № 1. С. 74–77.

Конечно, важным кризисным этапом развития крымского текста стал исход русской интеллигенции, в том числе многих писателей, из Крыма в эмиграцию в 1920 году. Позднейшие произведения дают очень экспрессивный образ Крыма, Таврии и южных причерноморских степей в эпоху гражданской войны (особенно роман «Вечер у Клэр» Гайто Газданова, пьеса Михаила Булгакова «Бег», фрагменты воспоминаний Владимира Набокова «Другие берега», повести Н. Раевского, а также трагический роман Ивана Шмелёва «Солнце мёртвых»); см., например: *Горбынко Е. Ю.* Крымский миф в романе И. Шмелёва «Солнце мёртвых» // Концепт и культура: сборник статей (VI Международная научная конференция, Кемерово – Ялта, 25–27 сентября 2016 г.). Кемерово – Ялта, 2016. С. 253–255; *Алистратова А.А.* Образы Крыма в романе И. Шмелёва «Солнце мёртвых» // Перекоп – ворота в Крым. Материалы V Международной научно-практической конференции. Институт педагогического образования и менеджмента ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Армянск, 2021. С. 181–187. Уже после Второй мировой войны был сформирован базовый патриотически-военный слой крымского текста, основанный, главным образом, на двух героических оборонах Севастополя и начатый ещё «Севастопольскими рассказами» Толстого, продолженный эпопеей Сергеева-Ценского «Севастопольская страда» и произведениями советской литературы об обороне Севастополя в 1941–1942 гг. (здесь стоит выделить рассказы Леонида Соболева). Интересно, что Антон Чехов, родившийся в Таганроге, на берегах Азовского моря и ставший ялтинским жителем поневоле, так и не стал крымским «гением места», хотя и написал здесь ряд своих известных произведений (фактически лишь его рассказ «Дама с собачкой» имеет очевидный крымский подтекст); см.: *Сысоев Н.* Чехов в Крыму / Предисл. М. П. Чеховой; ст. О. Л. Книппер-Чехова. Симферополь: Крымиздат, 1954; *Бойко Е. А.* Стилистические особенности антонимов в произведениях А.П. Чехова, написанных в Крыму («Дама с собачкой», «Невеста», «Душечка», «Архиерей») // Перекоп – ворота в Крым. IV Международная научно-практическая конференция. Армянск: Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Армянске, 2019. С. 138–143; *Кожин В.В.* Крымский и южнорусский аспект в творчестве Н. В. Гоголя и А. П. Чехова // Гуманитарная парадигма. 2020. № 2 (13). С. 26–34. Если же говорить о русских писателях – крымских «гениях места», то к ним можно отнести, безусловно, Сергеева-Ценского (Алушта), Максимилиана Волошина (Коктебель) и Александра Грина (Фео-

Уже следующие два-три поколения российских писателей (как поэтов, так и прозаиков) разрабатывают это первоначальное,

дося, Старый Крым). Во второй половине 2000-х гг. подобную стратегию крымского гения места – теперь уже по отношению к Керчи – попытался реализовать крымский, украинский и русский поэт, эссеист и культуртрегер Игорь Сид, ориентируясь на пример Максимилиана Волошина. Тем не менее, эта попытка окончилась неудачно, и Сид окончательно перебрался на постоянное жительство в Москву.

Отдельно стоит сказать о влиянии на крымский и черноморский тексты русской литературы Максима Горького. Его ранние произведения 1890-х гг. («Хождения по Руси») во многом связаны со скитаниями по югу Российской империи: Бессарабия, Одесса, Крым, Кубань, Кавказ. По всей видимости, внешне к черноморскому тексту могут быть отнесены рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Мой спутник», «Челкаш», «В степи», «Мальва», легенда «Хан и его сын», а также «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике», очерк «Херсонес Таврический» (1897). Однако, если говорить о внутренней, «черноморской» интенциональности самих произведений, то следует выделить, прежде всего, рассказы «Мой спутник», «Челкаш» и «Мальва» – именно в них действие разворачивается на фоне очевидного ландшафтного «антуража». Тем не менее, описываемые писателем ландшафты часто выглядят «картонными», как бы ненастоящими, слишком романтически «приподнятыми» и типовыми, чересчур антропоморфизированными. Наиболее яркий пример – хорошо известное начало рассказа «Мальва»:

«Море – смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море – тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его».

Для Горького наиболее интересными являются отношения между людьми, а ландшафтные образы и ситуации – скорее, «театральные декорации». Горький, будучи таким же активным «путешественником», как и его современники Куприн и Бунин, в отличие от них, «не видел» или плохо видел ландшафт. Поэтому, на наш взгляд, его произведения не сыграли ключевой роли в формировании черноморского текста русской литературы.

базисное образно-символическое поле и создают тем самым хорошо структурированный черноморский текст, чьи основные характеристики определяются литературными особенностями эпохи Модерна – как собственно литературного, так и, шире, – исторического.

Если говорить о ключевых фигурах русской литературы Модерна, определивших содержательное ядро черноморского текста, то это, на наш взгляд, Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам, Исаак Бабель, Александр Грин, Константин Паустовский, Валентин Катаев. Конечно, оформление этого содержательного ядра было невозможно без текстов-протагонистов Ивана Бунина и Александра Куприна. И, естественно, говоря о Валентине Катаеве, нужно вспомнить и других писателей «Юго-западной школы» русской литературы¹ – Юрия Олешу, Эдуарда Багрицкого², Ильфа и Петрова. Несмотря на то,

¹ *Каракина Е.* По следам «Юго-Запада». Новосибирск: Свинья и сыновья, 2006; *Соколянский М.* Феномен «Юго-запада» в советской литературе 1920–1930-х годов и его позднейшие интерпретаторы // <https://www.migdal.org.ua/migdal/events/science-confs/6/17484/>; *Кацис Л.Ф.* История русского формализма как провинциальный газетно-литературный факт («Гамбургский счёт», «Юго-Запад», «Фабула и сюжет» в «Теории прозы» В.Б. Шкловского). Статья II // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2018. Т. 77. №. 4. С. 44–65; *Яворская А. Л., Устинов А. Б.* Два Анатолия и одна «Анжелика»: к истории «Юго-западной литературной школы» // Литературный факт. 2021. №. 2. С. 280–313.

² Как известно, именно Эдуарду Багрицкому (назвавшему свой вышедший в 1928 году поэтический сборник «Юго-Запад»), обязана своим названием одесская литературная школа. В поэтическом наследии Багрицкого есть несколько стихотворений, посвященных Одессе и Чёрному морю (включая в него и Азовское море); наиболее значительные из них: «Контрабандисты», «Арбуз», «Осень», «Скумбрия». Даже в его ранней, довольно несовершенной и подражательной поэзии можно найти стихотворения, в которых уже чувствуется оригинальный колорит «одесского» видения черноморского мира. Таково, например, его раннее стихотворение «О Полдень, ты идёшь в мучительной тоске...» (1916):

«О Полдень, ты идёшь в мучительной тоске
Благословить огнём те берега пустые,
Где лодки белые и сети золотые
Лениво светятся на солнечном песке.

что «черноморские» тексты большинства этих писателей относятся – как фактически, так и в художественном отношении – к конкретным городам и территориям (преимущественно, Крым, Одесса и прилегающие к ним районы, о чём мы уже говорили ранее)¹, можно уверенно констатировать: ландшафты, «схваченные», вообразённые и описанные ими, являются, по сути, квинтэссенцией «черноморскости» – в них пойманы неуловимые дотоле качества «черноморской субстанции».

«Кристаллизация» черноморского текста русской литературы начинается с глубокого современного (*со-временного*), модерного освоения образа античности – в основном, через образы Крыма и прилегающих к нему территорий. Сами по себе темы античности были давно – ещё с эпохи классицизма – хорошо опробованы и освоены русской поэзией в рамках известной рецепции европейских литературных образцов и канонов; антологические стихотворения стали, по сути, элементом «обязательной программы» для большинства русских поэтов XVIII – начала XX века. Естественно, что многие из них были обязаны и черноморским ландшафтам. Однако в поэтическом творчестве Волошина и Мандельштама² собственно античность

Но в синих сумерках ты душен и тяжёл –
За голубую соль уходишь дымной глыбой,
Чтоб ветер, пахнущий смолой и свежей рыбой,
Ладонью влажною по берегу провёл.»

(Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы.

СПб.: Академический проект, 2000. С. 190–191).

¹ Исключение – Паустовский и Мандельштам.

² Стихотворения Осипа Мандельштама из его книги «Tristia», написанные на крымском материале, самым радикальным образом «пересматривают» привычный классический образ античности, сложившийся в русской культуре почти за два столетия. Античность в них, а также и прошлое в целом становятся «современностью»; буквальное олицетворение себя и других с античными персонажами позволяет поэту переосмыслить и саму современность, расширив её масштабный эсхатологический горизонт за счёт мифологического ассоциативного ряда, как бы возвращающего Крым в античную окраинную Тавриду, а Россию – в геокультурное пространство Эллады. Такая мощная геокультурная «антикизирующая» интенциональность характерна не только для «крымских» стихотворений книги, но и для других стихотворений – как развивающих тему Петербурга-Петрополя

(позднее подхваченную Константином Вагиновым), так и трансформирующих мотив античного рока-судьбы в контексте судьбы России и личной судьбы поэта в кризисную эпоху. Можно сказать, что крымский ландшафт, переосмысленный поэтом через античную «призму», стал источником многих, уже классических стихотворений Мандельштама из этой книги (точности ради следует отметить, что эта тема постепенно начинает возникать в конце его предыдущей книги «Камень»). Как ключевые для образа Крыма здесь можно выделить следующие произведения: «Золотистого мёда струя из бутылки стекла...» (1917), «Ещё далёко асфodelей...» (1917), «В хрустальном омуте какая крутизна!...» (1919) (ассоциативный ряд связан с коктебельским ландшафтом, использован итальянско-ренессансный христианский образный фон), «Феодосия» (1919–1920; 1922). Чуть позднее, в цикле небольших рассказов-эссе «Феодосия» (1923–1924) Мандельштам ещё раз вернётся к образу Крыма, сосредоточившись на своём опыте жизни в этом городе в период гражданской войны. В целом антично-крымские образы Мандельштама сильно повлияли на творчество Валентина Катаева, Константина Паустовского, а позднее на поэтику Иосифа Бродского, а затем и Андрея Полякова. См.: *Аверинцев С. С.* «Золотистого мёда струя из бутылки стекла ...» // Столетие Мандельштама: Материалы [Междунар.] Симпозиума. – [St. P.:] Hermitage Publishers, 1994. С. 18–20; *Фаустов А. А.* Этюд о художественной реальности О. Мандельштама: время, фактура бытия и автогенез «пчелиного» цикла // Филологические записки: Вестник литературы и языкознания. 1994. Вып. 2. С. 71–83; *Левин Ю. И.* Заметки о крымско-эллинических стихах О. Мандельштама // Мандельштам и античность: сб. ст. М., 1995. С. 77–104; *Яницкий Л. С.* О некоторых циклообразующих мотивах в *Tristia* О. Мандельштама // Сибирский филологический журнал. 2003. №. 1. С. 23–28; *Палий О. В.* Структура эллинического ЛМЦ книги стихов О. Мандельштама «*Tristia*» и традиционная картина мира // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2006. №. 1 (1). С. 69–78; *Силард Л.* Таврида Мандельштама // Крымский текст в русской культуре: Материалы международной научной конференции (СПб., 2006 год, 4–6 сентября). – СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2008. С. 168–189; *Гёблер Ф.* Путешествия Осипа Мандельштама в Крым: поэтическая медиализация // Беглые взгляды: новое прочтение русских travelogov первой трети XX века. М.: НЛЮ, 2010. С. 58–62; *Казарин В. П., Криштоф Е.* Стихотворение О. Э. Мандельштама «Золотистого мёда струя из бутылки стекла» (Опыты реального комментария) // Мир романтизма. 2011. № 16 (40). С. 164–176; *Чеботарьова А., Решта В.* Образ Криму в художній свідомості А. Міцкевича та Мандельштама О // Філологічні науки. 2011. №. 9. С. 34–43; *Гарбузинская Ю. Р.* «Эллинизм» как ответ на ситуацию дегуманизации искусства: «семантическая поэтика» О. Мандельштама // Вестник Самарской Гуманитарной Академии. Серия «Философия. Филология» № 1 (11). Самара: из-во СГУ, 2012. С. 101–111; *Новикова М. А.* Мандельштам. Мир. Крым. (об одном крымском стихотворении О. Ман-

(и, глубже, тема архаической древности – через образы Киммерии у Волошина¹) была пережита, переосмыслена и прожита

дельштама) // Вопросы русской литературы. 2012. №. 23 (80). С. 229–240; *Oborina M.* набросок об античности как контексте прочтения (на примере Феодосии Мандельштама) // *Modernités russes*. 2015. Т. 15. №. 1. С. 203–212; *Горбынко Е. Ю., Власенко А. Л.* Образ Феодосии в творчестве М. И. Цветаевой и О. Э. Мандельштама (на примере стихотворений «Над Феодосией угас навеки этот день весенний» и «Феодосия») // Перекоп – ворота в Крым. Материалы III Международной научно-практической конференции. Армянск: Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2016. С. 142–147; *Леонтьева А.Ю.* Символика пространства в стихотворении О.Э. Мандельштама «Феодосия» // Филологический аспект: международный научно-практический журнал. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. № 6. С. 9–16; *Попова А.Е.* Античные образы смерти в поэзии О.Э. Мандельштама // Искусство глазами молодых. материалы VIII Международной (XII Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск: Красноярский государственный институт искусств, 2016. С. 158–160; *Леонтьева А.Ю., Халимулин С.Е.* Символическое пространство города в стихотворении О.Э. Мандельштама «Феодосия» // Межвузовский вестник № 1(29). Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. С. 72–77; *Головченко И.Ф.* По следам Цербера: путешествие в Крым Осипа Мандельштама как путешествие в царство мертвых // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №. 4-1 (70). С. 26–29; *Сафтенко Е. К., Стасенко О. П., Барсукова В. О.* Античные аллюзии в стихотворении О.Э. Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки стекла...» // Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения. Сборник материалов V (XIX) Международной конференции молодых ученых. Под редакцией Е.О. Третьякова. Томск: СГТ, 2018. С. 276–277; *Осеledько М. В.* Роль античной культуры в поэзии Мандельштама // Жанр, метод, стиль в произведениях мировой литературы. Особенности художественной коммуникации: Материалы Международного аспирантского семинара по истории и теории мировой литературы (Донецк, 3 декабря 2018 г.) / Отв. ред. Т.Г. Теличко. Донецк: ДонНУ, 2019. С. 33–45; *Нерлер П.М.* Лирический поэт и Гражданская война: Осип Мандельштам на Украине и в Крыму в 1919–1920 гг. // Текст и традиция. 2020. Т. 8. С. 281–324.

¹ *Барсамова Н.С.* Айвазовский в Крыму. Очерки об Айвазовском и художниках Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслере, К. Ф. Богаевском, М. А. Волошине, М. П. Латри. Симферополь: Изд-во «Крым», 1970; *Саськова Т.В.* Киммерия в творчестве Волошина // Время Дягилева. Универсалии серебряного века. Третьи Дягилевские чтения. Пермский государственный университет, Пермская художественная галерея, Общество любителей балета «Ара-

беск». Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1993. С. 221–231; *Любый А. П.* Пушкин. Таврида. Киммерия. М.: Языки русской культуры, 2001; *Левичев И.В.* Образ Киммерии М. Волошина как опыт поэтической теургии // *Культура народов Причерноморья*. 2003. № 46. С. 113–115; *Заяц С.М.* Мифологические и библейские образы в поэзии Максимилиана Волошина в контексте его духовных исканий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2009; *Скоропанова И.С.* Философский пейзаж в «киммерийских» циклах Максимилиана Волошина // *Вестник БДУ*. Сер.4. Філологія. Журналістика. Педагогіка: Наукова-тзарэ-тыч. часопіс. 2009. № 2. С. 51–55; *Берестовская Д. С., Шевчук В. Г.* «Топос» и «темпоральность» Киммерии в творчестве К. Богаевского и М. Волошина // *Синтез искусств в художественной культуре*. Симферополь, 2010. С. 171–180; *Дайс Е., Сид И.* Переизбыток писем на воде. Крым в истории русской литературы // *Нева*. 2011. № 3. С. 155–182; *Сиренко А.С.* Образы» Страны Киммерии» в творчестве К. Богаевского, М. Волошина, М. Латри // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. 2012. №. 2-1. С. 181–184; *Шевчук В.Г.* К. Богаевский и М. Волошин – художники Киммерии // *Культура народов Причерноморья*. 2011. № 210. С. 71–77; *Шевчук В.Г.* Поэтическое начало как фактор преобразования реальной действительности в образном мире К. Богаевского и М. Волошина // *Культура народов Причерноморья*. 2011. № 197. Т. 2. С. 175–178; *Шевчук В.Г.* Космос Киммерии в творчестве М. Волошина // *Культура народов Причерноморья*. 2012. № 239. С. 76–78; *Заяц С.М.* «Киммерийская весна» Максимилиана Волошина как этап мифотворчества и житнетворчества поэта // *Вестник Башкирского университета*. 2013. Т. 18. №. 4. С. 113–118; *Баруткина М.О.* Гений места: Максимилиан Волошин и Киммерия // *Известия Уральского федерального университета*. Серия 2. Гуманитарные науки. 2014. Т. 16. № 3 (130). С. 114–121; Таймазова Л. Л. Киммерия в поэтическом восприятии М. Волошина // *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского*. Филологические науки. 2015. Т. 1. №. 4. С. 80–87; *Разумовская А. Г., Петрова Н. С.* Крым в жизни и творчестве М.А. Волошина // *Вестник Псковского государственного университета*. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. №. 1. С. 298–303; *Ябуров С. И.* Константин Богаевский и Максимилиан Волошин // *Крымский архив*. 2015. № 3 (18). С. 100–109; *Кугушева А.Ю.* Семизосис топонима» Киммерия» в изобразительном искусстве и литературе путешественников первой половины XIX в // *Культура и искусство*. 2017. №. 3. С. 71–80; *Кугушева А.Ю.* Дискурс исторического пейзажа в визуальном тексте киммерийской школы // *Человек и культура*. 2017. №. 4. С. 80–88; *Шальгина О.В.* Ландшафтные коннотации солярного мифа в структуре Крымского текста (М. Волошин» Киммерийские сумерки») // *Вестник славянских культур*. 2017. Т. 46. № 4. С. 201–206; *Сид И. О.* Территория и ландшафт как палимпсест Макс Волошин, Даур Зантария: геопэты в «свёрнутом» путешествии // *Геогра-*

фия и туризм. 2018. №. 1. С. 132–142; Скокова Д.С. Комплекс «Водных» образов и мотивов в поэтическом цикле «Киммерийская весна» М.А. Волошина // Мир науки, культуры, образования. 2021. №. 4 (89). С. 392–396.

Отдельно стоит сказать о роли Крыма и, безусловно, Максимилиана Волошина в становлении поэтического дара Марины Цветаевой. Коктебельский дом Волошина стал почти родным домом и для Марины Цветаевой, жившей в нём практически каждое лето в 1911–1917 гг. Старший поэт способствовал быстрому развитию поэтического таланта Марины, написавшей в Крыму очень много произведений, ставших ядром её раннего творчества. Второй важный крымский локус Цветаевой – Феодосия, в которой она также неоднократно жила (в Феодосии работает в настоящее время музей Марины и Анастасии Цветаевых, являющийся частью историко-культурного, мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А. Волошина»). Хорошо известен и мемуарный очерк Цветаевой «Живое о живом», посвящённый Волошину, в котором образ поэта, гения места, неотделим от образа самого Коктебеля и Дома поэта. Тем не менее, Цветаевой принадлежит лишь одно стихотворение о Крыме – «Над Феодосией угас...» (1914) (поэму «Перекоп», естественно, относить к таковому вряд ли стоит), и это, по всей видимости, неслучайно. В её письме Борису Пастернаку от 23 мая 1926 года мы находим следующий важный для нашей темы фрагмент:

«Борис, но одно: Я НЕ ЛЮБЛЮ МОРЯ. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно движется, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т.е. моя вынужденная заведомая неподвижность. Моя косность. Моя – хочу или нет – терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя – как Рильке! (Себя или божества – равно.) Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть оно, все, что в нем ужасающего – оно. Суть его. Огромный холодильник. (Ночь.) Или огромный котел. (День.) И совершенно круглое. Чудовищное блюдо. Плоское, Борис! Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову например бы ненавидела. Как всякую власть). Море – диктатура, Борис! Гора – божество. Гора разная. Гора умалывается до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гётевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора – это прежде всего мои ноги, Борис. Моя точная стоимость. Гора – и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом» (Марина Цветаева – Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. М.: Вагриус, 2004. С. 213). Можно сказать, что Марина Цветаева гео-онтологически принадлежит горе и размещает себя в горных онтологических моделях воображения (вспомним также её «Поэму горы»); море и, возможно, шире, вода – не её стихия. См. также: Горбынко Е. Ю., Власенко А. Л. Образ Феодосии в творчестве М. И. Цветаевой и О. Э. Мандельштама (на примере стихотворений «Над Феодосией угас навеки этот день весенний» и «Феодосия») // Перекоп – ворота в Крым. Материалы III Международной научно-практической конфе-

по-новому: античность одновременно стала «по-настоящему» русской и черноморской; она стала неотъемлемым элементом русской черноморской геокультуры.

В то же время можно говорить и о параллельной «кристаллизации» образа Крыма и крымского текста – крымская античность и крымская древность, благодаря произведениям Волошина и Манделъштама, стали геопоэтическим «ядром» крымского образа, а сам образ Крыма начал формироваться теперь как один из наиболее существенных и значимых геокультурных образов русской литературы и культуры¹. Ясно также, что именно крымский геокультурный «взрыв» способствовал интенсивному геокультурному накоплению, переработке и се-

ренции. Армянск: Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2016. С. 142–147; Ясакова О.А. Крымский пейзаж в лирике М.А. Волошина и М.И. Цветаевой // Биоразнообразии и антропогенная трансформация природных экосистем. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции / Под ред/ М.А. Заниной. Саратов: Саратовский источник, 2021. С. 293–295.

¹ Значимость «киммерийского» и, шире, античного крымского мифа для эпохи Серебряного века русской культуры очень хорошо отметила одна из сестёр Герцык – Евгения, написавшая в своих мемуарах (в них есть великолепные описания крымского ландшафта, в частности, Судака и его окрестностей самого начала XX века) следующее:

«Да, нужно было через десять лет встретиться с Волошиным, с живописью Богаевского, услышать миф о Киммерии, чтобы потом авторитетно утверждать, что у нашей земли свой закон красоты. Вот это искривлённое ветром, почти оголённое дерево – только оно, а не какая-то широколистная чинара – созвучно горному контуру на лёгком, на крымском небе. Но в этих наших декларациях зерно правды оплетено было литературностью и изысканностью. Скромнее и строже был творческий труд, который за много лет до того вслепую проделали мы, невежественные в искусстве девочки, наперекор всем канонам отстаивая полюбленное. И вправду, нет постижения красоты там, где она не рождается прежде, чем всякие «почему», где она не опрокидывает запреты, не поборет непонятности. Судак наконец врезал нам в душу опыт распознавания прекрасного. Как легко было после этого разгадать замурованную прелесть стиха Вячеслава Иванова! Или разом безошибочно обличить художественную фальшь Беклина – такого всё же сладостного для глаза» (Герцык Е.К. Лики и образы. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 60–61).

диментации первичных образных слоёв черноморского текста эпохи зрелого Модерна. И, возможно, наиболее важное: посредством «кристаллизации» крымского и черноморского текстов и современного пересоздания собственного образа «черноморской античности» в течение всего XX века русская культура, очень «молодая» сравнительно с европейской культурой в целом, постепенно избавлялась от своих «возрастных» историко-культурных комплексов, изобретая свою геокультурную «древность» и становясь, таким образом, вполне «взрослой» и зрелой¹.

¹ Характерно, что рождение русского литературного, а, частично, и живописного футуризма (кубофутуризма) – художественного направления, определившего положение русской культуры начала XX века в европейском литературном и художественном авангарде, во многом связано с Северным Причерноморьем, Таврией, более точно – имением Чернянка Таврической губернии, где сложился первоначальный человеческий и идеологический «костяк» новой художественной революции. Немалую роль в становлении движения кубофутуристов-«будетлян» сыграл ландшафт Таврии, «пропитанный» античными и скифскими аллюзиями, благодаря чему геродотовская Гилея оказалась одной из главных символических «меток» – по сути, геокультурных образов – русского футуризма. Очень хорошо написал об этом Бенедикт Лившиц в своих воспоминаниях «Полутораглазый стрелец»:

«Вместо реального ландшафта, детализированного всякой всячиной, обозначаемой далевскими словечками, передо мной возникает необозримая равнина, режущая глаз фосфорической белизной. Там, за чертой горизонта – чернорунный вшивый пояс Афродиты Таврической – существовала ли только такая? – копошеньё бесчисленных овечьих отар. Впрочем, нет, это Нессов плащ, оброненный Гераклом, вопреки сказанию, в гилейской степи. Возвращенная к своим истокам, история творится заново. Ветер с Эвксинского понта налетает бураном, опрокидывает любкеровскую мифологию, обнажает курганы, занесенные летаргическим снегом, взметает рой Гезиодовых призраков, перетасовывает их еще в воздухе, прежде чем там, за еле зримой овидью, залечь окрыляющей волю мифологемой. Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами, приобретала значение символа, должна была стать знаменем. Вскрывались и более поздние пласты. За Гезиодом – Гомер. Однажды, проходя через людскую, я заметил в ней странное оживление. Веселым кольцом, обступив фигуру в овчинном тулупе, толпились обитатели усадьбы. Это был чабан, проводивший круглый год в степи, за много верст от человеческого жилья. Сотни таких пастухов бродили по окраинам мордвиновских владений, перегоняя с места на место отары, прямое потомство Одиссеевых баранов и овец. Одицавшие люди

В советский период крымский текст, уже обретший ранее прочную историко-культурную геопоэтическую основу, осмыслялся и развивался как преимущественно черноморский, причём эта «черноморскость» могла воображаться и как более широкая в художественно-мифологическом, романтическом и геопоэтическом плане (южная) морская интенциональность –

почти разучились говорить и, годами не видя женщин, удовлетворяли половую потребность скотоложеством. В рыбацких поселках, тянувшихся к морю и к заросшим камышами днепровским гирлам, поражала наружная окраска домов. На нежно-персиковом, на бледно-бирюзовом фоне веерообразный пальмовый орнамент или коленопреклоненное шествие меандра, перекочевавшие с херсонских ваз. Они покоились здесь, на берегу Эвксина, под снежными холмами – широкие расписные кратеры, узкогорлые лировидные амфоры и трогательные пеленашки лекифов, рядом с застывшей навеки радугой ольвийского и пантикапейского стекла.

[...]

Все принимало в Чернянке гомерические размеры. Количество комнат, предназначенных неизвестно для кого и для чего; количество прислуги, в особенности женской, производившее впечатление настоящего гарема; количество пищи, поглощаемой за столом и 37 похода, в междуед, всяким, кому было не лень набить себе в брюхо еще кус. Чудовищные груды съестных припасов, наполнявшие доверху отдельные ветчинные, колбасные, молочные и еще какие-то кладовые, давали возможность осмыслить самое существо явления. Это была не пища, не людская снедь. Это была первозданная материя, соки Геи, извлеченные там, в степях, миллионами копошащихся четвероногих. Здесь сумасшедший поток белков и углеводов принимал форму окороков, сыров, напруживал мясом и жиром человеческие тела, разливался румянцем во всю щеку, распирал, точно толстую кишку, полуаршинные тубы с красками, и, не в силах сдержать этот рубенсовский преизбыток; Чернянка, обращенная во все стороны непрерывной кермесой, переплескивалась через край» (*Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л.: Советский писатель, 1989. С. 321–323).

[...]

«Осмысливаемая задним числом, Чернянка оказывается точкой пересечения координат, породивших то течение в русской поэзии и живописи, которое вошло в их историю под именем футуризма» (Там же. С. 340).

Немаловажно также отметить, что крымский текст сам по себе оказался достаточно существенным обстоятельством в становлении русского литературного авангарда, см.: *Шевчук В.Г.* Художественное пространство авангарда: крымский текст // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. 2015. Т. 1. №. 3. С. 172–182.

например, в творчестве Александра Грина, преимущественно в его романах «Алые паруса» и «Бегущая по волнам»¹. С другой

¹ Ковский В.Е. Романтический мир Александра Грина. М.: Наука, 1969; Михайлова Л. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество. М.: Художественная литература, 1980; Кобзев Н.А., Загвоздкина Т.Е. Поэтика прозы Александра Грина. Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2006; Парамонова Т.А. Система индивидуально-авторских локусов как механизм создания сверхтекстового единства прозы А.С. Грина (на примере функционирования локусов «Лисс» и «Зурбаган») // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2008. Т. 10. №. 6-1. С. 279–287; Варламов А.Н. Александр Грин. Биография. М.: Эксмо-Пресс, 2010; Васильева О.А. Мифопоэтика феерии «Алые паруса» А.С. Грина // Крымский архив. 2016. № 4 (23). С. 101–109; Грачев В.И. Парадигмально-аксиологический анализ мифопоэтики крымского романтизма» как хронотопного художественного культурфеномена // Культура культуры. 2019. №. 1. *Oryshchuk N.* Official Representation of the Works by Alexander Grin in the USSR: Constructing and Consuming Ideological Myths. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Canterbury. Christchurch (New Zealand): University of Canterbury, 2006. Следует также отметить до сих пор пока по-настоящему не оцененную роль в формировании черноморского текста поэтических и прозаических произведений Георгия Шенгели (1894–1956). Если поэтические тексты, в значительной степени, были опубликованы при его жизни, то проза в полном объеме была опубликована лишь недавно (2018). Два романа-воспоминания Шенгели – «Жизнь Адрика Мелиссино» и «Чёрный погон» о детстве и молодости в Керчи – воссоздают важный древний городской локус Восточного Крыма в начале XX века (революция 1905 года и гражданская война) и в чём-то являются аналогом известной автобиографической трилогии Валентина Катаева о его одесском детстве и юности. В своих стихах Шенгели неоднократно обращается к черноморскому (и керченскому) ландшафту – они, как правило, имеют мощный историко-мифологический пласт. В своём раннем творчестве он, безусловно, испытал влияние Волошина – хороший пример его стихотворение «Босфор Киммерийский» (1916):

«Песчаных взморий белопенный лук,
Солончаковые глухие степи.
И в тусклом золоте сгущенных сепий
Вздывается оплавленный Опук.
Раздавленный базальт, как звенья цепи,
На сланцевых боках означил круг.
Волчцы и терн. И тихо вьет паук
Расчисленную сеть великолепий.
Потоки вздутые остывших лав

стороны, широко и панорамно осмысляемые южный и черноморский тексты могли зачастую проявляться наиболее ярко в соответствующих крымских художественных нарративах, эпизодах и фрагментах достаточно масштабных произведений – именно так, пожалуй, можно интерпретировать некоторые произведения Константина Паустовского – особенно повесть «Чёрное море» и, несомненно, более позднюю мемуарную «Повесть о жизни». Значимость крымского нарратива и крымского текста в русской литературе и культуре в конце XX века очень хорошо подчёркивает геополитическая утопия Василия Аксёнова «Остров Крым»: фантастическая смена географической типологической номинации этой территории обнажает не только саму высокую геокультурную статусность крымского текста для русской культуры, но и геокультурную втянутость, «впяянность» этого текста в образно-символическую систему черноморских (и морских в целом) смыслов, по-прежнему ключевых и в начавшихся постмодерных трансформациях русской литературы.

Если же говорить о поздней советской поэзии, то несомненно очевидная заслуга Иосифа Бродского: написав в конце 1960-х гг. несколько поэтических текстов, посвященных Крыму, он расширил и трансформировал геопоэтическое наследие Пушкина и Мандельштама. Также как и Мандельштам, Бродский остро чувствует крымскую и, шире, черноморскую античность как окраину цивилизованного европейского мира¹ (у него есть

Оставили железно-бурый сплав
И пыл свой отдали в недвижный воздух.
И медленный плывет свинцовый зной,
Растягиваясь в колоссальных звездах,
В рубинных радугах над крутизной.»

См. также: Сид И. Геопоэтика. Пунктир к теории путешествий. СПб.: Алетейя, 2017.

¹ Новикова М. А., Казарин В. П. Фауст и Крым (об одном крымском стихотворении И. Бродского) // Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций. 2010. №. 2. С. 214–225; см. также: Курьянова В. В. Крымский текст в творчестве А.И. Кушнера // Современная картина мира: крымский контекст / Под редакцией Г.Ю. Богданович. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2020. С. 144–164.

также стихотворение, посвящённое Одессе). Но есть и два новых, по сравнению с лейтмотивами старшего поэта, обертона. Первый: наращивание «римской» тональности (крымская античность Мандельштама, скорее, древнегреческая) в контексте вечной темы Овидиевой ссылки. Второй – это осознание себя не только на окраине античного мира, но и на провинциальной окраине перезрелой, близкой к упадку и скрытому декадансу, советской империи, уподобляемой, в какой-то мере, Римской империи. Такая, довольно сложная метафоричность и метонимичность, ещё невозможная в античных аллюзиях Мандельштама, который не мог, по понятным хронологическим причинам, почувствовать подобную образность, ведёт поэтический дискурс Бродского к сближению с великими древнеримскими поэтами эпохи Августа (это мы можем наблюдать не только в известных «Письмах римскому другу», но и в позднейших эссе). Благодаря «геопозитическому открытию» Бродского, крымский и черноморский тексты расширяют своё семантическое поле, оказываясь «узлом» метафорического уподобления, более тесно объединяющего средиземноморский геокультурный ареал и геокультурные зоны влияния русской литературы.

Становление одесского текста: второе «ядро» черноморского текста русской литературы

Второй ключевой текст, сыгравший значительную роль в становлении черноморского геокультурного текста русской литературы, как упоминалось уже ранее – *одесский*. Его формирование начинается немного позже по сравнению с крымским; сам локус в географическом плане, поскольку это город, намного уступает Крыму, однако траектория быстрого социально-экономического и культурного развития Одессы в течение XIX века в качестве важнейшего и, по сути, главного южного морского российского порта определила соответствующую образно-географическую траекторию¹. Порто-франко, новый морской «Вавилон» на Чёрном море, для которого с момента

¹ Хинрик Я. П. Миф Одессы. Очерки. Одесса: Optimum, 2012.

его основания было характерно смешение языков и культур – эти первоначальные привлекательные черты Одессы способствовали появлению со временем своеобразных литературных текстов, репрезентирующих, естественно, не только морской колорит города, но и прилегающие территории, одесский хинтерланд – засушливые украинские и бессарабские степи. По всей видимости, к началу XX века можно говорить о формировании первичных основ для создания одесского текста: Одесса представляла собой крупнейший региональный городской центр на юге Российской империи, со сложившейся, хотя и провинциальной, богатой культурной жизнью, со своим университетом и оперным театром, с многонациональным населением, в котором выделялись, прежде всего, русский, украинский, еврейский, греческий и немецкий компоненты (диаспоры)¹.

Расцвет одесского текста связан с писателями, чьё детство пришлось на начало XX века. Именно их цепкая и детальная память стала существенным условием появления произведений, определивших значимость одесского текста как для русской культуры в целом, так и для черноморского геокультурного текста². Конечно, стоит отметить, что этот процесс литературных «воспоминаний» (хотя он, безусловно, чаще всего не был классическим воспоминанием, а, скорее, интенсивной работой воображения, стягивавшего фрагменты «точечной» памяти к глубоко личным мемуарным топосам) растянулся на большую часть XX века, что характерно, прежде всего, для Валентина Катаева, Юрия Олеши³ и Константина Паустов-

¹ В рамках Российской империи Одесса естественным образом мыслилась как столица Новороссии, Одесский университет назывался Новороссийским.

² *Калмыкова В. В.* Тайна третьей столицы, или Юго-западный ветер в московской литературе (к вопросу об одесско-московском тексте) // *Москва и» московский текст» в русской литературе. Москва в судьбе и творчестве русских писателей.* Вып. 8. М.: Московский гор. пед. институт, 2015. С. 67–77; *Шеховцова Т. А., Юрченко С. П.* Одесский текст и одесский миф в русской прозе 1920–1930-х годов // *Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Філологія».* 2020. №. 86. С. 35–48.

³ Юрий Олеша в контексте черноморской темы описывает в своих произведениях исключительно Одессу. Она присутствует в нескольких его

рассказах конца 1920 – начала 1930-х гг. («В мире», «Стадион в Одессе», «Первое мая»), где довольно ощутим идеологический советский контекст этой эпохи. Наиболее интересные фрагменты одесских описаний Олеша, как и у Валентина Катаева, посвящены его детству и юности. Олеша сравнительно рано начал писать дневники, значительная их часть была опубликована в конце 1950-х гг. («Ни дня без строчки»), наиболее полная версия была опубликована уже в постсоветское время («Книга прощания»). В отличие от Катаева, превратившего свои воспоминания в экспериментальную художественную прозу, Олеша оставался верен довольно сухому стилю дневниковых записей. Тем не менее, эти записи позволяют более чётко представить образ Одессы на стыке морских и степных образов. Хотя одесские загородные дачи, степные немецкие колонии описываются подробно и Паустовским, и Катаевым, именно Олеше удаётся наиболее ярко дать образ Одессы как приморского города, открытого степи: «Я был на так называемых «кондициях» в довольно большом имении немца-колониста. Кондиции – это то же, что репетиторство. Но в летний сезон, когда репетитор ещё и живёт там. Где учит, это – «кондиции».

Я шёл из имения Луца в Доманевку. Дорога рассекала степь от моих стоп, так сказать, до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски – колокольчики голубые, розовые, жёлтые, какие-то вытянутые кверху лиловые колбаски, целые горсти синих крохотных венчиков, ромашки с жёлтыми своими подушками, на которых, казалось, спят невидимые больные какого-то иного мира. Всё это жгуче благоухало почти ничем – воздухом? Далью? Небом?

В воздухе стояли и даже как бы летали задним ходом стрекозы. Трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, живая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Её хвост трещал на моём плече, скрипел – скрюченный, похожий на растительный стручок, хвост. Я успевал увидеть глаза, вызывавшие неодолимое желание разодрать их, глаза-кашли, возможно, видевшие и меня. Стрекоза улетала и летела рядом со мной – казалось, стоя в воздухе, как бы даже упираясь лапками, чтобы не лететь.

Я шёл в Доманевку купить карамели». (*Олеша Ю.К.* Книга прощания. М.: Вагриус, 1999. С. 280)

Крайне существенна запись Олеша о взаимосвязи образа Одессы и образа Запада (Европы):

«В детстве я жил как бы в Европе.

Запад был антиподом домашнего.

Образ Одессы, запечатлённый в моей памяти, – это затенённая акациями улица, где в движущейся тени идут полукругом по витрине маленькие иностранные буквы. В Одессе я научился считать себя близким Западу. Я видел загородные дороги, по сторонам которых стояли дачи с розами на

ского¹. Тем не менее, уже к 1930–1940-м годам, можно говорить о «коагуляции», ступени первичного ядра одесского текста – коль скоро уже были написаны и опубликованы «Одесские рассказы» Исаака Бабеля и «Белеет парус одинокий» Валентина Катаева.

Валентин Катаев и «расцвет» одесско-черноморского текста

На наш взгляд, очевидным ядром одесского текста русской литературы являются произведения Валентина Катаева. Несмотря на то, что Катаев, сравнительно рано переехав в Москву, писал и публиковал очень разные по жанру произведения, часто отнюдь не центрированные открыто на Одессе и черноморской теме, он, тем не менее, в течение своей долгой творческой жизни не раз «возвращался» в город своих детства и юности. По всей видимости, именно его лучшие тексты по-

оградах и блеском черепичных крыш. Дороги вели к морю. Я шёл вдоль оград, сложенных из камня-известняка. Он легко поддаётся распилке и в строительство поступает правильными параллелепипедами, оставляющими на руках желтоватую муку. Желтоватые стены дуют пылью, розы падают на них, скребя шипами.

Каждая дача была барским особняком.

Там, в блужданиях по этим дорогам, составил я свои первые представления о жизни». (Там же. С. 11)

Этот фрагмент представляет Одессу как южного «младшего близнеца» Петербурга, служащего, так же, как и северная столица, морским «окном в Европу».

См. также: *Маркина П.В.* Одесский миф Ю.К. Олеси // Вестник Алтайской государственной педагогической академии. 2010. №. 4. С. 71–81.

¹ *Соколовская Г.Н.* Образ Одессы в творчестве К. Паустовского // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. 2010. Випуск XXIII. Ч 2. С. 217–228; См. также: *Musij W.* Модусный план одесских страниц повести А.Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» // *Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka / Одеса і Чорне море як літературний простір / Odessa and the Black Sea as a literary space / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Natalia Maliutina.* Białystok: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski, 2018. С. 313–328; *Тернавская А.* «Зеленый фургон» Александра Козачинского как одесский текст. 2019. С. 213–217; <http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28448/1/213-2>

священы Одессе, её окрестностям и Чёрному морю – трилогия «детских» романов («Белеет парус одинокий», «Чёрное море» и «За власть Советов»), а также (и, пожалуй, это главное) мемуарные произведения 1960–1970-х гг.

Если вычленять наиболее показательные, наиболее репрезентативные «черноморские» тексты Катаева, то к ним можно отнести, прежде всего «Траву забвения» и «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Жанр воспоминаний здесь достаточно условен, а отточенный, фрагментарный, как бы бессюжетный и контрапунктный стиль писателя позволяет читателю сосредоточиться на порой мельчайших деталях и приметах черноморского и, уже, одесского ландшафтов. Истории его детства и юности, вспоминаемые более чем через полвека, оказываются черноморскими не только по видимому топографическому содержанию, но и по своей, не столь очевидной, геокультурной онтологии: в данном случае можно говорить о безусловном онтологическом становлении русского черноморского ландшафта и русской черноморской геокультуры, репрезентированных пара-мемуарными, или псевдо-мемуарными текстами Катаева¹.

Геопоэтика выделенных нами катаевских текстов опирается на сочетание, с одной стороны, детальных описаний зачастую мелких или незначительных ландшафтных событий и ситуаций биографического характера, создающих уникальную черноморскую/одесскую ауру², а, с другой стороны, глубинной

¹ Влияние уже написанных текстов Бабеля, Грина, Олеси, Паустовского.

² Крайне интересно описание Катаевым звуков одесских улиц («музыки» города), чувствуемых и переживаемых маленьким мальчиком:

«...это было нечто составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролёток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стёкол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума, базара, пения нищих слепцов, посвистыванья итальянских шарманок...

образной «оптики», позволяющей вписать фрагменты ландшафтной повседневности в объёмную, более широкую «рамку» хронотопа затрагиваемой автором исторической эпохи, как бы вновь увиденной спустя несколько десятилетий¹. Такие образно-географические «картинки» можно назвать голографическими, имея в виду одновременную реальность и нереальность почти «живых» эпизодов, создающих ощущение собственного присутствия читателя в Одессе, Измаиле или Николаеве, куда переносит его рваный ритм катаевской прозы². Видимая почти

Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям» (*Катаев В.* Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона. М.: Советский писатель, 1983. С. 44).

Казалось бы, по отдельности это уличные звуки любого крупного города начала XX века, но упоминания Александровского парка, шороха морских волн и посвистывания итальянских шарманок дают ощутить читателю, почти осязаемо, уникальность одесского звукового ландшафта, «уносимого морским ветром».

¹ Так, ожидание в Одессе приближения к Земле кометы Галлея позволяет писателю дать блестящий набросок майского одесского ландшафта, как бы сквозящий самой атмосферой этого напряжённого ожидания:

«Город задышался от запаха неслыханно буйно цветущей белой акации. Короткие, тёмные, душные ночи с распахнутыми окнами домов, откуда неслись звуки итальянских песен, что превращало нашу тихую Отраду в подобие Неаполя или, во всяком случае, Сорренто, где в ещё более густой темноте, чем обычно, беззвучно двигались парочки, рдели угольки папирос, слышались в подворотнях «шёпот, робкое дыханье» и насвистывание сквозь зубы из «Весёлой вдовы» – «тихо и плавно качаясь, горе забудем вполне» – точно и в самом деле нас всех мучило какое-то горе, которое мы старались вполне забыть.

Над морем светились млечные летние звёзды, самые крупные из которых даже отражались в почти неподвижной воде и серебрили море у тёмного горизонта, откуда из угольно-чёрной бездны должна была появиться комета» (там же. С. 121-122).

² Прекрасный пример – катаевское описание рыбной ловли за Аккерманом:

«...Очень яркая луна уже стыла в самом зените, заливая всё вокруг голубым, серебряным светом холодного бенгальского огня.

Мотня кипела трепещущим серебром скумбрии и другой рыбы, в несметном количестве набившейся в сетчатый мешок. Лунный свет заливал всё побережье – холодную песчаную косу, лиман, откуда доносился гнилостный, целебный запах его рапы и грязи, обрывы, поросшие полынью,

чрезмерная подробность катаевских текстов, максимально приближающая читателя к топографической «плоти» черноморского побережья, постоянно отдаляется не только временной дистанцией, но и самим желанием писателя отделить, наконец, себя от этой переживаемой им до сих пор ландшафтной субстанции – которая обретает тем самым свою яркую, фактически законченную локальную образно-географическую форму.

Черноморский текст как кинематограф: произведения Константина Паустовского

К ядру черноморского текста русской культуры следует отнести также и ряд текстов Константина Паустовского. Он – также, как и Валентин Катаев – обращался к этой теме на протяжении длительного времени, начиная с конца 1920-х и заканчивая 1960-ми гг. Хотя, в отличие от Катаева и его «соратников» по Юго-западной «школе», Паустовский не был уроженцем Одессы или же какого-либо другого черноморского города, он очень рано почувствовал, как писатель, пейзажное и, видимо, также экзистенциальное притяжение южного и, по преимуществу, южного черноморского мира¹. Этот русский и советский писа-

дикой маслиной, и мне казалось, что я вижу в месячном сиянии Буджакские степи, башни старинной турецкой крепости, цыганские костры и телеги, и курчавого молодого Пушкина, и очи Земфиры с белками, отливающими лунным светом, и Алеко с ножом в руке, также отливающим калёным лунным светом, и мне чудились мучительные сны, живущие где-то совсем рядом со мной «под издранными шатрами», и «всюду страсти роковые и от судеб защиты нет», и всё это – под маленькой, не больше новенького гривенника луною, пробивавшейся над плетнями и виноградниками Будак, сквозь лёгкую летнюю гучку, как рыбий глаз» (там же. С. 70–71).

В этом фрагменте вся мощь локального геокультурного образа черноморского ландшафта опирается на почти неуловимую и тонкую связь эффектных, колоритных «романтических» деталей реальной ночной ловли, наблюдаемой «детскими» глазами пожилого писателя, и подлинного романтического «флёра» пушкинской поэмы «Цыганы».

¹ Ланно Г.М. Города в творчестве Константина Паустовского // География. № 13. М.: ООО «Чистые пруды», 2006. С. 9–16; Ланно Г.М. Романтическая география городов (города в жизни и творчестве Константина Паустовского) // Региональные исследования. 2007. № 2. С. 3–12; Руден-

тель был, прежде всего, путешественником, что помогало ему создавать «упругие», динамические, как бы кинематографические произведения, где основной нарратив, внутреннее напряжение сюжета поддерживалось очевидной географической подвижностью героев или же самого автора, порождающей, в свою очередь, необходимость их психологической трансформации.

Важно отметить, что в содержательно-географическом плане произведения Паустовского охватывают практически все основные районы черноморского побережья России, Украины и Грузии, в особенности – Одессу, Крым и черноморское побережье Кавказа. Как и Катаев, Паустовский дважды – в ранний и поздний периоды своей творческой биографии обращается к черноморской теме – и также, как Катаев, он репрезентирует её сначала в традиционной романно-повествовательной фор-

ко Ж.А. Образ Севастополя в индивидуальной концептосфере К. Паустовского // Научный вестник Херсонского государственного университета. Серия «Лингвистика». Вып. X. Херсон: Издво ХГУ, 2009. С. 283–287; Руденко Ж.А. Морская терминология как составляющая культурного концепта «Севастополь» в творчестве КГ Паустовского // Гуманитарно-педагогическое образование. 2016. Т. 2. № 2. С. 30–36; Руденко Ж.А. Античность как составляющая культурно-географического феномена «Севастополь» в творчестве К.Г. Паустовского // Гуманитарная парадигма. 2017. № 1. С. 37–42; Руденко Ж.А. Концептуализация историко-природных объектов в произведениях К.Г. Паустовского о Севастополе // Гуманитарная парадигма. 2018. №. 3 (6). С. 70–76; Яценко Т.А., Руденко Ж.А. Артефакты как составляющая культурного концепта Севастополь // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». 2011. Том 24(63) № 1. Ч. 1. С. 206–213; Wojciewa H. Стилистические функции морской лексики в повести КГ Паустовского «Время больших ожиданий» // *Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka / Одеса і Чорне море як літературний простір / Odessa and the Black Sea as a literary space / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Natalia Maliutina. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski, 2018. С. 491–499; Melnychenko L. Одесса и Черное Море в дневниках Константина Паустовского // *Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka / Одеса і Чорне море як літературний простір / Odessa and the Black Sea as a literary space / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Natalia Maliutina. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski, 2018. С. 129–147; Сивова Т.В. Произведения К.Г. Паустовского в аспекте колористической картографии // География искусства: новые ракурсы. М.: ГИТР, 2020. С. 108–120.**

ме (роман «Блистающие облака», повесть «Чёрное море»), а затем, уже в 1940–1950-х годах – в своей знаменитой мемуарной прозе «Повесть о жизни»¹ (не упоминая также о многочисленных рассказах, в которых черноморская тема присутствует очень часто). Но, в отличие от Катаева с его поздней, нарочито замедленной «прустовской» манерой, Паустовский каждый раз создаёт свой черноморский пейзаж динамически, в череде перемещений и передвижений – эти образы предстают перед нами в контекстной рамке «густой» общероссийской или южно-российской либо советской жизни в целом – так, как в ней себя видели его герои, или он сам².

¹ В первую очередь, четвёртая и пятая книги: «Время больших ожиданий» (1958) и «Бросок на юг» (1959–1960).

² Поскольку черноморские образы в «Повести о жизни» достаточно хорошо изучены (хотя и не комплексно, а, скорее, сегментарно – по географическим локусам), то здесь мы кратко остановимся на раннем романе Паустовского «Блистающие облака» (1928). Наряду с тем, что роман имеет очевидный романтический «флёр» и «снабжён» довольно искусственной авантюрно-приключенческой фабулой, он обладает также признаками «романа воспитания» – и можно даже сказать: «романа географического воспитания» или же «путешественного романа воспитания»; мы видим в нём целую «россыпь» геокультурных образов черноморского побережья. Несмотря на то, что его главный герой не так уж молод, он ищет своё призвание и одновременно свою любовь в путешествиях, при этом каждый его переезд, поездка обоснованы конкретными мотивами и причинами. Понятно, что писатель впервые столь масштабно использовал здесь дневниковые записи своих скитаний и путешествий ранней молодости, обработанные и переосмысленные ещё раз через два-три десятилетия в более зрелой мемуарной прозе. Вот несколько ярких ландшафтных фрагментов, характеризующих «орнаментальную» прозу Паустовского 1920-х гг. Экспрессивный образ одесского пляжа:

«Лузановка. Белая Аравия, песок, оазисы колючей травы. За два часа спекаешься, как рак. Не хватает борного вазелина, чтобы смазывать кожу. Берега жёлтые, море подымается в глазах, будто его вздувает изнутри упрямый ветер. Вдали – белый вскипающий город. Волны шумят, как у Пушкина, – призывно и долго. Ни клочка тени. Временами кажется, что волосы от этого синего огня пахнут палёным» (*Паустовский К.Г. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. М.: Художественная литература, 1977. С. 53*).

«Средиземноморский» образ Таганрога:

«Единственный извозчик повёз их в город через игрушечный, заросший травой порт. Одуванчики цвели среди гранитных плит, раздавленная колёсами полынь наполняла воздух горечью.

Таганрог был затоплен тишиной, почти звенящей, было пусто, уютен, изумительно чист. Фонари искрились в воздухе (после ливня в нём был блеск предельной прозрачности). Над морем загорались звезды; свет их был усталый, они мерцали. Батулин подумал, что звёзды теряют много пламени, отражаясь в морях, реках, в каждом людском зрачке.

Из садов сочились запахи цветов, не имеющих имени, никому не знакомых. России не было. Таганрог был перенесён сюда с Эгейских островов, был необычайным смещением Греции, Италии и запорожских степей.

Музейное безмолвие стояло окрест, и даже море не шумело. Воздух был тонок и радовал, как воздух новой страны» (там же. С. 49).

«Экзотический» образ Сухума:

«На бульвар, на море и город жарким ветром налетала сухумская ночь. Темнота, лиловая и мягкая, как драгоценный мех, освежала сожжённые лица. Белый пламень фонарей, отражённый меловыми стенами, заливал фруктовые лавки. Они были пряные до тошноты и пёстрые, как натюрморты. Апельсины скромно пылали на чёрной листве.

Запах жареных каштанов и треск их сопровождали капитана до портовой конторы. Чёрное море колебалось пыльным светом звёзд. Птичье щёлканье абхазской речи было очень кстати в тени эвкалиптов. За столиками люди в белом сжимали в чёрных лапах хрупкие стаканчики с мороженым. Весь Сухум представлялся капитану декорацией экзотической пьесы» (там же. С. 82).

«Пустынная старость» Керчи:

«Есть города, похожие на сон. Такова была Керчь. Тысячелетняя пыль лежала на её мостовых. Дули ветры, шелуша сухие акации на бульваре. Ночи были так же пустынно и печальны, как дни.

[...]

Старость тяготела над Керчью, стоявшей на скифских могилах. Портовые склады, сожжённые деникинцами, глядели на пролив гигантскими черепами. В них жили бродячие псы и беспризорные, а по ночам уныло подвывал норд-ост.

[...]

Чёрный пролив монотонно гудел; город помаргивал в ночь жёлтыми огнями. Изредка с юга доносился неясный, простой запах соли и свежей ночи» (там же. С. 91).

Существенная особенность черноморских образов Паустовского в «Блещающих облаках» – выстраивание их в контексте настроения и ощущений, эмоционального состояния того или иного героя произведения. В то же время можно увидеть значительную разницу между образами Северного Причерноморья и Кавказского побережья: если в первых у Паустовского почти всегда присутствует мотив древности, античности, осколков великих древних культур, освоивших когда-то эти берега, то во вторых чаще доминируют мотивы яркой экзотичности и даже «ориентализма».

Юго-западная «школа» и гипертрофия одесского текста

В целом, творчество советских писателей первого поколения – прежде всего, Юго-западной «школы» и Паустовского определило доминирующие образно-географические черты черноморского текста русской культуры – так, как он сложился к 1960–1980-м гг. Характерно, что для него было важным как скрытое, так и открытое цитирование своих главных предшественников – Волошина и Мандельштама, чьи крымско-черноморские тексты определили существенность и «неотменимость» древнего и античного образных слоёв русской черноморской геокультуры. Вместе с тем, именно «юго-западники» создали поистине гипертрофированный образ Одессы как главного русского геокультурного урбанистического локуса на Чёрном море – несомненная приоритетная «одесскость» черноморского текста русской литературы возникает и развивается, начиная с 1920-1930-х гг., как результат их активной литературной деятельности¹.

¹ Интересно отметить разницу как в характере, так и в персональном происхождении одесского и крымского текстов. Если одесский текст, по понятным причинам носит преимущественно плотный урбанистический и субурбанистический характер, то крымский – как в силу многочисленности его относительно некрупных урбанистических локусов, так и по причине доминирующей рекреационной тематики, привязанной преимущественно к Южному берегу Крыма – тяготеет, естественно, скорее к ландшафтным описаниям «природного», либо историко-культурного характера (понятно, что образы культурных ландшафтов Крыма лишь условно можно отнести к «природным»). Преимущество крымского текста – в его более продолжительной истории развития, опирающейся, в свою очередь, на богатое историко-культурное наследие. В то же время, ключевые крымские тексты принадлежат, чаще всего, людям «из столиц», либо часто отдохавшим здесь, либо – по тем или иным причинам – переселившимся сюда. В этом смысле крымский текст можно назвать «наносным» или «аллювиальным». В отличие от него, одесский текст, гораздо более «молодой» и быстро развившийся (гораздо позднее крымского) буквально за два-три десятилетия, благодаря, в основном, уроженцам этого города, оказался как бы перенесённым главным образом в Москву и дачные места под Москвой или же в другие «палестины» (важные исключения – примеры эмигранта Бунина или же Паустовского, жившего в свой поздний период большую часть года в Тарусе на Оке, могут показаться нехарактерными, поскольку они не являются уроженцами Одессы, однако они многожды бывали и жили там).

Одним литературным поколением позже, подобная «одесскость» черноморского текста была поддержана полу-автобиографической повестью «Записки жильца» (1962–1976) советского поэта и переводчика Семёна Липкина. Одессит по рождению, он начал формироваться как писатель ближе к концу 1920-х гг., переезд в Москву определил его литературную траекторию, непосредственное влияние на которую оказал и Эдуард Багрицкий. Повесть Липкина можно рассматривать как безусловно «эпигонскую» (без каких-либо аксиологических коннотаций) по отношению к одесско-черноморскому тексту, разработанному Юго-западной «школой»; в то же время она фактически закрепила геокультурный статус этого текста, ещё раз подтвердив его значимость для русской литературы последней четверти XX века¹.

¹ Также, как и его старшие товарищи и учителя, Семён Липкин осознает безусловную значимость образа моря для описания Одессы, которое и у него оказывается в итоге источником чувства античности и свободы: «Оно окружает наш город с трёх сторон. Нет ничего общего между морем у берегов и морем открытым. У берега море такое, какой берег. Расплавленной железной массой, маточной жидкостью шумит оно у подножия фабрик и заводов. Разноплеменными голосами детей и взрослых, сутолокой кухни и двора полны его волны, набегающие вместе с арбузными и дынными корками на пляжный песок, на опрокинутые сваи развалившихся дамб, заполняющая впадины для крюков. С казарменным однообразием течёт оно вдоль жёлтых обрывистых скал, над которыми загорелые пограничники в трусах (на песке зеленеют фуражки) играют в футбол. Как молдаване в своих возах, с деревенской воловией медлительностью и покорностью, движется оно со стороны степи, сонно бормочет в сырых прибрежных балках. Оно скрежещет серым металлом, осыпается чёрным блестящим углем, поднимается мукой в парусиновых мешках, сверкает перламутром рыбьей чешуей у причалов, у гаваней, в порту.

А над открытым морем люди не властны. Море у берега похоже на берег, люди в море похожи на море. Оно бежит, как во времена Тезея, единой облачной волной, волна может быть смиренной, может быть грозной, но всегда она – свобода». (Липкин С.И. Квадрига: Повесть, мемуары. М.: Аграф, 1997. С. 15–16). В поэтическом наследии Липкина довольно много стихов, посвящённых Одессе. Одно из самых интересных, на наш взгляд, «одесских» стихотворений посвящено движению от моря в город, что даёт живое ощущение «интимного» присутствия в приморском пейзаже, спроецированном на онтологический flashback автора (Липкин С.И. Воля: Стихи; поэмы. М.: ОГИ, 2003. С. 400):

**Черноморский текст как неравновесная
образно-географическая система:
«подчинённое» значение кавказско-черноморских
текстов в русской литературе**

Черноморское побережье Кавказа, в отличие от северного побережья Чёрного моря, не стало столь же важным элементом черноморского текста русской литературы¹. Это связано с

«Юность. С берега вверх
Море движется, вдруг нахлынув
На скалу, и в нём – бирюза.
Видим вынырнувших дельфинов
Проницательные глаза.

Мы поднимемся. Драгоценны
Эти улочки наверху,
Загорелые эти стены
В виноградном диком пуху.

Как поверить, что где-то рядом
Безнадёжный гул бытия,
Что уже питается ядом
Несозревшая жизнь моя.

1996»

¹ *Гаджиев А.* Кавказ в русской литературе первой половины XIX века. Баку: Язычы, 1982; *Саськова Т.В.* Образ Кавказа в русской литературе // Советская литература и Кавказ / Сост. Н.О. Осипова. Грозный: Чеч.-Инг. изд.-полигр. об-ние «Книга», 1991. С. 102–105; *Багратион-Мухранели И.Л.* Кавказ как мифопоорождающее пространство русской литературы // Филология и культура. 2011. № 2 (24). С. 137–141; *Багратион-Мухранели Л.И.* Кавказ как утопия русской классической литературы // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 9 (150). С. 83–89; *Багратион-Мухранели И.Л.* Репрезентация Грузии и Кавказа в русской литературе XIX – начала XX века: автореф. дисс.... д. филол. наук. М., 2016; *Степанова Е.А.* Кавказская фабула в русской литературе XIX–XX веков: диссертация... кандидата филологических наук. Уфа, 2004; *Журавлева О.А.* Феномен Кавказа в российской литературе и публицистике последних десятилетий. Автореферат дис. Майкоп, 2008; *Абдулаева З.А.* Отображение социокультурной реальности Кавказа в творчестве русских и западных художников XIX века // Научная мысль Кавказа. 2010. № 3 (63). С. 121–126; *Эркенова А.Х.* Концепт Кавказа в русской поэзии 20–30-х гг. XX века: дис. М.: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 2011; *Сумская М.Ю., Шульженко В.И.* Ранний Булгаков в парадигматике

вполне очевидными обстоятельствами: большая этническая и геокультурная мозаичность Кавказа, сравнительно долгое, более тяжёлое и более позднее завоевание Российской империей кавказских территорий, довольно сложные условия освоения прибрежных районов из-за горного рельефа¹. Тем не менее, в кризисную эпоху крушения Российской империи и становления Советского Союза, в начале 1920-х гг. появляется ряд текстов, репрезентирующих этот большой причерноморский регион. Среди них стоит отметить, в первую очередь, очерки (эссе) Осипа Мандельштама «Батум» и «Возвращение», а также автобиографические воспоминания о Павла Флоренского (к сожалению, не ставшие фактом литературы в момент их написания и опубликованные гораздо позже)².

«Кавказского текста» русской литературы // Михаил Булгаков, его время и мы. Коллективная монография / под редакцией Г. Пшебинды и Я. Свежего. Krakow: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, 2012. С. 255–268; *Шульженко В.* Кавказский феномен русской прозы (вторая половина XX века): Монография. Пятигорск: Изд-во ПятГФА, 2001; Кула Й. «Кавказский пленник» в традиции русской литературы // Textus. 2014. №. 14. С. 350–360; *Танкиев В. Г. Х., Танкиева Л. Х.* Кавказ и кавказцы в произведениях русских писателей и поэтов // Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева. 2015. № 1. С. 63–73; *Галиева М.А.* Лики Кавказа в русской литературе XIX – начала XX вв.: топос и топики: к постановке вопроса // Научный диалог. 2015. № 9 (45). С. 113–124; *Климина Л.В.* Семантическое пространство рассказа И.А. Бунина «Кавказ» // Перспективы развития современного развития гуманитарного знания. Сборник материалов Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции / Отв. ред. Л.В. Климина. Уфа: Башкирский государственный университет, 2017. С. 22–27; *Савченко Т.Д.* Литература путешествий о Кавказе второй половины XX века: дис. Краснодар, 2009; *Романов С.М., Брюханова Г.Д., Чучвага Л.М.* Субтропическая природа Сочи в художественном отражении российских писателей первой трети XX века // Вопросы географии. 2020. №. 151. С. 249–272.

¹ Можно сказать и иначе: горный мир Кавказа всё-таки оказался гораздо более значимым, нежели его приморский мир в формировании целостного образа Кавказа в русской культуре.

² Фрагменты неоконченных воспоминаний Павла Флоренского («Воспоминания прошлых дней») написаны в основном в 1916–1925 гг. Некоторые фрагменты были опубликованы в советских журналах в 1970–1980-х гг., первая полная публикация состоялась уже в постсоветское время, в 1992 г. В контексте нашей темы наибольший интерес представляют

Эпоха 1920–1930-х гг. породила серьёзный интерес к Кавказу у многих крупных советских писателей, которые чувствовали здесь мощное столкновение, конфликт советского идеологического импульса «обогнать время» или «ускорить время» и традиционных, очень «живописных» и «экзотичных», зачастую патриархальных устоев кавказского быта. Социальная и культурная «ломка», противоречивая этнокультурная и геокультурная пограничность совпадали и резонировали с контрастностью и одновременной «пышностью» природы субтропиков, гор, подходящих к самому побережью. Здесь стоит выделить геопэтические очерки Андрея Белого («Ветер с Кавказа»), а также его частные письма (писатель часто отдыхал на Кавказе в 1920-х гг.), и поэтические произведения начала 1930-х гг. Бориса Пастернака.

Как и в случае северного черноморского побережья, для кавказского также оказались значимы произведения Константина Паустовского – ранняя повесть «Колхида» и поздний цикл воспоминаний «Повесть о жизни». В них он, несмотря на разницу эпох, удачно передает сохраняющуюся десятилетиями и веками подвижность, изменчивость, динамичность и в то же время традиционные основы образа жизни, этнически очень мозаичной геокультуры, складывающейся на этом участке черноморского побережья. Пожалуй, самым заметным произведением, характеризующим не только конкретный описываемый локус (Абхазию), но и, действительно, геокультурную специфику чер-

собой фрагменты «II. Пристань и бульвар. Батум» и «III. Природа», а также «VII. Обвал». Флоренский очень подробно описывает свои детские впечатления от моря, природы Черноморского побережья Абхазии, где жила его семья (См.: *Флоренский П.* (священник). Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Заветование. Серия: Голоса времени. М.: Московский рабочий, 1992). В этом произведении есть много великолепных художественных образов, связывающих небольшой участок приморской Грузии с архетипическими образами моря как такового (море как тайна, нечеловеческая мощь, целостный природный организм, источник жизни в целом и т.д.), античности (образ Колхиды), тропической природы, истории. Для более детального анализа этого замечательного текста необходимо отдельное исследование.

номорско-кавказского *genius loci*, можно назвать эпос Фазиля Искандера «Сандро из Чегема», написанный в 1970-1980-х гг. (стоит, правда, отметить, что в этом романе описывается жизнь горного абхазского села в советское время; море как таковое в нём практически не присутствует, однако образ жизни небольшого черноморского региона показан очень ярко). В целом, как уже отмечалось ранее, кавказская часть черноморского текста русской литературы, оказалась всё же гораздо более «скромной», нежели «новороссийская»; кроме того, она во многом демонстрирует не ушедшую окончательно «экзотичность» самих произведений, связанную с меньшей геокультурной освоенностью этих территорий.

Постсоветский период развития черноморского текста русской литературы: наследование традиции и попытки инноваций

Распад Советского Союза, приведший к известным геополитическим изменениям, в какой-то мере способствовал временной содержательной консервации и геокультурному «застою» черноморского текста русской литературы – как вследствие очевидного выпадения из единого имперского культурного ритма украинского черноморского побережья (прежде всего, Крыма и Одессы), так и в силу очевидных поисков новых локальных идентичностей в контексте произошедших глобальных политических и социальных трансформаций. На наш взгляд, постсоветская эпоха развития черноморского текста русской литературы пока не породила решительных сдвигов в его структуре, определяемых, в первую очередь, появлением значимых и принципиально новых произведений¹. Наряду с этим, стоит отметить, что черноморский текст в своих традиционных и уже привычных репрезентациях – так или иначе – продолжал устойчиво воспроизводиться, как на уровне

¹ Если говорить об одесском тексте, то в его формировании в последние 30–40 лет приняли активное участие такие писатели и поэты, как Аркадий Львов, Ирина Ратушинская, Борис Херсонский, Мария Галина.

массовой культуры, так и на уровне более «элитарных» литературных образцов¹.

Распад Советского Союза наложил свой особый отпечаток на развитие русскоязычной поэзии на территории Украины и – как следствие – на трансформации поэтической проекции черноморского текста русской литературы. По всей видимости, осознав себя вне собственно российской государственной территории, эта новая диаспоральная поэзия стала менее локальной, менее региональной, менее провинциальной – становясь, с одной стороны, более автономной в своём языковом дискурсе, а, с другой – нарабатывая свою, значимую для всей русской поэзии в целом, интонацию. Если говорить об украинском Причерноморье, то в постсоветский период произошло становление двух крупных поэтов, значимых для современной русскоязычной поэзии в целом – Андрея Полякова (Крым, Симферополь) и Бориса Херсонского (Одесса, Киев; Херсонский также и украиноязычный поэт). Если Херсонский тяготел более к традиционной, мейнстримной поэтике русского стиха, отражая в то же время специфику «одесского взгляда» на мир², Поляков стремился к более авангардистским поэти-

¹ Здесь следует отметить поэтическую и творческую деятельность поэтической группы «Полуостров» (образована в 1992 году, в неё входили Игорь Сид, Андрей Поляков, Михаил Лаптев, а позднее также Николай Звягинцев и Мария Максимова). С 1993 года Игорь Сид – уже как культуртрегер – участвовал в организации и проведении Боспорских форумов современной культуры.

² Борисом Херсонским опубликовано большое эссе (в текст которого включены также и его стихи) «Одесский синдром (Материал для сборки)» (журнал «Крещатик». 2011. № 1), посвящённое его интерпретации одесского мифа и, соответственно, писателям, определившим становление этого мифа. Как и большинство исследователей, он выделяет для себя всё те же ключевые фигуры: «Священное писание Одессы можно было бы назвать Пятикнижием:

1. Отрывок из Евгения Онегина: «Я жил тогда в Одессе пыльной...»
2. «Одесские рассказы» Бабеля
3. «Белеет парус одинокий» Катаева
4. Романы Ильфа и Петрова
5. «Время больших ожиданий» Паустовского.

Священным гимнарием Одессы являются песни вроде «Ужасно шум-

ческим дискурсам, способным, тем не менее, продолжить ан-

но в доме Шнейерсона», «Ах, Одесса», «Ах какая драма Пиковая дама, ты мне жизнь испортила мою», «Есть город, который я видел во сне»... Список велик. Все эти священные гимны города собраны в маленькой книжечке «Пой, Одесса». Авторы не указываются, понятно». В то же время он указывает на другие, достаточно важные «одесские» тексты, так и не ставшие основой одесского мифа: «Критерий качества прозы или стихотворения, увы, несущественен в этой классификации. Так, остаются за кадром «Окаянные дни» Бунина, «Пятеро» Жаботинского, «Двор» Львова, – остаются вовсе не потому, что это плохая проза, наоборот! Но она не ложится в проторенное русло одесского мифа. А вот у сериала «Ликвидация» есть все шансы, несмотря на... несмотря на сериал». Отмечая тот факт, что большинство писателей-классиков одесского мифа покинули Одессу в довольно молодом возрасте, он указывает также, что такой писательский исход повторился и в 1970–1990-х годах, что не привело к новой трансформации этого мифа: «...краса и гордость «одесской литературы», поэты и писатели т.н. южно-русской (теперь, как оказалось, южно-украинской) школы уже во вполне зрелом возрасте сознательно покинули свой город, не забыв оставить нам переписку, в которой город назывался «мертвым» и «пустым». В семидесятые-девяностые годы двадцатого века история повторилась, правда, писатели, покинувшие Одессу в эти годы никогда не достигали того уровня известности, как Багрицкий, Катаев, Олеша... Хотя имена в ней – замечательные. Назову хотя бы четверых: Аркадий Львов, Юрий Михайлик, Мария Галина, Ефим Ярошевский. Но имен на самом деле – гораздо больше». Интересно также замечание Херсонского об архитектурно-планировочном «кирпичике» одесского мифа – одесском дворике, ставшем предметом описания и местом многих событий в произведениях одесских писателей: «Действие одесской литературы должно разворачиваться внутри двора или внутри коммунальной квартиры. Роман А. Львова так и называется «Двор». Пьеса, написанная тремя одесскими авторами Валерием Хаитом, Георгием Голубенко и Леонидом Сущенко, называлась «Старые дома». Действие рассказов нескольких писателей Одессы разворачивается опять-таки в типичном одесском дворике. Да и сам я мало ли написал стихов, где одесский дворик – декорация и лирический герой одновременно... Все, что вне двора, считай, вне Одессы, по крайней мере – вне одесского мифа, это уж точно». И одно из итоговых заключений Херсонского: «Творцы одесского мифа – в основном – советские писатели и поэты, покинувшие Одессу и создавшие ностальгический образ города-жемчужины, красавицы, мечты. Ключевую роль здесь сыграли И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров со своим братом В. Кагаевым. Определенные добавки сделаны Паустовским – но не Буниным, не Жаботинским, не Ратушинской. Все эти писатели, много написавшие об Одессе, не внесли вклада в миф: м. б. потому, что советская власть была им ненавистна, а создателями одесского мифа горячо любима, до сих пор не пойму – почему?».

тикизирующую линию Мандельштама и, в меньшей степени, Волошина¹.

¹ Характерно название уже первой поэтической книги Андрея Полякова «*Epistulae ex Ponte*» (1995). Практически во всех его книгах можно говорить об онтологическом и семантическом присутствии греко-римского (античного) слоя, как бы процеженного через (гео)поэтику Осипа Мандельштама и в целом русской поэзии XVIII–XIX вв. В формальном отношении отдельные стихотворения Полякова очень близки к жанру од, элегий и посланий (здесь можно заметить и влияние Иосифа Бродского). Приведём в качестве примера фрагмент «Элегии на случай» из книги «Письмо» (Поляков А.Г. Письмо. М.: Арт хаус медиа, 2013. С. 17):

В России ветрено, в Израиле темно,
но, постепенно холодея,
Прекрасно в нас влюблённое вино
провинциального морфея.

Ни денег выручить, ни жажды утолить...
Да ладно говорю, не надо!
Слепую дудочку в колене преломить
я обещал тебе, Эллада».

Несколько менее очевидны мандельштамовские аллюзии в другом стихотворении «Полгода бледными, как длинными, ногами...», из книги «Китайский десант» (Поляков А. Китайский десант. М.: Новое издательство, 2010. С. 47):

«(...)
Мне было ветрено, мне было неприятно,
я видел в воздухе мелькающие пятна,
лохмотья Хроноса, желтевшие на вид,
платочки ветхие в руках у Пиэрид.
(...)
Недаром родина какая-то вторая...
Я помню Пушкина в ночи Бахчисарая,
он трогал тросточкой летевшую листву
и звал в читатели оленя и сову».

См. также исследование, в котором стихи Полякова рассматриваются в сравнении с крымскими стихами уральской поэтессы и эссеистки Майи Никулиной: Барковская Н. В. «Околоток античного мира»: образ Крыма в стихах Майи Никулиной // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2014. № 3 (130). 2014. С. 151–161.

«Приближение к югу»: итоги эволюции черноморского текста в контексте российского геокультурного развития в начале XXI века

Если попытаться суммировать лейтмотивы и содержательные дискурсы, сформировавшиеся за примерно два с половиной столетия и структурирующие черноморский текст русской литературы, то их можно свести к следующим: 1) становление российской государственности на Чёрном море благодаря крупным военным победам конца XVIII века и дальнейшее её отстаивание в войнах XIX–XX столетий; 2) связанная с этим выходом к Чёрному морю идея причастности к европейской античности и к первичным основам христианства и европейской культуры (включая базовые ассоциации моря и свободы); 3) освоение южного приморского мира (отдельно также и горного), не обычного для мейнстримной русской геокультуры, и соответствующие переживания этого необычного мира как «экзотического»; 4) накопление и осмысление традиций южного черноморского отдыха, становящегося к второй половине XX века одним из главных эталонов массового канонического образа жизни. Отдельно, как более локальный, можно выделить довольно динамичный дискурс южного приморского города, связанный фактически со всеми указанными ранее дискурсами и ассоциирующийся, прежде всего, с Одессой. Южно-городской причерноморский дискурс можно назвать как, по сути, синтетическим, объединяющим, так и перерабатывающим, трансформирующим предыдущие дискурсы и, по-своему, их интерпретирующим. Характерно также, что к концу XX века тема отдыха на море и «потребления» южной причерноморской природы становится, по сути, ведущим фоном для практически любого содержательного дискурса.

В контексте общего развития всех локальных текстов русской литературы можно отметить постепенное нарастание значимости черноморского текста (иногда ассоциируемого с южным текстом), чья постепенная «кристаллизация» начинается с конца XIX века – наряду также с северным и уральским текстами. Несмотря на интенсивное экономическое освоение

природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока в советский период, поддерживавшееся соответствующими идеологическими дискурсами, российская геокультура в целом продолжала свой длительный южный (и, частично, юго-восточный) дрейф, наметившийся после разгрома последних кочевых и полукочевых «барьеров» в причерноморских и северокавказских степях в XVII–XVIII веках, завоевания Кавказа и Средней Азии в XIX веке. В соответствии с этим, к концу XX века черноморский текст (а более широко и южный текст) становится одним из ведущих для множественной системы локальных текстов русской литературы, уступая, возможно, только «столичным» – петербургскому и московскому – текстам.

Если же рассматривать динамику онтологического воображения Чёрного моря и его побережий в геокультурном контексте и, соответственно, ключевые интенциональности, проявляющиеся в черноморском сверхтексте или гипертексте, то можно говорить, в первую очередь, о «южности», «античности» и в то же время «провинциальности». Именно благодаря черноморскому геокультурному гипертексту русская культура обретает онтологическое воображение «южности», «античности» и «морскости» (образ Чёрного моря становится, по сути, эталонным образом моря как такового – несмотря на то, что огромная территория России омывается множеством различных морей). Вместе с тем, доминирующие образы жизни и отдыха на черноморском побережье оказываются исходными для формирования мета-образа «моря-как-провинции»: Чёрное море в русской культуре, несмотря на богатую историю его достижения и завоевания его побережий, оказывается в промежуточном итоге, не символом стремления «к новым далям и горизонтам», к «заморскому» идеалу свободы, или же господствующим символом героических военных оборон российских черноморских форпостов (здесь можно вспомнить не только две обороны Севастополя и оборону Одессы во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но и оборону донскими казаками крепости Азов от турок в XVII веке), но, скорее, топосом комфортной и беспечальной южной жизни, южного, хотя и провинциального, почти мещанского, процветания. Весьма характерно, что

российская геокультурная карта черноморского воображения сдвинута к Северному Черноморью и его степям («море-и-степь»), тогда как Восточное Черноморье и его горное кавказское побережье по сравнению с ним оказываются несколько в тени: причерноморские степи являются одним из наиболее репрезентативных образов такой карты. Этот геокультурный сдвиг дополняется также «на микроуровне» топографической концентрацией самих геокультурных образов в двух очевидных ядрах или центрах – крымском и одесском. Оба эти образные геокультурные ядра, опираясь на одни и те же, хорошо «проработанные» онтологии «южности» (а первоначально, в случае Крыма, и «восточности», «ориентальности») и «античности», взаимно дополняют друг друга за счёт разной геокультурной «специализации»: если Крым, более разнообразный в природном и историко-культурном отношении, «производит» более пасторальные, рассредоточенные, минимально урбанизированные и рекреационные геокультурные образы, то Одесса и её хинтерланд – источник, по преимуществу, более «плотных» южно-городских образов, не лишенных, тем не менее, соответствующей природной и историко-культурной ауры. Наряду с этим, благодаря формированию черноморского геокультурного гипертекста и картографии черноморского воображения, русская культура становится по-настоящему *сопространственной* античному (и христианскому) миру Большого Средиземноморья, а, по существу, и Большому европейскому миру – в той мере, в какой античность и христианство до сих пор являются его онтологическими фундаментами. Таким образом, черноморское воображение русской культуры в его ключевых текстуальных репрезентациях можно назвать двойственным, амбивалентным: оно как бы одомашнило, сделало своими, почти провинциальными, образы юга и моря (их онтологическая интровертация), и в то же время онтологически освоило «для-себя», а по сути, и «для-других» образы античности, христианства, Большого Средиземноморья и Большой Европы, представив себя также «античной» и «европейской» (можно назвать это процессом онтологической экстравертации).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь в связи с недвойственной изначальной мудростью, что является недвойственным? Дхармадхату и самовозникающая изначальная мудрость недвойственно соединены в одно, а также они имеют одинаковый вкус. Это – один вкус окончательного нераздельного союза пустотности-сострадания, метода-мудрости и блаженства-пустотности, тождества знающего и знания в окончательном способе пребывания, а также тождество вкуса нераздельности пространства и основания.

Долтопа Шераб Гьялцен.

Горная дхарма: океан определённого смысла.

Особое и окончательное сущностное наставление.

Часть II: Путь.

Недвойственная двойственность – пожалуй, именно такой диалектический оксюморон более всего подходит к тому, что можно назвать «Россия-Северная Евразия». И здесь я довольно далёк от классического взгляда евразийцев 1920–1930-х гг., претендовавших – так или иначе – на всеобъемлющую полноту образа России, расширяющегося до образа Евразии в целом. Главное здесь для меня отнюдь не в том, что неоднократно критиковалось в евразийских концепциях русских ученых и публицистов, учитывая многообразие мощных историко-цивилизационных очагов на материке. Естественно, Евразия обладает бесконечным множеством метагеографий – индивидуальных и коллективных, локальных и трансрегиональных, государственных и вполне себе частных. Если же говорить о геокультурном подходе, «цементирующем» эти разнородные, противоречащие зачастую друг другу метакартографии или же образно-географические картографии, то он – благодаря сопространственности – позволяет говорить о геокультурных ассамбляжах, выстраивающих конфигурации, обобщающие контуры определённых исторических эпох и географических пространств.

Именно сопространственность даёт истинную возможность понять, как формируются ключевые, наиболее важные,

масштабные геокультурные ассамбляжи. Различные геокультурные пространства рождаются, развиваются, взаимодействуют в силу имманентного свойства к проникновению в Другое и – одновременно и полипространственно – свойства к растворению и трансформации Другого в себе; в итоге, создания другого себя – уникальными ландшафтами, геокультурными образами и метагеографиями. Так живут, выживают, а иногда и переживают себя большинство геокультур, даже если их транспарентность или же притягательность под вопросом. Всякое пространство, по сути, соппространственно самому себе, порождая континуум дискретных *со-бытий*.

Северная Евразия – это пространство соппространственных геосторических и геокультурных *со-бытий*, в которых участвовала, воссоздавалась, трансформировалась, воображалась Россия. В то же время и во многих пространствах Россия оказалась одним из ключевых акторов воображения Северной Евразии – художественного, литературного, музыкального, политического, экономического. Топонимы, этнонимы, исторические названия государств, стран, региональных сообществ несут в себе локальную, ландшафтную генетическую память. Россия стала Россией ещё и уже в пределах Восточной Европы. Её расширение за Урал, в Сибирь, к Тихому океану, в сторону Центральной Азии – рано или поздно, по историческим меркам – должно привести к пониманию мощного геокультурного сдвига, принципиально меняющего, хотя и с помощью незаметных последовательных когнитивных и образных приращений, пространственные идентичности и структуры самоосознавания пространства – уже вне собственно европейской прародины, но и благодаря ей.

Каждая геокультура может иметь свою уникальную, специфическую соппространственность (сопространственности), означающую её ориентиры или приоритеты. Несмотря на то, что масштабные геокультуры, безусловно, могут меняться, трансформировать, переживать онтологические метаморфозы, они формируют или устойчиво репрезентируют на длительных исторических отрезках, в пределах исторических эпох имма-

нентные им тренды сопространственности. В отношении российской планетарной геокультуры (не забывая, однако, что в её рамках развивается множество локальных геокультур) можно уверенно сказать: по крайней мере с XVII века, несмотря на все исторические и политические «зигзаги» и преимущественное участие в европейских или же евроцентристских политических ситуациях, она достаточно медленно и последовательно сдвигается к юго-востоку, в сторону Центральной и Восточной Евразий.

То, что я называю в этой книге восточноазиатской метагеографической осью, на которой располагаются прежде всего крупнейшие планетарные геокультуры (скорее, геокультурные ассамбляжи планетарного значения) – Китай и Россия – можно назвать, в потенциальном аспекте, *восточно-евразийским геокультурным союзом или мета-ассамбляжем*. Конечно, историко-цивилизационное развитие этих геокультур было совершенно различным (пожалуй, их можно назвать очень далёкими друг от друга в содержательном отношении) – тем не менее, планетарности этих масштабных геокультур являются, очевидно, взаимно дополнительными, существенно влияющими на комплексное геокультурное развитие нашей планеты. Хорошо заметные, огромные различия и расхождения оказываются здесь почти необходимым условием полноценной взаимной сопространственности, её эмерджентного планетарного эффекта.

Всякие сопространственные планетарные геокультуры обладают своего рода геокультурными резонансами. Как правило, существуют, переходные геокультурные зоны, или же геокультурные «мембраны», благодаря которым реализуются планетарные *сопространственные со-бытия*. Для Евразии подобной геокультурной мембраной можно назвать Центральную Евразию – причём эта мембрана оказывается не только евразийской, но и планетарной в целом, затрагивая геокультурные смыслы и интересы других континентов¹. Значимость

¹ Ср. рассказ Борхеса «Приближение к Альмутасиму» (1936).

Центральной Евразии определяется не только тем, что глобальная евразийская история во многом завязана на долговременные сети транспортных и коммуникационных путей, пролегающих в середине материка. Обмен смыслами и ценностями, идеями и символами, интенсивно происходивший между западными, восточными и южными частями Евразии в течение тысячелетий был обязан, по сути, уникальной сопостранственной транспарентности Центральной Евразии, осуществившей свою геокультурную миссию трансграничного меж-цивилизационного посредника. Планетарный евразийский трансфер, шедший к югу от территорий современной России, или же в её южных районах, сыграл свою важную роль в становлении российских пространственных идентичностей как северо-евразийских.

Северо-евразийский геокультурный тренд России можно проследить лучше всего через её литературу, преимущественно XIX–XXI века, хотя и произведения более ранних исторических эпох могут дать эпизодические сведения о подобном, пока ещё полускрытом ориентире. Эпоха конца XIX – начала XX века стала, действительно, геокультурным «взрывом» для России и одновременно точкой отсчёта для постепенного концентрирования, выявления и чёткого оконтуривания образно-географической картографии Северной Евразии. Естественно, в осознании такой исторической, историософской или же геософской перспективы участвовали не только литераторы, но и художники, музыканты, артисты, культуртрегеры, учёные, философы, публицисты, политики. По сути дела, даже триумф «Русских балетов» в Париже означал один из первых российско-евразийских геокультурных «прорывов», осмысление которого происходило несколько позже. Так или иначе, чем более русская литература и русская культура в целом получали признание в Европе, на Западе и в мире в целом, тем более становилось ясным, что Россия начала своё видимое необратимое становление в качестве автономной масштабной геокультуры, сохраняющей, развивающей и преобразующей свои антично-христианско-европейские корни и – тем самым –

постепенно отдаляющейся от материнского средиземноморского цивилизационного круга в сторону евразийского востока и юга.

Планетарные геокультурные смыслы Северной Евразии заключаются в непрерывном поиске масштабных открытых пространственных коммуникаций или же коммуникативных пространств. Такой поиск также связан с формулировкой проблемы новых транс-государственных форм, уходящих от любых, даже самых отдалённых воспроизведений каких-либо традиционных имперских матриц. Северная Евразия может быть планетарной сопространственностью разнообразных государственных образований и территориальных сообществ, формирующих множество локальных, ситуативных геокультурных ассамбляжей. Возможная роль России в создании и продвижении планетарной геокультуры Северной Евразии состоит в активном развитии, воображении новых сопространственностей, отвечающих на региональные геокультурные вызовы и соответствующих локальным геокультурным ситуациям – прежде всего в самой Северной Евразии, но также и в Центральной и Восточной Евразиях.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

ОТ СКИФИИ К РИФЕЙСКИМ ГОРАМ: ОБРАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Рецензия на книгу:

А. В. Подосинов. Восточная Европа в римской картографической традиции. Тексты, перевод, комментарий. М.: Индрик, 2002. 488 с. (Древнейшие источники по истории Восточной Европы).

География в позднюю античную эпоху представляла собой своеобразный когнитивный конгломерат, состоявший из фрагментов древнейшей мифографии, научных изысканий греческих географов, популярных описаний древнеримских ученых и философов, библейской географии. Для современного ученого ситуация осложняется также совершенно иной ролью географической карты в древнем мире: карта не была еще самостоятельным научным продуктом, но, скорее, популярной иллюстрацией к различным географическим образам мира. Тем не менее, изучение сохранившихся текстов и карт, имеющих отношение к региону Восточной Европы, показывает постепенное картографическое становление образов этой территории, многие из которых перекочевали на средневековые карты, а впоследствии оказали влияние, в той или иной форме, и на современные географические представления. Римская «хорография» (т. е. описание различных местностей и стран) представляла собой причудливое сочетание, смесь страноведческих и этнографических сведений (Подосинов, с. 32); какого-либо концептуального взгляда на мир она, конечно, не формировала. Однако, описание карты мира Марка Випсания Агриппы, политического деятеля и географа эпохи Октавиана Августа, включает в себя географическое обоснование: карта как таковая формируется очертаниями морей, рек и гор (с. 43). Авторы географических текстов этой эпохи не смущало смешение географической номенклатуры ранней античности и времен Великого переселения народов – как, например, в «Космографии» Анонима из Равенны (с. 33). Кроме того, они вынуждены картографически идентифицировать и библейскую номенклатуру: скажем, в «Космографии» Юлия

Гонория (IV–V вв.) это география четырех библейских рек, вытекающих из рая (с. 145–146). Части света в библейской традиции воспринимались прежде всего как наследие трех сыновей Ноя – такая точка зрения вполне естественна уже для Анонима из Равенны (с. 219). Карта, или ее описание в этой когнитивной ситуации выступала как идеологический суррогат школьной риторики, политических и культурных стереотипов и философской и теологической метафизики. 470 Приложения Римская картографическая традиция в отношении Восточной Европы обнаруживает поразительную историческую устойчивость. Практически один картографический образец (по всей видимости, это была карта мира Агриппы конца I в. до н. э.) (с. 40) транслировался, через посредников, с большими или меньшими искажениями и исправлениями, в течение нескольких веков, вплоть до XII – начала XIII вв. Собственно картографических изображений, восходящих к эпохе Древнего Рима, сохранилось очень мало (это фактически карта из Дура Европос и Певтингерова карта) – при этом сами они имеют квазигеографическую форму (с. 84), далекую даже от научных теорий греческих географов. Форма итинерариев и периплов наиболее естественна для таких карт, отсюда и невероятные даже по тем временам искажения географических контуров и смещения географических объектов по отношению друг к другу. Путь здесь – это условная прямая линия, поэтому ландшафт и путевые пункты (города) на Певтингеровой карте совершенно не согласованы между собой (с. 361). Таким же образом стоянки кораблей на Черном море соединены на карте из Дура Европос прямой линией, не имеющей никакого отношения к действительным очертаниям черноморской береговой линии (с. 82). Практические нужды и потребности в реальной земной топологии (связи пунктов и расстояния между ними) подавляли необходимость более или менее правдоподобного воспроизведения контуров природных географических объектов. Структуры картографических описаний мира зависели, в первую очередь, от классических образцов, но также и от местоположения самого автора описания.

Наиболее принятым и наиболее часто встречавшимся порядком описания был порядок описания стран с запада, от Гибралтара (с. 63). Но, например, Аноним из Равенны нарушает этот порядок, ставя Равенну в центр описания и характеризуя страны от дальних к ближним по отношению к этому городу (с. 164). В «Космографии» Псевдо-Этика (V или VI в.) также нарушен классический принцип описания, и Италия рассматривается как центр в описании Европы (с. 154). Нетрудно, конечно, сделать вывод о влиянии политико-географической ситуации на порядок и структуру картографического описания – значение Италии для Римской империи очевидно; таково же, в общем,

значение Равенны как столицы вестготского государства в Северной Италии (именно в эту эпоху работал Равеннский Аноним). Однако можно усмотреть здесь и появление новой картографической традиции, в рамках которой возможно согласование, координирование различных способов описания и представления мира. Появлению этой традиции способствовало, безусловно, совершенно различное количество и качество географической информации об описываемых странах и частях света. С одной стороны, можно было выбирать страны, маркировавшие самые дальние страны ойкумены (Индия, Шотландия, Мавритания и Скифия) – как это сделал Равеннат (с. 205). Этой же маркировке пределов ойкумены на востоке и севере служили т. н. алтари Александра Македонского, якобы установленные им в местах наибольшего продвижения его армии, на Певтингеровой карте (с. 376). С другой стороны, надписи на окраинах карт, как правило, фиксировали скудность и недостоверность информации о самых дальних странах и регионах (с. 144). Наконец, эти различия подчеркивались также проведением границ частей света по природным или этнографическим ориентирам. На той же Певтингеровой карте хорошо известны южные границы Европы описывались по природным объектам, тогда как малоизвестные северные границы (побережье Северного океана) маркировались порядком проживавших там народов (сведения о которых также были весьма скудны и противоречивы) (с. 281). Иначе говоря, картографическое описание учитывает характер используемой информации, формируя в качестве ответа соответствующие знаково-символические формы отображения и преобразования этой информации. Даже в ситуации подчиненного и иллюстративного значения географической карты в древнеримской картографической традиции можно говорить об известной автономности карты с образно-географической точки зрения, как оригинального способа репрезентации и интерпретации окружающего мира. Ведущий образ Восточной Европы в рамках римской картографической традиции, конечно же – Скифия. Этот образ был унаследован еще из древнегреческой географической традиции. Хотя еще на карте мира Агриппы Скифия была вытеснена Сарматией, (что отражало современную ему политико-географическую ситуацию) (с. 57–58), большинство последующих географических описаний продолжало тиражировать скифские образы. Скифия выступала как собирательный топоним, фиксировавший местоположение различных варварских племен Северного Причерноморья, часто сменявших друг друга (с. 105). Параллельно с этим процессом происходит размножение и расширение образа Скифии; Скифий становится несколько – например, у Равенната их как минимум 2–3 (с. 215). Происходит экспансия

этого образа на северо-восток и восток Европы и далее в Азию. По сути дела, образ Скифии становится глобальным географическим (картографическим) образом, содержательно маркирующим всякие отдаленные, малоизвестные, чаще холодные и пустынные земли к востоку и северу от Средиземноморья, населенные, как правило, дикими кочевыми племенами. В подобной содержательной интерпретации он перекочевал на средневековые карты и карты Нового времени, а к концу Нового времени, исчезнув с географических карт, образ Скифии стал на долгое время синонимом образа России. Как сателлитный, подчиненный этому образу, можно рассматривать образ Рифейских (Рипейских) гор, обязательно присутствовавший в большинстве описаний на северо-востоке Европы; к данному образу было привязано, чаще всего, название племени гипербореев (с. 141). В целом, образ Скифии, удерживавшийся на географических картах и в описаниях более двух тысяч лет, есть важное свидетельство инерционности образно-географической репрезентации мира; для такой репрезентации всегда, как правило, характерно сочетание, с одной стороны, «долгоживущих» и архаичных образов, а, с другой – сиюминутных, оперативных и быстро сменяющихся образов. Развитие картографического описания как образно-географической модели предполагает смешение, контаминацию и дрейф различных образов. Наиболее яркое свидетельство подобных процессов в римской картографической традиции – это перемещение города Трапезунда вместе с сопутствующей ему местной топонимикой из Южного в Северное Причерноморье.

Наиболее четко этот образный казус прослеживается на карте из Дура Европос (с. 92, 95–98). Объяснение, по А. В. Подосинову, следующее: данный казус восходит к карте мира Агриппы, во время составления которой Боспор (Северное Причерноморье) был политически объединен с Понтом (Южное Причерноморье) в единое государство – как раз при политическом участии самого Агриппы (с. 95–98). Такое политическое объединение способствовало картографической контаминации двух разных причерноморских районов, обнаруживающейся и на Певтингеровой карте (с. 347). Смещение на север претерпели и менее значимые географические объекты – на Певтингеровой карте это, например, Потамия, оказавшаяся в Восточном Причерноморье – по Страбону, это область в Пафлагонии на границе с Вифинией (Малая Азия) (с. 365). Иначе говоря, реальные политико-географические процессы прямо связаны с развитием последующих картографических дискурсов; верно и обратное – целенаправленный картографический (образно-географический) дискурс может воздействовать на ход и развитие политической обстановки и международных отношений в определенном регионе. Подведем итоги. Римская

картографическая традиция, будучи вполне прагматической и ориентированной более на средиземноморское пространство, в основном транслировала базовые образы Восточной Европы, разработанные еще греческими географами. Эта трансляция сопровождалась размещением новых топонимов и этнонимов, не менявшим кардинально образную структуру региона. Учитывая, что Восточная Европа – это, скорее, «изобретение» XVIII века – можно говорить о Скифии как приблизительном образном эквиваленте Восточной Европы в данной традиции. Образ Понта, Черного моря с сопровождавшими его топо- и этнонимическими пластами был, по всей видимости, медиативным образом, смягчавшим когнитивный переход от обустроенного мира Средиземноморья к малоизведанному и опасному миру восточных и северных пределов ойкумены. Отсюда и важный методологический вывод: в политическом и культурном отношении имперские структуры нуждаются, как правило, в когнитивном обосновании своей экспансии, требующей, в свою очередь, построения непротиворечивой образной модели мира – мира, география и картография которого предполагают совмещение разновременных и иногда пространственно очень далеких друг от друга образов.

Приложение 2.

ИМПЕРИЯ ПУСТОТЫ: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ПЕРИФЕРИИ

Рецензия на книгу:

Edith W. Clowes. Russia on the Edge: Imagined Geographies and Post-Soviet Identity. Ithaca and London: Cornell University Press, 2011. XVIII + 179 p.

В нашей атмосфере имеется такая точка, которая
всякий центр зашибет.

Даниил Хармс. История Сдыгр Анпр, 1929

но слышу
что кычет на красной латыни
крысиной музыке
подверженный люд
подмётки направив к иной палестине,
где каждый себе и генсек, и верблюд
(славянский базар заплутавших в пустыне):

Андрей Поляков. Китайский десант, 2010

Научная монография Эдит В. Ключ, профессора славянских языков и литератур и директора Центра российских, восточно-европейских и евразийских исследований Университета Канзаса (США) – «Россия на краю: Воображаемые географии и постсоветская идентичность» – привлекает уже своим ярким названием¹. Без всякого сомнения, по своей содержательной тематике эта книга должна оказаться в центре внимания всех исследователей, занимающихся как проблематикой национальных и территориальных идентичностей вообще, так и ключевыми сюжетами и нарративами, связанными с культурным и социополитическим развитием постсоветского пространства. Несмотря на то, что книга написана филологом, она будет интересна учёным различных гуманитарных специальностей – культурологам и социальным антропологам, гуманитарным и культур-

¹ Перу Эдит Ключ принадлежат также следующие книги: *Fiction's Overcoat: Russian Literary Culture and the Question of Philosophy*, *Doctor Zhivago: A Critical Companion*, *The Revolution of Moral Consciousness: Nietzsche and Russian Literature*, and *Russian Experimental Fiction: Resisting Ideology after Utopia*.

ным географам, историкам, социологам, психологам, политологам. Немаловажное значение имеет тот факт, что предметом детального рассмотрения Клюс стали современные российские авторы и их тексты, ставшие своего рода символическими ценностями постсоветского публичного дискурса: среди них Дмитрий Александрович Пригов и его московские стихи, Александр Дугин и целая серия его «евразийских» произведений, Виктор Пелевин и роман «Чапаев и пустота», Людмила Улицкая и её семейные саги. Книга заслужила высокую оценку таких известных исследователей российского и постсоветского пространства, как Марлен Ларюэль (Университет Джона Хопкинса, США), Марк Бассин (Университет Södertörn, Швеция), Джон Б. Данлор (Гуверовский институт, США).

Трудно оспаривать актуальность данного исследования – скорее наоборот – хотелось бы подчеркнуть, что оно «сверхактуально», поскольку основные политические и социокультурные динамические тренды и постсоветского пространства, и собственно России ставят немало вопросов перед учеными, занимающимися анализом идентичностей и воображаемыми географиями – при этом, заметим, книг с подобной комплексной направленностью аналитического дискурса пока очень мало на современном российском «рынке гуманитарных идей». Возможно, благодаря столь необходимой, «как воздух», тематике, скрадывается некоторая неточность самого названия монографии – в подзаголовке указывается «постсоветская идентичность», и хотя главный заголовок чётко указывает географический объект изучения, Россию, мы должны отметить, что в тексте книги не упоминаются и не исследуются нероссийские постсоветские авторы и их ключевые тексты¹. Таким образом, может сложиться ощущение, что процессы формирования постсоветских идентичностей имеют отношение лишь к России, что, очевидно для всех, совершенно не так. Наконец, единственное число, применяемое в подзаголовке к «постсоветской идентичности», в отличие от множественных «воображаемых географий», несколько смущает, ибо далее, по тексту книги, становится ясно, что постсоветских идентичностей, как минимум, несколько –

¹ Так, крайне важным в компаративистском смысле было бы включение в анализ, например, романа современного украинского писателя Юрия Андруховича «Московиада» (пер. с украинского А. Бражкиной; М.: НЛО, 2001), который практически полностью основан на критике воображаемой имперской географии, олицетворяемой Москвой; см. также: *Зямтин Д.* Метагеография: Пространство образов и образы пространства. М.: Аграф, 2004. С. 217–220; *Дайс К.* Украинский Орфей спускается в ад // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 2. М.: Институт наследия, 2005.

они становятся, формируются в тесных идеологических переплетениях, конфликтах, конфронтациях и симбиозах.

Книга состоит из обширного методологического введения, шести глав и сравнительно компактного заключения, подводящего основные итоги исследования. В силу исключительной важности проблематики для русскоязычного читателя мы, рискуя впасть в излишнюю описательность, всё же приведём по порядку названия введения и глав:

Введение: Россия – центр или периферия?

1. Деконструируя имперскую Москву

2. Постмодернистская империя встречается со Святой Русью: Как Александр Дугин попытался превратить евразийскую периферию в сакральный центр мира

3. Иллюзорная империя: Пародия Виктора Пелевина на неоевразийство

4. Российский деконструирующий западник: «Большое пространство Европы» Михаила Рыклина противостоит Святой Руси

5. Периферия и её нарративы: Воображаемый Юг Людмилы Улицкой

6. Демонизирование постсоветского Другого: чеченцы и исламский Юг

Заключение

В книге есть также небольшое предисловие, дающее представление о содержании книги и включающее благодарности; карта (вернее, картосхема) Северной Евразии, на которой отмечены практически все реальные географические объекты постсоветского пространства, упоминаемые в анализируемых Ключ текстах; подробный индекс (указатель) понятий, имен и географических названий. Возможно, это мелочи, однако задача внимательного восприятия и чтения книги благодаря подобному оформлению существенно облегчается.

Уже само содержание монографии говорит нам о базовых концептах, обсуждаемых применительно к современной России и постсоветскому пространству. Нельзя сказать, что они необычны – скорее, традиционны для западного гуманитария, предпринимающего серьёзное научное исследование российской действительности: это, конечно, империя, евразийство и неоевразийство, центр и периферия в двойном аспекте отношений Запада и России, Москвы и имперских окраин; русский традиционализм (Святая Русь, православная церковь) и русское западничество в его современной версии. Наряду с этим, поражает точность подбора Эдит Ключ ключевых авторов и их произведений, фиксирующих глубинные черты российских / по-

тсоветских дискурсов. Кроме упомянутых в названиях глав, в монографии анализируются, как уже говорилось, произведения Дмитрия Александровича Пригова (их анализ – большая часть текста главы 1), а также Владимира Войновича, Татьяны Толстой, Владимира Сорокина, Владимира Маканина, фильмы Алексея Балабанова «Война», Сергея Бодрова-младшего «Кавказский пленный» и Сергея Бодрова-старшего «Монгол» (к сожалению, как в тексте книги, так и в индексе оба – сын и отец – не различаются; остаётся неясным, различаются ли они самим исследователем). Так или иначе, повторим: аналитической «сети» Клоус удалось захватить, по видимому, наиболее важные художественные и публицистические произведения, выражающие проблематику постсоветских идентичностей в рамках публичного дискурса, в их российском изводе 1990-2000-х гг.

Обратимся теперь к непосредственному анализу содержания книги. Здесь мы поступим следующим образом: постараемся внимательно проанализировать методологическое введение – с тем, чтобы проследить далее, как реализуются методологические положения автора по ходу книги.

Сразу скажем, что текст введения не вызывает у нас ни малейших возражений. В содержательном плане его можно разделить на три взаимосвязанных дискурса: дискурс актуализации географического воображения русской национальной идентичности, дискурс взаимоотношений центра и периферии в контексте постмодернизма, ориентализма и постколониализма, и имперско-евразийский дискурс, присущий в той или иной степени российскому историсофскому и геософскому мышлению. Существенно заметить, что два первых дискурса органично объединены Клоус: она убедительно показывает причины географизации воображения национальной идентичности, увязывая их с возрастанием роли пространственного воображения в рамках постмодернистских и постколониалистских штудий и указывая также на принципиальный пересмотр концептуальных взаимодействий центра и периферии. В своём исследовании автор подчёркивает возрастающую креативную роль периферии, опираясь на известную работу Хоми Бхабхи “The Location of Culture” (эта работа и далее по ходу книги остаётся одной из наиболее цитируемых, если исключить цитирование собственно исследуемых ею произведений). Важно, что в аналитический обзор отношений центр – периферия американская славистка включает тексты Мераба Мамардашвили и Юрия Лотмана (р. 7-9), причём ей удаётся показать созвучность идей этих позднесоветских мыслителей идеям их западных коллег¹.

¹ В методологических основаниях исследования Э. Клоус мы находим ссылки на фундаментальные работы таких ключевых авторов, как Э. Саид,

Несмотря на то, что часть введения (р. 9-15) отдана на сравнительно упрощённое описание развития русской идентичности в контексте цивилизационной истории и географии России (акцент на формирование огромной империи с преувеличенной ролью центра, с повышенной рефлексией пространственно-цивилизационных образов Европы и Азии, проявившейся, в том числе, в возникновении евразийского движения) интересное, скорее, англоязычному читателю, в конце мы находим ряд интересных соображений об эволюции российской идентичности после распада Советского Союза вплоть до эпохи формирования политического режима Путина – Медведева (р. 16-18). Ключ совершенно верно фиксирует страх и фрустрацию различных российских социокультурных групп, связанные с утратой имперского могущества и реальной возможностью превратиться из «Третьего Рима» в «Третий мир». Вместе с тем она обращает внимание на сужение возможностей формирования плодотворных отношений между центром и периферией и возрождение роли гипертрофированного центра фактически в отсутствии сколько-нибудь когнитивно эффективной периферии в путинской России (р. 17).

Резюмируя содержательные положения, высказанные автором во введении и развиваемые далее, отметим: долговременное политическое и культурное развитие России и затем СССР как империи привело к заметной и практически не обратимой гипертрофии центра по отношению к остальным регионам; в то же время, захватив окраинные регионы других, более развитых цивилизаций, этот центр сам оказался очевидной культурной и идеологической периферией по отношению к собственным имперским окраинам; наконец, российское имперское пространство существует как постоянная периферия западной цивилизации. Российская идентичность, таким образом, является амбивалентным ментальным продуктом имперски-централистского «взгляда» и, наряду с этим, периодического осознания собственной периферийной ущербности по отношению к Западу. Спецификой формирования российской идентичности является повышенное внимание к её образно-географическим репрезентациям.

На наш взгляд, тем не менее, во введении есть несколько «прорех», разных уровней значимости. Первая из них, наиболее очевидная, с точки зрения «внутреннего наблюдателя»: тотальная политизация понятия идентичности, связанная, по-видимому, с сохраняющимся до сих пор демократическим «мессианизмом» (западные демократи-

Б. Андерсон, Ф. Лиотар, М. Фуко, Л. Хатчеон, Х. Рам, Л. Вульф. В то же время мы не находим ссылок на столь важных авторов в контексте изучаемой темы, как, например, А. Лефевр и Э. Амин.

ческие ценности должны быть всеобщими, они прямо связаны с идентичностями, идентичности в своей основе, ядре рассматриваются как политические – только затем можно говорить о культурных идентичностях). Отсюда мы наблюдаем прямое и даже прямолинейное увязывание особенностей политического развития постсоветской России с эволюцией постсоветской идентичности (причём путинская Россия в версии Ключ четко идёт к восстановлению полицейского государства и националистического неоимпериалистического курса, характерного для СССР), автономия культурных идентичностей не предполагается. Вторая «прореха» не столь очевидна: автор всё же сильно упрощает теорию «центр – периферия», не вводя в свой дискурс понятия полупериферии в отношении России. Напомним, что это было сделано еще «пионерами» данной концепции Ф. Броделем (более в экономической, нежели в политической и культурной плоскости) и И. Валлерстайном (более в политической сфере, но также и в культурной – именно он впервые ввёл понятие геокультуры)¹. Третьей «прорехой» можно считать фактическое отсутствие в историографической и методолого-теоретической базе исследования хорошо известных работ культурно-географического и гуманитарно-географического происхождения². Возможно, поэтому в дальнейшем по ходу книги вообразаемые географии, выявляемые автором, оказываются иногда довольно схематичными. Наконец, в качестве последней «прорехи» в историографической части книги можно назвать отсутствие ссылок и упоминаний на ключевые российские исследования последнего вре-

¹ Ср. иное понимание понятия и образа геокультуры: *Замятин Д.Н.* Геокультура: образ и его интерпретации // Социологический журнал. 2002. № 2. С. 5–13.

² См., например: *The Interpretation of Ordinary Landscapes. Geographical Essays* / Ed. By D.W. Meinig. New York, Oxford: Oxford University Press, 1979; *Humanistic geography and literature: Essays on the experience of place* / Ed. by D.C.D. Pocock. London: Croom Helm; Totowa (N.J.): Barnes & Noble, 1981; *Soja E.W.* Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social theory. London: Verso, 1990; *Geography and National Identity* / Hooson D. (Ed.). Oxford, Cambridge (Mass.): Blackwell, 1994; *Schama S.* Landscape and Memory. New York: Vintage Books, 1996; *O Tuathail G.* Critical Geopolitics. The Politics of Writing Global Space. London: Routledge, 1996; *Imperial Cities: Landscape, Display and Identity* / Ed. by F. Driver and D. Gilbert. Manchester: Manchester University Press, 1999; *Studying Cultural Landscapes* / Ed. by I. Robertson and P. Richards. New York: Oxford University Press, 2003 и др. Остаётся сожалеть также, что автор книги практически не использует понятия «географический образ», хотя исследует «вообразаемые географии» (мы нашли в книге только одно упоминание этого термина – на с. 2).

мени, посвященные тематике как собственно российских идентичностей, так и их интерпретаций в контексте географического воображения¹.

Посмотрим теперь, как реализуется методологический подход автора в анализе исследованных ею произведений и текстов. На наш взгляд, Ключ вполне успешно следует своим методологическим установкам на протяжении всей книги. Другое дело, что сам материал, взятый для непосредственного анализа, оказывается различным с точки зрения эффективности применяемого подхода. Кроме того, следует учесть, что тексты, взятые исследователем, оказываются довольно разноплановыми, принадлежащими к разным жанрам и в качественном отношении «пёстрыми».

Наиболее удачны с нашей точки зрения главы 2 и 3, посвященные соответственно опусам Дугина и Пелевина, а также глава 5, посвященная анализу романов Улицкой. Главы 1 (анализ текстов Пригова, Войновича и Татьяны Толстой) и 3 (изучение книг Михаила Рыклина) несколько менее удачны: частично, возможно, из-за меньшего образно-символического богатства и разнообразия исследуемых текстов, частично, в случае книг Рыклина, другой жанровой природы текста – в данном случае симбиоза философской публицистики с автобиографической психоаналитической прозой. Глава 6 представляется нам наименее удачной: в ней автор анализирует сравнительно большое количество литературных текстов и фильмов, а также просто

¹ Среди них, прежде всего, исследования И.Г. Яковенко, Б.В. Дубина, С. Каспэ. Странно также, что Э. Ключ не ссылается на известную книгу географа В.Л. Каганского «Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство» (М.: НЛО, 2001), имеющую прямое отношение к её проблематике. Среди наших работ по этой тематике: Динамика геополитических образов современной России // Человек. 2002. № 6. С. 53–61; Политико-географические образы российского пространства // Политическая наука. 2003. № 3. Пространство как фактор политических трансформаций / Сб. науч. Тр. М.: ИНИОН РАН, 2003. С. 28–40; Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России: проблемы формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142; *Замятин Д.Н.* Россия и нигде: Географические образы и становление российской цивилизационной идентичности // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое / Отв. ред. И.Г. Яковенко. М.: Наука, 2007. С. 341–367 и др. Э. Клоус остался незамеченным также важные в контексте её темы хрестоматии: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: МИРОС, 1994; Хрестоматия по географии России. Образ страны: Империя пространства. Геополитика и геокультура России / Сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.

политических событий 2000-х гг., включая публицистику Анны Политковской, события вокруг известной московской художественной выставки 2003 г. «Осторожно, религия!» и несколько литературных и кинематографических российских блокбастеров 1990–2000-х гг. Здесь Ключ зачастую вынужденно переходит на описательный стиль, пытаясь «объять необъятное»; соответственно, сам анализ становится более одномерным, сбиваясь на простейшие политизированные оппозиции.

В согласии с этой предварительной оценкой попытаемся концептуально изложить основные содержательные достижения автора.

Анализируя сочинения Дугина, Ключ очень легко выделяет компоненты его воображаемой сакральной географии, поскольку в её основе лежит классическая геополитика, «приправленная» базовыми положениями традиционализма. По сути дела, именно воображаемое географическое пространство становится тем «камнем», который лежит во главе угла последующих построений Дугина (р. 55, 63). В неоевразийской дугинской постановке Россия, сиречь Северная Евразия, должна стать сакральным центром мира, противостоя либеральному Западу. Русский народ должен объединить вокруг себя большинство народов Евразии; Святая православная Русь – тот оплот, который должен сохранить традиционные ценности коллективистского сознания. Ключ уверенно вскрывает в эксцентрических моделях Дугина еввропейские идеологические корни (р. 58), показывая отсутствие собственно «восточной мысли», столь упорно им проповедуемой. Как видим, здесь чётко работает старая ось воображаемой географии России «запад – восток». «Пространственные корни» Дугина помогают ему совершать довольно неожиданные идеологические «кульбиты»: это его переход к концепции постмодернизма и акцент на виртуальные возможности Интернета (р. 60–61, 65). От себя скажем, что если бы Дугина не было, то его надо было бы «придумать» – столь привлекателен он для любого исследователя очевидной и довольно банальной структурностью своих концептуальных схем. Некоторая упрощённая политизированность анализа Ключ ведёт её к сравнительно примитивным определениям вроде «националиста Данилевского» (р. 58), а выстраивание идеологического ряда Дугин – Распутин – Солженицын (р. 64) выглядит всё же чрезмерно натянутым. Что остаётся интересным в феномене Дугина и его многочисленных сочинений – так это его невероятная идеологическая «живучесть», протеизм, способствующий очередным его метаморфозам, вплоть до последнего по времени «поворота» в академическое образование.

Возможно, известная банальность и вторичность воображаемой географии Дугина так и осталась бы только «красным плащом» для

западных политологов и славистов (не говоря об отечественных либералах), если бы не Пелевин с его «Чапаевым и пустотой». Он просто гениально уловил, поймал постмодернистский драйв, который можно развить на основе неоевразийских мифов Дугина (опять же, повторимся, что если бы Дугина не было, то его надо было бы «придумать» только в интересах пелевинского литературно-постмодернистского творчества). Ключ очень точно фиксирует этот «противоестественный союз» и блестяще разворачивает панораму пародийной воображаемой географии «Чапаева и пустоты».

Наиболее интересным в главе, посвящённой «Чапаеву и пустоте», является анализ географических образов евразийской периферии (р. 73–76, Ключ называет их периферийными пространствами). Среди них: Внутренняя Монголия, причём в двух разных проявлениях, а также река Урал. У Пелевина пространство тесно увязано с идентичностью (р. 69), и речь, по сути, идёт о психогеографических пространствах Москвы (имперского центра) и периферии. Для исследователя важно отметить, что разрыв Москвы и периферии, подавляющая центральность Москвы и фактическое отсутствие для неё периферии идёт в разрез с концептуальными утверждениями Линды Хатчеон о структурах постмодернистской прозы и Хоми Бхабхи о политических и культурных «гибридах» в постколониалистской прозе. От себя добавим, что воображаемая география «Чапаева и пустоты», безусловно, восходит к «Чевенгуру» Андрея Платонова, в котором периферия также не имеет энергетического контакта с Москвой, и существует как бы сама по себе¹.

Если бы роман Пелевина был просто «зеркалом» дугинских мифов, то он так и остался бы сиюминутной литературной пародией. Однако, как убедительно показывает Ключ, пространство, воображаемое Пелевиным, приобретает буддийские черты, не свойственные «европоцентричному» неоевразийству; Пелевин уверенно «жонглирует» пространством и сознанием устами Чапаева, приходя уже к полному, теперь вновь постмодернистскому, развенчиваю евразийского мифа (р. 76–79). Исследователь справедливо указывает на взаимосвязь изначальных постмодернистских установок Пелевина и понимания им пространства как пустоты, но не потенциально творящей, как в буддизме, но, скорее, окончательной (р. 94–95). Иногда, правда, Ключ пытается чересчур «плотно» интерпретировать текст романа, допуская явные неточности: так, в известной песне «Белая армия, чёрный

¹ См.: *Замятин Д.Н.* Империя пространства. Географические образы в романе Андрея Платонова «Чевенгур» // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 82–90.

барон...», черным бароном у неё оказывается не Врангель, а Унгерн (р. 87), а поэт Расул Гамзатов становится «центрально-азиатом» (р. 92).

Вторая содержательная удача книги – глава о романах Улицкой. Здесь начинает вырастать, наряду с темой умирающей и не нужной имперскому центру периферией, тема юга и, шире, оси север – юг, выступающей символическим соперником оси запад – восток в воображаемой географии постсоветской России. Качество прозы Улицкой способствует и богатству аналитических выводов исследователя. Выделив в текстах российской писательницы в обобщённом виде четыре способа уйти на периферию из Москвы в поисках лучшей жизни (р. 123), Клюс, в основном на материале двух романов – «Медея и её дети» (1996) и «Казус Кукоцкого» (2002), выявляет два главных образа российского Юга (Кавказ и северное побережье Черного моря, особенно Крым) – в противовес традиционалистскому Русскому Северу (р. 127). Второй Юг (Северное Причерноморье) оказывается важнейшим локусом воображаемой географии Улицкой, причём Крым как место пересечения многих цивилизаций становится для писательницы возможностью выстроить схемы жизненных коллизий, автономных по отношению к имперскому центру. Клюс определяет здесь Крым как *метAPERИФЕРИЮ*, что очень существенно, однако опять-таки обнаруживает: модель креативной периферии Бхабхи и тут «не работает» – центр периодически вторгается в крымскую жизнь, нарушая гармоничные местные ритмы (р. 136). Исследователь отмечает открытость воображаемой географии Улицкой внешнему миру, включающей мультиэтничность формирующих её идентичностей.

Вернёмся к началу книги, главе 1, посвящённой деконструированию имперской Москвы. Именно здесь Клюс начинает разрабатывать тему центра, «съедающего» собственную периферию, создающего свой гипертрофированный мир, в котором нет места периферии (р. 23–24). Используя для анализа роман-утопию Владимира Войновича «2042», стихотворный цикл Пригова «Москва и москвичи», а также роман Татьяны Толстой «Кысь», она обнажает довольно примитивные структуры отгораживания имперского центра от собственной периферии и внешнего мира, порождающие, в свою очередь, простейшие мифологические схемы абсолютного имперского величия, реализуемого советской и постсоветской Москвой¹. Пространство фактически становится господствующим в мифологических образах

¹ Ср.: Gilbert D. Heart of Empire? Landscape, space and performance in imperial London // Environment and Planning D: Society and Space. 1998. № 16. P. 11–28.

постсоветской географии; время, столь важное для культур модерна, уходит на второй план, застывает (р. 42). На наш взгляд, подробный трудоемкий анализ исследователем выбранных для данной главы текстов частично не достигает своей цели – как в силу известной карикатурности произведений Войновича и Толстой, так и в силу очевидного концептуализма Пригова, сознательно выводящего все возможные мифы и образы на поверхность максимально эклектического текста (можно сказать, что тексты Пригова являются одновременно метатекстами самих себя)¹. Так или иначе, Клюс удаётся обнаружить мифологические механизмы отгораживания от внешнего мира, по преимуществу, от Запада, коренящиеся в позднесоветской утопии, и истоки формирования воображаемой географии постсоветской России с её постепенным акцентированием важности северо-южной оси.

Кратко о главах, которые, с нашей точки зрения, менее удачны. Глава 3, посвященная текстам Михаила Рыклина, имеет дело с текстами, в которых образы «черно-белого» одномерного противопоставления России и Запада с либерально-западнических позиций очевидны – отсюда и сравнительно невысокая эффективность текстового анализа. Следует выделить лишь фрагмент, работающий со снами Рыклина (р. 108-112), которые в рамках психоанализа Лакана оказываются интересной основой для формирования аксиологических ключей воображаемой личной географии философа (Клюс использует здесь семиотический квадрат Греймаса)². Не затрагивая личных убеждений Рыклина, отметим, прежде всего, значительность противопоставления Берлина и Москвы в его пространственных координатах, следующей традиции переведённого им на русский язык

¹ Так, уже в одной из наиболее ранних (из известных мне) публикаций московского цикла Пригова ещё советского времени мы находим рядом его же статью «Что надо знать», ставящую практически «все точки над i» // Молодая поэзия 89. Стихи. Статьи. Тексты. М.: Советский писатель, 1989. С. 416–420.

² Остаётся пожалеть, что Э. Клюс не использовала здесь, как и в других случаях, возможности образно-географического картографирования, разработанного нами в первом приближении во второй половине 1990-х гг. и эффективно использовавшегося на протяжении 2000-х гг.; основные примеры представлены в наших книгах Моделирование географических образов (1999), «Гуманитарная география» (2003), «Метагеография» (2004) и «Культура и пространство» (2006), а также в коллективной монографии «Моделирование образов историко-культурной территории» (2008, соавторы – Н.Ю. Замятина, И.И. Митин).

«Московского дневника» Вальтера Беньямина (анализ Клюс тут плодотворен, р. 105–107). Минус: очередное выстраивание исследователем ряда современных российских интеллектуалов в следующем определении – «религиозно-фашистские экстремисты» (Дугин, Павловский, Проханов) (р. 118); оставляем это за пределами обсуждения.

Совершенно калейдоскопична и максимально политизирована глава 6, посвященная чеченцам и исламскому югу. Актуальность текста понятна; сам текст вполне информативен и, очевидно, весьма интересен для англоязычного читателя, поскольку он имеет дело здесь фактически с обзором наиболее важных событий, текстов и фильмов, характеризующих формирование постсоветских идентичностей в контексте Кавказа. Клюс не забывает указать на глубокие корни воображаемой географии Кавказа в русской литературе и культуре (р. 140–142)¹, однако, далее, по ходу чтения главы, мы вряд ли получаем содержательное приращение в плане темы книги в целом. Отметим лишь, что в анализе присутствуют роман «Гексоген» Проханова, фильмы «Война» Балабанова и «Кавказский пленник» С. Бодрова-младшего. Кризис российской идентичности напрямую увязывается исследователем с возрастанием значимости оси север – юг в воображаемой географии России; русский традиционализм, базирующийся на севере, становится источником сопротивления «исламской угрозе» с Кавказа – постсоветский Другой оказывается зеркальным отображением традиционалистского образа себя (р. 161).

В заключении исследователь сжато формулирует основные выводы. По мнению Клюс, в воображаемой географии постсоветской России запад и юг выступают как источники более разнообразного и открытого мышления, тогда как север и северо-восток ориентированы на догматическое мышление (р. 166). Для неё ясно, что в современном постсоветском пространстве продолжает возрастать степень периферийности запада и юга; в то же время мы наблюдаем растущую самоизоляцию центра. Даже в столь небольшом по объему заключении Клюс всё же успевает напоследок кратко описать романы Сорокина («День опричника») и Пелевина («Империя V») и фильм С. Бодрова-старшего «Монгол» (р. 167–170), иллюстрируя свою мысль о неисчезающей опасности идеей неоевразийства и имперской самоизоляции.

Что же в итоге? Книга – безусловно, высокопрофессиональное исследование на тему, которая до сих пор мало затрагивалась в оте-

¹ Правда, странным образом она забывает упомянуть о важнейшей книге Н. Эйдельмана «Быть может, за стеной Кавказа...».

чественных гуманитарных работах. Труд Ключ важен не только как научный результат, но и как текст, помогающий нам (мне, другим соотечественникам) осознать свою собственную постсоветскую идентичность. В этой связи книгу Ключ, несомненно, нужно перевести и издать в России.

Мы, тем не менее, должны отметить несколько фундаментальных недостатков исследования, которые следует учесть при прочтении книги и интерпретации её основных положений.

Первый из них, о котором мы уже упоминали ранее, и свойственный, вообще говоря, значительной части работ западных славистов: прямая политизированность исследовательского дискурса, вытекающая из тесной приобщённости исследователя западным демократическим ценностям. Отнюдь не сомневаясь в самих ценностях, подчеркнём, что это сильно мешает достижению более высокого профессионального уровня в рамках взятой темы; зачастую получается одномерная «картинка». Не избежала этого и Ключ: идеологические стереотипы сильно огрубляют местами её анализ, происходит довольно неразборчивое смешение православия, евразийства, фашизма, экстремизма, национализма и проч. Всё-таки культурный, тем более, научный дискурс должен быть в определённой мере автономен или, по крайней мере, по возможности «очищен» от всякого рода политико-идеологических ценностей и установок.

Второй недостаток можно отнести на счёт позиции «внешнего наблюдателя», не могущего проникнуть за «фасад» первичных наблюдений и обобщений чужой культуры / цивилизации. Беды в этом нет, поскольку, как говорится, «со стороны видней»; с другой стороны, не каждый западный учёный имеет возможность долго жить в стране изучения и наблюдать местную действительность и порождаемые ей дискурсы «изнутри». Тем не менее, укажем с позиции «внутреннего наблюдателя», что, на наш взгляд, от внимания исследователя, работавшего с «черно-белой манихейской» картинкой, ускользнула гораздо более сложная идеологическая структура становящегося поля постсоветских идентичностей, а, следовательно, и более сложные воображаемые географии: так мы можем наблюдать на протяжении 2000-х гг. становление нового политико-идеологического и культурного консерватизма, далёкого от самоизоляции, критичного по отношению как к Западу, так и к современному российскому политическому режиму (это отнюдь не значит, что мы являемся сторонниками данного идеологического течения). Более того, даже вполне открытые социологические опросы говорят об оценке этого режима не как полицейски-империалистического, а как, скорее, компрадорского по отношению к Западу со всеми вытекающими последствиями

(высокая коррумпированность, сильная экономическая зависимость от развитых стран, отсутствие собственной идеологии, стремление периодически шантажировать Запад и т.д.). Допускаю, однако, что подобное может произойти с любым исследователем, изучающим феномены другой цивилизации – например, с российским учёным, изучающим воображаемые географии Северной Америки или США (здесь мы можем сослаться на феномен культурной или цивилизационной аберрации).

Если же «перевести рельсы» на путь обсуждения самих принципов отбора материала для анализа, то, опять-таки, позиция «внутреннего наблюдателя» продиктовала бы несколько другой выбор: тексты, попавшие в публичный дискурс, часто впоследствии забываются; более фундаментальные тексты, которым «не так повезло», всё же могут быть, хотя бы частично, видны современникам. Если бы мы, условно, задались таким отбором в рамках темы Эдит Клюс, то для нас, скорее, были бы интересны более культурологические и более культурософские тексты, вряд ли очень чётко видимые большинству заинтересованных западных наблюдателей: например, роман «Остров» Василия Голованова (с его более ранним эссе «Тачанки с Юга»), нон-фикшн Рустама Рахматуллина «Две столицы», штудии выдающегося современного российского геополитика неоконсервативной ориентации Вадима Цымбурского и т.д. (возможно, только «Чапаев и пустота» вместе с романами Улицкой попали бы в наш отбор).

Третий упрёк к книге Клюс – отсутствие сравнительного, компаративистского фона. Кажется, содержание книги заиграло бы гораздо лучше, больше, если бы мы могли сравнить ситуацию с подобной же в США или же в какой-либо из крупных европейских стран (не говоря о более отдалённых примерах), в которых, наверное, есть хотя бы внешне схожие проблемы: например идентичности и воображаемые географии Юга США, связанные с полиэтничностью проживающих здесь сообществ и диаспор, и т.д.; происходит какая-то «самоизоляция» предметной области.

Если оценить профессиональное качество содержания книги в целом, имея в виду предлагаемую нами иерархическую стратификацию ментальной деятельности (образы – когнитивные схемы / мифы – дискурсы – стратегии – сценарии), практически совпадающую с аналогичной стратификацией пространственных представлений в гуманитарной географии (географические образы – локальные мифы – территориальные идентичности – культурные ландшафты), то можно сказать, что исследователь великолепно отработал уровни мифов и особенно дискурсов, частично – стратегий; с точки зрения

гуманитарно-географической методологии хорошо изученными оказались локальные мифы и территориальные идентичности, слабее – географические образы и культурные ландшафты¹.

Суммируя: тесная взаимосвязь процессов географического воображения и формирования политических и культурных территориальных идентичностей до сих пор остаётся «тайной за семью печатями» для большинства представителей политической и культурной элиты, просвещённого читателя постсоветского пространства. Это крайне актуально именно для современной России, в которой такая взаимосвязь непосредственно может проявляться в формировании актуальных прикладных культурных и политических дискурсов.

¹ Описание и оценка культурных ландшафтов в рамках исследуемых в книге текстов довольно редки и эпизодичны: прежде всего, в главе, посвященной романам Улицкой – эмоционально окрашенные ландшафты Крыма и Северного Причерноморья; также в последней главе, посвященной Кавказу – на примерах кинематографических ландшафтов.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕЙЯ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
в Санкт-Петербурге:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ»
Санкт-Петербург, Литейный пр., 57 (с 10:00 до 22:00)
8 (812) 273 50 53 www.podpisnie.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ВСЕ СВОБОДНЫ»
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 23 (с 12:00 до 22:00)
8 (911) 977 40 47 www.vse-svobodny.com

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ»
Санкт-Петербург, Невский пр., 66 (с 10:00 до 22:00)
8 (812) 640 44 06 www.lavkapisateley.spb.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «СЛОВО»
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 9 (с 11:00 до 20:00)
8 (812) 571 20 75, 8 (812) 312 52 00 www.slovo.net.ru

ФИЛОСОФСКИЙ КНИЖНЫЙ «ДАЛЬ»
Санкт-Петербург, Дмитровский пер., 4 (с 11:00 до 21:00)
8 (921) 914 45 44 umozrenie.com

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ПРОФИ»
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 105 (с 10:00 до 19:00)
8 (812) 365 41 38 vk.com/profknigaspb

в Москве:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»
Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1 (с 09:00 до 24:00)
8 (495) 629 64 83, 8 (495) 797 87 17 www.moscowbooks.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ФАЛАНСТЕР»
Москва, ул. Тверская, д. 17 (с 11:00 до 20:00)
8 (495) 749 57 21, 8 (495) 629 88 21 www.falanster.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ПРИОЛКОВСКИЙ»
Москва, Пятницкий пер., 8 (с 11:00 до 22:00)
8 (495) 951 19 02 www.primuzee.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «У КЕНТАВРА»
Москва, ул. Чайнова, 15 (пн.–пт. с 10:00 до 19:30, сб. с 10:00 до 17:00)
8 (495) 250 65 46 www.rsu.ru/kentavr

Электронные книги:

ДИРЕКТ-МЕДИА www.directmedia.ru
ЛИТРЕС www.litres.ru

Интернет-магазины:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА» www.moscowbooks.ru
NATASHA KOZMENKO BOOKSELLERS www.nkbooksellers.com
ЧИТАЙ ГОРОД www.chitai-gorod.ru
ЯНДЕКС МАРКЕТ market.yandex.ru
OZON www.ozon.ru
MY-SHOP.RU www.my-shop.ru

Научное издание

Замятин Дмитрий Николаевич

ВООБРАЗИТЬ РОССИЮ:

к становлению геокультур и метагеографий Северной Евразии

Главный редактор издательства

Игорь Александрович Савкин

Дизайн обложки *И. Н. Граве*

Оригинал-макет *Л. Г. Иванова*

Корректор *С. А. Семенов*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,

e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна

192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532

Редакция:

e-mail: aletheia92@mail.ru

www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» можно приобрести

в Москве:

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Фаланстер», ул. Тверская, д. 17. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru

в Минске:

«Эпосервис», ул. Казинца, д. 123, оф. 4.
Тел. +37 517 338 95 23, www.tregross.com

в Риге:

«Intelektuāla grāmata»
Rīga, Kļ. Varona iela 45/47. Tel. +371 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. 29,8 Тираж 500 экз.